Короткая ночь долгой войны

Иван Арсентьевич Арсентьев

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Введите сюда краткую аннотацию

-
- СТАРИК ИЗ ТУШИНА. Документальная повесть
- СТРЕЛЯЛИ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. (Повествование в новеллах)
  - ПОСАДКА НА ТОЙ СТОРОНЕ
  - КОРОТКАЯ НОЧЬ ДОЛГОЙ ВОЙНЫ
  - ВЕЧНАЯ ВСПЫШКА
  - НАДЯ-СТАЛИНГРАДКА И ЕЕ ОТЦЫ
  - «ОХОТНИКИ»
  - МОЙ ВЕРНЫЙ ЩИТ
  - КИНОСТРЕЛОК
  - КОМИССАР
  - РЫБАЧКА СОНЬКА

СТАРИК ИЗ ТУШИНА. Документальная повесть

Многое забыто, многое неизвестно...

Небо... Михаил Ворожбиев смотрит на него из окна московской квартиры, куда заточили его на закате жизни давние фронтовые раны да сопутствующие недуги. Мало. очень мало дается ему неба сегодня, а ведь когда-то было... Да, оно было для него дороже дома родного.

Небо... Арена жизни в смерти, побед и поражений, поприще настоящей мужской работы - работы летчика. Оттого еще тошнее сидеть теперь в четырех стенах, вспоминать о крылатой поре своей жизни.

Да и как не вспоминать? Сама обстановка заставляет, коль живешь на улице, протянувшейся на месте взлетнопосадочной полосы знаменитого в довоенные годы Тушинского аэродрома! Один из его железных ангаров и по сей день маячит там, словно гриб-рыжик среди сыроежек - серых "хрущевок". Говорят, его уже лет десять перестраивают в крытый рынок...

Улица, на которой живет бывший летчик Михаил Ворожбиев, носит имя летчицы Клавдии Фомичевой.

Краткая справка.

Герой Советского Союза Клавдия Яковлевна Фомичева, за спиной которой фронтовая работа на пикирующем бомбардировщике "Петляков-2", очень строгом, своен-равном самолете - не каждому летчику-мужчине он по зубам, умерла в 1957 году от тяжелого наследия, оставленного в ее теле войной. Вот по заслугам и честь: улица ее имени в Тушине, откуда Фомичева улетала на фронт.

А кто такой Ворожбиев? Летчик, которых косила война десятками тысяч! Наград у него не густо, и все же, если бы двоим из нас выпал жребий делить между собой звание Героя Советского Союза, я уступил бы его Михаилу. Да и не только ему. Мало ли их, не отмеченных ни званиями, ни наградами, ушло из жизни! Это о них правильно подметил А. Твардовский: "Видно в списке наградном вышла опечат-ка".

По-моему, Михаил герой уже потому, что последние военные годы летал на фронте с единственным глазом.

"Ну так что?" - скажут не просвещенные в авиационных делах люди. "А то, - отвечу я, - что медициной определенно доказано и давным-давно внесено во все справочники: у человека с глазом отсутствует "глубинное зрение". Я пробовал летать зажмурив

глаз-чепуха выходит. Земная поверхность представляется искаженной, в виде плоского блина, и это неминуемо приводит к аварии, если не хуже...

Правда, до Ворожбиева жил на свете еще одноглазый летчик, хотя и не вояка. Фамилия его известна всем летунам мира: это американец Вильям Пост.

Почему я ставлю американца Поста и русского Ворожбиева рядом?

Пост был известен как человек, задумавший и подготовивший лотом 1935 года дерзкий арктический перелет с Аляски в СССР через Северный полюс. На мысе Барроу предполагалось заправиться горючим, после взлета сбросить для облегчения веса и уменьшения лобового сопротивления поплавки и следовать до Архангельска. Сверхдальний рейс Вильям Пост и его напарник писатель Вильям Роджерс решили осуществить, на самолете "Локхид-Электра".

Разумеется, не только смелым замыслом привлекал к себе внимание и вызывал восхищение американский летчик - у него был один глаз. Второй выбило при взры-ве в шахте, где Пост работал забойщиком до того, как стал первоклассным пилотом. Летал он на самолетах различных конструкций уверенно и не один год. Иначе какая фирма доверила бы ему свой аппарат? Потому и хотелось едва ли не каждому авиатору встретиться с этим феноменальным пилотом.

Михаил Ворожбиев тогда служил инструктором Симферопольского аэроклуба и очень интересовался Постом. Словно предчувствовал, что станет его последовате-лем в жизненной борьбе, и даже мечтал завести с ним знакомство или хотя бы увидеть воочию, поскольку промелькнул слух, будто Пост с женой, тоже летчицей, собираются посетить Крым.

Однажды в жаркий летний день, когда Михаил в тени ангара проводил с курсантами разбор полетов, внимание привлек двухместный самолет ядовито-желтого цвета. Он приземлился и подрулил к ангару. Самолеты с фюзеляжем, похожим на тело черноморской рыбы кефали - сильно вытянутая капля, - до тех пор приходилось видеть только в кино. На крыльях красные звезды, но в белом круге.

- Вилли Пост!

- Ура Вилли Посту! - обрадовались будущие летчики.

Тем временем пилот, выключив двигатель, поспешно спрыгнул на землю и помог спуститься из задней кабины грузноватому мужчине в шикарном костюме. Подкатила "эмка" и присутствующие разочарованно сникли: это не Вилли Пост и не его жена. Это некий пилот Уайст притарабанил, говоря южным

жаргоном, на отдых американс-кого посла в СССР Буллита.

Курсанты мошкарой облепили невиданный моноплан, разглядывали и ощупывали иностранную авиатехнику, восклицали изумленно. И действительно было на что поглазеть; от приборов, кнопок, тумблеров в глазах рябило. Михаил, осмотрев самолет снаружи, хотел было забраться в кабину, но не тут-то было!

- Но-но! - замахал руками Уайст и оттеснил любопытных от самолета. Вскоре пришло распоряжение: убрать из ангара У-2, закатить туда "американца", ворота запереть на замок и поставить сторожа...

А спустя два года известный полярный летчик Алексей Николаевич Грацианс-кий, один из тех, кто посвятил свою жизнь освоению Севера, рассказывал: "Во время поисков экипажа Леваневского мне пришлось летать с мыса Барроу на Аляску. Тогда я и посетил место, где погибли Вилли Пост и Вилли Роджерс. Начальник радиостанции на мысе Барроу мистер Морган показал фотографии разбитого самолета Поста. Получилось так, что из-за густой дымки, окутавшей северное побережье Аляски, Вилли Пост не смог отыскать маленький поселок и приводнился в устье безымянной речки. У охотника-эскимоса выяснил, что до Барроу всего двадцать километров, и тут же взлетел. Скорость была еще мала, когда он сделал слишком крутой разворот. Бензин отхлынул от заборной трубки, двигатель заглох, и самолет упал в воду. Экипаж погиб.

Когда я летал над местом гибели, - продолжал рассказ Грацианский, - на борту находились наш представитель в Вашингтоне Савва Смирнов и мистер Морган. Я сделал над обломками три круга, отдавая почести погибшим".

Существует и другая версия, на мой взгляд более правильная.

Известный ветеран авиации, заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза М. Л. Галлай утверждает: "При любом, сколь угодно крутом развороте на "Локхид-Электра" бензин от заборной трубки отхлынуть не может, наоборот: это произойдет скорее в случае отрицательной перегрузки. Вероятное всего, Пост вынужден был садиться из-за отказа мотора, что в те годы редкостью не было. Садиться "по-быстрому", не изготовившись как следует. А день стоял безветренный - это точно, об этом писали, поверхность воды - зеркальная. Тут и двуглазые летчики, бывало, ошибались в оценке высоты, выравнивали либо чересчур высоко, либо втыкались в воду. Скорее всего, Пост воткнулся..."

Вот то самые потеря "глубинного зрения", земля - плоский блин и так далее, о чем упоминалось выше. Так или иначе, а славного одноглазого летчика не ста-ло. Другого летный мир

тогда не знал. И вот, спустя семь лет, в конце 1942 го-да в мировой авиационной практике появилось исключение номер два: русский военный летчик Михаил Прокофьевич Ворожбиев.

Могут задать вопрос: какая в конце концов разница сколько глаз? Важно, чтобы человек хорошо видел!

Оно, конечно... Нынче, в космическую эру, летательные аппараты напичканы электроникой да автоматикой настолько, что можно летать и заходить на посадку вообще вслепую. Летать и заходить, но только не сажать. Начиная с выравнивания, все приходится делать "взрячую". "Земля" тут ничего подсказать не может, даже если бы очень, хотела - не успеет: счет идет на доли секунды. Как сейчас, так и в "древнюю" авиационную эпоху глаза были наипервейшим и наиглавнейшим прибором летчика.

Вильям Пост пилотировал отлично. Михаил Ворожбиев не только отлично летал - он воевал.

Живут Ворожбиевы втроем: Михаил, его жена Анастасия Андреевна и сын Эдуард. Обязательно каждый год я приезжаю к ним дважды: на День Победы и 7 Ноября.

Я хорошо помню Михаила по фронту с осени 1942 года. Среди нас, поджарых стручков, он выглядел коренастым силачом. Особую зависть вызывали его крепкие, широкие в кисти руки. А плечи? Выскочишь, бывало, на рассвете из землянки умываться, увидишь, как он молодецки лихо растирает свою грудь, свою спину-печь, и досада берет на себя: экое худосочие...

До того, как попасть к нам в штурмовой авиаполк, Михаил успел уже налетаться и навоеваться. Где? На чем? Как ни странно - на учебном У-2, он же "кукурузник", "гроб-фанера", "этажерка" и тому подобное... Но о "фанерно-кукурузных" делах, как говорится, немного опосля...

На войне, как в базарной лотерее: фортуна может улыбнуться, может оскалиться, смотря какую бумажку вытащит морская свинка. Михаилу война "выдернула" судьбу не из лучших. В летном мире считали тогда: коль попал на штурмовик Ил-2, значит...

Нынешнее поколение слышало, конечно, об этих "летающих танках". Они представляли собой грозную воздушную силу. Ил-2 был очень опасен для фашистских наземных войск, его боялись и потому с ним особенно серьезно боролись. Сбивали - страшно вспомнить!

Есть такое паскудное выражение, придуманное штабными крючками: "средняя выживаемость летчика". Арифметика здесь простая: взял полное количество вылетов штурмовой авиации за всю войну и разделил на число летчиков, совершавших эти вылеты. Результат получается - кровь стынет. Уже после войны

мы прознали, что сей адский счет, "средняя выживаемость", составлял для истребителя - шестьдесят четыре боевых вылета, для бомбардировщика - сорок восемь, а для на-шего брата. "горбатого", - всего-навсего одиннадцать! Для самого массового вида авиации. Смекаешь, поколение?

Почему же мы несли такие потери? Плохие летчики летали на "илах"? Самолет был скверный, сильно уязвимый? Ни то, ни другое, хотя... Задумал его конструктор Ильюшин как двухместный бронированный противотанковый, оснащенный, кроме бомб, пушек и пулеметов, также ракетами. Для обороны задней полусферы от атак истребителей планировался воздушный стрелок с крупнокалиберным пулеметом, но... Некоторые руководители, имевшие смутное представление о тактике авиации вообще, а нового рода, штурмовой, в частности, решили, что двухместный "ил" советским ВВС не нужен. В серию был запущен одноместный. И вот результат: высота боевой работы полсотни метров, "бреющий полет", скорость триста - триста пятьдесят километров в час - сбивай без опаски! Особенно безнаказанно свирепствовали "мессеры" - сзади лупили так, что щепки сыпались...

На таких самолетах мы с Ворожбиевым и воевали осенью и зимой 1942-1943 года. Лишь весной наконец-то появились братцы-стрелкачи, и война продолжалась менее для нас убийственная.

На фронт Михаил прибыл многоопытным инструктором. Перед войной он был начальником летной части Николаевского аэроклуба. В авиации была, есть и останется навсегда закономерность: чтоб летать хорошо, надо летать много. Уж чего-чего, а летать Ворожбиев умел в любое время суток и в любую погоду. И не только сам умел, но и других учил.

Новую технику - Ил-2 - Михаил освоил в полку за какие-то две недели и стал летать на боевые задания ведомым. Но начальство, узнав, чем он занимался прежде, бесцеремонно прервало его штурмовые дела и вернуло на старый "кукурузник". Ворожбиев доставлял в штабы различные пакеты, развозил, куда прикажут, офицеров связи, а также всякий начальный и подначальный люд.

- Не война, а баловство! Мотаюсь, как трехнутый...- возмущался Михаил, Он трижды обращался к исполняющему обязанности командира полка, упрашивал посылать на штурмовки, а не гонять по донским станицам, по майор Барабоев, прибывший откуда-то после гибели прежнего командира, обремененный неведомыми нам, рядовым летчикам, заботами, занятый по горло служебно-земными делами, отмахивался:

дескать, ему лучше знать, чем кому заниматься и кого куда посылать.

Однажды, получая в штабе дивизии очередное задание, Михаил пожаловался комдиву:

- Мне стыдно, товарищ полковник, носить форму военного летчика. Мои това-рищи каждый день летают на смерть, а я...

Комдив посмотрел на него исподлобья, недовольно хмыкнул.

- Ты вот что, товарищ Ворожбиев, брось, громкие слова. Смерть, подвиг... То, что тебе доверили ныне, может быть, и есть самое главное, тот самый под-виг. Немцы напирают огромной массой, - ткнул он пальцем в карту на столе, - а у нас на дивизию всего два десятка "илов". Понимаешь, какие потери огромные? Во имя чего? Да во имя того, чтоб ценой собственной жизни и техники помочь на-земным войскам продержаться подольше на своих рубежах. Летчики выкладываются до предела, я знаю. Они своими глазами видят, что творится на поле боя, ведут разведку. Но как передать данные командованию, когда телефонная и радиосвязь нарушены? Короче, у нас нет другого летчика, который смог бы сработать, как вы.

- Есть! Есть! Я назову нескольких, летают на У-2 не хуже меня.

Комдив поморщился.

- Возможно. Однако речь у нас не о технике пилотирования. Под нами Донбасс, сложный рельеф, паутина железных и прочих дорог, масса населенных пунктов. Попадет сюда не знающий местности и заплачет. Я в свое время летал в этих краях... Летчик, не знакомый с районом, просто не в силах разобраться в такой мешанине. А вы здесь, что карась в своем пруду...

Михаил понял: тут ничего не докажешь. А дела на Южном фронте стали совсем дрянь. Прорыв. Прорыв, осуществленный немцами на огромном протяжении...

Город Шахты лихорадило. Ходила ходуном разбитая мостовая под колесами транспорта, вилась взмученная сапогами черная пыль, храпели обозные кони, бре-ли лениво быки. Там и сям виднелись развалины. На окраине среди низкорослых домишек войска встречала и провожала ребятня с выгоревшими на солнце вихрами, да метались лохматые псы. На северо-западе глухо бухали орудия. В небе - самолетная канитель. Авиаразведка засекла немецкую переправу через Северский Донец возле Каменска. Штурмовой дивизии приказ: раздавить немедленно! Штаб дивизии дублирует приказ в авиаполки. Майор Барабоев рвет и мечет, костит всех, кто под руку попадет. "Уничтожить переправу!" А чем? И на самом деле голова пойдет кругом: исправных самолетов три, уцелевших летчиков два.

- А где этот... как его, штурмовик аэроклубовский?

- Ворожбиев? На стоянке.

- Гони его бегом на капэ!

Когда трое летчиков - Михаил в их числе - в застиранных комбинезонах спустились в землянку командного пункта, майор приказал развернуть карты и нанести вражескую переправу; затем красным карандашом жирно перекрестил ее.

- Чтобы вот так было в натуре! - поднял он палец.Уничтожить переправу нужно с малой высоты, на средних к мосту не прорваться, посбивают.

К самолетам подносили стокилограммовые фугаски с взрывателями замедленного действия. Пошли. Ворожбиев - левый ведомый, над целью он станет замыкающим. Не успели взлететь, правый ведомый завопил по радио: мотор перегрелся, радиатор кипит, как тульский самовар. Черт его знает: может, взлетал с закрытыми шторками, вот и кипит - как проверишь? Ушел третий на посадку, остались ведущий да Михаил. Воюй, братва! Курс нуль градусов. Под крылом земля - рукой подать. Она как бы опрокидывается, набегают, перекрещиваются извилины дорог, перемежаясь с полями, мелкими перелесками.

На аэродроме договорились: к переправе напрямую не лететь, сделать ложную атаку по другим объектам, отвлечь внимание зенитчиков, а дальше будет видно. Оказалось - ничего не видно. Вражеские зенитки, что называется, взбесились, "илы" барахтались, точно в густом вареве. При таком повороте событий мог меняться план удара, но само задание оставалось неизменным. Смертей кругом видимо-невидимо, сигналят белесыми вспышками взрывов, дугами эрликоновских трасс. Когда "илы", якобы опорожнившись над городом, сделали крутой разворот и ринулись на "брее" к понтонному мосту, Михаил, ослепший в зенитном огне, удивился: почему он еще живой и целый?

Несмотря ни на что, я верю в везение.

Как удалось расчленить переправу в огневой буче, остается загадкой и по сей день. В те секунды было не до анализа элементов жаркого дела: бронебойный осколок прошил кабину и, потеряв силу, рассек Михаилу губу и вышиб зуб. Однако это пустяк, куда больше беспокоила и тревожила его зверская тряска двигателя. Ощущение - будто тянут за ноги по ступенькам лестницы. От двигателя валит дым, проникает в кабину. Тяги почти нет. Хочешь не хочешь - приземляйся. А куда? До своих на задохнувшемся моторе не дотянешь. А надо... Сколько раз опытный аэроклубовский инструктор внушал курсантам: за спасение экипажа и матчасти борись до последнего! Вот и покажи

теперь, рядовой военной авиации, покажи, как это делать!

Михаил откинул фонарь кабины и выпустил шасси. На всякий случай. Не понадобится - уберет в любой момент. Места внизу незнакомые. Сориентироваться, сличить с полетной картой невозможно. Где линия фронта? Сколько до нее? Самолет все больше теряет скорость, вот-вот начнет падать. Высоты уже нет. Под крыло набегает пустошь, мелькает деревушка. Михаил охватывает ее взглядом всю целиком. Немцев вроде нет, можно приземляться. Сел на выгоне, где пасли скот. Выметнулся из кабины и почувствовал: что-то его жжет. Ощупал себя - тлеет комбинезон. Стал кататься по земле, пытаясь погасить. Подбежали женщины, что пасли скот, засуетились вокруг: "Наш это, наш, русский..." Михаил встал, отер кровь с лица.

- Немцев нет?

- Нет.

- Самолет не пролетал?

Женщины не видели. "Сбили, похоже, ведущего. Охох-ох... Мудрено остаться живым в такой мясорубке".

Обошел вокруг самолета. В броне кабины глубокая вмятина, от нее - косая трещина, фюзеляж зияет пробоинами, точно его таранили железным столбом, на посеченных элеронах трепыхаются клочья перкаля, кусок лопасти винта отбит.

Вот от чего умопомрачительная тряска, сообразил Михаил и сдернул с головы шлемофон, как перед лежащим на смертном одре мучеником. Затем взобрался в кабину, снял бортовые часы, сунул за пояс ракетницу, парашют - на плечо, сказал женщинам, что скоро вернется, и попросил последить, чтоб ребята не озоровали, а то подожгут самолет. Женщины глядели скорбно, подперев щеки ладонью. В глазах их не было веры. Мысли о грядущей опасности, неопределенность завтрашнего дня делали их жалкими. Из деревни не уйдешь, и сознавать это еще большая душевная мука, чем идти куда глаза глядят. А этот, израненный, издерганный летчик, упавший на их толоке, уверяет, что скоро вернется...

По дороге пылила батарея. Михаил поднял руку, артиллеристы остановились. Он присел боком на зарядный ящик и так доехал до Шахт. В местной больнице его перевязали, всадили укол против столбняка и - опять на дорогу, голосовать попутке. Скоро попались проезжие настолько сознательные, что даже в кабину посадили.

Вот и летное поле показалось вдали. Вдруг по крыше кабины кабины громко заботали, в кузове крики, шум. Шофер едва затормозил, как все из кузова сига-нули на землю и - в степь. Михаил покрутил головой: зря взбулгачились, дел-то-тьфу!

Несколько "мессеров" штурмовали пустой аэродром. Михаил присмотрелся, подумал с презрительным интересом: "Штурмовать нечего, а штурмуют... Ну, пройды... Совсем опсовели. А что? Так воевать не накладно - по ним не стреляют".

Когда налет закончился, полуторка поехала дальше, а Михаил свернул на аэродром, направился к землянке КП. Управленцы полка толпились у входа и осоловело смотрели куда-то сквозь Ворожбиева, словно он из стекла. Даже не спроси-ли, что с ним. Видно, после испытанной штурмовки к разговорам не были расположены. Лишь один проворчал глухо:

- Ишь, совсем потеряли совесть, бросают самолеты, где попало, а ты езди, собирай да свози утиль-обломки...

Михаил понял, что это не только о нем. Как было слышать такое о летчиках, которых в полку раз, два - и обчелся? Следовало бы осадить наглеца, но появился майор Барабоев. Михаил доложил об ударе по переправе, о подбитом самолете и показал на карте деревню, где совершена вынужденная посадка. Барабоев тут же велел старшему инженеру выслать на место приземления аварийную команду. У Михаила отлегло от сердца, когда узнал, что ведущий благополучно вернулся с переправы и уже улетел на новое задание.

Ворожбиев потопал было в санчасть за таблеткой от головной боли, но его догнал вестовой.

- Вас срочно на капэ!

Перед столом командира неуклюже торчал присланный недавно с пополнением молодой летчик - сержант Иван Жуков. Выглядел он подростком. Барабоев, постукивая карандашом по столешнице, иронически разглядывал сержанта.

- А ты точь-в-точь Ванька Жуков из чеховского рассказа... Ну, куда тебя такого? Разве что на деревню дедушке.

- У меня, товарищ майор, по технике пилотирования круглая "пятерка". И по штурманской "пятерка", - возражал Жуков, краснея.

- Твои "пятерки" для каптерки, - тянул свое майор, но, увидев входящего Михаила, построжел: - Приказ дивизии - перегнать два "ила" с соседнего аэродрома в Сталинград. Ответственный вы, товарищ Ворожбиев. У вас в прошлом... м-м... весьма солидный налет по маршрутам... если судить по летной книжке... Лететь в состоянии?

Михаила покоробил пренебрежительный тон, но вида он не показал, заверил спокойно, что готов выполнить задание.

Пока выписывали полетные документы, пришла шифровка: всем немедленно перебазироваться за Дон, на площадку возле станицы Мечетинской.

- Из Сталинграда будет ближе в полк возвращаться, - сказал Жуков. - Мечетинская вот где, без карты можно добраться.

- Гм... Видать, в стратегии ты дока. Район, что подальше от фронта, назубок знаешь, - хмыкнул Михаил.

До Сталинграда лететь, часа полтора. Под крылом ритмически проскакивают пологие холмы, пятна солончаков, поросших седой колючкой, зеленые полоски кукурузы. Сверху земля - словно тряпка, о которую маляры вытирали кисти. Призем-лились на аэродроме Гумрак, где ремонтные мастерские. Пошли сдавать документы, заодно решили узнать, нет ли воздушной оказии в сторону Ростова - оттуда до Мечетки рукой подать.

В дверях канцелярии столкнулись с двумя женщинами.

- Дуся, гля, откуда они, такие страшненькие?

- Ма-а-амочки, и то правда... А этот, а? - показала на Михаила. - Не иначе- сто котов его царапали. Бедняжка...

- А ты, сынок, чего? Неужто и тебя мама на войну пустила?

- Он детдомовский, - определила уверенно Дуся.

- Сама ты с базара! - обиделся Жуков.

- Вот видишь, и полялякали по душам с защитничками, - вздохнула деланно Дуся и шевельнула плечами, уступая дорогу летчикам. Но Михаил с места не двинулся, повел сторожко головой, прислушиваясь. Женщины глядели удивленно. "Что это?" - было написано на их лицах. Сквозь толстое перекрытие проникал незнако-мый гул с подвывом.

- Та-а-ак... - протянул Михаил. - Похоже, "Юнкерсы". - Он верил себе и не верил, как-никак, а Сталинград далековато от линии фронта. Но все уже бежали в укрытие...

В чистом небе плыл плотный строй бомбардировщиков, по нему неистово палили крупнокалиберные зенитки. Стреляли кучно, мощными залпами, но шестерки "Юнкерсов" неуклонно приближались. На железнодорожной станции тревожно гудели паровозы, выли пронзительно сирены. В какой-то момент огонь потерял четкость, стал беспорядочнее и гуще. Небо стало похожим на серые смушки. Михаилу, неплохо умевшему стрелять по наземным и воздушным целям, казалось непостижимым, как умудряются наводчики видеть цели, засекать разрывы своих снарядов и корректировать их, А командиры орудий? Как успевают рассчитывать все и подавать команды артиллерийской прислуге?

Падающих бомб не видно, слышен лишь нарастающий свист и грозовой грохот...

Я, в начале войны молодой летчик, очень тогда интересовался, чем объяснить совершенно различное восприятие

бомбежек людьми одинаковыми, казалось бы, по характеру, воспитанию, общему развитию, образованию? Почему вероятную смерть каждый встречает по-своему? Некоторые даже мыться переставали на фронте. А махра? Я сам был свидетелем: один тип, скуластый такой, выкурил за время небольшого авианалета целую пачку. Правда! Видимо, все же восприятие бомбежек сугубо индивидуально.

Всего одна бомба упала на Гумрак, но, видать, серьезная.

- Шальная какая-то! - проорал Жуков на ухо Михаилу.

- Шальная... Ты посмотри, куда она вмазала! - скривился Михаил. Оставив убежище, он глядел в хвост отбомбившимся немцам. "Юнкерсы" уходили на северо--запад, а на месте ремонтных мастерских, куда они с Жуковым доставили свои самолеты, дымились развалины.

- Что же теперь делать, дядя Миша?

- Да, обезлошадели окончательно, - молвил Ворожбиев в досаде, продолжая глядеть в сторону завода "Красный Октябрь". Там что-то рвалось, бурно выпирали клубы грязно-желтого дыма, кипел огонь. - Потопали, сынок, домой. Здесь не самолеты светят нам, а ящики с крышкой...

Был конец июля 1942 года.

Лишь сутки спустя притащились они в Мечетинскую.

Аэродром недалеко от станицы - за гущиной лесополосы. Михаил подался док-ладывать о плачевных делах с ремонтом самолетов, а на КП - дым коромыслом. Еще при подходе к аэродрому бросилось в глаза, что тот буквально забит "илами". Оказывается, на небольшую летную площадку посадили два полка. Штурмовики возвращались с боевых заданий, заруливали кто куда и - шабаш, горючего ни капли, Наземникам позарез нужна помощь авиации, заявки поступают беспрерывно, а самолеты - на приколе. Напряжение с каждым часом накалялось, но кто теперь разберется в путанице? В абракадабре отступления кто-то посадил полки в Мечетке, а батальон авиаобслуживания и вместе с ним цистерны с бензином направил в другое место. Так объяснял начальник штаба полка. Но объяснения в баки не зальешь...

Барабоев связался по телефону с аэродромом в Кагальницкой, где базирова-лись истребители прикрытия, попытался выпросить горючего. Но командир полка ЛаГГ-3, мужик грубоватый, ответил присказкой: "Бердичев - одно слово, Тихий Дон - два, а иди ты... ровно три..."

Комдив вызвал Барабоева. Вернулся тот на себя не похож. Исчезла горделивая стать, потускнел, гимнастерка щегольская на нем, как на вешалке. Увидел Ворожбиева, вдруг шлепнул себя

ладонью по лбу.

- Товарищ Ворожбиев! У-2 заправлен?

- Откуда я знаю? Если никто не летал...

- В таком случае... - Тонкий голос майора зазвучал на самой высокой ноте;

- Немедленно проверьте, запускайте мотор и - марш! Ищите колонну БАО! По всем дорогам! Найдите во что бы то ни стало. Они далеко не ушли. Передайте комбату, чтоб под страхом трибунала без малейшего промедлении направил бензовозы сюда. Выполняйте!

- Товарищ командир, а где искать колонну?

- Здесь! - шлепнул майор по карте пятерней.

Михаил только крякнул. После получения столь исчерпывающих указаний оставалось одно: утюжить воздух, пока не опорожнится собственный бак или не срубят фашистские истребители.

Как ни желал он помочь застрявшим в Мечетинской ребятам, надеяться на удачу не мог - слишком много "но". Один из погибших летчиков, весельчак, улетая на боевое задание, частенько напевал: "Если не собьет меня фон-Тот, в клещи не зажмет фашистский флот, не сразят в зенитной буче и не плюхнусь без горючки, - я вернусь к тебе, родная мама". Да уж... Шастающие по-над степями зондерегеря - фашистские истребители-охотники - так и высматривают У-2, знают, на них возят начальство, доставляют важные донесения.

Куда править свой путь, Михаил не ведал. Оставалось следовать суровому за-кону: чем вопрос сложнее, тем проще надо его решать. На запад, навстречу немцам, БАО не попрет. "Все остальные пространства твои". А пространства эти ого-го! Михаил раскрыл карту излучины Дона, подумал: "Командир БАО майор Тэйф, зная положение на нашем участке фронта, скорее всего подастся... Черт знает, куда его понесет! Но как бы то ни было, из квадрата Верблюд - Кущевская, Егорлыкская - Веселый он выбраться не успеет". Почему-то Михаил был в этом уверен. А отличить машины Тэйфа от других БАО нетрудно; на крышах и бортах белый круг - вроде Сатурна с окольцовкой.

Михаил с майором Тэйфом знаком. Мужик дело знает, технику, имущество бережет, обеспечивает боевую работу полков отменно. Но как угадать, по какой он подался дороге? Думать надо. Думать... По магистралям, забитым всевозможным транспортом, Тэйф не поедет. Эти дорожки - малина для "мессеров". Нет, он выберет какую-нибудь захолустную, но поди знай какую... Их тьма там, не нанесен-ных ни на одну карту. Кажется, размотали клубок ниток, порвали и раскидали - такими

видятся проселки с воздуха. Взлетай, Михаил, и жми туда, не знаю ку-да...

Однако известно; таланный и в море свое отыщет. Долго рыскал Михаил над обозами, клубящимися жирной пылью, над раздерганными кучками людей в военной форме и в гражданском, над отощавшими стадами, но машин БАО так и не засек. Морщился, поглядывая на бензочасы: стрелка их все ближе клонилась к нулю. Пора прикидывать, к какому населенному пункту приткнуться, чтоб сообщить в полк о своей неудаче: в те времена по шифру "Воздух" можно было с любой почты получить бесплатную связь с военным абонентом. Михаил уже наметил подходящую станицу. И вдруг обнаружил колонну БАО. Машины стояли вдали от шоссейной дороги в ложбине у пруда.

- Ишь, расположились!.. - буркнул Михаил, приземлившись на стерне. - Давай живее комбата! - крикнул подбежавшему сержанту.

Но майор Тэйф, опознав связной самолет дивизии, семенил к нему сам. Уяснив, в чем дело, задумался. Еще бы! Гнать бензоцистерны в Мечетинскую... Расстояние-то...

- Покажи, где немцы? - потянулся комбат к планшету Михаила.

Михаил пожал плечами. Тэйф топтался в пыли шикарными хромачами с утиными носками, думал. Затем положил руку на плечо Михаила, попросил:

- Послушай, сделай доброе дело, а? Пошарь в округе, понимаешь? На всякий случай.

- Поблизости немцев нет, иначе меня бы здесь не было. А осуществлять почетный воздушный эскорт я не намерен. Уж не принимаете ли вы меня за истребитель прикрытия? В таком случае, извините, товарищ майор, я "кукурузник". Короче, гоните в полки бензин, и вся недолга.

- Товарищ Ворожбиев! Михаил, ну будь человеком, войди в мое положение! Я в дьявольском треугольнике: вот здесь - мои люди, вот здесь - немцы, а вот здесь - трибунал. В долгу не останусь, в любое время до конца войны будешь иметь флакончик...

- Впервые слышу, чтоб на фронте предлагали взятки.

- Да ты что, Михаил! Какая взятка? Перекрестись!

- Ладно, заправьте мою фанеру.

- Это мы сей минут!

С полным баком Михаил взлетел и взял нужное направление - теперь он знал, куда лететь. В ту же сторону потянулись бензоцистерны. Приходилось бесконечно петлять, восьмерить, виражить и черт знает что еще вытворять у самой земли, только

бы не терять из виду медлительные машины с топливом. Выносливого Михаила даже мутить начало от бесконечного верчения: такие выкрутасы изматывают гораздо сильнее обычных полетов на сотни километров. Чтоб не жечь понапрасну бензин, он временами приземлялся на ровных местах, выключал мотор и отдыхал, ожидая, пока подтянутся цистерны. Вот где пригодилась инструкторская трениров-ка: взлет - посадка, взлет - посадка...

После одного из приземлений к нему подкатила полуторка с солдатами, за ней- "виллис". Выскочили два капитана.

- Что случилось? Требуется помощь?

- Нет.

- Так в чем дело? Почему вы здесь расселись?

- Отдыхаю.

- Предъявите документы.

Михаил передвинул кобуру с пистолетом на живот.

- Прежде свои предъявите.

- Мы заградотряд. С приказом 227 знакомы?

- Знаком, Но знаю и то, что в нашей форме со шпалами и кубарями появляются здесь спецы из дивизии "Бранденбург". По-русски, между прочим, лопочут свободно.

Капитаны усмехнулись, показали свои документы, Михаил - свои, пояснил, чем занимается. Капитаны переглянулись, покрутили головой, как показалось Михаилу, недоверчиво и вместе с тем уважительно.

- Неужто так и скачете?

- Надо же поить самолеты! Кстати, у вас воды не найдется, попить?

- Пожалуйста. Тепловатая, правда...

Солнце, размытое донским маревом, скрылось за холмами, когда бензовозы въ-езжали на аэродром в Мечетинской. А там шурум-бурум: поступил новый приказ - срочно перебазироваться. Германская бронетанковая часть прорвалась к Батайску.

Сколь стремительно темнеет в степях задонских летом, известно. Глядишь, закат вполнеба пылает, а обернешься вокруг - лишь тоненькая полоска теплится над горизонтом.

Михаила время суток не смущало: пусть ночью будет темней, чем в чулане, на У-2 он все равно полетит. А на "илах" как? Попробуй лететь, когда в глаза бьют пронзительно-яркие выхлопы из патрубков мотора. Потерять пространственную ориентацию - раз плюнуть. Пилоты слепнут и сами себя гробят.

Бензовозы, выкачав содержимое цистерн, ретировались, а летчикам осталось коротать ночь в неизвестности. Неплохо, конечно, в степи на свободе, - завернись в моторный чехол и дыши настоем чебреца да полыни! Но есть сомнение: пока будешь

блаженствовать под чехлом... Михаил доложил и. о. командира, что видел немцев в степи в полусотне километров от аэродрома, но сказать во всеуслышание язык не повернулся. Зачем нервировать летчиков: им с рассвета каторжная работа.

Германские танки прут напрямую, могут появиться здесь скоро, а могут и не скоро. Или вовсе не дойти: танк ночью - крот слепой. Правда, если уж враг проведает о полевом аэродроме, забитом самолетами, столь жирный кус он не упустит.

Барабоев приказал летному составу неотлучно сидеть в кабинах самолетов и в случае крайней необходимости, то есть нападения на аэродром, взлететь по его сигналу.

- Очередность следующая: я первый, за мной...

Вначале называл летчиков посильнее, поопытнее, самых слабых напоследок. Логика простая: кто сумеет взлететь в потемках, тому на роду написано выжить. Но каково было слабачкам пилотам слушать командирский инструктаж! "Ведь поразбиваются, бедняги, на взлете", - подумал с сочувствием Михаил, а тут и до него очередь дошла.

- Товарищ Ворожбиев, поскольку вы имеете опыт ночных полетов, пойдете лидером полка до Сальска.

- Как лидером? На У-2?

- К чертовой матери У-2! Берите... берите двадцать девятый "ил" и прокладывайте маршрут.

- А как же я? - пролепетал, едва не плача, Ваня Жуков, хозяин двадцать девятого.

Майор смерил его прищуренным взглядом, фыркнул:

- Соображать надо... Не понимаешь? Отверни смотровой лючок и залезай в фюзеляж. Не Илья Муромец, втиснешься как-нибудь...

КП опустел. Михаил приготовился лететь, куда велено. Не исключено, что и на тот свет. Ибо, как уже сказано, "ил" для ночной работы не приспособлен. Ворожбиев, конечно, убеждал себя, что взлетит нормально, успокаивался, забывался на несколько минут. Однако ожидание, неопределенность, усталость - целый день носился на малых высотах - возвращали его к скверной действительности. Гоня черные мысли, Михаил перебирал в памяти эпизоды мирного времени, но и это не помогало - мало-помалу его сердцем стала овладевать другая, тягучая тоска - по жене, детям, по родному дому. С горечью невозвратимости вспоминал квартиру в Николаеве, реку Буг, Варваровский мост, возле которого учил плавать Эдика и Валерию, сам город в дыму заводов и в зелени прибрежных парков. Понимал: не надо бередить душу перед трудными испытаниями. Заставлял себя думать о хорошем, о письмах

Настасьи, обстоятельных и сердечных. Они были, как луч света из иного, спокойного мира, того, далекого тылового городка, куда эвакуировали семью. Были, как праздник, как символ другой жизни - без ежеминутных смертей и разрушений, просто жизни, которая теперь казалась недосягаемой мечтой.

Время шло. Степь затаенно безмолвствовала, лишь стрекотали цикады да на севере вдали что-то полыхало, подсвечивая небосклон. Затем зарево подвинулось вправо, и Михаил понял, что начало светать. Он отстегнул парашют, вылез из ка-бины на крыло. В еще темной лесопосадке отливали смутной белизной стволы бере-зок, фыркая, шевелил сухую траву еж. В Мечетке кукарекнул петух, и тут же в ответ ему заорали другие. На востоке небосклона быстро прочертилась бледная полоска. Рассветало все заметней, но аэродром по-прежнему таился в безмолвии.

Михаил постучал легонько по обшивке фюзеляжа, негромко спросил:

- Как ты там, выдрыхся, добрый молодец? Вылезай!

Из смотрового лючка показалась лохматая голова, затем вывинтилось щуплое тело. Потирая бока, Жуков кисло пожаловался:

- Там, дядя Миша, железяк всяких - страх! Думал, насквозь проткнут.

- Сделай зарядку, и все пройдет. А лучше мотай к командиру, скажи, мол, Ворожбиев спрашивает, какие будут дальнейшие указания.

Сержант убежал, гоцая сапожищами, и тут же вернулся. С веселым лицом отра-портовал:

- Майор велел вам явиться и нему.

Барабоев сидел в кабине, фонарь открыт.

- Товарищ Ворожбиев, обстановка изменилась к лучшему. Если мы бросим здесь У-2, нам не поздоровится. Так что запускайте мотор и держите курс в штаб дивизии. Дальнейшие указания получите там.

Михаил еще топал к грязному, запыленному "кукурузнику", а "илы" уже исчез-ли за горизонтом. Все, кроме одного. Двадцать девятого заколодило - ни тпру, ни ну! Будто злой рок вцепился в бедолагу Ваньку Жукова: перегревается двигатель. И тут на дальний край аэродрома выползло что-то странное - приземистое и серое. "Танк! Немцы!" - закричал кто-то. Возле машин с полковым имуществом переполох. А Ванька Жуков все возится со своим "илом".

Но это был не танк. Поперек поля на голых дисках катилась полуторка. Из кузова, набитого солдатами, заорали:

- Какого... вы тут маринуетесь! Тикайте! В станице немцы!

Ворожбиев подбежал к самолету Жукова. Водяной радиатор исходил паром.

- Что у тебя?

- Я только начинаю свечи прожигать, а он уже кипит.

- Пусть кипит, взлетай!

- Он не хочет... Мощности мало.

- Мозгов у тебя мало! - ругнулся Ворожбиев. - А ну, бегом на У-2 и в воздух. А я на "иле".

- А если не поднимете?

- Не твое дело!

Жуков прытко полез в "кукурузник".

Автомашину без скатов поглотила пыль. Жуков потарахтел на У-2. Михаил остался один на один с неподдающимся "горбатым". Стрельба слышалась все явственнее, бой шел где-то совсем недалеко. Михаил поднялся на крыло, присел на борт кабины, взглянул на приборы. Откуда взяться мощности, ежели температура воды и масла за красной чертой! Остужать надо! Остужать... Вон с утра какая жара...

Спрыгнул на землю, заглянул в брошенную на стоянке пожарную бочку. Вода вонючая, с окурками. Поднял банку из-под тавота, принялся окатывать раскален-ный двигатель, как лошадь; Упарился, снял гимнастерку, выплеснул ведро себе на голову. Ф-фуф!.. Вот бы поглядел кто, какую я "горбатому" баню устроил! С язычка не слезал бы... А уж в "боевом листке" изобразили бы непременно. "С кавалерийской скребницей!.." Присел в тени под крылом. Что же делать? А если поднять самолет сразу после запуска, не прожигая свечи? Мотор может потянуть, а может и не потянуть. Если потянет - хорошо. А если нет, если обрежет на взлете? Тогда плохо, амба! Тьфу! А ежели не взлетать вообще? Сжечь самолет к чертям и... привет, Маруся! Кто и что тебе скажет? Ты сам себе здесь и царь, в бог, и воинский начальник. Неисправный самолет врагу не оставил? Нет. Значит, и спроса с тебя нет... Так-то оно так, да только себя-то не обманешь. Встретишься потом с подлецом каким-нибудь, с трусом - и помалкивай в тряпоч-ку: "Сам такой!" Нет, не хочу! Выбор един. Как говорится, разумный риск. Ежели такой существует... Эх, фортуна, фортуна! Красивая, говорят, ты бабенка, да больно капризная. Но чем черт не шутит...

На другой стороне аэродрома разорвалось несколько снарядов, раздалась пулеметная стрекотня. Михаил поежился, подумал мимолетно: "Интересно, какой у них калибр?" - и, обжигая ладони о раскаленную обшивку самолета, взобрался па крыло. Окинул взглядом окрестности, затем кабину. "А

температура спадает. Но запускать, пожалуй, рановато". Опять серия взрывов прошлась по дальнему краю летного поля. "Вот проклятье! Этак в "вилке" окажешься. Дольше сидеть - это риск уже неразумный". Запустил двигатель, зажал тормоза, дал полный газ. Все жилки напряглись; обрежет или нет? Но мотор перебоев не дает. Самолет уже в разбеге, взлетает. Михаил сбрасывает обороты и ложится на курс.

Подобных ситуаций на войне хватало. И автору этих строк примерно в те же дни пришлось угонять самолет из-под самого, можно сказать, носа немцев.

Помню поселок Подгородний возле Днепропетровска. Земля ходуном, небо дрожит от гуда - бомбят мост через Днепр. А по мосту - поток: телеги, машины, детские коляски. Ревут надсадно моторы, воют клаксоны, воют люди... Немногим суждено выбраться на левый берег: бомбежки чудовищны.

На площадке Подгородного (аэродромом ее не назовешь) ремонтируют самолет, который мне приказано перегнать. Фанерный У-2. Отбомбившиеся Ю-87, "штукасы", выходя из пикирования, шныряют над нашими головами. Ремонтники нервничают, боятся. Мне, военному летчику, жестокими законами войны предопределено: то ля я убью врага, то ли враг убьет меня. Но им-то, рабочим, каково в неутихающем грохоте? К тому же мы в неодинаковом положении: я улечу на отремонтированном ими самолете, они останутся. Поэтому я чувствую себя перед ними виноватым. Как бы лично виноватым.

Гляжу, перестали стучать инструментом. Собрались в кучку, пошептались, и вдруг; "Привет! Мы пошли".

- Да вы что, товарищи? Дел-то осталось всего ничего! Я помогу, если на-до...

- Видали мы помощничков... Ты тем помогай! - И на мост показывают, забитый людьми.

Как кнутом стеганули меня. Обида их справедлива. Но ведь и я не по своей воле торчу здесь.

- Товарищи, это машина фронтовой связи. Она нужна позарез.

- По домам, мужики, пока целы!

Вижу, дело плохо. Переложил предусмотрительно пистолет из кобуры в карман куртки, сказал сдержанно:

- Очевидно, вы забыли, что мобилизованы по законам военного времени. В атаку вас, между прочим, не посылают. Но за дезертирство - расстрел на месте. Так что не вынуждайте к крайним мерам...

Ремонтники переглянулись, перемолвились, пошли к самолету. Дальше подго-нять их нужды не было. Вертелись, как наперченные. И все же закончили только в сумерках...

Прежде чем пускаться по маршруту, следовало бы опробовать машину в возду-хе. Да куда уж, не до взлетов-посадок - быстрей убираться надо. Но на носу ночь, а я такой лихой пилот, что ночью - ни-ни! Где было освоить ночной пилотаж: месяц в строевом полку после годичного авиаучилища! А лететь надо на полевой аэродромчик, который и днем с фонарем не сыщешь. Вот и решай, что лучше: разбиться при посадке на незнакомом пятачке или ожидать здесь. Погибнуть никогда не поздно, утверждают знающие люди. Продержаться бы до рассвета. А если немцы свалятся на голову?.. И все же решаюсь дождаться петухов. На всякий случай буду держать мотор прогретым...

Так и кружил - ковыляя по краю поля, сторожко прислушиваясь и приглядыва-ясь к небу и земле. "Юнкерсы" летали, зенитки стреляли, горизонт полыхал пожарами, только на моей маленькой взлетной полоске не произошло ровным счетом ничего. А ранним утром я приземлился на новой базе.

Но чем закончились приключения Михаила Ворожбиева?

Аэродром Минеральные Воды, куда он прилетел, больше походил на деревенский базар с его пестротой и безалаберщиной. Ворожбиев сел для того только, чтоб заправиться, а там... куда ни обернись - самолеты без горючего. Ответственные топливники даже не разговаривали с Михаилом. Лишь один снизошел, сказал со вздохом мученика:

- Ты видишь перед собой истребительный полк? Он на приколе, причина - отсутствие горючки. На другой стороне гвардейский. Причина та же. А дальше полк "горбатых". А за ним истребители... Изыди, парень, не топчись понапрасну! Дуй лучше на шоссе, за пачку махры попутка дотащит куда надо...

У Михаила руки опустились. Побрел неприкаянный, шаркая сапогами по траве, понурив голову. Вдруг голос:

- Миша, ты ли это?

Михаил встрепенулся.

- Костя!

Перед Михаилом - аэроклубовский механик из Симферополя. Обнялись, разговорились. Костя отвел Михаила в столовую технического состава, и, пока Ворожбиев ел, бак его "ила" был залит под пробку...

Часть удалось найти лишь спустя три дня аж в Дербенте. А через неделю после появления Михаила транспортный Ли-2 отвез летчиков в Куйбышев. Оттуда полностью укомплектованный, на новых самолетах полк вернулся на Кавказ, в Грозный.

Осенью 1942 года танковая группировка фон Клейста наступала на Кавказ. Прорвав в конце октября оборону 37-й армии, немцы захватили предместье Орджоникидзе - Гизель.

Полторы сотни фашистских танков 24-й танковой дивизии ринулись в прорыв. Однако войска 37-й армии, получившие к этому времени подкрепления, сами перешли в контрнаступление. Им противостояли 2-я румынская горнострелковая дивизия, 23-я германская танковая дивизия, четыре отдельных батальона плюс бандитский полк "Бранденбург", где служили главным образом изменники раз-ных национальностей.

Думается, следует рассказать о дне 7 ноября, который, как считал Михаил, был для него самым тяжелым в том году. На мой же взгляд, не только седьмое, все дни в ноябре были самыми тяжелыми - и для нас, летчиков, и для всего народа. Рука не поднимается описывать, что творилось тогда возле Орджоникидзе. Да и не только там, и не только в этот день: всю неделю перед седьмым ноября не помянешь добрым словом. Наш штурмовой полк нес небывалые потери.

Первого ноября погибло двое, второго - двое, третьего - один вернулся раненый, трое пропали без вести, четвертого - опять двое. Пятое везучим днем оказалось: возвратились все. Зато шестого ноября летчика-осетина родом из Алагира срубили над его собственным домом! Ну, а седьмого... Тут, пожалуй, надо сделать небольшое отступление.

Незадолго до этих предельно напряженных, тяжелых дней в газете "Красная звезда" была опубликована строгая передовица. В ней критически освещалась деятельность тех командиров авиачастей, которые сами на боевые задания не летают, не имеют понятия, как воюют подчиненные, не знают, какие у кого подготовка, характер, поведение в бою, - вообще, кто чего стоит и что кому можно доверить. Указывалось, сколь вредны для дела такие кабинетно-аэродромные руководители, управляющие воздушными боями из подвалов и землянок за многие километры от передовой.

И. о. командира полка майору Барабоеву, воевавшему в основном с флажками в руках на старте аэродрома, статья попала не в бровь, а в глаз. Подумать только! Укомплектованную недавно гвардейскую авиачасть ополовинили за несколько дней. Виноват в том командир полка, не виноват ли, а отвечать ему. Пришлось комдиву снимать и. о. с должности.

Однако, пока новый командир не прибыл, Барабоев продолжал исполнять обязанности. Но странная метаморфоза произошла с человеком: его словно подменили! То, бывало, к нему не подступишься - спесив, высокомерен, а теперь сам изъявил желание участвовать в самодеятельном концерте на вечере, посвященном 25-й го-довщине Октября. Вызвался изобразить на сцене гитлеровского генерала, который теряет

штаны, убегая с Кавказа. Самолично сочинил куплеты:

После страшны мясорупка
Полк эс-эс как не биваль.
Я с испука бапий юпка
На поштаник отеваль...

Но и это не все. Барабоев вдруг загорелся такой любовью к подчиненным, что пожертвовал сотнягу и, вручив деньги писарю, послал его в Грозный купить для женщин полка - оружейниц, прибористок - духов, пудры, губной помады.

Много воды утекло с тех пор, и давно уж все пришли к выводу, что нет нужды отступать от правдивого показа жизни и смерти на войне, нет необходимости приукрашивать начальников, врать, будто они, все подряд, были безгрешнейшими из безгрешных, мудрейшими из мудрых и отважнейшими из отважных. Всякие были. Война есть война, люди есть люди. Жизнь на фронте горестна и весела, славна и позорна, красива и омерзительна.

Намотавшись за день шестого ноября в треклятых предгорьях, летчики повалились на нары - повалились и как провалились. Барабоев, не летавший обычно ту-да, где стреляют, вечером пригласил в гости дружка, дивизионного инспектора по технике пилотирования. Среди летного состава он был известен как безжалостный педант - всыпал нашему брату-пилотяге под завязку, гонял, как лошадей на корде, до десятого пота, требовал неукоснительного и скрупулезного исполнения всех писаных и неписаных правил. Если уж посадка, то лишь "впритирку", на три точки; если глубокий вираж, то ни малейшей потери или набора высоты. "По закону", как он любил говорить. Появление его в полку было для нас сущим бедствием. Ладно бы придирался в свободное от боев время - так нет же! Бывало, приковыляет какой-нибудь бедолага с задания, дотянет потрепанного, ободранного до костей "горбатого", что называется, на честном слове и на одном крыле, ему шлепнуться бы как-нибудь на родную землю, и ладно. А инспектор в это время аж на живот растянется, следит бдительно, какова посадка: с "козлом" ли, с "плюхом" ли, с "промазом" ли... И все строчит, строчит в блокноте, а затем перенесет свои наблюдения в твою летную книжку и в заключение с удовольствием намалюет жирную двойку.

Два сапога пара. Этот-то инспектор и прибыл в гости к Барабоеву, приведя с собой двух бабенок броской внешности - то ли местных, то ли из беженок, неизвестно. Что происходило в землянке, нам также неведомо - осенняя ночь темная. Пели, однако, и сапогами стучали так лихо, что проходивший мимо патруль отметил понимающе: "Командир прощается с местом

службы..."

Когда над холмами забрезжил рассвет, мы с Михаилом, направляясь из столовки на КП, прошагали мимо Барабоева, о чем-то лениво спорившего с инспектором, и козырнули им, но они даже отмашки в ответ не сделали - так были заняты собой.

Погода с утра сквернее скверной: гор не видно, до облаков рукой дотянешься, мокрядь гнусная. А лететь, конечно, заставят, в этом никто не сомневался. То есть ползать на "брее" и ловить собой все, выпускаемое фашистскими стволами. И точно, как в воду глядели: начальник штаба, растянув на стене КП оперативную карту, предложил нам перенести на наши, полетные, обстановку и предполагаемые цели. Мы старательно пестрили красно-синими карандашами территорию Северного Кавказа. Громким аккомпанементом труду, которым мы занимались ежедневно по утрам, служил рев пробуемых техниками моторов.

Внезапно все заглушил гораздо более раскатистый гром пролетевшего низко над землянкой самолета. Начштаба тотчас схватился за трубку полевого телефона, спросил дежурного по полетам, кто прилетел на аэродром.

- Не прилетел, а взлетел. Майор Барабоев, - последовал ответ.

- А дивизия дала разрешение?

- Нет, майор сам...

Начштаба выскочил из КП, мы следом. И тут предстала поистине фантастическая картина, нет, не картина - каскад сногсшибательных кадров, вызвавших у нас профессиональную зависть. Барабоев летал над аэродромом, но как летал! Нам и присниться не могло подобное. На тяжелом бронированном штурмовике он откалывал такие штуки, что не всякому истребителю по зубам.

- Вот так надо пилотировать над целью! - ахнул я с восхищением, - Черта с два подловят зенитки.

Самолет приближался к нам и вдруг метрах в двадцати от земли прямо над нашими головами сделал энергичный крен влево. Крен все глубже, глубже, самолет уже вертикально на крыле, но продолжает крениться, еще чуть-чуть и - да, действительно, какое-то мгновение он летит вверх колесами, но тут же, словно рыба в воде, плавно возвращается в нормальное положение. Нас обдает рваным воздушным потоком, а мы стоим, оцепенев, и глядим на высочайшее пилотажное мастерство. Вот кто мог бы молотить фашистских захватчиков! Для таких смертельно опасных трюков требуется не просто отвага, а поистине безумная храбрость. Но почему же майор при таких редких качествах не летает на боевые задания?..

Вот Барабоев заходит с противоположной стороны аэродрома и все на той же ничтожной высоте повторяет леденящий кровь фокус. В этот раз вводит самолет в крутой разворот еще энергичней. Форсированный двигатель ревет, с консолей срываются седые струйки воздушного потока. Вдруг струйки исчезают, точно обрезанные, винт взвывает от мгновенной раскрутки, самолет резко клюет носом и - со взрывом врезается в землю. Несколько секунд мы, замерев, смотрим на багровое пятно огня, затем срываемся и несемся к месту катастрофы.

- Стой! Назад! - кричит пронзительно начштаба. - В землянку! У него бомбы!

Мы обратно. Сидим, ждем взрыва. А начштаба все звонит, все накручивает телефон. Наконец объявляет, что бомбы у майора были без взрывателей. Выходим. Стоим, поникнув головами. Смотрим исподлобья, как догорает исковерканный ме-талл. Кто-то вздыхает, кто-то с досадой роняет:

- Вот, оказывается, какой он летчик!..

- Поздно раскрыл инкогнито...

- Мы видели, какой он пилотажник, а какой летчик - это еще вопрос.

- А кто из нас сумеет показать такой цирк?

- Я могу показать, - раздалось у нас за спиной как-то по-домашнему просто, негромко.

Мы повернулись на голос. Михаил Ворожбиев. Вытаращились на него с недоверием.

- Да ты без году неделя, как впервые "ил" увидел!

- Загибаешь, дорогой товарищ...

- Может, кто хочет поспорить? - так же обыденно-скучновато, однако твердо спросил Михаил. - Давайте. Поднимемся на две тысячи, и я сделаю таких разворотов сколько угодно. Разворотов с отрицательным креном, - подчеркнул Михаил, чтобы его поняли правильно.

Его поняли, загудели;

- На две тыщи - это не то...

- Почему же? Или вам нужно видеть не критические эволюции, а мой гроб? Так жизнь наша, братцы, еще там нужна, - кивнул в сторону фронта.

Туда мы и полетели спустя час.

На Михаила, летевшего ведомым, набросился какой-то чумной "мессершмитт". Его атака была внезапной, как молния. Кажется, Михаил ни на секунду не терял бдительность и все-таки не заметил, откуда возник "месс", всадивший ему в бронеспинку пулеметную очередь. Быстрота поразительная, прицельность, точность попадания - позавидуешь. Бронеспинка - задний щит, но

когда по этому щиту куч-но стегают пули...

- Дядя Миша! - вскричал на земле Ваня Жуков, раскрыв по-детски рот от удивления. - Вы же родились в рубашке, честное слово! Теперь можете летать спокойно весь день. Башку на отруб даю!

Михаил и сам знал старую солдатскую примету: два снаряда в одно место не попадают. Но Жукову не ответил и, хотя суеверным не был, отвернулся и плюнул через левое плечо.

В двенадцать сорок он повел шестерку, груженную бомбами, на Нижнюю Санибу. Цель близко, километрах в двадцати за линией фронта. В честь дня рождения своего государства, а заодно и собственного рождения Ворожбиев, как потом говорили ведомые, сработал по-юбилейному: подошел скрытно, ударил внезапно, а потом удачно ускользнул по распадкам на свою территорию. Зарулив на стоянку, подумал: "Ну, пожалуй, на сегодня все... Темнеет быстро, да и пасмурно к тому ж. Пойдем в землянку готовиться к торжественному вечеру. Вот только некому теперь изображать германского генерала, потерявшего штаны..."

- Братцы, гля, что творится! Ни у кого ни единой пробоины! - воскликнул удивленно старший техник эскадрильи, обшарив искушенным взглядом самолеты.

- Я вижу, вы разочарованы? - спросил Михаил, щурясь в усмешке.

- Чур на вас! Скажет же такое... Смотрите, не накаркайте, товарищ лейте-нант.

- Тьфу, тьфу!

Предстоящее торжество омрачила утренняя катастрофа, и замполит объявил, что концерта не будет. Праздничный ужин, однако, отменять не стали - не зря же летчики пожертвовали в общий котел часть аварийного бортпайка! Но военная судьба, видать, не чтит праздники, а над Михаилом она и вовсе надсмеялась. Подходит к нему комэска и с кислой миной говорит:

- Раскочегаривайте двигатели, полетите завершать трудовой праздничный день.

Предстояло нанести удар по механизированной колонне на дороге Лескен - Аргудан - Нальчик. Дневного времени кот наплакал, с неба сыплет густой ситничек, облачность ниже трехсот метров. Летчики понимали: чрезвычайное задание не от хорошей жизни. Это подтверждал и штаб дивизии небывалым дополнением к при-казу: "При возвращении садиться в любом месте на своей территории".

Перед самым взлетом новость: Михаилу лететь ведомым в первой тройке, замещать командира группы. Ваня Жуков пошутил:

- Это вам, дядя Миша, подарок на именины.

Едва пересекли линию фронта - и началось... Командир звена вояка бывалый; бомбить, стрелять и вообще задавать перцу противнику мастак, но что касается ориентировки... однажды над собственным аэродромом заблудился. Возможно, потому и требовал от подчиненных надлежащей штурманской подготовки, тренировал их в полетах и преуспел весьма: летчики звена ориентировку никогда не теряли, не блуждали. Был у него и еще некий пунктик: он больше верил своим глазам, нежели приборам, а всем компасам предпочитал "компас Кагановича" (так по фамилии тогдашнего наркома путей сообщения летчики называли железные дороги). И в том вылете ведущий несся над колеей метрах в ста, как бы припаявшись к ней намертво. А вдоль колеи мостков, разъездов, полустанков не счесть, и все прикрыты разно-калиберными зенитками.

Самолеты усеяла рванина пробоин. Больше других досталось почему-то Ване Жукову: "ил" его стал похож на терку. А до цели еще лететь и лететь. Тут хло-быстнул проливной дождь. Не в подмогу! Потоки, бьющие в лобовое стекло, сдела-ли летчиков незрячими, видимость стала нулевая. Но группа продолжала продираться вперед, держась нити рельсов, как слепой плетня. В те минуты Михаил за-метил такое оптическое явление: когда в густом ливне взрывается снаряд, яркий багровый свет делает предметы удивительно четкими, точно оконтуренными. Интересное явление, подумал он, и вдруг на долю секунды в этом багровом озарении отпечатался самолет Вани Жукова, отпечатался и исчез, "Неужели все? И нет больше Ивана?"

Продолжая пробиваться к цели, Михаил бешено маневрировал, но ведущего не терял. За Аргуданом мутный занавес поднялся, дождь перестал, посветлело. И тут под нижней кромкой облаков Михаил увидел "мессеров". Их было, как оказалось, четыре. Но в сгустившихся сумерках предгорий глаза Михаила засекли только пару. Вторая пара сама дала знать о себе. 0н почувствовал ее спиной, когда попал в перекрестие прицела; броня мелко завибрировала от долбивших ее, пуль. Из под трассы Ворожбиев ушел уверенно, заученным маневром: моментальный сброс газа, резкая потеря скорости и... Грязно-желтый крест закрыл полнеба. Он возник вдруг и застыл перед ним, как стоп-кадр. Не Михаил - все его существо вскрик-нуло: таран! Казалось, он уже не в силах был предотвратить неизбежное. Сработала молниеносная реакция. Пальцы стиснули все гашетки. Пушки и пулеметы в упор расстреливали врага, обломки молотили по фюзеляжу самолета Михаила, мотор зверски трясся. Инерция бросила летчика на приборную доску, но

он не свернул с курса. Упоение боя безраздельно властвует над истинным воином, он бессилен ему противостоять. Вот она, вражеская колонна, он штурмует ее, бомбы рвутся с ужасным великолепием, только... тряска... тряска! Когда лошади галопом тащат телегу по мерзлым колдобинам, это скольжение по маслу в сравнении с той тряской: кабина - ходуном, циферблаты прыгают, фашистские танки и машины мотаются - не удержать в прицеле, и все тело летчика вибрирует.

Хвост колонны. Михаил делает "горку", намереваясь прочесать немцев еще раз, но мотор внезапно "сдыхает". Катастрофически теряя скорость, тяжелый "ил" устремляется к земле.

"Отверни от колонны!" - приказывает себе Михаил. Двинув изо всех сил рулями, он меняет направление полета. Самолет, оседая, несется по ущелью, неподвижно торчат палки винта. А сверху настырно жмет "месс", - очевидно, напарник только что сбитого. Обшивка на крыле вспухает под пулеметными очередями. "Илу", кажется, уж и лететь не на чем, лишь опытная рука какими-то немыслимыми манипуляциями рулей удерживает его в воздухе. Вот опять очередь... И нет возможности ни отбиться, ни увернуться! Противник явно идет на добивание. Вспышка, треск. Лицо обдает жаром, резкая боль пронзает голову, все вокруг стано-вится багровым. Михаил видит багровые кусты, несущиеся навстречу, и добирает ручку управления. Удар! Самолет, распарывая фюзеляж, со скрежетом ползет по багровым камням...

"Сегодня ведь праздник..." - смутно отдается в сознании. И - мрак,

Предвижу; читая это, кое-кто может пожать плечами. А что здесь необычного? Такое случалось бесчисленное множество раз. Наши сбивали, наших сбивали. На войне, как на войне.

Рассуждения, в общем, правильные, но...

Кто, как и кого сбивал? Пора наконец докопаться, до причин наших огромных авиационных потерь, особенно в первые годы войны (германские потери меня, по понятным причинам, интересуют меньше).

Хотя о себе распространяться и не подобает, личный опыт дорог. Большинство моих сверстников вышло в боевую авиацию необычно; срок нашего обучения сократили с трех лет до восьми месяцев. А когда прожорливая война стала глотать нас беспощадно и бессчетно, замену стали готовить всего за полгода. Смекаете? 36 месяцев... 8 месяцев... 6 месяцев... О профессиональных качествах таких летчиков и говорить нечего, приходилось полагаться на "выживание", или по-научному

"естественный отбор". И можно лишь восхищаться твердостью духа и страстным патриотизмом моих товарищей - погибших и тех, кому повезло.

Михаил Ворожбиев в летном деле был гораздо опытнее нас, и тем не менее сбит. Кем? Что представлял собой наш воздушный противник тех лет? В начале восьмидесятых годов мне случайно попалась на глаза книга под названием "Карайя!", изданная в Нью-Йорке журналистом Г. Констабле и полковником Ф. Толивером. Книга о летчиках-истребителях люфтваффе. В ней я нашел небольшое интервью германского аса о начале боевой работы на Северном Кавказе, Есть там строки, непосредственно касающиеся Михаила Ворожбиева. Вот что удалось узнать.

Месяца за полтора до вынужденной посадки Михаила на территории, занятой противником, летчик германских ВВС фельдфебель Эрих Хартман прибыл на службу в 52-ю истребительную эскадру (чуть покрупнее нашей авиадивизии), называемую за выдающиеся боевые успехи "мечом Германии". Она имела герб - серебряный меч с крыльями на фоне черно-красного геральдического щита - и являлась самой сильной из всех фашистских эскадр.

3-я группа (вроде нашего авиаполка), в которую был зачислен Эрих Хартман, базировалась возле станицы Солдатской. Нам в то время это место было знакомо, как "бомбовый городок", куда германское командование свезло эшелоны бомб - боезапас про запас, так сказать. Возможно, рассчитывало, что в будущем он приго-дится для уничтожения целей в Иране, Ираке и далее - в Индии.

Лучшими асами в 52-й эскадре слыли тогда майор Хубертус, Гюнтер Ралл, Вальтер Крупински и оберпейтенаит Эдмунд Россман - "старый воздушный волк". Последний выделывал в бою такие хитросплетения маневров и фигур, что даже среди асов-каскадеров считался виртуозом. И вдруг - надо же! - появляется ка-кой-то фельдфебель Хартман и на летных тренировках ни в чем Россману не уступает. Командир группы тут же свел их в пару "непобедимых". Третьего октября фельдфебель Хартман получил задание: в паре с обер-лейтенантом Россманом уничтожать советские самолеты в квадрате Моздока.

Это было еще до крупных схваток под Орджоникидзе. Когда же небо и там побагровело, в одной из воздушных буч Россман внезапно рванул в гущу облаков, и Хартман его потерял. Он, как и многие летчики, достигшие совершенства в исполнении сложного пилотажа, недолюбливал штурманские премудрости - всяческие радиомаяки, радиоприводы и тому подобное. "Твой маяк - твоя голова!" - был уверен он непоколебимо. Россман не

мальчишка, прилетит. Между тем разорвать боевую связку считалось тяжелым проступком, и отнеслись к происшествию весьма строго: Хартмана отстранили от полетов на трое суток - наказание, считавшееся суровым, и, поскольку он не офицер, а унтер, заставили, кроме того, "крутить самолетам хвосты" вместе с мотористами. Новоиспеченному члену националсоциалистской партии это было особенно обидно. Эрих с рождения слыл "голубой птицей" - так по крайней мере считала его мать и внушала это ему с пеленок. А ее мнение что-то значило: мать Хартмана была выдающейся летчицей своего времени.

Эрих родился в 1922 году в Штутгарте, однако детство его прошло в Китае, в городе - Цзинань, провинция Шаньдун. Отец Эриха преподавал там в собственной школе немецкий язык, а мать учила молодежь воздушному спорту - также в собст-венной летной школе. Сына поднимала в воздух с пяти лет.

В начале тридцатых годов Хартманы вернулись в фатерланд. Имея некоторые сбережения, открыли в Штутгарте спортивный аэроклуб. Но пришел к власти Гитлер, началась бурная милитаризация страны. Частное предприятие фрау Хартман было расширено и преобразовано в военную школу первоначального обучения. Эрих успешно овладевал летным искусством, в четырнадцать пет он был уже старшим инструктором. Призванный в вермахт в 1940 году, он окончил высшее авиационное училище в Нойкурне, возле Кенигсберга, затем авиаакадемию в Берлин-Гатове, а в 1942 годукурс в истребительной авиашколе № 2 в Цербсте, специализируясь на "Мессершмитте-109". Такая вот выучка...

Отбыв наказание за оплошность, Хартман стал более внимательным и Россмана больше не терял. Через неделю они и еще одна пара "мессершмиттов" летали в район Эльхотово. Там им встретились пять русских истребителей ЛаГГ-3, сопровождавших десяток Ил-2. Пара обер-лейтенапта Краунца занялась истребителями прикрытия, а Россман с Хартманом - "илами". Эрих незаметно, как учили, подобрался к "илу" метров на двести и атаковал. Совершенно явственно видел, что попадает по двигателю, но бронебойно-зажигательные пули (это он тоже наблюдал не менее ясно) отскакивали рикошетом. Раздосадованный, он приблизился к штурмовику почти вплотную и в упор всадил очередь. Неожиданно "ил" вспух огнем, и его разнесло в прах. Очевидно, пуля попала во взрыватель бомбы. Самолет Хартмана швырнуло в сторону, он конвульсивно задергался и стал угрожающе клевать носом. До базы дотянуть не удалось, приземлялся в степи, притом не совсем удачно - на две недели угодил в лазарет...

Утром 7 ноября Дитрих Грабке, командир Хартмана, сказал:

- Сегодня у русских национальный праздник, поэтому, надеюсь, мы поколотим их покрепче.

В первом вылете Хартман вился за Россманом, как нитка за иглой. Самолеты русских долго не попадались. Лишь у самой передовой, уже по пути на базу, появились "илы". Они шли на бреющем. Хартман атаковал самолет с желтым коком винта и белым номером "29". Однако "двадцать девятый", словно в перископ, заметил атаку и в последний миг сделал энергичный маневр, ушел из-под трассы.

Хартман запомнил номер.

Во втором вылете он издал клич "Карайя!" (Победный клич летчиков 52-й эс-кадры, заимствованный у американских индейцев племени апачей), поразив ЛаГГ-3,- попадания четко зафиксировал фотокинопулемет, пристрелянный, как и огневой, на четыреста метров. Второй "лаг" свалил Россман. Эрих мог бы сбить оба, но опасался опять оторваться от ведущего.

Третий вылет - патрулирование мотомеханизированной колонны по дороге между Аргуданом и Нальчиком. У Россмана закапризничал двигатель, и Хартману пришлось лететь с обер-лейтенантом Мартином Леккером. Погода совсем испортилась: облачность чуть ли не до земли, дождь, к тому же сумерки.

Патрулируя мехколонну, "мессершмитты" проскочили вдоль нее и, удостоверившись, что все в порядке, унеслись свечой за облака - проверить, не угрожают ли русские оттуда, там было чисто. Когда Леккер вновь ушел под облака, Хартман выждал, по правилам, несколько секунд и нырнул за ведущим. Под нижней кромкой было гораздо темнее. Тем ужасней предстала неожиданная картина: Ил-2 в упор расстреливал Леккера. "Мессершмитт" рассыпался на глазах.

Позиции для прицеливания не было. Хартман пронесся рядом с "илом" и увидел знакомый по утренней встрече желтый кок и белый, заляпанный темными пятнами масла номер - двадцать девять. Развернулся поспешно и... потерял самолет в сумерках. Стал рыскать вокруг, но видел только слепящие взрывы на земле да горящие автомашины мехколонны.

"Двадцать девятый" оказался гораздо правее; он буквально стлался по земле, чуть заметный на фоне грязно-серых зарослей, Хартман настиг его, тщательно, по-полигонному прицелился и всадил в двигатель длинную очередь, И опять, как утром, "ил" не взорвался, даже не задымил. Хартман круто развернулся, чтоб атаковать его еще раз, но... тот уже лежал на земле. Еще одна очередь! "Ил" вспыхнул. Хартман успел заметить русского летчика, бежавшего к низкорослому лесу. Сделать еще заход, чтоб

пристрелить его? Зачем? Теперь он безвреден, его карьера - лагерь военнопленных.

Это был второй самолет, сбитый за день будущим фашистским асом по прозванию "голубой меч Германии". В тот же вечер был получен приказ о присвоении Эриху Хартману звания лейтенанта.

Но хватит о Хартмане. Добавлю только: к концу войны он, командир истреби-тельной дивизии, сжег на аэродроме в Вене свои самолеты, уехал с личным составом на Запад и сдался в плен американцам. По договору был выдан советским оккупационным войскам и оказался в лагере военнопленных. Оттуда в 1955 году репатриировал в Федеративную Республику Германии. Некоторое время служил в ВВС бундесвера. О нем шумели как о непревзойденном воздушном бойце. К концу войны на его счету было 352 самолета (семь из них - американские).

Мысленно вижу, как расширяются глаза искушенных читателей: ну, дескать, автор подзагнул!.. Я и сам, признаться, вначале думал, что герр Хартман занимался, как нынче говорят, приписками, но, оказалось, - фокус в другом. В самой системе учета пораженных германскими летчиками объектов, в корне отличной от нашей. Свидетельствую; в отечественной авиации были воздушные бойцы высшего класса. Но, например, чтоб засчитали "чистую" победу, необходимо было устное или письменное свидетельство летавших рядом и видевших воочию исход схватки; либо (если бой происходил возле передовой) подтверждение старшего командира наземных войск; либо донесение руководителя станции авиационного наведения. Но ведь случались - и нередко - яростные сшибки за линией фронта, в тылу врага. Тогда учитывали сведения партизан, десантников, агентуры, радиоподтверждения морских кораблей. Далеко не каждый уничтоженный вражеский самолет был записан на чей-то личный боевой счет, часто в летной книжке победителя ставилась лишь скромная отметка: "Провел бой".

И еще. Ныне все знают о знаменитых боевых парах. Они возникли стихийно, в ходе боев. У ведущего появилась своеобразная живая оборона, гибкий щит. Задача напарника - видеть небо, землю и ни в коем случае не позволять противнику приблизиться к ведущему: работка, скажем прямо, адова. Но у каждого человека есть своя гордость, свое профессиональное самолюбие. Кому охота быть добро-вольным сторожем чужой славы? Летчики с характером отказывались греться в ее лучах. Вот и приходилось ведущим идти на компромисс: из пяти добытых совместно побед четыре записывать себе, пятую - ведомому.

А как было у наших противников? Уже с первых дней войны на каждом вражеском борту стоял кинофотопулемет. Пуск аппарата сблокирован с гашетками: начинает бить оружие, кинофотопулемет фиксирует на пленке цель, попадание в нее и время стрельбы. Коль попадание есть, считали немцы, значит - все! Объект выведен из строя. Но на практике далеко не всегда так. Во всяком случае, рано кричать "Карайя!".

Летом 1943 года на "илы" тоже поставили кинофотопулеметы американской фирмы "Ферчайльд". Зачем? Не знаю. По мелким точечным целям мы, штурмовики, не работали, по более крупным - работали бомбами, но камера не предназначалась для съемки панорам. "Ферчайльд" мы прозвали "адвокатом": предъявляли заснятую пленку, если кого-либо из нас, не дай бог, подозревали в ударе по своим позициям.

Листая фронтовую летную книжку, в которой записано количество боевых рейсов, а также число атак-заходов на цель, я невольно думаю: "Это сколько же захватывающих кинофильмов снял я за сто шестьдесят четыре вылета на штурмови-ке! Притом без сценаристов и режиссеров..." М-да...

Михаил, таясь и тяжело дыша, продирался сквозь колючие заросли терна. Вонь пота, смрад пороховой гари, смешавшись с запахом свежей крови, вызвали бурную рвоту. И сразу силы исчезли, руки-ноги онемели, обмякли. Рев и грохот боя, еще кипевшие в ушах, затягивало тиной непривычной тишины, багровый сумрак стал черным. Последний трепетный огонек мысли померк.

Сознание вернулось через ощущение: по телу шарили. Ветер? Зверь? Открыл глаза - немец! Мародер вытаращился с испугом. Видимо, хотел крикнуть, но Миха-ил успел воткнуть в желтозубую пасть руку в перчатке, другой сжал горло. Немец выкатил белесые, расплавленные ужасом глаза. Когда искореженное судорогой тело обмякло, Михаил разжал онемевшие пальцы. Его снова вырвало. Но теперь слабость отступила, сила рук как бы перелилась в ноги. Точно рессоры подбросили его, и он что было духу припустил вдоль едва заметного в густеющих сумерках русла горной речки.

- Михель! Михель, во бист ду? - слышались позади всполошенные голоса.

Михаил осознал внезапно, что придушил тезку.

Чужие голоса подхлестывали. Казалось, сердце вот-вот разорвется. Наконец остановился. Отдышался. Оторванным рукавом сорочки перевязал рану под глазом. Кровь перестала течь. Двинулся потихоньку дальше и вскоре оказался на поляне. Странной показалась ему эта полянка: кругом глубокая осень, а

она зеленая, как весенним лужок. Самый раз плюхнуться на травку и понежиться, раскинув руки. Но утихший было дождь полил снова, и густой сумрак заволок землю. Мокрая одежда сковывала тело, накатывал озноб, адски болела голова,

На той стороне луговины смутно маячили копны. "Нужно отлежаться до рассвета, чтоб не напороться в темноте. А потом - на Дзуарикау. Там - фронт.." - по-думал Михаил. Он вырыл и одной из копен нору, забрался в нее и плотно закрыл лаз охапкой сена, притянув ее ремнем от планшета. Снаружи вряд ли заметят, разве что штыком пырнут... Лежал, прислушиваясь, как шуршит иссохшая трава. А может, не трава? Может, то неподалеку шумят автомашины? Или чьи-то шаги? Вынул из кобуры пистолет, сунул в карман куртки...

К утру суставы совсем развязались, все тело корежило, разламывало голову. Надо вставать, надо идти. Надо, а как? На дворе день, дороги кишат немцами, да и в аулах неизвестно на кого нарвешься... Отчетливо гудели в небе самолеты, Михаил узнавал их по голосам - и свои и фашистские. Товарищи воюют, а он отлеживается в копне. Но оставлять сейчас убежище нельзя ни под каким видом

С коих пор во рту маковой росинки не было. Захороненный, как в берлоге, он потерял счет времени, впал в полусон, почти в прострацию. Но вот снова проник свет. Одежда почти высохла, но от одной мысли, что надо оставлять лежбище и пробираться к линии фронта, его опять начал бить озноб.

"А зачем, собственно, переходить фронт? Пусть лучше он меня перейдет! Наши наступают, не сегодня-завтра будут здесь", - подумал он, и точно гора с плеч свалилась. Даже боль, показалось, отпустила. Вздохнул с облегчением в удивил-ся: почему совершенно не тянет на еду? Только пить хочется...

Угнетала тишина, мнилось: все это спокойствие - ложь. Внезапно словно си-рена тревоги ударила. Встрепенулся: "Не стану ждать! Пойду". Реши" в выбрался наружу. Распрямился и... едва устоял на ногах: свет поплыл перед ним. Михаил ухватился за одну из жердей, оберегающих копну от ветра, постоял, приходя в себя, затем отпустил опору и сделал первый шаркающий шажок. Его опять качнуло, но он справился, устоял а сделал еще шаг, еще... "Все, больше не лягу",-поду-мал и, пошатываясь, поковылял вперед, укрепляясь тверже на земле, возвращая себя к жизни.

Нужно забирать правее, держаться подальше от дорог, ближе к горам. Так и сделал. И вдруг - на тебе! Набрел именно на то, от чего старался уклониться, - на профилированную трассу. Уткнулся прямо в палатку возле мостика через ручей. Тут же рядом стоят автомашины, балаганят солдаты. В мгновение ока

простерся на земле - как подсекли. Заметили или нет? Тихо. Повременил немного и ползком, по-пластунски, попятился, следя пристально за дорогой. И опять замер: из па-латки вышли двое и не спеша направились в его сторону. У Михаила мурашки по телу. Приник к валуну, вытащил пистолет. Двое прошли мимо, занятые невнятным разговором ..

Продираясь сквозь заросли дерезы, выбрался на тропку. Она тянулась на вос-ток, параллельно дороге. Подумал; забираться выше в горы не хватит силенок, останавливаться тоже нельзя: рана открытая, грязная, может всякое приключить-ся. Решил держаться тропы. В долине попалась еще какая-то дорога. Осторожно пересек ее и увидел дома. Аул не аул - так, населенный пункт. Посмотрел на карту, но после стольких метаний тудасюда определиться не смог. В селении ни огней, ни людей, даже собачьего бреха не слышно. Тишина. Но тишина, Михаил знал, обманчива. Крадучись, приблизился к крайнему дому. Развалюха, стены пробиты снарядами, иссечены осколками. Пошел дальше. И в других дворах - только остовы печей да порушенные глиняные дувалы.

Вдруг послышалась песня. Михаил оттянул наушник шлемофона. Не строевая. Не русская и не кавказская. На немецкую тоже непохожа. Пели хором что-то незнакомое. Поспешно перелез через дувал, присел в бурьяне. И вовремя: по улице приближался взвод румын. Как только они скрылись, Михаил задворками выбрался из деревни...

По предгорьям, без дороги, ночью... Но у Михаила не было выбора: не хочешь окоченеть - шагай! Студеный ветер продирал насквозь,

Ноги распухли. Михаил выломал палку, переступал осторожно. Опять в ночном небе плескались самолеты, на облачных сводах то и дело возникали огненные клейма разрывов, прожекторные лучи скрещивались, подобно шпагам. Дважды Михаил ложился на камни - отдохнуть. Не утихая, грызла боль, подступил и голод. Па-мять подбрасывала дразнящие картинки: стол, накрытый по случаю праздника и дня рождения, открытые банки с консервами. Вот так и бывает: собирались вывить за здравие, а вышло...

Минули еще две мучительные ночи - после не менее мучительных дней. Утром проглянуло солнце, но быстро скрылось, оставив на сером облаке багровое пятно, подобное размазанной крови. Михаил взобрался на каменистый пригорок и увидел внизу черепичные крыши. Вздохнул с облегчением: "Нанонец-то Дзуардкау..." Ему приходилось бывать здесь раньше, еще до войны. Вот у развилки дорог выцветший от непогод щит с

призывом: "Граждане! Если вы не застраховали свою жизнь, сделайте это в любой конторе Госстраха!" "Самое время..." - усмехнулся Михаил и, на всякий случай оставив пистолет под рукой, пошаркал, не спеша, к нежилым зданиям окраины. Но что это? Сердце упало. Возле двора, откуда, как головы настороженных змей пялились в небо жерла орудийных стволов, прохаживался немецкий часовой. "Напоролся!" Но часовой посмотрел издали скучающим взглядом и отвернулся. Пронесло!..

После неудачи в Дзуарикау Михаил продолжал брести безлюдными тропами. Силы иссякли. Рана, голод и стужа притупили предохраняющее чувство опасности. Но мчались гибельные тучи над головой, ощущение реальности возвращалось, и ему становилось по-настоящему страшно. Однажды - уж который раз! - свалился на мокрую землю и долго лежал, вперив взгляд в темное небо. В разрыве облаков промелькнул искрой осенний метеор. Ох, как не хотелось уподобиться ему - сгореть безвестно. Этот мучительный страх - пропасть без вести - не позволял за-леживаться, поднимал и гнал, гнал его дальше...

...Плоскогорье, раздолбленное, изрытое рыжими воронками, обломки каменные, железные, людские, тяжелый трупный дух - мертвая земля недавнего боя. Может, у кого из убитых найдется сухарь или банка консервов? Уж очень хотелось, невыносимо хотелось есть. Михаил обшарил всех - ничего. Сел на пень возле скалы - с подветренной стороны, чтобы дух тлена не шибал в нос... Зеленый пятнистый утес. Приступка справа, похожая на скамейку в Симферополе, на которой вечерами сиживал с Настасьей. Песни пела Настенька...

Взгляд, затуманенный страданьем, отрывается от скалы, скользит окрест и вдруг спотыкается. Человек! Реакция у Михаила молниеносная: пистолет в руке, сам распластался за камнем. Незнакомец заметил движение и тоже куда-то исчез. Кто он? Немец? Красноармеец? Дезертир? Пастух? Мародер? Одиночка или?.. Вот опять показался. Михаил осторожно привстал, махнул рукой, подзывая. Но человек опять юркнул в заросли. Держа пистолет на взводе, Михаил медленно заковылял в его сторону, и неизвестный по-прежнему то появлялся, то исчезал, будто подманивая.

Вдруг, как гром с чистого неба, многоголосый крик: "Руки вверх!" Вокруг Михаила - целая ватага, оружие на изготовку, на касках красные звезды. Кто-то выдернул из руки его пистолет. Михаил вскрикнул, захлебываясь от радости.

- Братцы, я свой!

Он раскрыл планшет, показал заскорузлым пальцем;

- Здесь подбили. Неделю назад...

Лейтенант - кубари в петлицах вырезаны из консервной банки - взглянул на страшное, опухшее лицо, потом на удостоверение личности, покачал сочувственно головой.

- Скажите лейтенанту спасибо. Приказал взять живым. Мы вас долго держали на мушке, оставалось курок нажать...

- Спасибо, что не нажали...

На командный пункт батальона Михаила сопровождали два солдата.

Один из них - за плечами он нес пустой термос - сказал: - Вторые сутки в засаде. Сухомяткой живем. Зато сейчас наполним термосы до крышек.

- А я за шесть суток - ни крошки, - признался Михаил устало.

- Ух ты! Чего ж молчали? У ребят чего-нибудь бы нашлось... А сейчас... вот, пожуйте пока...

Кусок кукурузной лепешки был чуть больше спичечной коробки. Хоть целиком проглоти. Но Михаил знал: после долгой голодухи - нельзя. Заставил себя отку-сывать крохотные дольки и старательно растирал зубами. Мучительно, но нужно терпеть. Упорно терпеть. И долго.

Полевой госпиталь размещался в кошаре.

- Браток... Браток... - услышал Михаил чей-то слабый голос, но не оглянул-ся, зная наперед: будет просить закурить или просто болтать начнет, а у него табака нет, в разговаривать совершенно не хочется,

- Эй, летчик! - раздалось из темного угла.

Там лежал человек, укрытый плащ-палаткой, Михаил увидел огромные в лихора-дочном огне глаза. - Летчик, браток, в живот мне... Ох, мука какая... Помоги, сделай доброе дело...

- Чем же я помогу тебе, дорогой товарищ?

Тот лишь посмотрел умоляюще, и Михаил понял, о чем он просит... Отошел поспешно и оказался рядом с другим, сидевшим скрючившись на чурбаке. Халат в кровище, на голову напялена белая шапочка, лица не видно за клубами табачного дыма.

- Погоди, браток, немного... - раздалось глухо из дыма.

Приглядевшись, Михаил понял: это врач. Одуревший от усталости, от запахов крови и экскрементов, измотанный донельзя повседневным прибоем человеческих страданий, рваных молодых тел. Докурив папиросу, врач тяжело встал. Лицо се-рое, глаз за очками не видно. Спросил хрипло:

- Потерпите, пока я, извиняюсь, схожу?..

Михаил махнул рукой.

- Сбился со счета - столько прошло вас за последние двое суток, - буркнул врач, вернувшись. - Андрей Митрич!

Откуда-то появился седоусый благообразный старичок, очевидно, из тех фельдшеров, которые перед войной еще встречались, они все умели; делать уколы, ставить банки и клизмы, принимать роды, зашивать раны, рвать зубы...

- Андрей Митрич... инструмент... противостолбнячку...

Старичок, похлопотав возле ящика, принес требуемое. Операция оказалась короткой и не очень болезненной. Или Михаил притерпелся за неделю? Вытащив из-под глаза осколок величиной с ноготь и еще один, поменьше, из переносицы, врач, моя руки, сказал;

- Это сразу надо было сделать, а теперь... Впрочем, может, и обойдется. Живите, летайте... - И через плечо погромче: - Андрей Митрич, следующего!

Положили на солому, покрытую брезентом. Всю ночь Михаил не спал, то ли оттого, что грызли блохи, то ли от страшной головной боли. Утром лазарет стали разгружать, увезли и Михаила.

Начальник эвакогоспиталя первым делом потребовал сдать оружие.

- А это зачем? Пистолет числится за мной.

- Госпиталь тоже армейский. Приказ номер... опасность... самоубийство... Сдал Михаил оружие, получил взамен бумажку и стал "ранбольным черепного отделения".

Орджоникидзе, Дербент, Махачкала... Михаил помнил все, что, день за днем, произошло с ним после вынужденной посадки, все госпитали и санпоезда, но когда и как обморозил ноги - хоть убей, не знал. А все хромовые сапожки. Не по горам в них таскаться... Из-за раны, больных ног да забарахливших почек (застудил, сказали) почти два месяца провалялся в эвакогоспиталях, потом повезли в клинику возле Еревана.

Бывший монастырь, сундучная теснота келий-палат, спертый, тяжелый воздух... Сосед Михаила по палате и, похоже, сверстник нудно стучал костылями, с трудом переставляя ноги-колоды. Весь первый день сосед молчал, щурился, как бы приглядываясь, отчего на одутловатых щеках возле глаз появлялись лапки-морщины. Под вечер спросил Михаила:

- Надолго в наш полк?

- На вашу полку, хотите сказать? Думаю, не задержусь. Даст бог, скоро опять на фронт.

- Мать родная, вы слышали? - воскликнул сосед.- Даст бог! Послушайте, у вас, случаем, не того?.. - повертел он пальцем у виска.

- У меня осколочные ранения и ноги обморожены. Да еще почки вот...

- Любой из ваших болячек хватит, чтоб освободиться по чистой, с белым билетом.

- Мне белый билет не нужен.

- Почему, позвольте полюбопытствовать?

-Совесть не позволит околачиваться в тылу.

От двери кто-то промолвил:

- Из нашей роты один чудак от двух жен сбежал на фронт. Так, бедолагу, и убили - в окопе со счастливой улыбкой на устах...

- Моя жена с детьми на Урале. В эвакуации. Работает на прииске, - сказал Михаил.

- Н-да... А вы, значит, от них на фронт... Знаете, а все же у вас... то-го... - И сосед с костылями снова покрутил у виска.

Ту, первую ночь в госпитале под Ереваном Михаил провел в полудреме. Сон - не сон, а так, будто кинофильм крутят ему про то крымское лето, когда познако-мился он с Настей.

Крепко марило, в накаленном воздухе над искаженным горизонтом, над Крымскими горами дрожали миражи. В Биюк-Онларе, как перед грозой, не продохнуть. Комбайн волочил по степи хвост пыли. Но вот трактор застопорился. С комбайна спрыгнула девушка, развязала платок. Настенька...

Вот она идет по полю. Остановилась, прислушалась. Обернулась. На копне соломы, разметав руки, спит молодой человек в синем комбинезоне, кожаный шлем под головой.

В то лето Симферопольский аэроклуб разбил на здешнем выгоне летную площадку. Катя, подруга Насти, говорила, что инструктор Миша, представительный такой, обучает курсантов. Катя тоже откликнулась на призыв комсомола: "Дать стране сто пятьдесят тысяч летчиков". Прошла медкомиссию. Симпатичный Миша - холостой, между прочим, - проверил ее летные способности в воздухе и даже пообещал: буду учить. "Вот скоро праздник авиации, - сказала Катя. - Хочешь, я попрошу Мишу, он и тебя на самолете покатает". Но Настеньку не тянуло в небо. Комбайн казался ей более надежной машиной.

"Вот он какой, инструктор Миша", - догадалась Настенька. Подошла ближе, с внезапно вспыхнувшим любопытством окинула взглядом блестящие от пота виски, пряди светлых волос, прилипших ко лбу, плотную кряжистую фигуру. По крепкой шее и загорелым рукам летчика ползали муравьи. "Ишь, лапищи! Не дай бог, попадешь в такие", - подумала Настенька. Сломала будылку лебеды, наклонилась отшугнуть насекомых. Летчик открыл глаза и уставился на нее.

- Откуда ты, прелестное дитя? - спросил, садясь.

- Скажите спасибо - разбудила, а то бы муравьи насмерть загрызли.

- Спасибо за беспокойство о летных кадрах,

- Товарищ кадр, а трудно обычной девушке стать летчицей?

- По-моему, труднее обычной летчице стать девушкой...

- Фу! А говорят, кадры в Осоавиахиме умные... - Она отвернулась и пошла к комбайну...

Настя отличилась на жатве. В день авиации ее пригласили подняться на самолете в небо - премия. Михаил, увидев ее, высунулся из кабины У-2, приветливо помахал перчаткой. Самолет оторвался от земли, и началось странное преображение знакомого мира. Настенька испытывала смятение - ей было страшно и весело. Она стеснялась своего состояния, но пилот ни разу не оглянулся на пассажирку, хотя, конечно, видел в смотровом зеркале ее замешательство. Она закрыла глаза...

После посадки Михаил сказал:

- Ответить на ваш вопрос; трудно ли обычной девушке стать летчицей? - не берусь. А вот женой летчика, если захотите, станете. Серьезно. Хотите быть моей женой?

...С тех пор семь лет прошло, как поднялись с Настенькой вдвоем в небо. Михаил продолжал работать в аэроклубе. Его ценили. Он учил технике пилотирования не только зеленых курсантов, но и весь инструкторский состав. В 1938 году прошел курс переподготовки в Центральном аэроклубе и получил назначение в Николаев - на должность начальника летной части аэроклуба. К тому времени уже родились сын Эдик и дочь Валерия. Настенька приобрела специальность бухгалтера, ее тоже взяли на работу в аэроклуб и стали называть Анастасией Андреевной.

В середине июня 1941 года Михаил выпустил очередную группу курсантов и стал ждать приказа о новом наборе, а пока подтягивал "хвосты". Бумаг за время выпускных экзаменов накопилась чертова уйма. Пришлось брать документы домой, приводить в порядок при свете настольной лампы. Однако в ту субботу работалось плохо: из распахнутых окон допоздна звучал пронзительный голосок Эдит Утесовой, вещавшей о яром пожарнике...

Утром Ворожбиевых растревожил прибой людских голосов. Настасья накинула халат, выглянула во двор: что случилось?

- Война! - ответили снизу угрюмо, - Выступает по радио Молотов.

- Детей не буди, - молвил сдержанно Михаил. - Надо разобраться...

На вторые сутки он простился с женой и детьми. Заверил:

- Через два месяца буду дома...

С тех пор он больше своих не видел. Семья уже полтора года на Урале. А он шесть месяцев - по госпиталям...

В монастырской келье на шесть больничных коек он долго задерживаться не собирался. Вот только подлечится чуток и - привет! Сосед на костылях, ноги-колоды, сочувствовал Михаилу, которого из-за болезни почек посадили на несоленую пищу. Однажды спросил:

- Можете ответить честно: вы испытывали страх, когда летали в бой?

- Ну, знаете... Странный вопрос.

- Поставлю его по-иному; очень хотелось выжить?

- Еще бы!

- Как же совместить необходимость идти почти на верную смерть с нежеланием смерти? Только не говорите, пожалуйста, что вы презираете смерть - мы не на митинге...

- Презрение к смерти? Я не знаю, что это такое.

- Скажите откровенно: вы на самом деле рветесь на фронт? Или так... патриотизм перед нами демонстрируете?

Михаил от неожиданности не знал, что и сказать, спросил сам:

- Вы-то сами-то долго были на фронте?

- Я не был. Призван, но не гожусь по здоровью. Вот... - коснулся он своих ужасных ног. - Когда вылечат, тогда и мой черед настанет. Однако признаюсь: восторга не испытываю. Я никогда ни с кем в жизни не дрался. Люблю покой, тишину. Животных люблю. По профессии я зоотехник... Боже мой! Как подумаешь, что теперь с родными, с близкими, душа разрывается! - воскликнул он дрогнувшим го-лосом.

"А что с моими близкими? - подумал Михаил печально. - Крым, Кубань, Дон топчут фашисты. Жена, дети в какой-то тьмутаракани, которая ни на одной карте не значится. Эх, черт! Растравил сердце..."

- Что поделаешь, - утешил, как мог, - Не только ваши места родные под оккупацией...

- Откуда вы взяли? Какая оккупация? Пока бог миловал. Я вохменский. Стало быть, костромской. У нас на Ветлуге самое раздолье...

- А я на Кубани да на Дону вырос. Раздолья у нас тоже хватает. А уж в небе - и говорить нечего, - улыбнулся Михаил.

Сосед взгромоздил свои ноги-колоды на скамью, вздохнул.

- Нет, все равно лучше наших мест не найти. Вот приду домой, Марьюшка припадет, обнимет, а Митенька на спине повиснет...

- Ну вас! Совсем расстроили меня... Ведь и у меня двое - тоже девочка и мальчик. Потому и руки чешутся - разделаться быстрей... Сколько погубили нас, перекалечили, сколько детей осиротили... Это вы красиво рассуждаете: жить надо мирно. А сколько матерей без сынов, жен без мужей?..

- Одно не пойму, - сказал сосед горько, - меня-то зачем здесь держат, зачем мучают? Знают ведь, что моя болезнь неизлечимая, хроническая. Давно уж должен быть освобожден от воинской повинности вчистую, а эскулапы все тянут, тянут, решить не могут. - И со злостью ударил костылем об пол.

Михаил усмехнулся про себя; "Я для него вроде попа. Видать, не дурак, придумал исповедь для сердечного облегчения... Всю душу взбаламутил..."

Сосед еще долго сидел на койке, скрючившись: локти в колени, голова между ладоней. Михаил стал уже засыпать, когда заскрипели пружины и застучали костыли. "Курить потащился. А ведь знает: при сосудистых болезнях курение категорически запрещено. Э! Черт с ним... - И вдруг подумал с опаской: - А ведь он явно не в себе. Как бы не того..." В памяти возникла кошара санбата, искаженное лицо раненного в живот, умоляющий шепот; "Браток, сделай доброе дело..." Михаил встал; "Ну уж нет! Мы будем жить! Мы еще толкнем речь на собственных похоронах!" Вышел в коридор - никого. Тронул дверь уборной - пусто. В умывальной ночью делать нечего, но все же решил заглянуть. Заперто. Странно... Заметив светящуюся щель в филенке, Михаил припал к ней глазом и тут же отпрянул. Кулаки инстинктивно сжались. Дверь была приперта изнутри костылем. Из бачка на пол вывален мусор. В бачок из-под крана лилась вода - в Ереване от нее зубы ломит. Сосед сидел, опустив в эту ледяную воду свои страшные ноги...

Утром, после обхода, Михаил попросил перевести его в другую палату...

Из госпиталя он сразу двинул в отдел кадров Закавказского фронта. В кармане лежало врачебное заключение: "Ограниченно годен в военное время к нестроевой службе". Отвоевался... Он так не считал. По-прежнему был нацелен в боевой полк. И не в абы какой, а в свой, гвардейский. Ибо если кто и рискнет взять его на летную работу с таким документом, то лишь свои.

Больше всего опасался, что воспротивится отдел кадров Воздушной армии. Но обошлось. "Проситься обратно в свою часть? Валяй!" Видно, не до него было.

На вокзале в Армавире - шум, народищу тьма. Пока протолкался за сухим пайком, поезд ушел. Когда следующий, никто понятия не имеет. Решил наведаться на знакомый аэродром, авось случится оказия. И точно, встретил летчика из своего полка, Булгаренко.

Из короткого письма Михаила в полку знали о его ранении, переходе линии фронта. Михаил про полковые дела не знал ничего. По словам Булгаренко, "стариков" осталось человек пять. На следующий день после ранения Ворожбиева, восьмого ноября, с задания не вернулись трое, а девятое стало поистине черной датой: погибло пять летчиков сразу. Недели через две прибыло пополнение - десять опытных воздушных бойцов и новый командир полка, майор Рысев. Однако за месяц от пополнения никого не осталось, убит и Рысев. Теперь частью командует бывший комэска Хашин. Да только командовать снова нечем и некем: ни самолетов, ни летчиков.

- Возьми меня с собой, авось пригожусь. Теперь я худой, в смотровой лючок пролезу запросто.

- Пожалуйста. Только смысл какой? На днях уходим с фронта на переформирование.

- Тем лучше! Глядишь, под шумок и я пристроюсь к делу.

Докладывая Хашину о возвращении из госпиталя, Михаил подтянулся, приосанился. Очень хотелось показать себя здоровым и бравым. Хашин сказал, что слышал о его одиссее, рад принять в полк.

- Ваш многолетний опыт - аэроклубовский плюс боевой... В общем, оформляйтесь в дивизии, и прошу к нашему шалашу. Хотя от шалаша не осталось ни шиша, - скаламбурил Хашин мрачно.

Михаилу даже не верилось: уж больно все гладко получается. Радоваться дей-ствительно было преждевременно. Полоса везения оборвалась на следующий день. Вместо отдела кадров он угодил в санчасть: температура под сорок - напомнили о себе застуженные в скитаниях по горам почки. Через неделю приступ прошел, Михаила выписали. Но полк был уже в Куйбышеве - на переформировке. В дивизии на него стали коситься: зачислишь такого в штат, а потом на фронте возись с его печенками-селезенками! И все же комдив окончательно не отказал.

- Вернется полк в строй, тогда посмотрим. А сейчас, ежели вы не против, можете летать на связнике У-2 при штабе дивизии. Дело вам знакомое. Поработаете, войдете в форму...

- Спасибо, товарищ генерал. Уверен - это дело времени.

Михаил был рад до смерти. Хоть У-2 дали. Какой-никакой, а самолет!

На У-2 стал летать без провозных, словно только вчера вылез

из кабины. Поднялся в зону пилотажа, отвел душу. Навертелся до тошноты и опять почувствовал себя в своей стихии. Много ему выпало испытаний, тем больше была радость. Ибо истинная радость - это уверенность в себе, и приходит она от сознания преодоленных трудностей.

Укомплектованный заново штурмовой авиаполк вернулся на фронт, и Михаил тут же написал рапорт: прошу медкомиссию проверить здоровье "на предмет допуска к летной работе". Но уж если не повезет...

Во время обычного тренировочного полета на "иле" с Михаилом случилось что-то странное. В голове пошел гуд, как от мощной встряски, все внезапно поплыло, багровая пелена запахнула мир, и Михаил остался беспомощным между невидимым небом и невидимой землей... Он не потерял самообладания. Понял: теперь лишь чутье может выручить его. Главное - никакой паники, никаких опрометчивых решений... Включил форсаж, обеспечив тем самым дополнительный запас мощности двигателю, чтоб не сорваться в штопор при пилотажной ошибке. Слепому машину не посадить, это ясно. Что делать? Выбрасываться на парашюте? Но это значит угробить новый самолет... Попросить, чтобы завели на посадку по радио? Да, это, конечно, вариант. Возможно, и помогут. Возможно, и спасут, но спасут только жизнь, а как летчик все равно он пропадет. И разве это жизнь? Без света, без неба... Товарищи гибнут в жестоких боях, а он - здесь? Кто узнает, что слепота поразила его в одно мгновение? Что скажут жене, детям, родным? А командир дивизии? Он на свой риск допустил к полетам, поверил в него...

С аэродрома за Михаилом особо не следили - не ученик летает. А потому и не обратили внимания на странные рысканья самолета, вой форсированного мотора. Но Михаил-то знал: такой режим двигатель выдержит минут восемь - десять, а по-том...

Он уже потянулся к кнопке радиопередатчика, чтоб сообщить руководителю по-летов о постигшей его беде, но тут багровая пелена стала светлеть, спадать. Он боялся верить. Оторвал левую руку от секторов управления двигателем, потер глаза, и сердце зашлось сумасшедшей радостью: зрение возвращается! Правый глаз видит. Левый... Ладно, хватит и одного.

До аэродрома он долетел и самолет посадил нормально.

"Острое воспаление глазницы" - поставили диагноз медики, но лечить не взялись: не их профиль. Если бы дырки в теле... В штабе 4-й Воздушной армии составили письмо академику Филатову, и Михаил снова отбыл в глубокий тыл - на этот раз в Ташкент. К самому академику он не попал, а ассистент заявил

сразу: левый глаз долой! И немедленно, иначе придется удалять и правый. Михаил на дыбы: не согласен.

- Отказываешься от операции? Пиши расписку.

Написал. Но вскоре почувствовал, что и правый глаз застит багровый туман. Грозила полная слепота. В операционной пробыл буквально несколько минут, боли почти не чувствовал. Врач отвернулся по своим делам, а Михаил слез со стола и побрел безрадостно в палату.

Пока заживала рана, изготовили протез. Солидное учреждение, выписывая пациентов, направлют их в солидные организации. Михаила послали выше некуда: в отдел кадров ВВС. Ехал в Москву, прикидывал с надеждой, авось, и там как-ни-будь обойдется. Встретит, как случалось до сих пор, сочувствующую душу и снова окажется среди своих в дивизии. Но ожидания не сбылись. Отдел кадров есть отдел кадров! На оккупированной территории был? Тэк-с... Раненый? Справочка есть? Тэк-с... Спецпроверку проходил? Ай-ай-ай! Придется проходить. Времени много утекло? Ничего, все ваше при вас...

И вот ряды столов, за столами - вояки-неудачники, побывавшие "там"... Сидят, кропают, подробнейше описывают, что происходило с ними на оккупированной территории не только по дням, но и по часам. Написал - и гуляй себе. Гуляй, но наперед не радуйся. Пройдет неделька-другая - вызовут снова.

Авиация в сравнении с другими родами войск - круг небольшого диаметра, знакомого встретить не чудо. Подходит однажды и к Михаилу человек в летной форме. Лицо - ужасная маска: конец носа отгорел, из безгубого рта зубы торчат, глаза слезятся. Протягивает руку, искореженную шрамами, говорит шепеляво;

- Здравствуйте, Михаил Прокофьевич. Не узнаете? Где уж!.. Родная мать не узнала, когда заявился домой. Но вы-то меня знаете - во как! Я ваш бывший инструктор Илья Зенчин.

- Зе-е-еичин?! Мать честная...

Михаил растерялся. Схватил изуродованную руку, стал торопливо тискать.

- Не ожидали встретить меня здесь?

Михаил промолчал, опасаясь ляпнуть неуместное. Зенчин покачал головой.

- Служил в ночниках. Послали к партизанам. Ночь безоблачная, перехватили фашистские зондерегеря, подожгли, оказался у немцев. Поглядели на меня они, заржали и не стали брать в плен. Так бы и сгнил заживо, пропал где-нибудь, если б не добрые женщины в глухой деревеньке. Кормили, как младенца, с ложечки, лечили примочками из кислого молока. Поправился

малость - пробрался к партиза-нам. Переправили меня к своим. А тут - за бока: почему, дескать, немцы тебя не расстреляли? Спросите у немцев, говорю. Мне грозить стали, да я - пуганый, теперь ничего не боюсь. Но вроде образовалось...

Зенчин вскоре уехал в далекий тыловой госпиталь, а Михаил... Куда податься с одним глазом, он и сам не знал. Понял одно: с авиацией покончено. И тут вспомнился ему славный американец Вилли Пост. Одноглазый пилот, взявший на прицел Северный полюс. Воспоминание пришло как некий проблеск надежды. Михаил попопросился на прием к начальнику-генералу.

- Что вы хотите? - спросил генерал.

- Летать и воевать.

- С одним-то глазом?

- А о Вилли Посте вы слышали?

- С Вилли Постом я был знаком лично.

- Тем более! Значит, вполне можете понять...

- Не надо давить на психику, - перебил генерал.

- И все же прошу направить меня на летную работу. Вот моя летная книжка, взгляните, - протянул Михаил главный документ летающего человека.

Начальник перелистал книжку. Задумался, посмотрев сведения о налете и боевых вылетах. Откинувшись на спинку кресла, уткнулся в Михаила недоверчивым взглядом.

- Вы на самом деле хорошо видите одним глазом?

- Хорошо.

- Но медицина утверждает, что при таком изъяне резко теряется глубина зрения.

- Чужие изъяны меня не касаются.

Начкадров невесело усмехнулся.

- Что же делать с вами? Мне ведь отвечать, ежели с вами что случится...

- Не случится. Совесть не позволит вас подвести.

- Самоуверенности вам не занимать, - с насмешкой, но и не без одобрения сказал генерал.

У Михаила сердце громко стукнуло в предчувствии удачи. Неужели опять вывезла кривая?..

- Ну, так и быть...

...Получая пакет, Ворожбиев был уверен, что его направляют в родной полк. Оказалось, нет. Не в полк. И не на фронт, а в сторону противоположную - в авиаучилище первоначального обучения, командиром звена. Михаил приуныл. Эх, судьба-индейка! Никуда от нее не денешься. Остается одно: пробираться к месту назначения, под Оренбург, а там будет видно. Оренбург, Урал. Может, удастся с Настасьей да с детишками повидаться.

Где-то они там...

Настасья Андреевна пела всегда, сколько себя помнила. Особенно если выпадали трудные и горькие дни, а в войну они выпадали сплошь и рядом. Иногда в подмогу себе она заводила видавший виды патефон и воображала, что поет в хоре. Но все равно это было уже неполное одиночество, и на душе становилось полегче.

Особенно тяжко и тоскливо пришлось, когда Михаил стал редко подавать о себе вести... Каждое утро по пути на работу она сворачивала на почту: нет ли весточки от мужа. Зашла и в то утро. Заведующая, она же оператор и почтальон, ответила; "Нет..." Под вечер стояла Настасья возле крыльца, смотрела па шумливую ораву детишек, игравших во дворе семейного общежития. Вдруг Валерия как закричит: "Папочка идет!" - и понеслась навстречу шагавшему по дороге военному. Валерии исполнилось семь лет, отца она не видела с того июньского утра...

Когда живется туго, люди тянутся к счастью, как на огонек темной ночью. Чье б оно ни было, счастье, - идут. Искони ведется; печаль - в одиночку, ра-дость - вместе. Пришли и соседки Настасьи Андреевны. Живым мужик с фронта явился! На глазу повязка, да ведь это - пустяки. Накрыли вскладчину стол: ржаная осклизлая лапша, сдобренная маргарином, тертая редька да миска квашеной капусты...

Говорить при гостях о своем, личном - неудобно. Все женщины без мужей. Они и завидуют Настасье Андреевна, и радуются ее радости, и надеются: может, и их не обойдет, коснется милостиво крылом. Михаил вышел из-за стола на крыльцо. Во дворе было темно. Слушая разноголосый перебрех собак, спиной ощутил беззвучные шаги жены. Обернулся навстречу.

- Вместе... Не верится даже! - выдохнула она, обняв его.

- Вместе... - эхом отозвался Михаил. Завтра он должен был уехать, но еще не успел сказать об этом. Решил: "Да и не стану, пусть хоть до утра поживет в покое". Никогда еще Настасья Андреевна не казалась ему такой беззащитной.

А она, обняв его, думала, что теперь с мужем не расстанутся. Инвалид, от-воевался...

Неисповедимые пути войны... Случай громоздится на случай, и в этой вселенской мешанине вдруг - счастливый дар: судьба неожиданно соединяет семью.

- Как жили-то без меня?

Но разве хватит минуты, часа, одной короткой ночи, чтоб рассказать друг другу о годах разлуки? И кончилась ли она? Утром, когда Михаил сказал, что пора собираться, Настасья

Андреевна только побледнела. Вот и конец надеждам. Успокаивая жену, Михаил сказал как можно беззаботней:

- Работа тыловая, училище первоначального обучения, тот же аэроклуб. И до вас близко. Устроюсь, обживусь - приедете. Скоро вместе будем...

К вечеру уехал. Обнял жену, детей. Сказал! "И никаких проводов". Шагнул за порог в растворился в сумерках. А Настасья Андреевна долго стояла у окна поникшая и не могла взять в толк: приезжал муж на самом деле или нет?

Если новое место назначения кажется ссылкой, служить там невесело. В таком состоянии души прибыл Михаил в училище. Пошел представляться. Первое впечатление нередко бывает решающим. Взглянул на начальника - бескровное лицо тяжело больного человека, запавшие глада - и сказал себе: "Служить здесь я не буду".

- Почему у вас забинтован глаз? - спросил тот.

- Ячмень, - соврал Михаил.

Врать он не умел, но тут - словно накатило. Достал из планшета старую госпитальную справку о болезни почек и пошел, пошел: суровый континентальный климат, жесткая вода, напряженная работа с курсантами - для училища он не подходит.

- Я сам страдаю хроническим нефритом, - оборвал его начальник. - Что вы хотите?

- Прошу откомандировать меня на фронт.

- А на фронте санаторий?

- Я знаю фронтовую обстановку. Мне там будет лучше.

- Я не вправе отменить приказ управления кадров.

- Но от вашего климата я погибну. Зачем вам работник, не вылезающий из лазаретов?

- Идите. После обеда вам скажут в канцелярии о моем решении.

Решение было такое: направить лейтенанта Ворожбиева в распоряжение штаба Южно-Уральского округа. Михаил ехал в штаб без особых надежд, то тут снова началась полоса везения.

Нет, такое, видимо, случается только в авиации. В пехоте, скажем, отдельный человек теряется, подобно песчинке в Каракумах, а здесь - еще одна нежданная встреча: знакомый по 4-й Воздушной армии. Несколько раз летал с Михаилом на У-2 как офицер связи, а ныне начальник отдела кадров авиации округа - ни больше, ни меньше! Увидели друг друга - чуть в объятия не бросились. Пошли воспоминания, вопросы: кто, что, где? А затем - разговор, больше похожий на сговор. Решили: справку о болезни почек из личного дела изъять, ибо она станет самым серьезным тормозом возвращению на летную работу. А о том, что глаз

удален, пока вообще нигде не упоминается. И не надо...

- Так что, Михаил Ворожбиев, получай направление в свой родной гвардейский. Оставайся по-прежнему орлом!

Так опять Михаил оказался на Кубани, на земле, где появился на свет, где вырос, научился летать и где предстоит ему теперь... Что предстоит, он пока не ведал.

Второе возвращение в полк было в радостным и печальным. Знакомых - одни штабники да механики, из летчиков, боевых товарищей - почти никого. Пошел докладываться командиру.

- Здравствуйте, здравствуйте, Вилли Пост. Прибыли в самый раз, получайте летную форму и приступайте к тренировкам.

Михаил о такой встрече и не мечтал. "Это уж слишком хорошо, чтобы быть правдой", - подумал он. Сказал сдержанно:

- Спасибо, товарищ командир. Готов приступить к исполнению обязанностей.

Хашин засмеялся.

- Вы, наверно, и стрелять разучились. Мишень-то хоть видите?

- Хотите проверить?

- Война. Под одним богом ходим...

Вышли из КП. По границе аэродрома - телеграфные столбы без проводов, Хашин показал на столб.

- С тридцати шагов попадете? - Он протянул Михаилу свой пистолет.

Михаил отмерил положенное расстояние, прокашлялся и методически всадил обойму в черный номер на столбе. Хашин подошел, осмотрел мишень и одобрительно улыбнулся:

- Годится!

На следующий день Ворожбиева проверили на двухместном тренировочном "иле". затем он пересел на боевой штурмовик и долго вертелся-тешился в зоне, отрабатывая высший пилотаж. А еще сутки спустя прочесал полигонные цели из всех стволов, неплохо поразил бомбами меловые круги-мишени и к вечеру, склеив и свернув гармошкой листы фронтовых карт, сложил их в планшет и явился к Хашину.

- Готов лететь на боевое задание. Район действий знаю давно: объездил и облетал его еще в юные годы.

- На боевое, говоришь? - хмыкнул Хашин. - Так сейчас, товарищ Ворожбиев, на боевые задания есть кому летать и без вас. Здесь другое поджимает. Нужна помощь инструкторская. Вы методист, вам, как говорится, и карты в руки. Дивизию заполонили неоперившиеся птенцы. Надо их доучивать, натаскивать, тренировать. Для этого организована специальная учебно-тренировочная группа, а вы назначены старшим

инструктором.

Михаил поскучнел. Опять возись с пацанами на фронтовых задворках. Но - приказ командира дивизии! И, что говорить, приказ разумный...

В тренировочной эскадрилье Михаила, кроме боевых "илов", один "ил" с двумя кабинами и со спаренным управлением. Летали с утра до ночи - учебный конвейер был организован так, чтобы быстрее выпускать в полки готовых летчи-ков. Все складывалось ладно, но попал ему в выучку один... что называется, дуб. Мало того, что техника пилотирования корявая, так еще земли боится. Его бы турнуть в пехоту - и забота с плеч. Ан нет! Комдив сказал:

- А ну, подсчитайте, сколько средств и труда на него затрачено? То-то же! Надо, значит, продолжать...

Михаил поднимался с горе-учеником в воздух раз двадцать. Показывал, объяснял, опять показывал. Времени убил уйму. За такой срок, говорят, мартышку летать научишь, а тут - никакого толка. Но есть ведь и инструкторское самолюбие. Заело Михаила. Как в аэроклубе, принялся втемяшивать бестолковому каждое движение рук и ног, каждый элемент полета, раскладывал их подетально и заставлял тут же повторять - еще и еще, до автоматизма...

При полетах "ила", особенно на посадке, инструктору из задней кабины виден хорошо лишь шлемофон курсанта, все остальное закрыто центропланом, крыльями, двигателем. Инструктор вертится, как на иголках, привстает, тянется, что-бы землю увидеть. Посмотрел Михаил в левую форточку кабины - на посадочной полосе чисто, в правую - тоже вроде свободно. Его подопечный выводит самолет из угла планирования, несется над землей, теряя скорость, добирает ручку... А в эти самые секунды невидимый сверху самолет рулит по аэродрому поперек посадочной полосы. Грубейшее нарушение всех правил и наставлений! Ни Михаил, ни подопечный его, разумеется, не видят нарушителя. Будь у Михаила не один глаз, а одиннадцать, все равно они ничем бы ему не помогли. В результате - ЧП, тяжелая авария. Один самолет поврежден, другой - в утиль.

Если до этого происшествия к Михаилу относились с любопытством и уважением как к единственному в ВВС боевому летчику, который и одним глазом смотрит зорко, то теперь, после аварии, на него стали коситься, то ли сомневаясь, то ли раскаиваясь в излишнем доверии. А некоторые, как заметил Михаил, даже обрадовались его несчастью. Дескать, вот до чего доводят снисходительность и мягко-телость! Хотя все отлично знали, что Ворожбиев не виноват, что ответственность - на разгильдяе и на аэродромной службе, все же Михаила от полетов

отстранили. Так, на всякий случай. Если поднимут шум наверху, будет оправдание: мол, меры приняты...

Как раз в те дни я вернулся в полк из госпиталя - после тяжелого ранения. Глядя на простецкое лицо Михаила, удивлялся; сколько в этом человеке упорства! Сколько нужно сил, чтобы столь твердо сносить незаслуженные нападки! Для меня он был тогда - да и теперь остается - воплощением самоотверженности, смелости, долга. Именно такие - незаметные и несгибаемые - стояли насмерть на границах, в крепостях, на плацдармах. Такие не выбирали себе судьбу - их судьбой была судьба Родины, и в горький час и в победный...

"Наверху", как и следовало ожидать, аварию вниманием не обошли. "Это что еще за самодеятельность? - прикрикнули на комдива. - Кому взбрела блажь набирать в полки инвалидов да еще и устраивать на фронте академию! Прекратить! Каждому свое: учебным заведениям - учить, боевым частям - воевать!"

Что и говорить, война диктует жесткий выбор. Но и сейчас, много лет спустя, не думаю, что решение командования было безусловно правильным. На фронте наука побеждать дается быстрее, чем в тыловых учебных классах, Да, к весне 1944 года самолетов наши заводы стали выпускать много. Но выпуск летчиков на конвейер поставить гораздо труднее. Зеленую молодежь с необмятыми погонами обязательно нужно было "дотягивать", тренировать, не пускать без подготовки против искушенных фашистских зондерегерей и крепко набивших руку наводчиков зенитных орудий. Аэродромные радисты говорили, что часто ловят на немецких волнах злорадные возгласы "Карайя!" - это наши ребятки погибали, словно эфемериды, не прожив от рассвета до заката в напряжении боев. Прожорливый зверь - война...

Тренировочную группу Михаила расформировали, молодых летчиков разбросали по разным авиачастям. Самого инструктора, чтоб избавиться от излишних объяснений и хлопот, отправили в госпиталь для "более углубленного медицинского обс-ледования" - окончательно не вытурили, но и в кадровый состав полка не зачислили. Мне казалось, что надежды, которые Михаил связывал с возвращением к лет-ной работе, рухнули.

Пока он был в госпитале, наш полк колотил немцев под Севастополем. Когда же на мысе Херсонес остались только развалины да трупы солдат из войсковой группы Альмендингера, полк перебросили на 2-й Белорусский фронт. Для участия в прорыве фашистской обороны на речке Проне.

Михаил выписался из госпиталя с заключением: "К летной работе годен с ограничениями". Оно звучало как приговор и

означало, что на фронте к летной ра-боте человек не годен вовсе. Да и в тылу с каждым днем таких, как он, накапливалось все больше.

Но Михаил знал, что может летать. И недоумевал, почему не видят этого те, от кого зависит течение его жизни. Он понял главное: нельзя, ни в коем случае нельзя ему отрываться от своих. И вновь пустился вдогонку за своим непоседливым авиаполком.

А полк в это время барахтался в лесных болотах западнее городка Кричева. От аэродрома до передовой - всего шесть километров. Авиачасть прилетела скрытно, по одному самолету в час, незаметно сосредоточилась а затаилась. Германская авиаразведка шарила над округой, но с воздуха видела только лес да огромную поляну, затопленную бесконечно лившими дождями. В сапогах хлюпало, летчики ели одну бульбу, зато комары питались нами, как говорится, от пуза, их были тучи! Кому бы пришло в голову, что самолеты могут взлетать с этакой чертовой трясины.

Но пришла пора, и полк заработал.

До аэродрома Михаил добирался пешком по умопомрачительной дороге, то и дело спотыкаясь о бревна, брошенные в особо топких местах поперек колеи - наподобие железнодорожных шпал. Над ним проносились самолеты, гладя брюхом кроны деревьев. Слышался отдаленный гул то ли бомбежек, то ли артиллерийской канонады. На аэродроме Михаил удивился: на замаскированных в лесу стоянках увидел зачехленные самолеты. Это бы это означало? Нехватка летчиков? Погибли на зем-ле? Ему обьяснили: ни то, ни другое, а просто, мол, запас... В канун операции "Багратион" "илов" подкинули с избытком. "Вот это житуха!" - загорелся Михаил. Самолетов много, сам он в рабочей форме, значит - надо в воздух. Летать, воевать! А командир полка разводит смущенно руками.

- Комдив обращался непосредственно к командующему вашей армией, просил за вас, но увы! И Вершинин помочь не в силах. Не обижайтесь, товарищ Ворожбиев, есть причины... м-м... от нас с вами не зависящие... Короче, вести боевую работу за линией фронта вам не разрешено. Что поделаешь? Никто из нас не гарантирован, в бою может всякое случиться. И ранить могут и подбить. Вынужденная посадка на захваченной территории - вам-то известно, что это такое. Вдруг схватят вас... Вы же для фашистов сегодня - прямо-таки желанный экспонат! По всей Германии таскать будут. Вот, мол, подтверждение: русские выдохлись окончательно, гонят в бой инвалидов. Ферштеен зи?..

- Ферштейнистей некуда, - понурился Михаил.

- Но! - поднял Хашин сухой палец. - Я кое-что провернул для

вас, потолковал в штабе и политотделе. Дело в том, что при нашей армии создается транспортный отряд Ли-2. Поезжайте, там готовы вас принять...

В штабе Воздушной армии Михаила спросили:

- Сможете командовать транспортным отрядом?

Михаил ответил сдержанно:

- Благодарю за доверие. Но я издавна руководствуюсь правилом: прежде чем командовать, необходимо самому постигнуть дело до тонкостей. Так что прошу: возьмите меня рядовым пилотом. Полетаю, а там будет видно.

На том к порешили.

Новую технику в Москве, на Тушинском аэродроме, Михаил осваивал в ускоренном темпе: три дня изучения матчасти - зачет, два провозных полета с инструктором - зачет, четыре самостоятельных - зачет; еще трое суток ушло на получение самолета из ремонтных мастерских, облет и устранение дефектов, знакомство с членами экипажа. А дальше приемка груза и - на фронт!

Первый рейс. Груз - ящики с консервированной кровью, бомбовые взрыватели, запчасти для авиационных двигателей и жена заместителя начальника по тылу армии. Обратно, с фронта, забрали тяжелораненых,

И так день за днем челноком туда-сюда, сюда-туда... Неделю спустя среди раненых оказался летчик из своего полка. Парень незнакомый, из молодых. Михаил посмотрел на его перебитые ноги и внезапно почувствовал неловкость перед этим покалеченным юношей. На моем-то "утюге" такое не грозит, подумал Михаил, но тут же осек себя. Еще как грозит! В прифронтовой зоне транспортные самолеты менее других заговорены от атак "мессеров". Немцы иногда их специально выискивают. Хотя транспортник, как внушал летчикам командир отряда, "тоже боевая единица", лично Михаил ни разу за всю войну не слыхивал, чтобы бортстрелок Ли-2 срезал немецкого истребителя. Как говорится, нашему бы теляти да волка съесть... После встречи с раненым однополчанином Михаил сказал экипажу:

- Используем опыт штурмовиков. В опасных местах вблизи передовой будем летать только на бреющем. Чтобы сливаться с рельефом.

Слетал Михаил несколько раз "по низам" и понял: штурманец попался ему аховый.

- Не навигатор - мешок, - заявил, разозлившись, Михаил командиру отряда.

- Мешок, - согласился командир. - Лично я его к самолету

близко не подпустил бы. А знаете, чей это мешок?

- Руководящий папочка? - спросил презрительно Михаил.

- Вот где у меня эти папочки! - чиркнул командир ребром ладони по горлу. - Все же на Ли-2 не так опасно, как на фронте...

- И вы с этим миритесь? - покачал головой Михаил.

Командир усмехнулся.

- Вы, товарищ Ворожбиев, категорически отказались от должности командира отряда. Почему? Могу сказать. Ответственности побоялись. А от меня требуете: дай другого штурмана. А куда я этого дену?

- Я согласен летать за штурмана, по совместительству. Командир только поморщился. Ну и экипаж подобрался: летчик с одним глазом, штурман - с одной извилиной в мозгу...

- Ладно, подумаю. Может, подыщу вам другого штурмана. Но быстро не обещаю, ...Срочный вылет в Белосток из Минска. Рейс близкий. На борту все та же консервированная кровь. Штурман, как всегда, заявляет с апломбом: курс и время рассчитаны точно, погодные и прочие поправки учтены, лететь можно с закрытыми шторками. Заданный курс и время Михаил выдержал тютелька в тютельку и... выскочил точно на город Гродно. Узнав с высоты знакомую ленту Немана, взорванный железнодорожный мост через реку, он, теряя самообладание, заорал:

- Ты куда нас притарабанил, такой-сякой?!

- Конечный пункт маршрута. Белосток, - сунул навигатор Михаилу под нос по-летную карту.

- Если это Белосток, то убирай из него Неман!

- Странно... Откуда здесь река?

Прикинув курс на глазок, Михаил через полчаса посадил Ли-2 в Белостоке. Оттуда - в Москву. Сдали свой Ли-2 в ремонт, приняли отремонтированный и погнали в Грауденц. Ветер встречный, сильный, тащиться часов восемь. Сделали посадку в Могилеве, заправились, летят дальше. Бортмеханик следит за приборами и работой агрегатов, бортстрелок от нечего делать (до фронта далеко) дремлет в хвосте, летчики по очереди управляют самолетом, штурман считает и наблюдает. Самолет идет по курсу и вдруг... попадает в иссиня-черную тучу. Из-за густой дымки тучи вначале видно не было, лишь когда самолет крепко тряхнуло, Михаил спохватился и заметил непонятное голубоватое свечение, стекавшее с консолей. По спине пробежали мурашки. Крикнул;

- Радист, запросить еще раз погоду по трассе! Немедленно!

Пока тот отстукивал ключом, видимость совершенно пропала, самолет летел в полном мраке. Нет, полетом это уже не назовешь: он барахтался, он тонул. "Вот- гибель!" - подумал

Михаил, а в это время штурман оптимистично доложил.

- Синоптики передали: в районе нашего аэродрома отличная погода.

Вдруг голос его в наушниках оборвался, и через мгновенье раздался испуган-ный вопль:

- Командир, быстрее на три тысячи!

Михаил толкнул сектор полного газа, моторы взвыли. Но не их мощью, а ура-ганным порывом тяжелую машину подбросило на добрый километр. Она тряслась и скрипела. Экипаж то швыряло к потолку, то низвергало на пол. Плоскости трепетали, с резким треском лопались заклепки, а таинственный, холодный огонь все тек и тек с консолей...

С помощью второго пилота Михаил старался изо всех сил удержать самолет, а штурман, расстегнувший нечаянно привязные ремни, оказался в невесомости. Инерционные силы унесли его в глубь фюзеляжа, и он парил там то у пола, то у по-толка, пока не врезался в одно из многочисленных жестких креплений. На помощь к нему никто не пошел, не до него, экипаж не мог обуздать машину; то на дыбы встает, то низвергается в угрожающем пике.

Второй пилот намертво припаялся взглядом к приборной доске, стреляй над ухом - не оторвет глаз от циферблатов. Он ведет самолет вслепую... Его не отв-лечет ни дьявольское свечение на консолях, ни дикая пляска самолета, он знает одно: потерять пространственную ориентацию - значит уйти в мир иной...

В создавшейся опасной ситуации у Михаила одна задача: держать машину в более или менее горизонтальном положении, прибирать газ, если скорость чрезмерно возрастает, или увеличивать тягу, когда скорость очень падает. Михаил впервые попал в такой переплет. Это не шквал - это ад. Ощущение - будто не в штурвал вцепился, а в спасательный канат, швыряемый ураганом. На что крепки руки пилота, но и они онемели от напряжения.

И вдруг - солнце! Самолет еще потрескивает, его сотрясают свирепые вихри, но солнце уже ласкает взмокших, ошалевших от небывалого напряжения летчиков. Михаил невольно закрывается от лучей ладонью. Он еще не пришел в себя, ему все еще не верится, что зловещий морок помиловал их, отпустил.

- Неужто выкарабкались? - спросил недоуменно бледный бортмеханик.

Второй пилот, оторвав наконец взгляд от приборной доски, улыбнулся измученно:

- Дуракам везет...

- Еще как везет! - подхватил бортмеханик. - Просто счастье!

- Коль есть уменье да хотенье, то будет и везенье. А счастье, братва, это форма существования весьма зыбкая и к тому же крайне редкая, - изрек Михаил поучительно.

- Пропади оно пропадом, такое счастье! - вытер правый пилот рукавом взмок-шие лоб и шею, - Немцы по тебе стреляют, начальники тебя ругают, штормяги терзают... Куда податься бедному пилоту?

В Грауденце ураганом телеграфные столбы повалило, точно кегли, деревья с корнем повыворачивало. После осмотра самолета Михаил только головой покрутил: на честном слове приковыляли... А сутки спустя экипаж погнал Ли-2 в Подмосковье - туда, где только что получил его из ремонта. Такова жизнь...

Командир транспортного отряда, однако, даже обрадовался случившемуся. Кто виноват? Штурман. Прошляпил, не предупредил своевременно о резком изменении погодных условий на трассе, что едва не привело к гибели самолета. "Ну, сынок, теперь тебя никакой папаша не поддержит!" Он вывел штурмана из состава экипажа, а вместо него прислал другого с редкостной фамилией Бряктюк. Иван Иванович Бряктюк.

Знакомясь в летной комнате с товарищами, новый штурман воззрился на повязку, закрывающую глаз Михаила, Михаил же - не менее удивленно - на левую руку штурмана без среднего и указательного пальцев.

- Ну и как, не мешает? - спросил Михаил.

- Наоборот: очень удобно на ветру прикуривать, - ответил штурман без улыб-ки.

- Где это вас?

- На СБ летал...

Михаил присвистнул:

- Впервые встречаю за войну живого фронтового летчика с СБ. И сколько ж вы налетали?

- Изрядно.

- Ну, раз такое дело, через два часа полетим опять.

- У меня двух ребер не хватает, - сообщил угрюмо штурман.

- Всего-то?

- Еще левая нога короче правой...

Все засмеялись, а Михаил сказал, успокаивая:

- Нога - ерунда, остальное было бы цело.

...На этот раз самолет загрузили, что называется, под завязку новыми авиационными моторами. Обратно предстояло забрать тяжелораненых. Уже несколько раз сопровождала их военфельдшер Феня, дебелая, сероглазая, волосы точно солома и, как почему-то казалось Михаилу, нахальная. То и дело она

совалась в пилотскую кабину и затевала разговоры, обращаясь главным образом к командиру. Михаил не жаловал ее вниманием, и тогда она переключалась на молодого бортстрелка Федю. Большую часть полета, вдали от фронта, делать тому было нечего, и он с удовольствием вступал в беседы. Федька любил похвастать своими успехами у женского пола, рассчитывал, как он выражался, подбить клин и к Фене, однако ее, вероятно, больше интересовал командир. Бортстрелок, ухмыляясь, докладывал ему:

- Военфельдшер, товарищ командир, неровно к вам дышат, ей-богу! Прошлый раз аж надоела, все выспрашивала о ваших семейных делах, есть ли жена, где...

- А ты что же?

- Она же на меня ноль внимания, товарищ командир! Что я? Ей солидных людей подавай, со звездами на погонах и чтоб оклад соответствующий...

- Я тебе покажу - соответствующий! Забудешь городить ахинею... У меня дочь почти невеста!

- Неужели? Вот это да! - не очень-то испугался бортстрелок. - А где она живет?

- Где бы ни жила, за тебя замуж не пойдет! И марш из кабины на свое место! Устроили здесь базар...

- Есть! - козырнул бортстрелок, исчезая.

А в проходе тут же возникла улыбающаяся Феня,

- Товарищ командир, я вынуждена обратиться к вам не как военфельдшер, а всего-навсего как слабая женщина. Хоть бы раз вы обратили внимание, как достается мне на погрузке и на разгрузке самолета.

Михаил промолчал. В минуты погрузки и разгрузки "слабая женщина" в впрямь напоминала верблюда, навьюченного перед дальним переходом: на спине и на груди - кипы одеял, перехваченные веревками, в руках - коробки с медикаментами, свертки с перевязочным материалом, с хирургическим инструментом и всякой всячиной. Но экипаж был так занят, что помочь Фене никто не мог.

- Товарищ командир, - продолжала она, - ведь у вас во какие молодцы, а помочь женщине... Какие ж вы рыцари? Неужели так трудно донести мой груз до медпункта?

Феня втянулась в кабину, заполняя собой скудное пространство. Михаил посмотрел на часы, поправил фишки ларингофона и, хотя было еще рано, сказал тоном приказа:

- Членам экипажа находиться по местам, внимание к воздуху. Входим в зону действий истребителей противника. Бортстрелок, следите за облаками!

- Я на месте, - прошуршало в телефонах наушников.

Пришлось Фене покинуть кабину.

Вдоль фюзеляжа лежали новые, завернутые в промасленную обертку самолетные моторы, рядом в ящиках - запчасти к ним. Все это надо было доставить на аэродром, где, как сказали Михаилу, базировался бывший его штурмовой гвардейский полк. Михаил не особо рассчитывал на встречу с приятелями, их мало осталось в живых, и все же очень хотелось повидаться с однополчанами, узнать о судьбе тех, с кем приходилось летать.

Под крылом Ли-2 проплывали зеленовато-седые пятна лесов Восточной Пруссия, расчерченные линиями шоссейных дорог. На опушках - красно-кирпичные селения, брошенные жителями.

Аэродром занимал большую поляну в лесу. Там размещался прежде немецкий аэ-ропорт местных линий. В двух километрах от него - населенный пункт. Штурман Бряктюк стал вызывать аэродромную радиостанцию. Запросил раз, другой, третий - молчок.

- Переключайтесь на запасной канал, - велел Михаил.

Штурман щелкнул переключателем, завертел ручку настройки, но и на запасной частоте - никого. Михаила это не особо встревожило. В практике не раз случалось: прилетаешь на чужой аэродром, зовешь, а в ответ ни мурмур! Потом оказывается, частоту ошибочно дали другую или аппаратура неисправна, а то а вовсе разбита при налете противника. Но нынче немота не нравилась Михаилу; на этой авиаточке он садился впервые, подходы неизвестны, состояние посадочной - тоже, а ведь он идет не порожняком! Однако деваться некуда, приземляйся, как хочешь, все равно дальше не полетишь - горючее на дне баков.

- Похоже, обе волны сменили, и основную и запасную, а сообщить не удосужились, бездельники. Ну, я с ними потолкую! - погрозился Михаил.

- Аэродром через пять минут, курс двести! - подал голос штурман.

Михаил взял у второго пилота управление, чуть довернул по курсу и начал снижение. Показался аэродром. На стоянках в шахматном порядке - "илы", посадочная свободна. Михаил выпускает шасси, посадочные щитки, убирает газ. Самолет планирует.

- Красная ракета! - докладывает удивленно штурман.

- Где? Не вижу, - шарит Михаил взглядом по посадочной.

- Справа, со стоянки...

- А-а... - Михаилу наплевать. Мало ли кто там, на стоянке, дурака валяет.

- Много красных ракет со стоянок! - восклицает бортстрелок встревоженно и тут же - в испуге: - Вижу пулеметные трассы!

Михаил по-прежнему спокоен. На прифронтовом аэродроме это случается. Возможно, оружейники пробуют исправность пушек и пулеметов. Потому и трассы в воздухе. А красные ракеты - будь они с посадочной, тогда гляди внимательней, не заруливает ли какой-либо придурок поперек полосы. А так - мало ли что быва-ет.. Вдруг испуганно-обиженный голос бортстрелка:

- Командир, они стреляют!

- Кто стреляет? - переспрашивает Михаил, ничего не понимая.

- Не знаю... Пули возле меня цокают... Вот! Вот! Дырки в фюзеляже... Колеса Ли-2 в это время чиркают о землю. Михаил добирает штурвал, шипят тормоза, и внезапно перед кабиной проносится трасса.

- Да что они, паразиты, совсем очумели? Не различают свой самолет? - кричит Михаил с возмущением в рулит к стоящим на опушке "илам".

Навстречу, пригибаясь к земле, бежит кто-то в комбинезоне. Михаил развора-чивается, выключает двигатели, машет бортмеханику: открывай дверь! Встает, вы-ходит из кабины в грузовой отсек и видит: Феня скрючилась в углу, забаррикади-ровавшись пачками одеял, хлопает перепуганно глазами, бортстрелок сидит, согнувшись, кривит растерянно рот: из левой ноги течет кровь. Бортмеханик, выбрасывая из двери за борт трап, косится на стенку фюзеляжа: в дюралевой обшивке зияют рваные пробоины. Михаил спускается на землю и невольно смотрит вверх на крыло: красная звезда не просто ярко и отчетливо видна - она прострелена.

"Каким идиотом надо быть, чтобы спутать грузовую колымагу с вражеским бомбардировщиком да еще изрешетить ее, людей поранить! Что за кавардак? Что здесь творится?" Но вот опять дерут воздух тяжелые очереди знакомых иловских крупно-калиберных... Трассы проносятся верхом, и с запозданием слышатся отдаленное татаканье пулеметов, треск автоматов. А там вроде и винтовки бахают... "Пос-той, постой... Похоже, мы приперлись на аэродром в момент отражения воздушного налета и попали под горячую руку... Тьфу! Надо же! Но почему не видно воздуш-ного противника?"

Неизвестный в комбинезоне наконец приблизился, запыхавшись, прокричал с упреком:

- Зачем вы сюда сели?

- Доставили груз. По назначению.

- Нас окружили немцы!

- Какие немцы?

- А черт знает - какие! Приблудные, очевидно... Их полно кругом. С оружием, с пулеметами. Вишь, как шпарят! Больше часа отбиваемся - кто чем. Заняли круговую оборону. Крупнокалиберные самолетные спасают, без них нам бы давно хана!

- Вот это номер! - выдохнул Михаил. - А где же летчики?

- В поселке, отрезаны...

- Вы кто? - коснулся Михаил человека в комбинезоне.

- Авиатехник.

- Самолет есть?

- Вон там... - показал техник вдаль.

- Бомбы подвешены? Осколочные? То, что надо...

Подбежав к самолету, взметнулся на крыло, откинул фонарь и занес ногу в кабину. Вдруг, чуть помедлив, вынул глаз-протез и сунул в карман. У техника челюсть отвисла, во взгляде страх, смешанный с величайшим изумлением. Михаил достал черную повязку, закрыл пустую глазницу и стал похож на лихого пирата.

- Чего столбенеешь? - крикнул он технику. - Глаз может выпасть при перегрузках, потом ищи его... Давай скорей в кабину стрелка, повоюем вместе!

- Я... я не умею...

- Не хочешь?

- Вы... вы не имеете права! Самолет не ваш!

- Иди жалуйся командиру полка Хашину. Скажи Ворожбиев, мол, захватил само-лет и полетел воевать. А ну - от винта!

Не надевая парашюта, ибо промедление было смерти подобно, Михаил застегнул пряжку привязных ремней и нажал на вибратор стартера. Двигатель забрал сразу. Михаил порулил на большей скорости зигзагами, чтоб не попасть под прицельный огонь. На старте не мешкая дал энергично газ и следом - форсаж. Самолет, взревев, рванулся вперед - пошел на взлет, как по струнке.

Нет, не растерял инструктор Ворожбиев навыков управления капризным на взлете штурмовиком. Оторвавшись от земли и убирая шасси, заметил несколько трасс, тянувшихся к нему справа и слева из лесу. Но они его не тревожили: пулькам сквозь броню не проникнуть. Набрав в момент пятьсот метров, Михаил сделал крутой разворот и понесся с принижением на западную сторону аэродрома, где, как ему сказали, засела бродячая фашистская орава. "Шестнадцать осколоч-ных бомб и восемь эрэсов... Надо их распределить так, чтобы на всех хватило",- прикидывал Михаил, чувствуя, как тело его охватывает знакомый, холодящий сердце азарт предстоящего боя.

- Эх, Ильюша, мой дружочек, штурманем еще разочек! -

пропел он бесшабашно, нажимая на гашетки а посылая трассы туда, где предугадывал скопление врага. Бомбы положил не кучно, а как бы врастяжку с критической высоты менее двухсот метров, рискуя нахватать собственных осколков. Зато врезал без промаха - позже сам проверил и убедился. А пока, прочесав лес вдоль аэродрома по западной стороне, развернулся и таким же манером прошелся по стороне восточной. Оставались еще эрэсы и почти весь оружейный боезапас. Он их использовал на повторную огневую обработку лесных опушек.

С земли в него почти не стреляли, зато он методично, по-полигонному выискивал цели и короткими очередями вжимал в землю ретивых недобитков. Закончились снаряды, опустели патронные ящики.- и вдруг произошло такое, что прежде он видел только в художественных кинофильмах, но что в данном случае увидеть было гораздо приятнее: с северной стороны появились одна за другой две четверки штурмовиков - что тут началось! Посыпались бомбы, понеслись эрэсы, потянулись трассы... Восьмерка сделала четыре захода, летчики сработали быстро и четко. Авиация сумела с честью постоять за себя без помощи пехоты. Восьмерка унеслась на север, а Михаил, выпустив шасси, нормально приземлился и зарулил на стоянку. Кругом царила непривычная для аэроузлов тишина.

- Получай своего рысака в целости-сохранности. Славно проветрились! - сказал Михаил технику.

- Это от наездника зависит... - подчеркнул с уважением техник.

Михаил сунул черную повязку в карман, вставил глазпротез. Ему вдруг вспомнился прошлогодний случай. Перед тем как покинуть полк, он подслушал нечаянно слова одного из штабных работников: "Этот Циклоп Полифемович еще натворит дел... Избавляться надо от него, да поскорее", Вспомнил и вздохнул. Ну избавились, и что? И засмеялся: "А ведь пригодился Ворожбиев. Жив курилка! Жив!" И он потопал к своему Ли-2...

Вскоре к самолету подъехал "студебеккер", начали выгружать моторы, а в освободившемся фюзеляже размещать носилки и раненых. Бортмеханик заправил баки, принес из летной столовой котелки с обедом - первый, понятно, предложил Михаилу, Не только по правилам субординация. Как ни говори, человек потрудился во всю силу души. И труд его еще не закончен, до Москвы лететь и лететь...

Вечером на аэродроме появился командир дивизии штурмовиков. Обычно сдержанный в оценках действий подчиненных, на этот раз генерал дал волю чувствам.

- Всех! Слышите, Хашин? Всех, кто участвовал в отражении

нападения на аэродром, представить к правительственным наградам.

И все были представлены. И все были награждены. Все, кроме Михаила. В это время он вез в Горький тяжелораненых. О нем в спешке просто забыли...

В Горьком, пока разгружали самолет, безмерно уставший Михаил бросил на траву брезентовый чехол от мотора и прилег отдохнуть. Прищурившись, стал смотреть в небо. Странно, небо шевелилось... С чего бы это?.. Присмотрелся внимательней. Да это же бабочка! Голубая бабочка, первая, весенняя, над его лицом,

...В Подлипках посадочная площадка - коробка спичечная. Михаил не посадил самолет, а, как говорится, притер к полоске. Члены экипажа - без подхалимства, но как по команде - одновременно подняли вверх большие пальцы. Отрулив на свою стоянку, Ворожбиев выключил двигатели. Бортмеханик открыл дверь, выбросил на землю лесенку. Командир - так принято в авиации - спустился на землю первым. Но почему их никто не встречает? Странно. Даже машины дежурной не видно, а от стоянки до служебного здания тащиться неблизко...

- Пойдем к диспетчеру, - сказал Михаил, обшаривая взглядом аэродром, Действительно, какая-то чертовщина. Бойкий аэродром, а вокруг ни души и непонятная тишина. Впрочем, вдали показались люди. Руками размахивают.

- Нам, что ли, машут? - спросил бортмеханик.

- А то кому же? - хмыкнул хромой штурман. - Показывают, чтоб машину не ждали...

- Пошли разбираться, - бросил через плечо Михаил. Взяли планшеты, сумки, потопали поперек взлетной. Возле здания штаба - мужчины и женщины, аэродромные рабочие. Улыбаются, протягивают руки, здороваются с сердечностью небывалой, твердят как сговорились:

- Поздравляем!.. Поздравляем!..

Экипаж в недоумении: под мухарем, что ли, публика? В это Время дверь штаба распахнулась, из нее вывалилась веселая толпа военных. Взглянули на уставший экипаж, взяли дружно под козырек, закричали громко, разноголосо:

- С Победой, фронтовики!

Михаил оглянулся на своих. Все стояли навытяжку.

- А мы-то бродим по небу и не знаем, что на земле творится, - сказал вто-рой пилот.

Ворожбиев сдал полетный лист, расписался в документах и - в столовую. Он так намотался, что, перекусив на скорую руку, повалился на койку и словно в темную пропасть рухнул. Ни праздничный шум вокруг, ни отблески фейерверка в небе Москвы,

ни даже орудийный гром салюта не разбудили его...

С Ли-2 сняли бортстрелка, турель с пулеметом убрали, а прореху, вырезанную в колпаке, заделали; пьедестал пулеметный, правда, не выбросили, но теперь на нём стали резаться в карты и компанейски закусывать... Значит, действительно войне пришел конец.

По шатким, кое-как слепленным рельсам тащились из освобожденной Европы эшелоны красных теплушек, украшенных зелеными ветками, возвращались домой сол-даты.

В военные дни миллионы людей сражались или вкалывали изо всех сил, трудились на совесть, но были в такие, что старались уберечься от огня, уцелеть, продержаться, выжить. Таким был и выползший из неведомого угла новый командир Михаила. Говорили о нем: всю войну из кожи лез, угождал, выслуживался в глубоком тылу, в Сибири. Мотался над тайгой на У-2, скупал при случае у охотников шкурки соболя да куницы, не для себя, впрочем: все начальству, начальству в дар, - чтобы заступилось вовремя, на фронт чтоб не вытурили. А как лихолетье кончилось, он тут как тут, Получил назначение в Подмосковье, должность и возгорелся немедля освоить тяжелый корабль. Знал твердо, что теперь не убьют. Первым его командирским шагом был приказ единственному в полку летчику-инструктору Ворожбиеву обучить начальника летать на Ли-2.

Что ж, приказ надо выполнять. Учить, вывозить, провозить... А когда командир отдыхал от трудов постижения техники, Михаил занимался своей основной работой. Грузы и пассажиры попадались разные. Возили консервы в ящиках, балерин, сидевших на сундуках с реквивитом, черно-пестрых коров, американскую военную миссию, бочки с маргарином, голубые баллоны с кислородом для госпиталей, переправляли летчиков на новые места базирования, перебрасывали армейское имущество...

В общем, работа у Михаила ладилась, задания он выполнял аккуратно. Но его не покидала настороженность, ощущение, будто за ним следят, тщательно и недоб-рожелательно наблюдают за каждым его шагом. Наверное, ощущения эти рождала мнительность, невзгоды, которые пришлось одолеть из-за потери глаза. Но необъяснимое предчувствие, будто хотят его подловить, избавиться от инвалида, не оставляло Ворожбиева. Да и не так уж трудно было его подловить...

Летит как-то Михаил из Лигнице и видит: правый мотор маслом залоснился. Зовет бортмеханика. Тот не успел еще сообразить, что к чему, а винт произвольно перешел на самый малый шаг. И тут же - пронзительный вой, похлестче, чем сирена

воздушной тревоги. Раскрутка винта. Что такое раскрутка и чем она неп-риятна? Попробую объяснить с помощью примера. Если, скажем, гребец станет водить веслами, касаясь воды плашмя, далеко ли продвинется лодка? Она останется на месте. Тяги нет. То же самое и с самолетом, ежели лопасти винта не загребают воздух. Раскрутка - авария серьезная, приземляйся без замедлений. Если есть куда.

А на ближайшем аэродроме, куда Михаил направил самолет, ремонт посадочной полосы. Каток ползает. Вмажешься, не дай бог, в него - взорвешься, сгоришь. Надо садиться рядом с полосой, на короткую неровную площадку. И тормозить намертво. Только так, ничего другого. Но выдержит ли тормозная система самолета, изношенная основательно? Да, риск...

Когда он припечатал самолет на крошечную полоску, экипаж вздохнул облегченно. Но радоваться было рано. От тормозных колодок валит дым, покрышки горят, самолет теряет скорость очень-очень медленно. Если не придумать что-то - врежется в здание аэровокзала. На решение - секунды. Неизвестно, что в таких ситуациях срабатывает быстрее: логика или интуиция. Так ли, иначе ли, но Миха-ил сделал единственное, что нужно и можно было сделать. Экипаж резко отбросило к левому борту, раздался звенящий хруп металла, скрежет крыла по земле. Самолет еще продолжал катиться, но отвернул в сторону от аэровокзала. Теперь - последнее; ударить рукой по лапке магнето, обесточить моторы...

Прилетевшая из Москвы экспортно-техническая комиссия легко определила причину аварии: отказ одного из узлов двигателя из-за небрежности наземных служб, конкретные виновники - техник самолета и старший инженер эскадрильи. Наказание: старшему инженеру - строгач, техника самолета уволить из рядов ВВС.

Инженер, ладно, проживет и со строгачом. А технику то куда податься? Трое детей мал мала меньше. Что это значило в то трудное, голодное время, объяснять не нужно. Небось, за годы войны жена того технаря хлебнула, натерпелась горя. Только вздохнула полегче - и вот, пожалуйста... Ребятишек жалко... Так и этак прикидывал; чем можно помочь несчастной семье? Только и оставалось: взять вину за аварию на себя. Придумать еще что-то у него мудрости не хватило. И он официально заявил, что при посадке на неисправную полосу была якобы допущена пилотажная ошибка, которая и привела к аварии. Техник не виноват.

Однако члены комиссии - воробьи стреляные.

- Вы кому очки втираете? - взвился инженер-полковник,

председатель. - Выгораживаете виновника? По доброй воле или за мзду? Ах, значит, на добровольных началах... Ну, в таком случае...

Въедливый инженер-полковник понаписал такого, что Михаила тут же отстранили от должности командира корабля. Думал: ну, врежут выговор - и делу конец. Такого неприятного поворота Михаил никак не ожидал. Но проглотил пилюлю молча. Пересадка с левого кресла на правое - взыскание не слишком крутое...

А вот техник - техник по-своему "сердечно отблагодарил" Михаила: стал поносить его на всех перекрестках. Наклепал-де на него Ворожбиев, понапрасну обвинил в недосмотре. Ну да что с него взять, с Ворожбиева: на любого готов наклепать, лишь бы снять с себя ответственность за плохое пилотирование. Какой он пилот - без глаза. И вот таких держат в авиации! Но он, техник, выведет его на чистую воду...

Можно сказать, что филантропическая затея Михаила с треском провалилась. Но он душевного разлада не ощущал. Брешет технарь - ну и черт с ним! Кто таким верит? Придет время, все станет на свои места. Летал вторым пилотом и, как говорится, горя не знал. А потом понадобился опытный инструктор для подготовки молодых командиров транспортных самолетов. Предложили Ворожбиеву, он не отказался. Обучал, тренировал, выпускал в небо приходивших на стажировку пилотов. Медкомиссия регулярно продлевала ему допуск к летной работе. Без ограничений. Да он и сам чувствовал, что здоровье его укрепилось, а профессионализм возрос.

Так он жил до 1948 года. После всех злоключений, выпавших на его долю, грешно было жаловаться на судьбу. И вдруг... Ох, уж эти "вдруг"! Сколько их подстерегает человека за недолгую в общем-то жизнь!.. Так вот, вдруг в апреле началось массовое сокращение кадров авиации. Массовые кампании редко обходятся без издержек. Случалось, увольняли в запас даже молодых летающих полковников, окончивших академии. Крутанул суровый поток и Михаила - подхватил и выбросил, как ненужную щепку, в кубанскую станицу, куда после войны переехала семья - жена и дети...

Увольнение из авиации Михаил воспринял как жизненное крушение. Он и прежде не обольщался: особых радостей ему не привалит, нет. Не была бы только отнята привычная радость летной работы. И вот то, чего он больше всего боялся, стряслось. С чего начинать новую жизнь в сорок лет? Этот вопрос терзал тогда многих, вышибленных из армейского седла. Михаил почти перестал спать, днем и ночью думал об одном: что делать? Да, у

проходных заводов, на дверях учрежде-ний пестрели объявления, длинные перечни: требуются, требуются... Но эти земные профессии Михаилу были незнакомы или знакомы понаслышке, А ведь надо кормиться и семью кормить - вот загвоздка! Были бы сбережения... Но увы! Откуда им взяться?

Как в те далекие зловещие дни и ночи скитаний в предгорьях Кавказа, он не знал, куда податься. Тогда пожалуй, даже было проще: он воевал с врагами. Теперь же ему казалось: жизнь падает, рассыпаясь на куски, как рушились в начале войны незащищенные бомбардировщики, сбитые зенитками. Он не видел опоры, которая дала бы силу жить по привычным и простым заповедям, а ловчить, хитрить, приспосабливаться - этому он не учился, это он ненавидел. Чего же он хотел? Немного. Быть с теми, с кем прошла молодость и война. Но это немногое было не-возможно. Время сменилось, и людской поток обтекал Михаила, стоящего на приколе. Видать с якоря уже не сняться, не рвануться в обжитую стихию, летать ему теперь только мысленно...

Не льстя себя надеждой, отправился однажды в Краснодарский аэроклуб. Все же альма матер. Начальник, едва начав слушать, поднял над головой руки:

- У меня два Героя Советского Союза рядовыми инструкторами шуруют. И еще целая эскадрилья порог обивает. Есть, к сожалению, такая штука: штатное расписание. Вам это, полагаю, известно.

Михаил сказал: да, ему известно, что такое штатное расписание. И на том откланялся. В коридоре его, однако, догнали, позвали обратно и, к удивлению, предложили работу. Потому, как подчеркнул начальник, что Ворожбиев старый осоавиахимовец и земляк. Служба, правда, конторская, но в случае благоприятных перемен... и так далее... Михаил согласился, но продержался в аэроклубе недолго.

Познакомившись с делами, с инструкторским составом, он диву дался. Летчики как на подбор, заслуженные вояки. Но... не инструкторы они, не педагоги, не психологи. Сами летают отменно, а других научить не могут, методикой не владеют. Не так, не так надо готовить молодежь. Неужели в ДОСААФ этого не понимают? После мучительных сомнений - так ли его поймут? - Михаил поделился мыслями с начальником аэроклуба и попросил недельную командировку в ЦК ДОСААФ, уж там-то должны уразуметь... Начальника тронула наивная надежда конторского служащего за неделю совершить переворот в учебном процессе, командировку он дал. Но при этом спросил иронически:

- А разве вы не замечали, что стремление уменьшить

безобразия обычно порождает новые беспорядки?

После долгих странствий по коридорам и приемным Михаил, попал наконец в сумрачный кабинет, уставленный тяжелой мебелью. За резным столом меж двух сейфов сидел полковник. Он показал на стоящий у стены стул и спросил:

- По какому вопросу?

Михаил изложил цель посещения. Полковник не реагировал. Это заело и раззадорило Михаила. Он выложил суть дела и все свои соображения. Закончил. Помолчал, ожидая вопросов. Пауза затянулась. Наконец полковник скучно промолвил:

- Ясно. Ну, а вы-то, вы, лично вы, чего вы, собственно, хотите?

- Лично? - обрадовался Михаил. - Хотел бы вернуться на летную работу. В любом аэроклубе страны. Документы при мне. Они всегда при мне.

Полковник снисходительно усмехнулся.

- С этого бы и начинали. Давайте ваши документы. Михаил торопливо расстегнул сумку.

- Так... обучал... выпускал... инспектировал... воевал... Что? Потерял глаз? - полковник прищурился недоверчиво. - После ранения опять летал? Ну и ну!.. Хм... Командир корабля, это же надо! Хм-хм... Ну что ж, все это весьма похвально. На войне всякое бывало, иногда-- хоть стой, хоть падай. Ну да лад-но... Погеройствовали, и хватит! Мыслимо ли сейчас летать без глаза, вы подумали? Вы же курсантов пугать будете!..

Начальнику авроклуба Михаил ничего рассказывать не стал. Подал заявление - по собственному желанию. Объяснил, что собирается переезжать в другой город. На самом же деле знал, что вслед ему из Москвы летит "телега". Долетит-уволят по статье: расстались они с подполковником немирно.

Никакого просвета Михаил не предвидел. Что поделаешь, коль засамолетил он себя навеки! В самолете - как черепаха в панцире, а потерял панцирь... Он чувствовал себя распластанным, прижатым к земле. И тогда пришло отчаянное реше-ние. Он написал Сталину. Иной спасительной силы не видел, иного всемогущего авторитета не знал. .

- Опомнись, Миша!-укоряла Настасья Андреевна. - Подумай, милок, неужто у Сталина время есть разбираться в твоих неприятностях? Кто ты такой? Да и нас бы пожалел. Разве знаешь, чем может твое обращение отозваться?

Михаил ничего особо хорошего и не ждал. Но и терять было нечего. Словно какой-то азарт им овладел. Прошел месяц, и он послал еще одно письмо. Второй месяц минул - еще одно... Работал Михаил на автобазе - диспетчером. День-ночь - сутки прочь... Время тянулось медленно. Ответа на письма не было.

Видно, Настасья правильно рассудила и предсказала: кто он такой?

Возвращаясь как-то домой после работы, он издали заметил Валерию, поджидавшую его у ворот. Не иначе, напроказничала, разбойница, а теперь хочет заручиться его поддержкой. Михаил покачал укоризненно головой.

- Ну, докладывай, чего натворила?

- А вот и нет, я тебе письмо принесла. Из Москвы!- Дочь вытащила из-под беретки мятый конверт. На штампе стояло; "Управление ВВС. Московский военный округ. Москва, ул. Осипенко, 63".

Кровь ударила в голову. Михаил мигом вскрыл конверт.

"Михаил Прокофьевич! Ваше письмо, адресованное на имя тов. Сталина, рассмотрено лично командующим ВВС маршалом Вершининым. Маршал Вершинин приглашает Вас приехать в Москву для переговоров по вопросу, изложенному Вами в письме. Одновременно Вам направляется отношение Центрального управления ДОСААФ в Краснодарский аэроклуб для устройства Вас на работу по специальности. Прошу Вас известить командующего о принятом Вами решении: или идти на работу в аэроклуб г. Краснодар, или выехать для переговоров в Москву..."

Плюхнулся на скамейку возле забора. Прочитал еще раз, вздохнул всей грудью. Подхватив Валерию на руки, прижал к себе.

- Пойдем, доча, собирай отца в дорогу...

- Далеко, папа?

Он только рукой махнул.

Помогли, выходит, письма? Помогли. Но как именно, об этом Ворожбиев узнал только через несколько лет. Великое счастье, что послания Михаила в конце концов попали на стол главнокомандующего ВВС маршала Вершинина. Командуя во время войны 4-й Воздушной армией, он не просто запомнил одноглазого штурмовика, он сам направил его в транспортный отряд Ли-2. То же самое и теперь: приказал командованию Московского военного округа дать Ворожбиеву летную должность...

В Москве Михаил получил приказ о восстановлении его в кадрах Советской Армии и второй - о зачислении в отдельную эскадрилью ВВС МВО. Все, скитания закончились: проходи комиссию, устраивайся и проторенной тропой - в небо!

- В небо? - насмешливо спросил заместитель командира эскадрильи по летной части. - Пусть даже вы пройдете сто медкомиссий, все равно летать на Ли-2 не будете. Это я вам гарантирую.

- Приказ о моем назначении подписан. И летать я буду.

- О назначении - поднял вверх палец замкомэска. - А вот на чем вам летать, решать буду я.

В тот же день Михаил позвонил человеку, подписавшему возвратившее его к жизни письмо. А на следующее утро замкомэска подошел к Михаилу и с обидой сказал:

- Что ж вы так?.. Могли бы объяснить... Я же вас не знаю!

Михаил, ненавидевший, когда крутят хвостом, отрезал:

- Какой же вы командир, если не знаете своих солдат? Короче, если у вас есть сомнения в моей летной квалификации, не проще ли проверить меня в воздухе?

- Разумеется...

Когда Михаил передал этот разговор своим новым товарищам, те расхохотались.

- Как же он проверит? Он у нас летать не умеет!

- Да?.. Это бывает. Мне уже встречались такие Икары...

Последнее препятствие Михаил одолел легко. Ему сказали: можно приступать к работе, но... все должности командиров кораблей заняты. Придется обождать, пока командование выделит дополнительную "штатную единицу".

- А вторые пилоты нужны?

- Да, вторые нужны.

- Согласен летать на правом кресле.

- Но у вас назначение на левое?

- Согласен!

Наконец, кажется, выбрался из передряг. Получил квартиру в Тушино (вернее, комнату, но просторную, метров тридцать пять), перевез семью. И зажил нормальной пилотской жизнью: все рысцой да рысцой... Больше никто не посылал его в нокаут - ни на земле, ни в воздухе. Впрочем...

Вот о чем я постоянно думаю, ведя повествование. О бескорыстии. О стойкости. И о зависти. Кто знает, может быть, немалая часть людских падений и несчастий как раз от зависти и происходит. Как же! "У тех есть, а у меня нет..."

Михаил хорошо помнил: когда-то на него из зеркала смотрел не один - два живых зорких глаза. Ох, как непросто выбросить из памяти своей прежний, привычный облик. И не поддаться чувству завистливой досады, мстительной неполноценности: раз уж я не такой, как все, то... Это опасная грань. Жизнь, как мы знаем, не раз подталкивала к ней Михаила. Но он сказал: нет. Раз и навсегда. Не погружаясь в глубины самоанализа, он спросил себя просто; "А если бы я родился с одним глазом? Тогда бы, вероятно, считал это нормальным?" Нет, тут не было попытки самоутешения. Напротив, стремление к норме, то есть к жизни и

труду наравне с окружающими, побуждало Михаила напрягать, преувеличивать свои силы - физические и душевные, ставить перед собой задачи, возможно, недостижи-мые, но все равно - ставить и стараться их решить. Только так можно уверовать в себя и утвердиться в жизни.

Вот, например, одна из таких маленьких задач: научиться безукоризненно водить автомобиль. Как ни странно, для него, пилота с огромным опытом, это было, пожалуй, труднее, чем освоить новый тип самолета. Густонаселенный город, огромное движение и - один глаз. Но - выучился. Сперва ездил из Тушина на работу, в аэропорт. Затем стал удлинять поездки - в Крым, на Кубань. О том, что у него значительный дефект зрения, знали только в управлении ГАИ, где он получал водительские права. Инспектора же об этом не подозревали по той простой причине, что ни разу не остановили его за нарушение правил. Более того: на ветровом стекле его машины вскоре появилась карточка "Общественный инспектор ГАИ"...

Эта спокойная уверенность Михаила Ворожбиева в себе, уверенность столь трудно добытая, не всем, должен прямо сказать, пришлась по нраву. И в отдельной эскадрилье завелся у него недоброжелатель. Замкомандира... (Невольно ловлю себя на вопросе; почему Ворожбиев чаще входил в конфликты не с командирами, а с их заместителями? Сдается, мы пережили некую "эру замов", период могущества людей шустрых, ловких, умеющих не столько служить, сколько прислуживать, мастеров болтологии и низкопоклонства на самый отвратительный манер.) Началась эта непонятная вражда с пустяка.

Нужно было лететь в Берлин. В числе пассажиров - порученец командующего ВВС округа. Погоду прогнозируют неважнецкую: облачность по всей трассе, встречный ветер. Тащиться часов семь-восемь; работа на Ли-2 в таких условиях требует от экипажа большого напряжения, особенно от второго пилота. Но Михаил выдерживал и не такие нагрузки, руки у него крепкие, болтанку переносит легче остальных членов экипажа: природа наделила его отменным вестибулярным аппаратом.

Вдруг накануне вылета дежурный объявляет, что замкомэска вывел Ворожбиева из состава летного экипажа, вторым пилотом полетит сам, ибо полет предстоит весьма сложный. Все откровенно заухмылялись; осенью в западных районах простых полетов не бывает, да и летчик замкомэска не ахти какой. Дело проще: захотелось потереться возле окружного начальства. Чем черт не шутит!..

А Михаил обрадовался: рейсы на Берлин приелись - тропа сто раз топтана. К тому же в выходной можно с автомашиной

повозиться...

Однако в третьем часу ночи разбудил его посыльный. Приказ: явиться утром на аэродром. Оказалось, порученец командующего позвонил дежурному до части и поинтересовался готовностью самолета и экипажа. Дежурный доложил, что все в порядке, по вместо Ворожбиева полетит заместитель командира эскадрильи.

- А что, Ворожбиев болен?

- Никак нет!

- Ну тогда пусть летит.

Михаилу что? Лететь так лететь.

А заму каково? Афронт, как говорили в старину, урон престижа, ущемление самолюбия. Михаил ни сном ни духом не ведал, какого врага нажил. И с той поры, без вины виноватый, оказался постоянной мишенью для нападок. Всякий раз, упоминая Ворожбиева по служебной необходимости, зам называл его не иначе, как "летчик для особых поручений".

Вот ведь фокус! Уж кому-кому, а одноглазому инвалиду войны завидовать не только смешно, но и глупо. Но - завидовал.

Да еще приехал как-то на несколько дней в эскадрилью корреспондент "Комсомольской правды". Всех расспрашивал, все выведал, а потом чуть ли не целую страницу написал об одном Михаиле. Над головой Ворожбиева роем закружились сплетни: выдумка, хвастовство, самореклама... Зам тотчас начал подбивать своих приспешников послать в редакцию "коллективное письмо". Но не преуспел. Или просто не успел. В эскадрилью пришел приказ ВВС МВО: "За успешную безаварийную работу в сложных метеоусловиях, а также ночью второму пилоту транспортного корабля Ворожбиеву присвоить очередное звание - капитан и повысить в должности до старшего летчика..."

Впрочем, в ту пору Михаила мало трогала приязнь или неприязнь начальников. Летная карьера его приближалась к концу. Армия стояла на пороге больших реформ. Коснулись они и авиации. Множество летчиков ушло в запас. Ворожбиев понимал: и его не минет чаша сия. Пришел срок расстаться с авиацией, теперь навсегда.

Но прежде чем перейти к последним страницам повествования, хочу поведать еще об одном эпизоде летной жизни Михаила Ворожбиева.

В 1955 году покинули лагеря военнопленных бывшие германские асы. Из Москвы в Берлин их отправили самолетом. Небольшая группа летела на Ли-2, где Михаил был вторым пилотом. По обязанности он отвечал за груз и пассажиров, списки бы-ли у него. Честно сказать, фамилии были ему незнакомы. Карл Шпанбергер, Эрих Хартман... Кто они? Да и я, только работая над

этой повестью, узнал: оказывается, Ворожбиев вез домой Эриха Хартмана. Да, это был тот самый Хартман - "голубой меч Германии", тот самый ас, который под вечер седьмого ноября 1942 года, издал клич "Карайя!", добивал на земле штурмовик номер двадцать девять - самолет Ворожбиева...

И вот снова - который раз - перед ним вопрос: к чему приложить руки, если отнят штурвал? Было одно дельце, интересовавшее Михаила с юных лет, да не выпадало досуга заняться им. Возможно, интерес к древнейшей отрасли сельского хозяйства возник у Ворожбиева ассоциативно: он летал, она летала... Она - это пчела...

Когда Михаил поделился со мной своим замыслом, мы поспорили. "Во-первых, - сказал я, - в Тушине ульи мне что-то не встречались. Или ты решил стать единственным в Москве пасечником? А во-вторых, ты душа техническая, твоя стихия - воздух, твой идол - машины. Ну и держись техники".

Михаил возражал. На курорты, видите ли, он никогда не ездил и вряд ли пое-дет: шумно там чересчур и людно. Хочется побыть наедине с природой. Такое единение, как известно, продлевает жизнь и так далее...

Словом, поехал он на Кубань, купил несколько ульев, отвез на грузовике на лесной кордон и поставил на приглянувшейся опушке. Соорудил курень, как пред-ки-казаки, и зажил, глотая целительный воздух. Ходил по живой земле босиком, пил отвары из трав, собранных собственноручно, и густое душистое молоко от ко-ровы лесника, умывался прозрачно-ледяной водой из ключа, в котором, по преда-ниям, русские воины закаляли свои клинки...

Но прав, к сожалению, оказался не он, а я. Не вышло из Михаила пасечника. Передохли у него пчелы. Погибли - рой за роем. К сентябрю уцелел единственный. Уезжая, он оставил его леснику. Ничего, утешал себя Михаил, можно все преодолеть,

Возвращался он домой на машине, и всю дорогу мучили его то озноб, то жар. В Москве пошел по врачам. Его уложили на обследование. Недуг оказался серьезным. Настолько серьезным, что в любой момент мог запросто вогнать в гроб. Вот когда оно оскалилось, прошлое. Раны, невзгоды, скитания. Война. Боль не давала шевельнуться, мешала дышать, думать. Снова смерть смотрела в лицо.

Не помню, кто ни мудрецов сказал: смерть - это высший пик жизни. Михаил голову мог дать на отсечение, что мудрец не прав. Посадить бы его на этот пик... Но Ворожбиев знал другое: солдат должен встречать смерть с достоинством и не сдаваться ей до конца.

Потянулись месяцы, а потом годы мучительной борьбы

Подчинить слабое тело силе духа. Отвергать снисхождение и жалость. Жить. Оставаться человеком. Это теперь.. Я хотел сказать: это теперь его долг. Но вы, наверное, заметили, что, рассказывая о своем друге, я стараюсь не быть высокопарным, не злоупотреблять такими понятиями, как долг, обязанность, призвание. Хотя сознаю: именно в них находит опору Михаил Ворожбиев.

Один поэт (фронтовик, как и мы с Михаилом), когда я ему рассказал о Ворожбиеве, искренне удивился:

- О ком ты собираешься писать? Человек, конечно, достойный, но ведь у него все в прошлом. Нет, писать надо о людях сегодняшних.

Я не стал спорить.

Мы видим небо, насколько позволяет горизонт. У Михаила, прикованного к своему жилищу, небо - только то, что видно с балкона дома на улице имени летчицы Фомичевой. Только. Но, если будешь проходить мимо, махни, читатель, рукой Михаилу Ворожбиеву. Ветеран заслужил твой привет. Он большего заслужил.

СТРЕЛЯЛИ, ЧТОБЫ ЖИТЬ.
(Повествование в новеллах)

ПОСАДКА НА ТОЙ СТОРОНЕ

Аэродром скупо притрушен серым снежком, но на взлетно-посадочной полосе его нет; старательные дворники - самолетные винты- воздухометы исправно подметают землю. С высоты она кажется морем в свежую погоду, покрытым белыми барашками - снежными сувоями, наволоченными едкой поземкой.

Мороз калит голую Донскую степь, а в землянке КП авиаполка олух дневальный так разжарил железную печку, что в меховых одеждах того гляди тепловой удар хватит. И размундироваться нельзя, каждую секунду может поступить сигнал на взлет.

Хотя я человек южный, но к парилкам не привык, сползаю с нар, ложусь на пол у прохладной стенки и настраиваюсь слушать байки летчиков-стариков о том, как они выбивали блох из фашистских асов на таком-то фронте, как весьма картинно сплавляли гитлеровское отродье к чертям на таком- то фронте, как не худо чихвостили хваленых геринговских выкормышей там-то... После таких трудов праведных, если верить лейтенантам, уцелевшим с первых дней войны, от грозных германских эскадр остались рожки да ножки...

Я, зеленый сержантишка из пополнения, слушаю треп «стариков» не от скуки, нет-нет да и подумаю: авось найдется в мусорной куче жемчужное зерно, авось удастся позаимствовать у бывалых людей некую толику «змеиной мудрости войны».

Когда жизнь - алтын, а смерть копейка, эх, как нужна чужая умная шпаргалка! А то и простая школярская подсказка: где жало злости выпустить, а где и самому затаиться хитрым волком.

Воюем мы ни шатко ни валко, есть о чем поразмышлять, есть из-за чего и глотки драть; боев воздушных провели -кот наплакал, а потерь-ого-го! А между тем командиры эскадрилий, командиры звеньев на нас, летчиков-сержантов, не то что ноль внимания, а так, вроде мы сами по себе, рассчитывать, мол, на нас но приходится - мелюзга! Живут покуда - и ладно.

А я не могу так - жить и ладно, мне не терпится схватиться с противником по-настоящему, показать всем, что в небе не мокрая курица, а настоящий верный заслон, умеющий накрутить хвоста врагу и отбить охоту соваться в чужие окна...

В летной книжке у меня записано сорок восемь боевых вылетов, а сбитых фашистов нет. Да и откуда им взяться? Долбим только наземные цели, ежедневно по нескольку раз утюжим вражеские позиции возле Самбека, то ли Синявки, да с таких

высот, точно «ишачки» наши не старые, отслужившие свое истребители, а бронированные «илы»!

«Немецкие «зрликоны» пропарывают нас насквозь и даже глубже», как «густо» острит мой ведущий Семен Бублик. Уже не первый и не десятый «ишачок» отправился туда, где нет ни веселья, ни печали... Но мне пока везет, в таких передрягах побывал, а даже солидной пробоины не привез. Поистине, где знающий надрывает живот, с невежды что с гуся вода... Расчистка воздуха, поиск, разведка, перехват - хлеб насущный истребителя. А для нашего брата, тупоносого, все это - область фантастики или отвлеченная теория. Нынче любой пятиклассник расхохочется, если услышит, что умные дяди подняли на перехват истребитель, на котором нет радиостанции. А если бы 5 декабря 1941 года какой-нибудь шутник заявил, что у нас на борту появились рации, в тот же миг великий врун барон Мюнхгаузен был бы посрамлен и развенчан навеки...

Сегодня я дважды побывал над Таганрогом, привез несколько мелких пробоин в плоскостях, теперь техник заклеивает их.

У И-16, по-летчицки «ишак», славная история: на нем здорово воевали в Испании и на Халхин-Голе нахвалиться не могли, а сегодня, как говорит мой ведущий Семен Бублик, «это не истребитель, а я извиняюсь...».

Но вслух об этом, конечно, никто не говорит. Ты - истребитель, значит, истребляй! Не хватает силенок - бери хитростью, злостью, но истребляй. Наша главная заповедь гласит: «Не жди, когда противник явится к тебе, - сам ищи его и уничтожай в бою».

Ушли давно во тьму веков турниры, богатыри, один на один выходившие биться перед войсковым станом, подобно тому как князь Мстислав Удалой - с косогом Редедей. А вот в авиации поединок, единоборство существуют и поныне, даже узаконены. Есть специальные тактические приемы такого боя. Нигде не проявляется так характер бойца и подвластной ему машины, как в воздушной дуэли. Элемент везения тоже, конечно, присутствует, однако главное - это гармоничное сочетание человека и машины, доблести летчика и возможностей самолета.

Среди заповедей истребителя одна из главных гласит: «Численное превосходство врага не пугает летчика. Никогда, даже перед лицом смерти, он не уступит поле боя». Верно от первой до последней буквы. Только прежде, чем поле боя не уступить, нужно им владеть. А воздухе тесно пока от других самолетов, хотя и нашего брата вертится немало, носимся крутящейся гурьбой, грохот, вой, треск - мала куча... И так и этак, лишь бы дольше воздействовать на цели, хоть психологически помогать

наземникам. Пехота дразнит нас «веселые ребята».

Поднимаемся рано, потому днем при малейшем «окошке» - добираем. Предстоит еще один вылет все к тому же Азовскому морю, вдруг небывальщина: во изменение таблицы меня назначают в дежурное звено ПВО. Впервые. Командир - Семен Бублик, я - правый ведомый, младший лейтенант Артюхин - левый. Наш командир звена Бублик эрудицией не блещет. Как-то на его самолете разладилось устройство для синхронной стрельбы через винт, дал очередь и продырявил лопасти. Стали менять, а один из младших оружейников возьми да брякни - дескать, в первую мировую войну синхронизаторов вообще не было, а летчики через винт стреляли.

- Раз не было, значит, не стреляли, - отрезал Бублик.

- Было не было, а в истории авиации утверждается, что французский летчик Роланд Гарро стрелял. Как? Приклепывал на концах винта стальные отражатели и лупил из пулеметов напропалую. Пули, попадавшие по винту, рикошетировали, а остальные двигались по назначению.

- Никаких Гарро я не знаю.

- Извините, товарищ командир, а о Нестерове вы слыхали?

- Ну-ну! Смотрите мне!..

- Так мы же не в обиду! Нестеров сделал первую «мертвую петлю», Пегу - вторую, а этот опять-таки чертов Гарро - третью...

- Кстати, на этом он не прекратил безобразничать, сбил еще дирижабль «Цеппелин», германский, разумеется, - добавил я, но лучше бы прикусил язык. Именно с той минуты я и попал Бублику в немилость.

Что такое дежурное звено, которым он командует? Щит аэродрома и одновременно стрела на натянутой тетиве. Отпусти - и унесется в небо. Моя стрела смахивает на длинную бочку с хвостом. Защитного фонаря нет, я открыт всем ветрами морозам, шасси убираются, ежели потрудишься в поте лица, покрутишь коловорот. Вооружение - четыре пулемета. У некоторых -- дерьмовые ПВ-2, заедает часто, а мне повезло: на моем четыре «шкасса» конструкторов Шпитального и Комарицкого, скорострельные, дашь очередь - и кажется привычному солдатскому уху, будто старшина материю на портянки распарывает... Кучность подходящая.

Техники укрывают разогретые моторы теплыми чехлами, а наши живые бока-увы!

В открытых кабинах не спасают ни собачьи унты, ни меховые одежки. Ежусь, поглядывая на размытый мглой горизонт, на серую рванину облаков: там, на высоте, ветер еще покрепче. Время тянется нудно, ерзаю на сиденье, меняю положение,

пытаюсь напевать бодрый марш «Эх, махорочка, махорка!..». Не получается, замерзли губы. Все эти дежурства - баловство одно, для проформы, за месяц таких дежурств никто ни разу не взлетел, не полетим и мы. Вот-вот стемнеет и - отбой.

Водитель автостартера присоединил храповик к винту самолета Бублика, заперся в кабине и садит махру так, что ничего не видно в густом дыму. Дежурим уже полтора часа, солдат-стартер возле посадочного знака выплясывает бесконечную «барыню», греется, ближе к самолету ведущего маячит телефонист, закутанный в грязный тулуп, поддерживает связь с КП.

Вдруг зеленая ракета: сигнал па запуск. Из тулупа, упавшего на землю, возникает куцая шинель и ноги в обмотках. Телефонист стремглав несется к Бублику, орет:

- Товарищ лейтенант, приказано перехватить Ю-88, высота три тысячи метров!

- Какой курс у него?

- Курс? Забыл...

- Дубина!

- Сейчас спрошу.

- Убирайся.

Техник сорвал с мотора теплый чехол, автостартер вращает винт. Двигатель ведущего забирает. Я, ожидая очереди, впрыскиваю в цилиндры два плунжера горючего, опускаю на лицо кротиковую маску - защита против обмораживания, защитные очки. Самолет дергается от толчка - это техник присоединил храповик автостартера.

- От винта! - ору и включаю зажигание. Взмах руками, чтоб убрали из-под колес колодки, спешу за Бубликом на взлетную. У третьего самолета нашего звена, Артюхина, мотор извергает белый дым, но не запускается. Суетятся техники, газует автостартер. Этим нас не удивишь, не впервой.. А время не терпит. Бублик грозит Артюхину кулаком - древний международный код... Затем поворачивается ко мне, сигналит: «На взлет!»

За хвостом извивается серая пыль: смесь земли и снега. Мы в воздухе. Быстро кручу рукоять «шарманки» - убираю шасси, взгляд вниз на Артюхина - сидит по-прежнему, как привинченный. У него мотор преклонного возраста - должно быть, захлебнулся свежим воздухом...

Пристраиваюсь к Бублику справа, угол набора крутой, торопимся набрать высоту. Прикидываю в уме, что будем делать дальше? Артюхин не взлетел, а драться парой нас не учили: привыкли вертеться, как говорят на Дону, гамузом.

Подверженные стадному инстинкту или, если назвать приличнее, психологии пчелиного роя, мы стремимся держаться друг за дружку, не терять зрительной связи.

Добрались до трех тысяч, где надлежит перехватывать Ю-88. Под нами мельтешат клочья облаков. Медленно делаем «змейку», примитивный, но умный маневр: все время видно небо то справа, то слева и сзади. Внизу в сизой мгле смутно просматриваются четырехугольники зданий Ростова, Бублик держит направление на северо-запад, зачем? Ведь телефонист на старте забыл курс фашистского разведчика и мы взлетели втемную! Но дело ведущего вести, а мое - смотреть за небом в оба и стрелять, коли есть во что. Но в небе пусто; экипаж Ю-88, думается мне, давно уже хлещет шнапс на своем аэродроме, а мы все карабкаемся, пятую тысячу завершаем. Делаю ведущему знак, мол, наш объект давно уж тю-тю! Бублик поднимает над головой перчатку с растопыренными пальцами, и трижды сжимает, приказывает утюжить воздух еще пятнадцать минут. Я готов трижды по пятнадцать, был бы толк! Поглядываю вниз: кажись, проблескивает Миус, линия фронта. Дальше на запад облака сплошняком. Заваливаю самолет в правый разворот, чтоб но слепило солнце, и вдруг на восточной стороне замечаю вспышку. Разрыв зенитного снаряда или «зайчик» - отблеск самолетного фонаря. Все может быть; важно, чей «зайчик»; наш или немецкий? Позиция для атаки у нас отличная, мы со стороны солнца с превышением более километра. Сигналю Бублику, тот отвечает, что видит неизвестный самолет, качает крыльями «на сближение». Несемся навстречу «зайчику».

Издали опознать трудно, однако видно: бомбардировщик. С каждой секундой силуэт четче. Торопливо листаю в голове страницы фотоальбома силуэтов вражеских машин - свои и без альбома известны! На кого похож этот визитер? Во всяком случае не «Юнкерс-88», у того фюзеляж веретеном и двигатели ближе к кабине. «Хейнкель-111»? Нет, хвостовое оперение другое. Уж не итальяшка ли какой-нибудь «Капрони» или «Савойя-маркетти» пришкандыбал в наше небо? Опять нет: у «савойи» три двигателя, а этот на двух чешет... «Тьфу, пропасть! Соображай скорей!» - понукаю себя, хотя, в общем-то, какая мне разница? Достаточно того, что он вражеский, ну а раз вражеский... «Мать честная, узнал! «Кондор»!» «Дорнье-217» пожаловал. Лучше бомбера, чем он, в Германии нет, машина куда как серьезна: скорость триста пятьдесят, бортовое оружие - не подступишься, бронезащита экипажа...

Атакуем в лоб со стороны солнца, несемся с принижением. Вот он, настоящий воздушный враг! Да еще какой! Атака

стремительная, быстротекущая, надо в считанные секунды прицелиться точнейшим образом. «Сумею ли?» -мелькает сомнение.

Раньше приходилось стрелять в основном по наземным целям. Хочется в этот миг слиться с машиной. Вот они, предбоевые секунды... Пальцы на гашетках, глаз в окуляре прицела... Наступает то, во имя чего с детских лет претерпевал невзгоды, одолевал труднейшие науки, во имя чего отдали труд множество людей, на что потрачено тысячи рублей. Я чувствую себя грозным ястребом, несущимся на цыпленка, в мыслях одно: не промазать! Не опростоволоситься!

Краем глаза замечаю: из самолета Бублика вытянулись голубые макаронины трасс. Не рано ли стреляет? Ведь до «кондора» и дальнобойной не достать. Продолжаю сближение, в прицеле прыгает пилотская кабина «дорнье», самое время!

Жму гашетки, по трассы мои тают в пространстве. Прицелиться повторно нет времени, проношусь впритирку над немцем и - свечой вверх. В глазах тьма и чертики. Перегрузки страшенные. Мазила! Вот те и сковырнул первенького, козырного... А он летит, хоть бы хны! Разворачиваюсь с набором, вижу Бублика. Тот, не мудрствуя лукаво, дает сигнал «За мной!» и сваливает в пикирование. Я- за ним, несемся почти отвесно. Мотор не ревет, не воет, он уже стонет - это опасно: машина - не человек, не все выдерживает...

От темного силуэта «дорнье» тянется малиновый пунктир - бортстрелок бьет из крупнокалиберного. Хочу ускользнуть, да не удается, сил не хватает двинуть на такой скорости рулями. Продолжаю переть напролом, немец все ближе...

На этот раз мой огонь жесткий и меткий, вижу ясно обрыв трасс, значит, попадаю «в яблочко», однако бомбер продолжает лететь. «Почему не горит?» - дико ору я, обуян обидой и досадой. И тут же сам себе отвечаю: «Бронезащита...» Вот гадство! Око видит, да зуб неймет. Моему калибру «кондор» не по зубам. Но железная заповедь требует: «Не упускай поле боя». И я захожу в атаку еще раз и еще и еще, пока не теряю счет. У более опытного Бублика клеится не лучше.

Бой не просто затянулся, круговерть дошла до упаду. Патронов израсходован почти весь запас, фюзеляж «дорнье», где нарисована хищная птица, как решето, а ему хоть бы что! Летит. Опытный. Хитрости ему не занимать, давно, видать, летает, пол-Европы разбомбил и в нашем тылу основательно пошарил, есть что сообщить своему командованию. По его данным прилетят другие бомбовозы - и зашатается земная твердь, будут рушиться дома и падать скошенные смертью люди. Будут, если он

доставит соответствующую информацию. Я мысленно вижу его самодовольное лицо. Развалился в пилотском кресле и смеется пренебрежительно надо мной. Эта его ухмылка доводит меня до исступления, я готов с кулаками броситься на него.

Бублик подает сигнал: атаковать немца сзади снизу вдвоем одновременно. Маневр, на мой взгляд, правильный, давно бы так. Нижний стрелок, стоящий вояка, но вести огонь по двум истребителям сразу не сможет, вот и надо, кому сподручней, унять стрелка, очистить заднюю полусферу. Начинаем воплощать замысел, но в экипаже «кондора» дураков нет, уходят со снижением в сторону облаков, а там только видели... Впрочем, нет, фашистским летчикам этот номер по пройдет, опоздали. Мы, кабрируя, быстро с ним сближаемся. Они это поняли. Как с разорванной связки ожерелья, несутся мне в лоб трассирующие пули. Наваливаюсь всем телом на правую педаль, самолет не хочет, но все же чуть-чуть скользит, и трасса немца - мимо... А черные кресты растут, дергаются в прицеле то туда, то сюда. Едва сдерживаюсь, чтоб не полоснуть по ним, но нельзя, рано. Поближе, поближе надо, иначе опять - укус комарика... Нужно убрать стрелка, не убью его - он убьет меня. Ишь как лупит по Бублику! Мне четко видна мерцающая точка под фюзеляжем «дорнье» и трасса. Но вот и Бублик открывает огонь, за ним я посылаю очередь из всех стволов. Прицелился - но! От кабины стрелка летят клочья, но тот явно заколдован, продолжает отстреливаться, но Бублику садит! Да что он, гад, сам из брони? Моя уверенность начала колебаться. Несколько секунд я в тупике. Что это, иллюзия? Луплю себя кулаком по носу, в горле вспыхивает жжение, на губы капает теплое, соленое... «Стреляй, сволочь!» - кричу себе, и вот -счастье: фашистский пулемет безжизненно опускает ствол. Бросаюсь влево, чтоб не столкнуться с немцем. Главное сделано, бравый стрелок готов, теперь - добивать остальных. Оглядываюсь, ищу в небе Бублика. Ой, он горит! Черный дым рвется из мотора, сыплются длинные искры. Бросаюсь к нему на помощь - это у меня рефлекс, я не думая следую въевшейся в мозг заповеди: «Помни о товарищах в бою и приходи им на выручку». Как? Чем помочь ведущему? Пытаюсь догнать его, но он все больше сваливается па крыло, переворачивается на спину - и облака глотают его.

По телу моему растекается слабость, руки тяжелеют. Командир погиб, я - один во враждебном небе! Воюй сам! А как? «Сам пью, сам гуляю и в могилку сам лягаю?..» - возникают неуместно в голове слова шуточной украинской песенки.

Тьфу! С таким настроением запросто унянчат... «Пока есть крылья, до земли путь далек» - гласит летчицкая заповедь.

Боевым разворотом бросаюсь в высоту. Не в азарте, не в порыве. Не знаю, как назвать, но это даже не гнев, когда теряешь контроль над собой. Я четко сознаю, чем должен завершить трудное дело и что должен сделать в каждую следующую секунду. Никаких сомнений, никаких колебаний. Решение пришло не сейчас,

вообще неизвестно, когда оно возникло, в какой обстановке, под чьим воздействием, но я весь в его власти.

- Коль пуля-дура не берет, есть оружие вернее: мой меч - пропеллер!..

Резкий прямой переход в пикировании отрывает от сиденья я вишу на ремнях.

Вернее, самолет висит на моих плечах. Тянусь лицом к прицелу, ибо только изощренная точность поможет мне выполнить задуманное. Я не смотрю на скорость, стремительно нарастающую, на башенного стрелка «дорнье», открывшего огонь с дальней дистанции: стрельба в белый свет, сдают нервишки. А я держу его в прицеле, выжидаю, цепенею от напряжения чтоб не нажать на гашетки до поры, до нужной секунды. И вот она наступила. Стреляю, но вместо четырех трасс -- две жиденькие струйки и те тут же обрываются.

Пока перезаряжаю пулеметы, ручка управления вздрагивает - это уже пули фашистского башнера пронзают тело моего самолета. Упредил меня, подлец! Опять жму ни гашетки так, что кажется, отломаю их. Ага, заработало оружие! Бью по правому мотору «кондора» и перевожу трассу на пилотскую кабину. Сверкают-рассыпаются осколки плексигласа, дым, пламя... Горит непробиваемый! Вот пришло и ко мне оно, то самое главное, что боевые летчики видят во сне, чего ждут годами. В неудержимом восторге закручиваю первую победную «бочку». Я просто взбеленился от радости, я готов прыгать козлом, но в этот момент мой «ишачок» споткнулся. Его зверски затрясло. По крылу рядом с кабиной вспучилась обшивка, возле уха гнусно свистнуло, ветровой козырек исчез, как не было, и тут я увидел, по-моему, спиной увидел повисшего на моем хвосте «мессершмитта». Да не просто повисшего, а расстреливающего меня! За ним несся другой, подстраховывал, готовился на добивание. Невольно сжимаюсь, вдавливаюсь в бронеспинку. В такие опасные мгновенья я подчинен особым законам, неведомым мне в других случаях: пока в голове протекают какие-то мыслительные процессы, руки и ноги сами делают то, что положено в подобной ситуации, делают автоматически.

«От твоего умения вести бой на виражах зависит, доведется ли тебе воевать вообще...» - гласит старая заповедь пилотов.

«Мессершмитты» впопыхах пропорол меня, но руля не задел. Из информационных бюллетеней мне известно; «ишак» на виражах перед «худым» не спасует, у немца вираж больше моего, снизу меня тоже не взять, я буквально стригу барашки облаков.

Нырнуть под нижнюю кромку? Нельзя, там они мигом сладят силок.

У меня глубоченный крен, градусов семьдесят, облака подо мной кружатся, как шершавая граммофонная пластинка. Карусель явно затянулась; «мессера» стреляют, но попасть из такого положения даже первостатейному снайперу слабо. А я с каждым кругом чувствую себя уверенней, хочется не просто отбиться, а самому завалить противника. И вдруг словно кирпичом по голове: а твое горючее? Стрелка указателя почти на нуле, а внизу вражеская территория. Довоевался... Не мытьем, так катаньем, а принудили сунуть голову в петлю. Выхода нет и придумать ничего не придумаешь: я как в центрифуге - огромная длительная перегрузка вращения вытянула кровь из головы и отшвырнула куда-то к пяткам. Я тупею, я плохо вижу немцев, не атакуют, должно быть, замышляют какую-то новую пакость.

Надо проверить. Поспешно вывожу самолет из левого виража и без промедления кладу в правый. Мозги крутятся в другую сторону, но все же я вижу: в воздухе никого нет.

Кроме меня, ни единого самолета. Обшариваю взглядом небо - «мессеров» как не бывало. Протираю рукавом куртки очки, забрызганные маслом, устанавливаю двигатель па самый экономичный режим - лишь бы «палка» вертелась, буду беречь каждую каплю горючего. Странно закончилась сегодня знакомая смертная игра: «этот по уйдет, тот но догонит...» Лечу над облаками по струнке, главная цель: как можно дольше продержаться в воздухе. О возвращении на собственный аэродром и не думаю, дай бог линию фронта перетянуть, но... как говорят, «было масло, да изгасло». Мотор чихнул, как водится, раз-другой и заглох. Винт, застывший вертикально, напоминает мне один из тех обелисков злосчастным пилотам, погибшим в далекие довоенные годы, на могилах которых воткнуты винты лопастью вверх точно так, как выглядит сейчас мой.

Машина во власти земного притяжения, свист встречного потока нарастает, он мне кажется гнуснее свиста осколков, он режет по сердцу, злорадно подчеркивая приближение неизбежного... Говорят, в последний критический момент, перед тем как расстаться с жизнью, человеку приходят высокие мысли. Очевидно, так и бывает, но у меня все не по-людски, вместо возвышенных предметов в голову лезет дурацкий авиационный анекдот: «Если ты падаешь с неба без парашюта, избавляйся от

того, чем пользовался при жизни, больше оно тебе не понадобится...»

Ох, земля! До чего ж ты прекрасна под ногами и как люто враждебна, когда несешься навстречу моему неуправляемому сооружению! Твердый воздух загоняет под маску морозные гвозди, корежит лицо, выдувает из кабины мусор. Пора отстегивать привязные ремни - и ноги за борт... Расстегиваюсь, сижу, не выбрасываюсь. Оказывается, подо мной еще одна прослойка облаков, а ниже что? Лес? Вода?

А может быть, город? То-то нахохочутся фрицы, когда им на голову свалится советский летун! Ну нет, такое кино я им не покажу. «Когда обстановка неясна, нахрапом не лезь!» Нужно пробить облака, посмотреть, что внизу.

Увеличиваю угол планирования, чтоб не потерять скорость, не сорваться в штопор. Свист воздуха, туго обтекающего кабину, делается на тон выше. Прорезаю белую пену, самолет крепко дергается, его швыряет во все стороны. Известно - тучки небесные... С земли они нежные, красивые, прямо тебе взбитый крем на торте, а сунешся в этот «крем» - все потроха из тебя вытрясут. Второй слой - нетолстый, под ним виднеется земля, скудно присыпанная снегом, похожая на измятый лист оберточной бумаги. Еще светло, да разве сравнишь этот свет с тем, что наверху? Но тренированные глаза быстро привыкают, и я отчетливо вижу пустынную степь, там и сям разбросаны кучки строений: не то хуторки, не то станы колхозных бригад.

«Какой смысл выбрасываться на парашюте? - думаю я. - Пока буду болтаться в небе, немцы увидят, заарканят. Но на колеса садиться нельзя, земля неровная, скапотирую - и голова долой!» Придется «притирать» «ишачка» на живот, хотя способ этот знаю лишь теоретически. А подо мной - терра инкогнита, к тому же оккупированная, ошибки в расчетах исключены. Но как избежать их, подстерегающих каждую секунду, если они тебе не известны? Получается: я для своей земли как бы инопланетянин, сажусь на авось... Самолет, кажется, не летит, а вертикально проваливается, ручка управления мотается словно ветка кустика в бурю.

Земля рядом, скорости нет, рули почти не действуют, да и сам я уже на «закритических углах»... Хватаюсь за борта кабины, глухой удар... скрежет... треск... пыль. Самолет задирает хвост, порет обтекателем мотора землю. Меня резко швыряет вперед. Неужели капот? В глазах сверкают молнии, и - тьма. Красная тьма с мельтешащими искрами... Вскакиваю на ноги, провожу перчаткой по глазам, на перчатке кровь, все же рассадил лоб о прицел. Срываю с лица маску, сую под

шлемофон носовой платок, оглядываюсь на плоды своих трудов. Самолет пропахал глубокую борозду, лежит и потрескивает, вроде всхлипывает.

Что делать летчику в подобных случаях, обусловлено приказами и особыми инструкциями. Проворно расстегиваю лямки парашюта, дергаю кольцо и оказываюсь в молочной кипени купола. Она вспухает на ветру, обволакивает самолет, я барахтаюсь в стропах, заталкиваю купол под мотор, в кабину, отступаю па шаг, чиркаю спичкой. Самолет вспыхивает разом, я - давай бог ноги! Пустился прямиком на восток. С какой прытью и сколько бежал, ни я, ни вообще какой-либо человек на земле не скажет, в одном уверен: присутствуй при моем кросскоунтри спортивный судья, был бы зафиксирован непобиваемый мировой рекорд драпа па длинную дистанцию... Удивляюсь, как только сердце не лопнуло. Повалился, задыхаясь, на бок, в груди - словно горящий уголь проглотил. Полежал, отошел мало-помалу, но жжение не проходит. А где взять в степи воды? Сгреб горстку снега, пососал.

Ветер смешал снег с мерзлой пылью, на зубах хрустит песок. Гимнастерка на мне - хоть выкручивай, долго на холоде не протерпишь, пронизывает до костей.

Встаю, иду дальше медленней, с оглядкой. Попадается замерзшая лужа, это уже кое-что... Долблю финкой лед, глотаю осколки. Ломит зубы, сводит скулы, но жажда почему-то не утоляется.

Расстегиваю планшет, открываю карту. А чего смотреть? Привязаться взглядом не к чему. Куда меня занесло? Где приземлился - ни в зуб ногой. Вот это и есть полная потеря ориентировки, о которой пилоты старых времен мрачно шутили: самолет разбит, спирт из компаса выпит и экипаж в течение длительного времени не узнает самого себя...

Невольно вспоминаются прежние возвращения с неуютного военного неба на свой аэродром к боевым товарищам. Мог ли предвидеть я, что именно сегодня так резко качнутся весы не в мою сторону? А Бублик? Сгорел он или жив? А если жив, то выживет ли дальше на этой недоброй земле? Я чувствую себя виноватым перед ним, меня-то земля еще держит!

Забрались мы во вражеский тыл - далеко, тут сомнений нет. Возвращение предстоит не из легких - это тоже бесспорно, но для выбора верного маршрута нужна «печка», от которой плясать...

- Ой, мать честная!- вскинулся я, холодея. - Что наделал, простофиля, что поделал! Сам себя подсек! Дал драпа от самолета, а коробку с аварийным бортпайком забыл. Сжег,

раззява, сухари, консервы, сахар, сгущенку... Харчей на неделю, если не роскошествовать. Ой-ой-ой!

От такого открытия даже в желудке засосало, все тело враз развинтилось, мышцы ослабли. На ноги встаю медленно, выбираюсь из балки на пологий увал и вижу невдалеке хутор в одну улицу. Издали кажется брошенным. Приседаю в высоком бурьяне, высматриваю, что в нем делается. Над крышами ни дымка, не слышно

лая собак, ни людских голосов. Впрочем, вроде что-то стучит. Поднимаю наушники шлема, прислушиваюсь. Да, тюкают топором. Встаю и короткими перебежками- к дому, откуда доносятся звуки. Перелезаю через прясла в огород, выглядываю из за угла сарая. Сухопарый старик рубит на колоде хворост и бросает его под навес у сарая. Машет топором, стоя ко мне спиной, во дворе больше не видно никого. Сую краги за пояс, вгоняю патрон в патронник ТТ, прячу пистолет в нагрудный карман куртки. Оглядываюсь еще раз и шагаю к старику.

- Здравствуйте, дедушка!

Тот вздрагивает, поворачивается с вовсе не стариковским проворством, обдает меня прищуренным взглядом, топора из рук не выпускает. Ощупав глазами с ног до головы, спрашивает ворчливо:

- Откуда ты свалился?

- Я - советский летчик, - отвечаю с достоинством.

- Хм... - шмыгает старик крючковатым носом. - Летчик-молодчик... Далеко залетел, одначе... Это ты, что ль, гудел там недавно? - тычет топором вверх.

- Может, и я, неважно... Многие летают.

- Бысте-е-ер... - Старик хмурит брови. - А чего разгуливаешь здесь, как вертихвостка по базару?

- А что тут, немцы?

- Немцев нет, кой ляд им тут делать? Полакомей хутора нашего есть куски...

Мы на отшибе. К нам, бывало, в прежние времена всякие уполномоченные и те не часто наведывались. Ты германа опасайся, да только по нынешним временам не забывай и про своих, чума б задавила этих своих... Шляется тут всяких ватагами, за окруженцев себя выдают, а у каждого на морде пропечатано: если не дезертир, то уж бандюга обязательно. Вот они и хватают таких дураков, как ты, и сдают в германскую комендатуру. За это им - вайскарту, пропуск немцы дают, езжай с ними, куда хочешь. Русскими себя называют, а творят, подлецы, такое... - И старик со злостью вогнал топор в колоду.

- Спасибо, что надоумил, дедушка. А как ваша деревня

называется?

- Хутором считаемся мы... Хутор Трушовский Большетокмакского района Запорожской области.

- Какой-какой? - переспросил я, заикаясь и чувствуя, как все во мне холодеет. Старик пожимает плечами.

- Говоришь - летчик, а не знаешь, куда залетел...

- Я не могу знать каждый хуторишко.

Открываю планшет, но вижу карту плохо, стало совсем темно. Хозяин зовет в хату.

- А не опасно? Вдруг зайдет кто-нибудь?

- Иди, никто тебя не увидит. Ставни на окнах плотные, да и стекла промерзли.

Вхожу, стаскиваю шлем, останавливаюсь у большой теплой печки. Дед возится впотьмах у стола, ворчит:

- Советский керосин кончается, от немцев шиш дождешься, а лучину уж и забыл, как щепать.

Зажигает лампу, оглядывается на меня:

- Чем рассадил-то лоб? Смой кровь вон, под умывальником. И размундировуйся. Сбрую туда кидай, на сундук, а сапоги... собачьи, что ли? Клади к загнетке, пусть сохнут. А я пока соберу перекусить чем бог послал. Как зовут-то тебя?

Называюсь и в свою очередь спрашиваю о том же хозяина.

- Роман Савельевич, - отвечает.

- Один живете?

- Один... Старуха позапрошлый год преставилась, теперь один. Дочка, правда, есть, да только бог знает где она...

Хозяин отходит к печи, а я разворачиваю на столе карту, ищу хутор Трушевский, шарю долго, наконец нахожу почти у самого обреза.

- Тьфу, будь ты проклят! - вырывается у меня нечаянно. Старик оглядывается в недоумении. Поясняю: - Это я про себя, Роман Савельевич... До линии фронта по прямой более трехсот километров! Но по прямой-то не пойдешь, вот какие пироги!

- Тебе лучше знать, где линия та... А нам известно, что немцы в Ростове, что ужо магазины свои в Москве открывают, а Ленинград окружен.

- Да кто вам такую чушь наплел?

- Сосед ездил в Мелитополь за солью, так там по всем радиоговорителям обьявляли.

- Вранье, Роман Савельевич, фашистская агитация! Ростов действительно сдавали, но через неделю, двадцать девятого ноября, взяли обратно, а сейчас части генерала Клейста обороняются от наших на Миусе. Смотрите, вот мой аэродром, смотрите на карту, видите? А Ростов вот где от линии фронта.

Что же касается Москвы, то она не только не взята, а совсем наоборот: мы шуганули немцев и сейчас колошматим так, что копоть от них идет.

Дед молчит задумчиво, затем спрашивает с легкой издевочкой:

- У вас все летуны ростовские такие, как ты?

- В каком смысле?

- Улетит - и нема... Разве настачишь вас самолетами?

«Въедливый дедок, однако... Что ему объяснишь? Да и зачем ему мои объяснения? Он видит, как говорится, товар лицом...»

Говорю извиняющимся голоском:

- Знаю, Савельевич, плох сокол, что на воронье место сел... Авось беда ума приумножит, а?

- Не без того. Только бывает и так иногда; на минуту ума недостанет, так навек в дураки попадешь...

Пока дед хлопотал у шкафчика, собирал на стол, я разделся, умылся, снял унты, остался в меховых чулках-унтятах.

На стене в самодельных рамках под стеклом - фотографии. Среди них привлекали внимание две: новая карточка военного моряка в старый, выцветший дагерротип. На нем спят стройный усач с саблей на боку, в кивере с шишаком, в доломане, цифрованном кутасами, и с ментиком через плечо. Стоит, облокотился небрежно на тумбу, нога закинута за ногу.

- Кто этот лихой гусар? - спрашиваю деда.

- Неужто не похож на меня?

- Правда - вы?

- Хе-хе! Были и мы когда-то рысаками, а обернулись трусаками.

- А моряк, капитан-лейтенант?

- Внук...

- Не упекут вас немцы, если увидят? Красный моряк, скажут, и прочее...

Хозяин промолчал, поставил на стол миску с солеными огурцами, другую - с печеной картошкой, нарезал хлеба. Поев, дед присел у печного зева курить, а я забрался на печь, зарылся в просо и уснул, будто не в глубоком вражеском тылу, а где-нибудь в доме отдыха.

Утром дед говорит:

- Ты, парень, на двор не выходи. Ежели по нужде понадобится, шагай под навес через дверь сеней. А я пойду разузнаю, что деется на свете.

Он ушел, а мне стало не по себе. Уж не двинул ли дедусь «стукнуть» на меня, кому следует? Думать так не хотелось, и все же подумал. Точно на меня затмение нашло какое-то. Да пока я

дрых на печи, старик мог бы роту эсэсовцев привести, будь на то желание!

Оставшись один, не стал терять время, развернул карту и взялся прокладывать маршрут к своим. Курсовая черта получилась ломаной, а значит, меньше шансов напороться на охрану. «Старый гусар дал дельный совет в деревни не заходить. Так и поступлю. Буду маршировать по 20 километров в сутки и недели за две доберусь. Конечно, мешок с хлебом за плечами не помешал бы и наверняка гарантировал желательную скорость. А как быть, ежели харчи профукал и зима на дворе, подножного корма не добудешь? Выходит, зубы на полку и околевай, интендант сопливый! Вот оно, твое знание жизни, способность предвидеть, а значит - побеждать! Пока что твое поведение в воздухе и на земле - убийственная смесь глупости и неумения. Как же ты собираешься жить и воевать дальше, обладая мудростью амебы? А ведь тебе вот-вот исполнится двадцать один год! Позор, и только!»

Часа в четыре пополудни за окном появился дед Роман, кивнул на дверь. Открываю.

- Собирайся, парень, и топай. Тебя уже ищут. Ходи, как я советовал, ночами, днем таись, а то больно храбр. Врагов этим не возьмешь, их много. Будь похитрее, соображай. Путь-дорожка у тебя - кхм... не к ночи будь помянута.

- Ничего, Роман Савельевич, недели за две дойду.

- Э, мил человек, дай-то бог тебе за два месяца добраться.

- Типун вам на язык! На животе буду ползти, а доберусь.

- Ну ну! Не забывай только: на дворе не лето, когда каждый кустик ночевать пустит...

Дед приносит из сеней солдатский котелок, ставит на стол, вынимает из шкафчика буханку хлеба, кладет рядом с котелком, вытряхивает на крыльце пустой мешок, протягивает мне.

- Бери. Больше, извиняй, нету. Тут вот пшена немного в котелке. А это соль, - подносит к моему носу узелок. - Спрячь в карман да береги, не потеряй, а то без соли пропадешь, уйдет из тебя сила без соли. И спички храни пуще глаза, держи ближе к телу, чтоб не отсырели. А кресало с трутом бери на всякий случай. Ну, с богом!

Я поблагодарил бывалого русского солдата. Все предусмотрел старый гусар, обеспечил всем необходимым, без чего невозможно обойтись в одинокой бивачной жизни. Растроганный, я протянул ему руку, пожал крепко его, костлявую.

- Спасибо, Роман Савельевич, не забуду вас никогда.

- Ладно, ты мать-отца не забывай... Постой! - спохватился

он и снял о крючка у двери брезентовый, видавший виды плащ с капюшоном. - Меряй.

- Зачем? Я в меховой одежде, не замерзну.

- Меряй, во-ояка... И чему только вас учат в ваших кадетских корпусах! Будь я твоим эскадронным командиром, ты бы у меня насиделся на гарнизонной...

- За что вы меня так, Роман Савельевич?

- За отсутствие наличия маскировки. Посмотри в зеркало! В меховом кафтане тебя слепой за версту распознает, а брезентовые плащи у нас все конюхи носят.

Вот так оно лучше. После войны заскочишь как-нибудь, вернешь. Ну, ступай, да с оглядкой, помни: подстреленного сокола и ворона клюет...

Попрощавшись с хозяином, выбираюсь задворками из хутора и - прямиком в декабрьскую тьму. Бугристая степь, колючие заросли белой акации, кусты острошипового терна то ли боярышника. Под ногами шуршит жухлый бурьян, за плечами тощая котомка, к поясу привязан котелок, в кармане - бутылка с водой, заткнутая кукурузным кочаном. Плащ на мне громыхает так, что, кажется, слышно до Ростова. Немножко бы посветлее - и топать можно, но месяц взойдет где-то после часа ночи в виде серпика. Штурман полка, хочешь не хочешь, приказом заставит знать наизусть движение небесных светил, оттого и зарубка в голове. Но светило мне нынче не помощник, небо замуровано облаками, земля словно вымерла, нигде ни огонька. Ощущение такое, будто ты один-одинешенек на белом свете, и только фосфорно мерцающая стрелка компаса живет, показывая направление. Временами останавливаюсь, поднимаю наушники шлема, слушаю степь, как-никак не по собственному аэродрому прогуливаюсь...

В морозной мгле едва проглядывается вздыбленная горбами земля, а там, за дальней далью, за многими и многими холмами и распадками, пролегает такая желанная, такая притягательная и пугающая неизвестностью линия фронта. Передовая... О ней у меня представления весьма расплывчатые, как о чем-то отдаленном, хотя и смутно-возможном. О переходе вражеских позиций заставляю себя не думать, до них еще топать и топать, но избавиться от назойливых мыслей невозможно. Ведь, по сути, я иду наобум, полагаясь на чертовское везение, а точнее - на авось. Но счастливый случай - штука чересчур хлипкая, а другой, на которую можно было бы положиться и не попасть впросак, нет.

В воздушном бою не до анализов и прочих рассуждений, но теперь, на досуге, можно не горячась оглядеть прошедшие

события глазами как бы нейтрального посредника на войсковых маневрах, выявить, где и почему преуспел, а где подкачал.

Скверно переоценить, не менее скверно и недооценить. Придирчиво, минута за минутой восстанавливаю в памяти наш далеко не блистательный воздушный бой. То возвращаю себя на собственное место, то ставлю на место ведущего, принимаю за него решения, стремлюсь уразуметь в целом, почему атаки протекали именно так, а не иначе, почему совершался маневр такой, а не другой.

Лишь к полуночи, возвращаясь опять и опять к элементам полета на перехват, нахожу, как мне казалось, истинные причины, сковырнувшие нас с небес на бренную землю. Мы обучены драться звеном, тройкой. Оказавшись в воздухе вдвоем, мы продолжали действовать по шаблону, а рутина в бою, как известно, ведет к гибели. Этим и закончил мой командир. Свои последующие действия я совершал на грани отчаянья и лишь благодаря счастливой случайности не отправился вслед за Бубликом, Верно сказал дед Роман: «На минуту ума недостанет, так навек в дураки попадешь»,

Наступило второе утро моего пребывания на вражеской территории. Морозный туман, плотный и сухой, окутал землю, видимость нулевая. Это мне на руку, пора подыскивать лежку. Хорошо бы забраться в лесопосадку погуще, ночью такие попадались, а тут словно выгорели. В данном районе, если судить по карте, населенных пунктов нет, но в таком туманище даже первоклассному штурману немудрено отклониться от курса. Надеяться же на ручной компас - все равно что на часы без стрелок.

Не привык я к дальним переходам, ноги гудят. Наконец место вроде подходящее: овраг, заваленный почти до половины сухим перекати-полем. Сползаю на дно, развожу костер. Курай горит жарко, успевай подкладывать. Снеговая вода в котелке мутновата, горьковата, и дух у нее особенный, но здесь не Ессентуки, сойдет. Бросаю в кипяток горстку пшена, солю, отрезаю от буханки краюшку толщиной в два пальца и расправляюсь с кулешом. Веником из бурьяна сметаю пепел с места, где горел костер, и, как советуют опытные охотники, укладываюсь спать на теплую землю. Мороз крепко покалывает открытое лицо, пожалуй, можно без носа остаться. Натягиваю летную маску, пистолет- за пазуху, котомку под голову, сверху маскируюсь шарами перекати-поля. На всякий случай. Закрываю глаза, а сон не идет. С чего бы это? Намотался - рук-ног не чую, подзаправился не худо и спрятался, как черт в пропасти, миноискателем не сыщешь, а заснуть по могу. Слышатся вроде

чьи-то крадущиеся шаги, шорох будылья, странное фырканье... Тревога вытесняет из головы муть дремоты. Кто-то здесь есть... Осторожно достаю пистолет, выглядываю из-под капюшона плаща-тьфу! На краю оврага сидит заяц, наставил уши, смотрит в мою сторону: не иначе, я занял его место. «Фюйть, косой! - свистнул я. - Гуляй до вечера». Заяц задал стрекача, а я себя кулаком по лбу: «Осел! Почему не пристрелил зайца? Столько мяса упустил, разиня. Никакого толку из тебя, размазня бесхозяйственная!»

Расстроенный донельзя, сворачиваюсь калачиком и проваливаюсь. Вскакиваю от стужи. Меня трясет, как хронического малярика. Опускаются сумерки, стрелки на часах показывают шестнадцать. Сгребаю ворох перекати-поля, притаптываю, чтоб горел медленней, и повторяю утреннюю стряпню. Хлебаю жиденький (без зайчатинки!) кулеш и уверяю себя, что никакого зайца не было, что он мне приснился и то, что шевелило ушами на краю оврага и фыркало, просто мираж, фата-моргана, так сказать...

Четвертая ночь в пути. И переходы и дневки похожи друг на друга, как мои унты и краги. Вначале шагал прытко, но, как ни старался экономить, скудный запас кончился, а когда кишки затоскуют, то и на сердце скверно. Удивляют странные ощущения: казалось бы, пища сама по себе, вода - сама по себе, ан нет! Чем дольше не ешь, тем сильнее пить хочется.

Вчера погода разведрилась, облаков не стало, а звезд наползло видимо-невидимо, да крупные все. В нелюдимой степи, как при торжественном салюте, видна каждая кочка, былинка, иди и радуйся, а у меня в животе, точно битых бутылок натолкали, режет - сил нет. Ноги не слушаются, развинтились в суставах, в глазах круги, меня тянет к земле, и я падаю.

Лежу, думаю с обидой: «Неужели я такой слабак, что вражья сила вот так постепенно и сгубит меня? Нет, у меня же еще две обоймы, прежде чем сам протяну ноги, десяткам двум фашистов сделаю карачун».

Как назло, рядом не видно никакого сушняка, чтоб воду согреть. Пью холодную из бутылки, встаю кое-как, бреду дальше. К утру стужа становится прямо- таки зверской. И это юг! Сорок седьмая - будь она сорок семь раз проклята - параллель! Над тусклым горизонтом возникают сразу аж два солнца, а ни одно не греет, от жестокого мороза не спасают ни собачьи унты, ни меховая одежда. Холод подстегивает, гонит вперед, но я окончательно, как говорят в этих местах, «подбился на ноги». Развожу костерчик и незаметно засыпаю. Обувь, конечно, не просушил и сейчас мучаюсь захолодевшими ногами. Вот как

пренебрегать мудрыми советами деда Романа! Трясусь всем телом и клацаю зубами по-волчьи. Голод и холодина истощают, изматывают, давят. Правильно ли поступил я, выбрав направление к фронту по безлюдной местности? Попадись мне сейчас деревня, разве вытерпел бы, не зашел? Глядишь, пустили бы погреться, поесть дали, не все же люди враги!

Возможно, так и было бы, а возможно... Дед Роман не зря предостерегал несколько раз. Нет, с намеченного маршрута не сойду. Летная заповедь гласит: «Принял решение - выполняй, даже если оно покажется неверным. Сомнение и промедление ведут к гибели». А мне зазря погибать незачем, я обхожусь государству - ого! в какую копеечку. Чтоб научить, скажем, военному делу пехотинца ускоренным курсом, как это делается сейчас, хватит месяца. В переводе на провиантское и вещевое довольствие обучение станет примерно в сто котелков щей-каши, пары портянок да тыщонки патронов. А подготовка летчика? По крайней мере три года. Одного бензина уйдет на тысячи рублей, не говоря уж об остальном. Вот бы сюда ведерко бензина! Ух, и раскочегарил бы огнище. Эх, и погрелся бы!

Всю ночь корчился от мороза, только под утро повезло: уперся в скирду соломы. Обошел вокруг - видать, не нынешнего урожая, солома слежалась плотными слоями. Пока выдергивал пучки, устраивал логово, совсем ободняло. Неподалеку маячили еще две скирды, их также обследовал. У дальней угол порушен, набирали солому, но давно, глубокие следы тележных колес, схваченные морозом, засыпаны снегом. Свежих следов нет - знать проезжие смыкали...

Возле моей скирды тоже все истоптано копытами, в распутицу толкался скот, там и сям видны запорошенные снегом сухие лепехи кизяка. Отличное топливо! Отдираю финкой от задубелой земли, складываю пирамидкой, поджигаю. Не костер - домна, теплынь на три шага разливается, подставляю то спину, то грудь. Вливаю в себя полкотелка подсоленного кипятку и, пока сушатся унты, забираюсь в стог, трамбую ногами солому, пробиваю нору поглубже. Ноги в носках быстро коченеют.

Вылезаю из берлоги, греюсь и опять за работу. В одежду набилось устюгов, колют похлеще иголок. Вытаскиваю, отряхиваюсь. А это что? Твердый колос, с зернами! Пшеница! Разминаю в ладонях, зачем-то пересчитываю зерна и отправляю в рот. Жую торопливо, а глаза бегают по охапке соломы, среди трухи замечаю один невымолоченный колосок.

- Еда! - вырывается у меня громко.

Мигом натягиваю унты, бросаюсь в солому шарить зерна. Не проходит и получаса, как у меня две горсти пшеницы. Всыпаю в

котелок, трясусь над каждым зернышком. От запаха кипящего кондера кружится голова. Не могу дождаться, когда доварится, сплескиваю юшку, жую зерно полусырым.

Дорогой товарищ комбайнер, не знаю, кто ты, оставивший колоски в соломе! Может, старался скосить побольше га, поставить рекорд выработки за счет качества? Может, твой комбайн ни к черту не годился, не вымолачивал полностью зерно? А может, ты просто из-за нерадивости допустил брак - не знаю, но я всю жизнь благодарен тебе, друг ситный, за великое благо, которое ты сотворил для меня, нарушив правила агротехники.

До вечера набрал четыре котелка зерна. В сумерках напарил еще, ем и остерегаю сам себя: мол, знай меру, желудок не чугунный, обожрешься - не встанешь.

Думаю разумно, а делаю... Сутки без сна да обильная пища совсем разморили, сегодня я больше не ходок. Да и глупо бросать пшеничное Эльдорадо, нужно запастись впрок.

Зарылся в скирду, заткнул нору изнутри соломой и плащом, напялил очки, чтоб не засорить глаза устюгами. В берлоге тепло, ноги сухие, в животе тяжесть от пищи, что еще нужно солдату?

Просыпаюсь и не пойму: сон это или меня на самом деле кто-то щекочет? Спину, шею, за пазухой - ей-богу, расхохочусь! Машинально вскидываю крагу, запускаю руку за пазуху, хватаю что-то теплое, живое. Жму в пальцах- пищит. Мышь!

Тьфу, пакость!.. Старая скирда кишит мышами, слышно их возню. В соломе тепло, но меховая куртка устраивает их больше, набились в рукава, в карманы. Выбираюсь из норы наружу, вытряхиваю грызунов ил одежды и... застываю с растопыренными руками: где-то рядом ржет лошадь. Натягиваю поспешно плащ. У дальней порушенной скирды двое гражданских накладывают вилами солому в широкие, как арба, сани, третий в шинели с поднятым воротником - похоже, немец - закинул за плечо винтовку, курит.

Меня за виски схватило. До села, должно статься, рукой подать, в селе солдатни тьма, а я у них под носом каши навариваю... Ой-ой-ой! Как бы из меня того, каши ни сварили. Вон сколько натоптал следов вокруг скирд, и все ведут сюда.

Стою на ветру без движения, выжидаю четверть, полчаса, дырка в маске для дыхания затягивается ледовым наростом. Скалываю дулом пистолета. Ну и морозяка! Немец в валенках пританцовывает у скирды с заветренной стороны, мужики заканчивают кидать солому, накладывают сверху жердь, притягивают веревкой, подходят к солдату. В руках одного

бутылка, у другого - что-то еще. Выпивают все.

Минут через пять немец карабкается по спинам мужиков на верх саней, обкладывается соломой - и дровни пропадают в белесой дымке.

Возвратятся? Или того хуже: приедут другие, более бдительные, и заинтересуются моими следами? Оставаться рискованно. Впервые трюхаю днем по открытым полям, скатываюсь с холмов в балки, проваливаюсь в овраги- как есть степной бирюк. Вот и до железной дороги добрел. Здесь всего одна дорога от Бердянска на север. Не очень то резво продвигаюсь к цели пешим способом, придется поднажать.

Пшеницы хватило на трое суток, больше бог ничего не подкинул перекусить. Пошли опять мутить меня да качать голод и холод. Эта парочка кого угодно сживет со свету, заморозит. Без «топлива» тело быстро остывает, силы уходят. Едва тащусь, опираясь на жердину, то и дело погоняю себя, но... укатали сивку крутые горки. Вчера - отлично помню - дневал за кряжем, расчерченным снежными застругами, еще сравнивал со шкурой зебры. Проковылял ночь, оглянулся, а до полосатого кряжа рукой дотянешься.

Над головой кучами носятся вороны, пронзительно каркают. Подерут глотки, садятся, чистят перья и опять взлетают с мерзким граем. Так и сопровождают меня как бы почетным эскортом.

«Не иначе как на мою голову каркает нечисть! - вскидываюсь в досаде и злости. - Я вам покаркаю!» Выхватываю пистолет и стреляю в черную кучу. Стая шумно взлетает, на земле остается один комок.

Ощипать, выпотрошить птицу - дело минуты. Насаживаю на прут, разжигаю костерчик. Вороний шашлык испускает потрясающий аромат. Что там благоуханья кавказской, французской то ли китайской кухонь в сравнении с моей вороной! Я отворачиваюсь от нее, зажимаю нос крагой, мне кажется: еще миг- и я не выдержу, упаду в обморок, как анемичная девица. Выхватываю из огня шипящую «дичь» и в мгновенье ока - только кости хрустнули - съедаю. Смотрю на голый прут и думаю:«А съел ли я ее на самом деле?» Что мне ворона? Что один глоток воды для умирающего от жажды. Орнитологи утверждают, будто ворона живет сто лет. Той, которую проглотил я, было не меньше двухсот. Костлявая, сухая, жилистая, только раздразнила, карга старая, мой безмерный аппетит, и я, как заядлый картежник при виде солидного «банка», теряю разумную осторожность, поднимаю пистолет и старательно выцеливаю следующую жертву. Гром моих выстрелов

слышен, очевидно, в Ростове. Быстро собираю добычу, ощипываю кое-как, но на прут не насаживаю-это недопустимое расточительство. Кладу ворону в котелок, даю закипеть, подсаливаю юшку и выпиваю. Вместо проглоченной мути набиваю снега и - обратно в огонь. У меня четыре тушки, это кусок жизни. Правда, и боезапас здорово убавился, но зато я теперь... Хотел сказать «воспрянул», но попробовал натянуть обувку, снятую для просушки, и не могу. Ноги отекли, словцо колоды, надавлю пальцем - и впадина остается. Запаршивел весь, по лицу высыпали язвы, сквозь корку торчит щетина, пальцы па руках загноились - пока сплю в ометах, их обкусывают голодные мыши. Может, заразили туляремией? Чего доброго! В ушах не стихает нудный шум, временами накатывает безразличие. Это плохо, я понимаю и потому заставляю себя не делать категорических выводов, не давать оценок своему состоянию.

Канун Нового года, земля и небо - черная вакса. Как поется в песне: «Теплый ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять... Стаял снег в Ростове, стаял в Таганроге...»

Падаю на кучу какой-то трухи и окончательно перестаю чувствовать и соображать, только вижу один и тот же странный бред. Бред всегда странный, но мой был, как бы это сказать... красивый и пугающий. Представьте себе снежную пустошь, ощетиненную длинными иглами инея, я продираюсь сквозь белые дебри - и вдруг передо мной колодец. К нему приближается молодица: дородная, стройная, в летнем наряде, снимает с плеча коромысло с пустыми ведрами и начинает раздеваться. Падают фартук, юбка, вышитая яркими цветами сорочка, и вот уже на ней нет ничего. Она заглядывает в колодец, и я каменею: неужели хочет топиться?

Нет, ее рука вращает коловорот, цепь накручивается, и когда цибарка появляется над венцом сруба, из морозной пустоты возникает ядовито-зеленый пес. Вначале это неопределенное, растушеванное пятно, затем свирепая псина разбухает, становится четче, зеленая шерсть делается розовой, затем - багровеет, и уже нет барбоса, только ощеренная клыкастая пасть и злобные ледяные бельма. Из глотки вырывается хриплый вой, клыки вот-вот сомкнутся и перегрызут живое тело женщины. Я рвусь к ней, кричу. Она испуганно оглядывается и отпускает коловорот.

Бадья падает обратно в колодец, рукоять раскручивается все быстрее, и уже нет ни женщины, ни рукояти, я вижу ореол винта моего самолета... Я вижу бурно пузырящийся колодец, из него прет черная пена... То ли воронья стая, каркая, исчезает в белой мгле. И опять снежная пустошь, ощетиненная длинными

иглами инея, колодец, зеленый пес и все остальное сызнова и много раз подряд.

Не знаю, отчего прихожу в себя. Во рту сухо, шершавый язык распух. Пить.

Бутылка с водой в кармане. Достаю, делаю несколько глотков и вздрагиваю: совсем близко - собачий лай. Похоже, мои бредовые видения материализованы? Ого!

Да тут не только лай - хлопают выстрелы, шум, гомон, крики, в темном небе ракетный треск и блеск. Звучит губная гармошка, несколько глоток плохо, но старательно орут; «Ах, майн либен Августин, Августин, Августин...» С усилием соображаю: встречают Новый год... Не зря мне мерещилась псиная пасть: вот в какую пасть врюхался! Надо вставать скорее и уматывать, пока цел, но тело словно измолочено дубьем, не подчиняется мне. Я горю и дрожу, как мокрый бобик на ветру, температура, видать, за горок. Так и не встаю. Перед глазами крутящийся коловорот, голая молодица и злобный пес. В минуты просветления думаю только о собаках, о фашистских волкодавах, шастающих поблизости, - ведь выдадут, проклятые! Нюхом за версту почуют чужого!

Когда опять прихожу в себя, играет аккордеон, чистый свежий тенор запевает неаполитанскую песню. Великолепно поет, сукин кот! Слушаю и забываю, что он явился из солнечной Италии на подмогу Гитлеру и что песня его плывет над ширью русской земли, куда никогда ни итальянские, ни ромейские легионеры с оружием не проникали...

Сутки и еще сутки лежу в куче трухлявого хвороста, не сплю и не бодрствую, так, в полузабытьи. Собачий лай порой встряхивает меня, но ненадолго, и опять оцепенение. Жар спадает на третьи сутки, а с ним - и последние силы. Встаю медленно, долго разминаюсь, опять сажусь.

Ни голосов, ни лая не слышно, проверять почему - в мои намерения не входит. Беру прежний курс на восток. Ноги совсем плохо слушаются меня, болезнь доканала.

Компания фашистов и собак, вблизи которой я встречал Новый 1942 год, судя по следам на снегу, отправилась на фронт, значит, фашисты позже дорого заплатили мне за те ночи и дни... Что же касается собак, я с той поры просто видеть их не могу и потому слыву среди паточно-чувствительных соседей по лестничной клетке человеком черствым, тяжелым, бессердечным.

От соседей-дураков можно отмахнуться, от прошлого - никогда. Итак, тащусь по темной земле в неведомое будущее, кашляю. Простуда даром не проходит, кашель сухой, не дает дышать, и голод по-прежнему вершит во мне свою губительную

работу. Все чаще спотыкаюсь, падаю, встаю безо всякого желания и шагаю, шагаю, чтобы опять брякнуться ничком и снова так же тяжело и медленно вставать. Сыплет густой влажный снег. Не знаю, где потерял свою клюку, без опоры двигаться еще мучительней. К утру снегопад прекращается, ветер поворачивает с той стороны, где над белой грядой курганов всходит солнце. Справа впереди показывается заснеженная крыша какого-то строения. Издали не разберешь: то ли навес летнего полевого стана, то ли поветь для овец. Приближаюсь с оглядкой.

Двери нет, через широкий проем видны нетронутые заносы, под кровлей вдоль и поперек - жерди, на нихсолома. Из-под крыши вылетает сорока, опускается в нескольких шагах и сварливо стрекочет. Возле нее появляются сородичи, чечекают меж собой. «Мясо!» - констатирую я и осторожно вытаскиваю пистолет. Прижимаюсь к саманной стенке повети, снимаю оружие с предохранителя. Вертлявые птицы прыгают, крутятся, не могу никак поймать па мушку. А тут еще дрожь в руках, глаза слезятся. Но промазывать нельзя, патронов мало, и впереди линия фронта. Патроны для врагов нужно беречь, а не тратить на дрянных сорок. И все же стрелять надо. Стрелять, чтобы жить. Тщательно выцеливаю и плавно давлю на спусковой крючок. Взлетают брызги мерзлой земли, сорока резко взбрасывается и неуклюже прыгает с перебитым крылом. Кидаюсь к пей и в падении ловлю за хвост. Моя! Лежу и не могу подняться. Видимо, на поединок с птицей ушли последние крохи сил.

Лежу, приклонил голову к земле, и вдруг сквозь толстые наушники шлема, сквозь брезент капюшона в уши проникает неясный гул. Эхо моего выстрела? Но кругом степь, откуда эхо? И тут меня обжигает догадка: россыпь этих басовитых звуков - отдаленный рокот канонады. Восточный ветер донес сюда громовые раскаты фронта.

Боже мой, где и силы взялись! Вскакиваю на ноги, живо потрошу сороку, на ходу прикидываю: сварить или съесть сырой? Мне сейчас, как говорят на Украине: «Хоч вовны, абы кишки повни». Нет, сырой есть нельзя, поспешу - хуже будет с голодухи.

Жгуты соломы горят бездымно. Сижу под крышей повети, отрезаю крохотные кусочки от сырой тушки, солю, подкапчиваю над огнем и жую. Все внимание на то, чтобы не проглотить целиком кусочек, чтобы жевать медленно, дольше. Истекаю слюной, пока зубы перемалывают, перетирают каждую косточку скудного кушанья.

Стоп! Это же не птичьи кости - снег хрустит под чьимито ногами. Выглядываю из сарая - передо мной женщины. Через

плечо по два мешка, связанных за гички наподобие кавказских хурджинов, обе в замызганных стеганках, в кирзовых сапогах, головы замотаны платками. Смотрят испуганно на меня, на костерчик в сарае, поворачиваются и ходу в степь.

- Тетоньки, постойте! - кричу вслед.

Нехотя останавливаются, молчат, глядят настороженно. Подхожу ближе.

- Откуда идете, тетеньки?

- Мы тутошние...

- Из хутора Зерновского. Там, за бугром... - отвечают в один голос и показывают на восток.

- Как там у вас, на хуторе?

Женщины переглядываются.

- Немцы есть? - уточняю вопрос.

- Нет-нет!.. А красные близко, наступают дюже...

- Кра-а-а-сные... - язвительно передразниваю я.

«Не советские, не русские, не наши, а красные, как при генерале Каледине в гражданскую». Спрашиваю: - А вы от кого убегаете?

- Мы в село... - отвечают уклончиво. - Там родня, не так страшно. В хуторе ни днем ни ночью покою нету, насильничают, грабют. А вы - в Зерновский?

- Нет, я домой, - показываю на восток.

Женщины опять переглядываются с недоверием.

- Ну, счастливо вам... - кивают и уходят. А я смотрю на их мешки и не могу оторваться. Не выдерживаю, бросаюсь вдогонку.

- Тетеньки, не найдется ли у вас немножко хлеба?

Говорят - нет, им до дому недалеко, с собой ничего не взяли.

- Изголодался я, иду из окружения.

- Видно по тебе, что не от матери родной... Весь аж черный.

- Что делают с людьми, господи! Обожди тут, убогий, я пришлю с парнишком своим хлебца. Он мигом, вприскочку, недолго...

Тетки уходят, я стою в сомнении: не пришлют они мне ни крошки. Какая мать отпустит мальчика неизвестно к кому в степь! Надо самому пробираться в хутор Зерновский, пока туда немцев не подвалило.

Это было мое первое нарушение заповеди деда Савельича и собственного здравого смысла: нельзя расхаживать среди бела дня по улицам карликового хутора, и все же... Правда, в «парадные подъезды» не полез, подошел со стороны огородов по глухой околице, затем промеж усадеб - к справному дому, из трубы которого тянулся дымок. Во дворе порядок - видно, хозяева живут в достатке. Поднимаюсь на крыльцо, стучу

несколько раз - не откликаются. Толкаю дверь в сени, потом - в комнату. Слева от двери - печь, впереди напротив меня кто-то на коленях, припадая лбом к полу, истово бубнит молитву. Широкий зад в ватных штанах ходуном ходит. В углу перед божницей теплится лампадка. Возле высокой кровати стоит дородная румяная молодка с припухшие от слез лицом, к ее ногам прижимаются девочка и мальчик лет пяти-шести, таращатся на меня испуганно.

- Здравствуйте, хозяева, - говорю и тяну руку к головному убору, но вовремя спохватываюсь: то стоит показывать летный шлем, его под капюшоном плаща не видно. Пригожая молодка на меня ноль внимания, продолжает хлипать и кулак. Не в подходящее время попал, видать, я в этот дом, супруги расстаются, им свет не мил. Эх-эх-эх!

Тем часом молившийся, отстучав поклоны, встал с колен, продолжая бормотать:

- Господи спаси... господи спаси... - Поворачивается к женщине, кланяется ей низко: - Спаси вас господи, Меланья Евлампиевна, даруй вам здравие и благополучие за доброту вашу, за хлеб-соль да приют сиротине бездомному... Простите, в чем согрешил, и молитесь за меня, недостойного...

Молодица завыла громче, дети подняли писк. Смиренный богомолец прошелся платком но глазам, скорбно вздохнул, а пышная молодка все причитала:

- Ой, не поки-и-и-идайте нас, Игнатий Дани-и-илыч... Как-то мне, беззащитной, горе мыкать? Одна-одинешенька, как былинка при дороге!..

- Не плачьте, Меланья Евлампиевна, я скоро вернусь. Вернусь, как только... - Тут набожник в ватных штанах впервые поглядел в мою сторону, кашлянул. - Не нам с вами германца бояться, мы - люди порядочные, он вас не трогал и не тронет.

Я уже догадался, что за кино передо мной. Хахаль Игнатий собрался пятами накивать. Мордастому лет тридцать, побритый, подстриженый, в чистой косоворотке, на щеках точно свеклой намалеваный румянец. Несомненно в примаках, как крыса в норе, хоронился, паразит. Ишь, ряху нael! Одни воюют, другие котуют. А «былинка»-то! Дрова возить на такой былинке! Ревет-убивается. Поди, обрюхатил сожитель, а муж небось в окопах о жене-детках денно-нощно печалится: как-то его Меланья сердечная мыкает горе?

- Ну, пора... - тянется мордастый за висящим на стене шубняком, крытым серым сукном. - Знать, наши заждались меня. Ну-ка, подай торбу!

«Ишь как заговорил! Куда и елейность девалась!»

- Сейчас, Игнаша, засуетилась Меланья. - Сейчас принесу, в сенцах висит...

Она спешит к двери и только сейчас кидает на меня удивленный взгляд, хмурит разлетные брови:

- Тебе чего, убогий?

- Поесть, хозяюшка.

- Э-э-э-э... Мне вон их кормить нечем, - кивает нетерпеливо в сторону детей. - Иди куда знаешь, бог подаст!

- Я заплачу, у меня - марки.

Меланья машет рукой.

- Не нужны мне ни германские, ни советские, иди ты, дед, с ними... Вас тут много шляется, побирох...

«Ишь как взьелась! Я для нее - дед! Если я дед - то ты Яга заплесневелая!

Мне еще неделю прожить надо, чтобы двадцать один исполнился. Отворачиваюсь от хозяйки и мимолетно взглядываю в зеркальце над умывальником у двери. Взглянул - и обомлел: что за чудовище? Да и впрямь ли это я? По спине проходит холодок.

Да, такого и мать родная не узнает. Изможденный, грязный, заросший щетиной, усыпанный струпьями, воспаленные глаза провалились... Не дед - сам себе прадед. Надо уходить, раз провожают взашей, а я не могу ног оторвать от пола.

Воздух в хате - пить его хочется: ароматный, вкусный, сочный. Глотаю слюну, говорю опять:

- Я часы отдам, мне только хлебца немножко...

- Чего-о-о? - издевательски спрашивает Игнат. - Какие часы?

- Вот... - снимаю с руки «Мозер», подарок брата, подаю Игнату.

Тот оглядывает их со всех сторон, встряхивает, подносит к уху, морщится спесиво: - Небось крадены?

Я молчу.

Меланья наблюдает с порога, затем говорит заискивающе:

- А может, сгодятся тебе, Игнаша?

Тот стучит ногтем по стеклу часов, хмыкает пренебрежительно:

- Были б часы стоящие, а это - барахло, старье штампованное. Ну да ладно, дай хмырю буханку, а не хочет...

- Хочу! Хочу!

Хватаю из рук хозяйки хлеб - и ходу! Несусь по улице, отламываю, глотаю, не жуя.

Вдруг - то ли жизнь, угасшая во мне, начала возгораться, то ли по какой-то другой несообразной причине в голову мне приходит школьная учительница литературы. Она часто

повторяла нам, неучам, в назидание афоризм Бодлера: «Человек может жить три дня без хлеба, но не может просуществовать и три дня без поэзии». «Эхма! Сюда бы, на мое место, тебя с твоим полусумасшедшим Бодлером! Я не знаю калорийности «Цветов зла», но уверен: просуществовав три дня без хлеба, вы стали б изрекать свой афоризм наоборот...»

За хутором сбавляю шаг, оглядываюсь. О! Знакомая фигура в шубняке, крытом серым сукном, шествует по улице в мою сторону. «Куда спешит мордастый «кот», когда приближаются советские войска? Кто он, этот ханжа? Дезертир? Прихвостень фашистский или прожженный жулик? Во! Как лихо ободрал меня за кус хлеба! Глазом не успел моргнуть, как часы перекочевали с моей руки в его карман. Чересчур легко расстался я с подарком брата, уж не преувеличиваю ли силы этого откормленного сутенера? А что мне оставалось? Я - доходяга, дистрофик. Лезть на рожон в моем состоянии, затевать шурум-бурум - идиотизм. Ладно, посмотрим...»

Сажусь на межевой столбик шагах в двадцати от дороги, стаскиваю унт, вроде переобуваюсь. Игнат проходит мимо, не удостаивая меня ни малейшим вниманием.

Встаю, окликаю:

- Эй, морда! Притормози!

Тот останавливается, смотрит озадаченно.

- Это ты мне, шантрапа? Аль еще сбыть ворованное хочешь? - спрашивает со злобным прищуром.

- Ошибаешься, как там тебя... Поклоны лупишь, а в библии плаваешь дурак дураком. Что сказал Иезекииль в одной из глав? Не знаешь. А изречение пророческое: «И ограбят грабители своих и оберут обиратели своих», кумекаешь? Око за око, зуб за зуб. Тоже, между прочим, библейский лозунг. Сначала ты меня, теперь я тебя. Выкладывай из лап своих мои часики и чеши аллюром три креста.

Игнат вытаращился на меня и, кажется, потерял дар речи. Но быстро оправился, шевельнул красноречиво могучими плечами, быстро шагнул в мою сторону и увидел в руке моей пистолет.

- Хальт! - усмехнулся я, как мог ядовитей. -Знай: сороке с двадцати метров в глаз попадаю, а уж по твоей морде промаха не дам. Делай, что сказано! Или не докумекал еще? - поднял я пистолет,

- Ну-ну! Не балуй...

Он торопливо снимает с руки часы. Глаза его круглые и черные с просинью, точь-в-точь вороненая сталь пистолета. Кладет осторожно часы на ледяную корку слега, отталкивает в

мою сторону. Я продолжаю командовать:

- Вытряхивай сидор! Хлеб и сало оставь, остальное забирай - и марш без оглядки!

Игнат выполняет и ссутулясь уходит, шепчет что-то серыми от злобы губами.

Подбираю трофеи, но с места не трогаюсь, продолжаю сидеть, жду, когда он уйдет подальше. Сейчас надо быть особенно настороже. Фашистам надо извести меня, мне - выстоять и уничтожать их. В том числе воздействовать и на таких, как Игнаша да Малаша, чья хата с краю... Конечно, мои действия неэтичны, хуже того: уголовно наказуемы. Любой судейский крючок, умеющий поворачивать дышло закона по своему усмотрению, квалифицирует эти деяния как неправомерный грабеж.

Но мне плевать на юрисдикцию, я докажу, как дважды два, что мои поступки правомерны и зиждутся на совершенно ясном объективном экономическом законе. Я, единственный представитель Советской власти в этом районе оккупированной территории, справедливо перераспределил материальные блага среди членов общества, и только. Экспроприация экспроприаторов - явление социальное, вызванное голодом, скитаниями, холодом - причинами, порожденными фашистской оккупацией. И точка.

Так логично рассуждал я, закусывая Малашко-Игнашкиным салом. До суда надо мной за грабеж еще далековато, гораздо ближе до степного овина без окон, без дверей, облюбованного мной утром. Место для дневки самое подходящее. Возвращаюсь, смотрю: на колышке у входа узелок висит, а в узелке хлеб и вареная картошка. Прибегал все же теткин мальчишка, меня не застал, но еду обратно не унес. После тягостной встречи с Игнашкой-Малашкой на сердце полегчало.

Мужская жалость неприятно задевает солдатскую душу, обижает, женская - врачует ее. Так всегда было. Так и будет.

Залезаю на горище - узкую щель между кровлей и настилкой, закрываюсь соломой и слушаю столь желанную и долгожданную музыку, слышать которую мечтал с первого дня вынужденной посадки. Это не та благозвучная музыка, что льется в душу, волнуя и принося наслаждение в залах с прекрасной акустикой, мою вынужденную музыку клянут и боятся все люди уже тысячи лет. В ее адской какофонии сплетаются голоса страданий и восторгов, предсмертных воплей и криков негодования, в ней заупокойные литургии и раскаты победных литавр, в ней все неестественное, от чего умирают массы масс и от чего могу запросто погибнуть и я, военный летчик, достигший почти

двадцати одного года, главный долг которого - спасать Россию от смерти.

Сколько мне еще ковылять? Впереди осталось самое-самое, на чем спотыкались и ломали себе голову и не такие, как я! Линия фронта... На штабном языке «линия БС», боевого соприкосновения. «Линия боевой смерти», как шутил мой ведущий Семен Бублик, нашедший смерть далеко-далеко за этой линией... А между тем, в воздухе над ней самый что ни на есть бесшабашный зачешет затылок. Если успеет... А мне-то, пешему, как пробираться, сыру землю носом рыть да ладошкой от пуль отмахиваться? Кто знает, какую свинью подсунет мне эта самая «линия БС»?

Стрелки моих утраченных и возвращенных часов сделали положенное количество оборотов, отмерили еще двое суток. Чем ближе к цели, тем опасней дорога, теперь я и днем и ночью начеку. Да и как иначе? Столько вытерпеть, такие экзамены, и на последнем - срезаться?

Все чаще попадаются накатанные дороги. Пересекаю не сразу, лежу, приглядываюсь и преодолеваю броском. Сил во мне - кот наплакал, а одежки весят с добрый пуд. От бега кидает в жар и пот, и тут начинается... Полусгнившее белье, немытое больше месяца тело, ночевки в пыльных стогах, грязь... Сыпь расчесал до крови, зуд невыносимый. Едва сдерживаюсь, чтоб не содрать с себя все и прижаться багровыми раздирами к жесткому снегу.

По грейдеру катят немецкие автомашины, подсвечивая синими фарами, мотоцикл с треском протыкает световым копьем темноту, невидимо тарахтят подводы: передвижение в прифронтовой полосе осуществляется ночами.

После хутора Зерновского ориентируюсь свободно, как в собственном общежитии, но уверенности в том, что выбор места и времени перехода линии фронта правильный, нет. Я кажусь себе невылупившимся цыпленком. Вот-вот проклюну скорлупу, а что там, снаружи, не знаю, то ли наседка-мать растопырит крылья надо мной, то ли пес пасть разинет? Решаю все же «проклевывать скорлупу»- укрепленную полосу немцев по берегу Миуса южнее Матвеева Кургана. Там, помнится, видел с воздуха камыши, а в камышах можно кое-как укрыться. Расстилаю на коленях потертую карту и удивляюсь: какое интересное совпадение! Если продлить курсовую линию пешего пути на восток, она воткнется точно в мой аэродром.

Над темным горизонтом вспыхивают секундные зарева осветительных ракет, мутно-красными купами возникают отблески взрывов мин то ли снарядов. Вчера гул артиллерии напоминал басовитое жужжание шмеля, сегодня он - расчленен,

разнозвучен. Ухо улавливает даже стрекот тяжелых пулеметов. Держу направление туда, где ярче вспышки. На их фоне начинают смутно вырисовываться жилые строения, вернее, то, что от них осталось; разваленные стены, черные трубы да мертвая зловонная гарь.

Зачем я иду по этой сожженной земле? Не знаю. Может, что-то подсознательное тянет меня, солдата, на возвышенность, на бугор, откуда дальше видно и сподручней наблюдать за происходящим вокруг? Утром подыщу себе надежный НП и досконально изучу «скорлупу», которую предстоит проклевывать.

В густых сумерках развалины кажутся размытыми, ступаю осторожно, чтоб не споткнуться, не бухнуть в яму, Вдруг совсем близко женский голос:

- Эй, кого вы ищете?

Поворачиваюсь вокруг себя - пусто. Что такое? Голос есть - человека нет.

Стою в раздумье.

- Что-то не признаю в потемках, вы наш? - спрашивает голос опять. Ага, вот где женщина! Стоит возле черного дымаря. Подхожу, здороваюсь. - А я думала, вы тутешний, своих ищете, - поясняет разочарованно.

- Я прохожий.

- Прохожий... Все теперь прохожие да проезжие, а где ж наши? Ох-ох-ох! Не ходите туда, кругом ямы от погребов, голову свернете.

- Ходить мне некуда, я так...

- А нам жить негде, спалили все, окаянные, - разводит женщина руками. - Что ж, залезайте, коли пришли, а то окоченеете. Мороз нынче опять крепчает,

- Куда залезать?

- Сюда, - показывает женщина на люк с крышей, проделанный в подпечье так, что со стороны не видно. Спускаюсь по лесенке в большой погреб, тускло освещенный коптилкой. В железной печурке раскаленный уголь, тепло. На топчане сидит, поджав ноги, мальчик лет восьми. В одном углу - ящик с углем, рядом дрова, в другом - мешки, ящики, на стене полка с посудой, под ней - подобие стола, сколоченного из неструганых досок. Мальчик здоровается со мной, женщина спускается следом, задвигает над собой крышку.

- Неплохо устроились на пожарище...

- Затаились, - отвечает женщина. - Немец хоть и близко, а носа сюда, на пепелище, не кажет. Что ему тут? Раздевайтесь, прохожий, как вас...

Я называю себя.

- А меня Пашей, Прасковьей Тимофеевной ругают. Это мой Боря, - кивает она на мальчика и развязывает платок. Ей под тридцать, лицо круглое, глаза строгие, темные и такой же темный пушок на верхней губе. Из расстегнутого ватника выпирает крупная грудь.

Я снимаю дубовый плащ вместе с курткой - впервые за шесть недель! Бросаю в угол рядом со своей котомкой, стаскиваю свалявшийся, изопревший свитер и остаюсь в гимнастерке. Пистолет перекладываю незаметно в карман штанов, поворачиваюсь лицом к хозяйке.

- Ба! Да вы... да ты еще... мать моя! Совсем же молоденький - ахает она удивленно. - А бородищу-то отпустил. - Фу-у... Аль бриться нечем? У меня где-то мужикова бритва валялась. Боря, ты не видел? Ну ладно, поищу сама. - И стала рыться в ящиках. - Вот она! И помазок, и обмылок... Брейся, а то, чего доброго, немцы за партизана примут.

- А что, здесь есть партизаны? - вскидываюсь я, но Паша будто не слышит.

Скрытничает, конечно. Незнакомый человек... А может, она специально оставлена здесь, на пепелище? Поди-ка угадай!

Искусство цирюльника я начал постигать года три тому назад, сдирая тупыми шкребками пушок на своем подбородке. Но те, давнишние, истязания собственной физиономии - легкая щекотка в сравнении с тем, что испытывал я сейчас, действуя бритвой Пашиного супруга. Это ужасное - режущим его не назовешь - орудие драло, жгло, грызло, царапало, щипало и выпускало из меня ручьи крови. Самый закоренелый рецидивист умолял бы суд заменить подобное бритье нормальной смертной казнью. Не менее кубометра дубовых дров расколола хозяйка Паша этим адским инструментом. Из порезов на щеках, на скулах струится кровь, из глаз - слезы, из носу... Впрочем, это уже ничего не добавляет к сути. Завершив зверское палачество и вымывшись до пояса теплой водой, сижу за столом и наворачиваю пшенную кашу да еще с маслом! Паша, подперев щеку рукой, рассказывает монотонно о своем житье-бытье, жалуется на бывшего мужа, который бросил ее до войны, нашел в Ростове городскую, крашеную. Вообще-то Паше плевать на него, жили - не бедовала. Коровенка была, да и сейчас есть. Угнала подальше от чужих бельм.

Новый сепаратор есть, половина хутора бегала к ней пропускать молоко, а это прибыль немалая. И в саду и в огороде все свое. Дом, проклятые, сожгли, да не очень-то и жалко - рухлядь. Вот утихомирится кругом, она еще не так заживет!

Я киваю согласно, выскребаю кашу со дна миски, благодарю

за ужин. Боря укрылся пестрым рядном, уснул на топчане. Укладываюсь и я: расстилаю возле печки верный спутник плащ, бросаю на него куртку. Паша еще возится, закрывает заслонку трубы, гремит засовом на крышке лаза и гасит коптилку. Желаю ей спокойной ночи и приникаю ухом к чуть вздрагивающей земле, слушаю с наслаждением, как лихо работают наши гаубицы. Вдруг громкий шепот:

- Слышь, прохожий, не вздумай лезть ко мне, все равно не дамся...

- Привет! - брякнул я в досаде. - Только начал засыпать, а она...

Скрипнул топчан, шуршат шаги. Паша в одной рубашке присаживается возле меня.

- Прохожий... - Она упорно называет меня прохожим. - Теперь никто по правде не знает, кто, откуда и куда бежит, от кого спасается. Вот и ты скрываешься от кого-то, идешь куда иль так неприкаянным бродишь. Зачем тебя мать родила? Чтоб ты, молодой, здоровый, пригожий, мыкался по свету, слонялся, как бродяга, по горючей земле? Долго ли до беды, подумай? Пропадешь ни за что! А у меня тебе будет дружно. Оставайся и живи, сколько хочешь. Нет документов? Купим. Нынче все можно купить. Ты мне еще в сумерках приглянулся, право. Не думай только, что я тебя хочу окрутить, живи по своей воле. Оставайся. Мне без мужика знаешь как муторно, как страшно! - жмется Паша мягкой грудью к моей щеке и шепчет, убеждает: - Голодным сидеть не будешь и каторжную работу делать не будешь, я сберегла кое-что» припрятала. Перебьемся.

Я слушаю жаркий Пашин шепот, вспоминаю Игнашку и Малашку, и меня разбирает смех. Словно бес в меня вселился, науськивает: «Да шугани ты ее к... чтоб отвалилась, или без грубости дай ей тумака, пусть катится дрыхнуть!» Но как можно обижать ее? Ведь я гость, меня приютили, от стужи укрыли, а я - ноги на стол... Пусть себе тарахтит. Ей не муж, а просто мужик нужен - вот где собака зарыта. Черта ли ей война! У нее забот и без того хватает; картошка, да мука, да дрова... Коровенку спрятала - и счастлива без памяти, добрая, чужого доходягу в дом принимает, кормит и даже себя готова отдать, не ведая кому. Поистине, такие достаются часто тем, кто не просит...

Однако как мне все же отвязаться от нее? Вещаю мудро:

- Серьезные дела решаются на свежую голову, Паша. Утро вечера мудренее...

Она молчит некоторое время, затем вздыхает:

- Какой ты все-таки младенец! Заруби себе: если женщина говорит «нет», догадывайся сам...

Я не отвечаю. Паша опять вздыхает, поднимается и уходит к сыну на топчан.

Я уже засыпаю - и вдруг искрами в голове внезапный зигзаг: «Вот вернусь, допустим, в полк и расскажу ребятам про нынешнюю ночь. Сущую правду расскажу, все как было, чин по чину, все равно же, черти, не поверят. Как сейчас, вижу их насмешливые хитрые физии, многозначительные ухмылочки, галдеж - давай-давай, мол, так мы тебе и поверили, что, кроме пшенной каши с маслом, ты ничем больше не полакомился...»

Будит меня гул самолетов. В погребе холодно, крышка лаза сдвинута, в щель проглядывает небо. Вой моторов перемежается пулеметными очередями. Напяливаю «по тревоге» мундир, выбираюсь наверх. Невысоко в зените воздушный бой. «Ишачки» - может, кореши мои - бросились с утра пораньше «ловить чижиков». В этот раз им лафа: «мессеров» - четыре, наших - шесть, но бой по прежнему на виражах.

Тактика прежняя. За время моего отсутствия ничего не изменилось. С земли самолеты кажутся сухими листьями, подхваченными бурей, носятся беспорядочно, извиваются в воздухе, но мне с земли настолько отчетливо видна вся арена боя, что можно даже предсказать очередной маневр любого летчика. Трудятся ребята до седьмого пота, но Тула далеко, никто им по парочке пушчонок не подкинет, не привяжет под крылья, чтоб били врага, а не сикали на него из пулеметов.

Не заметил, когда во мне самом взыграл ратный азарт. Сердце задергалось, загорелось, но тут я, как бы споткнувшись, вспомнил майора Мурашкина, командира авиаотряда в училище. Он заставлял нас, курсантов, заучивать наизусть его собственные изречения. Особо выделялся такой афоризм: «Смысл полета в его красоте, в стиле. По полету узнается летчик». Наблюдал я сейчас воздушную возню «виражников» в стиле Мурашкина, и меня подмывало крикнуть: «Дорогой майор, полет на фронте во имя красоты и стиля подобен прогулке по вулкану отлично разодетого дурака...»

Тем временем круговерть самолетов перемещается на юго-восток, жужжанье и потрескивание затихает.

- Улетели... - вздыхает Паша, выпуская из объятий дымарь, к которому прижималась, обеспокоенно добавляет:

- А на рассвете сюда красные приходили.

- Какие красные?

- В белых халатах. Трое...

- Так что же ты... Как же ты... Тьфу, чертова баба! Почему не сказала мне?

- Я же думала, ты от них хоронишься...

- Тебя похоронить, дуру! - схватился я за голову.

- Дяденька, дяденька!.. - заныл Боря. - Не ругайтесь, я видел, куда они пошли. Во-о-он за те осокоры, в камыши. Там овраг дли-и-инный, аж до Миуса.

- А ну идем, покажи, как ты врешь, - протягиваю к нему руку, но шустрый пацан - юрк за трубу, и только его видели. А Паша вдруг захлипала - ни дать, ни взять Малашка из Зерновского хутора. Я в ноги кланяться не стал, поблагодарил за ночлег и кашу и пустился трусцой к старым осокорам, В ложбине снега навалило выше колен, ни людей, ни следов нет. Обманул шкет. Вниз по ложбине заросли краснотала, кучи сухого плавника, а дальше к берегу - густые камыши, всяческий дрязг, занесенный половодьем и застрявший между прутьев наподобие очесов. Завалы пойменного мусора припушены снегом.

Оглядываюсь на погорелый хутор, возле него что-то движется. Немецкие машины? Они... мимо или сюда? Кумекать некогда, бросаюсь в гущу тальника, а там камышами, камышами несусь оголтело и плюхаюсь под уступ валежника. Заструг высокий, ни сверху, ни с боков меня не видно. Устраиваюсь поудобнее для наблюдения, вдруг рядом:

- Хенде хох!

Сердце обрывается. Все. Влип-таки... Ноги-пружины толкают меня куда-то, и я на лету успеваю выхватить пистолет. Коснулся земли, рыскаю глазами, в кого стрелять? Никого. Что за дьявольщина? И тут опять:

- Ваффен штрек! Шнель, туды твою...

Только теперь замечаю под другой кучей валежника троих замаскированных, в белых грязных халатах. Физиономии обветренные, ППД направлены мне в грудь. Ба! Да это же те самые, которых видела на рассвете Паша. Пацан не соврал, они это.

- Братцы! Милые! - вскрикиваю громко, а они мне:

- Бросай оружие! Ложись!

- Да берите! На кой оно мне теперь? - кидаю им пистолет, финку, падаю на бок.

- Ну-ка, Митрий, пошарь его, - приказывает один, должно быть старший. Митрий обыскивает меня, и через минуту я лежу обочь разведчиков и торопливо рассказываю о своих мытарствах. Разведчики внимательно разглядывают мои документы, слушают, затем старший кладет к себе в карман мой комсомольский билет, удостоверение личности, долго изучает истрепанную полетную карту. Говорит с ленцой, пренебрежительно:

- Говоришь, значит, скитался больше месяца по вражеским тылам? Н-да... Оно и видно, правда, хлопцы? А как же немцы -

нация культурная, у них под каждой скирдой ресторан, под каждой копной парикмахерская... Извольте, господа пленные и прочие окруженцы, стричься-бриться, одеколониться!

Я машинально щупаю свой подбородок и чувствую, как по груди опускается незнакомая тяжесть безнадежности. Поспешно объясняю, каким образом оказался побрит, разведчики ухмыляются, иронически кивают, и рот мой сам собой закрывается. Глаза старшего наподобие донышек пивных бутылок: остекленелые какие-то, как приклеились ко мне.

- Товарищ сержант, - трогает его курносый Митрий, обыскивавший меня. - А не смотаться ли и нам по-быстрому в сгоревший хутор, раз там цирюльня открылась? Наведем марафет с пудрой и духами...

- Там, Митрий, лишь сажей можно напудриться,- подает голос третий, скуластый разведчик.

Я злюсь от обессиливающей меня безысходности, ведь они явно собираются меня порешить! Холодея и робея подло, кричу:

- Да вы что, одурели? Опомнитесь! Я столько рвался домой к своим, а вы... как с фашистом со мной...

Сержант движением подбородка указывает на восток:

- Там разберутся...

От сердца у меня отлегает, хорошо, что т а м...

Бедовая троица, заарканившая меня, принимается ладить завтрак. Звяканье ножей, вскрывающих консервные банки, аромат свиной тушенки и смачный хруст сухарей прозвучали сигналом для моего желудка. А где же моя котомка? Тьфу, пропасть! Второй раз опростоволосился, остался без харчей. Изъятые у Игнатия продуктовые излишки оставил второпях в погребе Паши.

- Эй, ты! - зовет сержант. - Жрать хочешь?

- Что вы, товарищ командир! - восклицает с приторной издевочкой курносый Митрий. - Разве господин станут кушать нашу грубую пищу? Им надоть, что-нибудь такое элегантное, на первое они привыкли французкий суп из черепахи, а на второе - котлеты «деваляй», гы-гы!..

- Эй, слышь, а на самом деле, чем тебя немцы кормили? Интересно все же...

Я готов разорвать на части этих обжор, чувствую - сердце ходуном заходило, все перевернулось внутри.

- Да знаешь ли ты, безмозглый осел, что такое голод! Погляди на мои распухшие ноги, мешок с требухой! Раз взял в плен, не гавкай, а корми!

- Ишь нахал! Корми его! А этого не хочется? - Митрии вогнал в землю финку по самую ручку. Но я плевать хотел на их угрозы,

во мне все взбунтовалось. Они сами довели меня до ручки. Я стал костерить их всех подряд, их родичей, родственников, чад и домочадцев до десятого колена, однако троица среагировала вовсе не так, как следовало ожидать, и сбила меня с панталыку. Оставив банки, ножи, перестав грызть сухари, они таращились на меня в удивлении и непритворно ахали.

- Ну, ма-а-астер! Вот это са-а-дит...

- Ну-ка, ну-ка, слышь, звездани еще!

- Эх, возьми-тя ляд, загуди покруче!

- Поддай парку, поддай!.. - подзадоривали с интересом.

Но я уже спустил пары, выдохся. Стиснув зубы, уткнулся лицом в рукав, чтоб не увидели слез обиды на моих глазах. Через некоторое время слышу шорох. Поднимаю голову - курносый протягивает ополовиненную банку тушенки и два сухаря.

- На, не ерепенься, набивай брюхо.

Я двинул кулаком по банке так, что она отлетела далеко в снег, и отвернулся.

- Ишь гордый какой!.. Черт с тобой, валяйся голодный.

На этом, как говорится, дебаты закончились. Когда стало совсем темно, мы двинулись на восток. Разведчики шли уверенно, быстро, чувствовалось, местность и дорогу знают, как собственный двор. Около двух часов ночи - привал. Лежим в глубокой яме, недокопанном противотанковом рву, сверху нас освещают вспышки ракет, над головой визгливо проносятся разноцветные трассы, временами постреливают орудия среднего калибра - противник ведет «беспокоящий огонь». В три часа выбираемся из ямы и ползем дальше в новом порядке: сержант и скуластый впереди, я - за ними, за мной - Митрий с финкой в зубах. «Сунь ее себе в... другое место, флибустьер дерьмовый!» - издеваюсь над ним сквозь зубы. Когда мой плащ чересчур грохочет, Митрий без слов колотит прикладом автомата по моим ногам и грозит финкой.

Каким образом мы очутились среди своих, я не понял, да и не старался вникать. В одном месте - очевидно, это была нейтральная полоса - разведчиков встретили коллеги. После тьмы землянка комбата показалась иллюминированным дворцом, хотя освещалась одной коптилкой. Майор, рыжий поджарый грузин, перетянутый крест-накрест ремнями, приняв рапорт сержанта, кивнул на меня:

- А это что за пугало?

- Лается здорово, а в общем, - пожимает сержант плечами. - Поймали на той стороне при попытке перейти линию фронта. Вот его оружие и бумажки.

Спал я в землянке ни нарах. Утром комбат приказал

переправить меня во второй эшелон, выпарить в бане и выдать нижнее белье.

Прежде чем забраться на полок, я взвесился, но не поверил весам, свистнул банщика, спрашиваю:

- Ты до войны, видать, продавцом работал?

- А что?

- По профессиональной привычке весы подкручиваешь.

- Ничего не подкручиваю, слезай!

Банщик проверил или сделал вид и заявил, что все правильно. Повторное взвешивание подтвердило прежний результат: мое тело весило на четырнадцать килограммов меньше, чем месяц тому назад. Конечно, врали весы, да разве докажешь? Знаю я этих торгашей...

КОРОТКАЯ НОЧЬ ДОЛГОЙ ВОЙНЫ

Разбудили меня соловьи. Пустая теплушка, в которой я трясся и глотал дорожную пыль, больше не подпрыгивает на стыках рельсов, не раскачивается во все стороны - колеса молчат. Я переворачиваюсь со спины на живот, высовываю голову в приоткрытую дверь и протираю глаза. Ух, ты! Вот это да! Вот это концертище! Не помню, чтобы слышал когда-нибудь столько соловьев одновременно. Десяток - да где там десяток! - больше рассыпают «хрустальный горошек», звенят «колокольцами», стрекочут «кузнечиками» и еще бог весть каких оттенков коленца выделывают.

Старый сухой и пустой вагон, как огромный резонатор, усиливает и смешивает голоса. Я смотрю на густую акацию защитной полосы, пронизанную лучами восходящего солнца, на светло-желтый, промытый недавним ливнем песок между шпал, на голубое небо, еще не утратившее ночной свежести. Война войной, а природа природой. Любовь к родной земле - в моем сердце, ненависть к врагу - в перекрестье прицела.

Вот опять на кусте вздрогнула ветка, слышится ласковый, призывающий вздох, на него отзываются с захлебом справа, слева и... Звонкий хор заглушается ленивым ревом паровоза, состав лязгает сцепками, набирает скорость и грохочет дальше на север к Ворошиловграду.

Вряд ли найдется род человеческой деятельности, в которой таится столько неожиданностей, всяческих чепе и курьезов, сколько в летном труде. Их и в мирные будни хоть отбавляй, а уж о войне и говорить не приходится.

«Смелый человек тот, кто знает, что впереди опасность, и все-таки идет па нее», - сказал мудрый грек Ксенофонт лет эдак за четыреста до нашей эры. Мне хорошо запомнилось это изречение еще с первых дней войны, когда я очертя голову лез на рожон и потому воображал себя отчаянно смелым. Но непомерное тщеславие всегда вылезет боком. Уже три месяца прошло, как я выбрался с оккупированной немцами территории, где приземлился вынужденно, довоевавшись «до ручки» на истребителе И-16. Тяжелый бой с фашистским «Дорнье-217», самым мощным по вооружению германским бомбардировщиком, закончился плохо для всех: «дорнье» сгорел, мой ведущий погиб, а я на подбитом самолете сел в трехстах километрах от линии фронта в фашистском тылу. Добирался к своим месяц и десять дней. Неохота вспоминать о пережитом тогда, но оно само и поныне отдается нытьем в груди, а ту работенку, которая ждет в

ближайшем будущем, можно отнести к летной лишь с большой натяжкой. Еду не на фронт, а в сторону прямо-таки противоположную, в поселок Острая Могила, название места службы летчика, я бы сказал, многообещающее... Но и на том спасибо. Проклятая летчиками станица Пролетарская, где я ползимы промытарился в авиационном резерве, оставалась позади. А как я было обрадовался, когда три дня тому назад в штабе резерва объявился «купец», - так называли представителей боевых авиачастей, отбиравших для себя летчиков. Я первый бросился к нему, но «купец» оказался несолидным, другие с ним и разговаривать не захотели. Издевается, что ли? Мы - истребители, бомбардировщики, а он нас извозчиками на У-2! На «кукурузник», на учебный самолет, словно мы учлеты аэроклубовские.

Предложение с презрением отвергли. Отвергли лейтенанты, майоры, подполковники. А что мне, сержантишке зеленому, делать? Как подумаю, что завтра опять усадят меня за стол и заставят писать одиннадцатое объяснение о моих скитаниях по вражескому тылу, излагать все подробно по дням и часам, так все нутро мое холодеет. Тут куда ни попало, лишь бы исчезнуть, на чем ни попало, лишь бы летать. Что говорили наставники в училище? «Для настоящего летчика в конечном счете неважно, на чем летать, главное - летать много и хорошо, уметь ориентироваться днем и ночью при любой погоде. Это закон».

Часть, куда я еду, называется «спецгруппа Майданова». Что за группа, что за «спец» - держат в секрете. Правда, «купец» оговорился, что подполковник Майданов - известный мастер парашютного спорта. Действительно, в газетах середины тридцатых годов в числе других экспериментаторов-парашютистов такая фамилия попадалась, но сейчас война. Не на соревнования же пригласили меня!

Станция Луганск забита поездами. Мой товарняк загнали на последний путь. Кидаю за плечо тощий мешочишко и... по морям, по волнам: то вверх на тамбур, то вниз под вагон. Жарко стало, пока преодолел двадцать одно препятствие. Отдышался, пошел искать дорогу на поселок Острая Могила. Остановил полуторку, оказывается - попутная. У старой колымаги, не ремонтированной, должно быть, со дня появления на свет, даже звуковой сигнал не действовал. Шофер, из тех, что не подлежат призыву в армию, материл во всю глотку зазевавшихся прохожих и оглашал перекрестки разбойным свистом.

Поселок недалеко от Ворошиловграда, там военный городок. Над въездом - поблекшая от непогод вывеска. То ли от ветра, то ли от бомбежки ее перекосило, и она своим крупно выведенным

масляной краской приглашением «Добро пожаловать» указует в землю...

«Юмористы...» - морщусь и сую дежурному под нос документы. Меня впускают. Территория бывшего авиаучилища ныне пустует. По обеим сторонам от центральной магистрали - курсантские и солдатские казармы, семейные корпуса постоянного состава, служебные блоки. Дом возле проходной сгорел дотла, рядом с ним - развалины другого, там и сям валяются столбы электропередачи, вывороченные и поломанные взрывами бомб, с ветвей деревьев свисают провода-времянки. На дне глубокой воронки блестит вода, а по краю круглыми желтками - одуванчики. Зимой мельком мне пришлось уже видеть развалины в Ростове, но тогда было не до них, хватало других забот. А сейчас я не спеша разглядываю громоздкие закопченные обломки, от которых несет гарью и еще чем-то более зловонным, и те дома по соседству, что уцелели, только остались без стекол в окнах. Они обитаемы, кто-то в них живет. Возможно, и мой отец вот так где-то в развалинах Одессы... Дома стали братскими могилами, города - погостами. Сколько сейчас их в мире - страшных, изуродованных, подобных голым черепам с выбитыми зубами!

В пустом оконном проеме показываются два кота, выгибают хищно спины, принюхиваются друг к другу и мирно укладываются на солнце. Весна...

За авиагородком на отшибе, ближе к ангару, виден белый двухэтажный дом с большими окнами, с колоннами и длинной галереей, обращенной к летному полю. Там, но словам дежурного по проходной, находится спецгруппа Майданова. Останавливаюсь напротив. Деловой суеты, оживления, присущих воинским гарнизонам, незаметно. Есть ли тут вообще живые люди? Кажется, есть, во-он мелькнули двое в гражданской одежде и скрылись. Обхожу с другой стороны здание, поднимаю голову: на галерее в тени несколько человек чем-то занимаются, они тоже в гражданской одежде. Сворачиваю к парадному входу, тут стоит дневальный в военной форме и при оружии. Проверяет мои документы, показывает на второй этаж.

- Начальство там...

Поднимаюсь по лестнице, иду коридором до конца, стучу осторожно в дверь. В ответ ни гугу. Стучу громче - из за двери по-прежнему ни звука. Вымерли там, что ли? Дергаю ручку - дверь отворяется.

- Разрешите?

И опять молчание. Стою на пороге, верчу головой. Помещение просторное, светлое. Два письменных стола,

дерматиновый диван, стулья. По стенам - карты, на вешалке - летное обмундирование, в углу кучей свалены парашюты, в другом - брезенты, войлочные маты, гири, мячи. Напротив - дверь куда-то внутрь здания. Вот она раскрывается - и в полутемном проеме возникает некто белый, худой, в длинных синих трусах. Его можно принять и за ожившего утопленника, и за огородное пугало, которое вываляли зачем-то в муке. Глаза заплыли, светло-рыжие волосы всклочены, через щеку полоса - отпечаток наволочки. В правой руке странная, с загнутым концом палочка неизвестного назначения. Некоторое время смотрит на меня недовольно, затем, встряхнув головой, взмахивает палочкой и вдруг хрипло декламирует:

- Ха! Ха! Ха! Хрисогона Гурича Коржа укусила свет блоха!

«Это командир спецгруппы?» - опешил я.

- А правда здорово? - щурится тот.

- Что здорово? - переспрашиваю.

- Стихи. Во сне сочинил. - Он чешет спину загнутой палочкой, подмигивает многозначительно: - Сам сочинил!

«Розыгрыш...» - отмечаю я и в отместку советую подстрекательски:

- Ложись скорей и погружайся в сон, авось поэму сочинишь.

- Увы! Разве Майданов даст погрузиться? Хе! Устроит такой тили-бом-бом, что...

- Разве не вы Майданов?

- Я? Не-е-е... Я са-а-амый старший техник-лейтенант Корж!

- А где же командир?

- Улетел.

- А заместитель?

- Таких нет.

- Меня к вам прислали. Вот...

Корж взял мои документы, бегло взглянул, забалабонил обрадованно:

- О! В самый раз прибыл. Без летчика нам совсем труба. Программу по тренировочным прыжкам затянули, вот-вот начнется наступление, а разведчики к выброске не готовы. Высшее командование, - показал Корж на небо, - за горло берет. Парашютистов бросать умеешь?

Вопрос технаря пропускаю мимо ушей. Не хватает еще докладывать всякому пугалу, что я умею и что не умею. А он опять закидывает палочку-чесалочку за спину и скребется изо всех сил.

- Чесотка - не тетка... - качаю головой с сочувствием.

- Экзема! Видишь? - поворачивается он спиной, покрытой красными пятнами. - На нервной почве. Лечению не поддается, -

подчеркивает с оттенком гордости и вздыхает: - Последствия тяжелой контузии.

- Контужены? В каких боях?

- Шесть лет назад...

- В Испании? - прикидываю я и проникаюсь к нему внезапным повышенным интересом.

- Не в Испании... Контузило на последнем курсе училища. Был дежурным по бане, отвозил мешки с грязным бельем па полуторке. Целую гору наворотил. Сижу себе в кузове наверху, хорошо, мягко. А какой-то идиот протянул поперек улицы проволоку для фонарей. Меня и смахнуло этим проводом на ходу. Как, думаешь, брякнуться с такой высоты? Запросто офонареешь! В госпиталь без сознания доставили. С тех пор и мучает меня этот тили-бом-бом.

И чесалка опять заходила по спине контуженого мученика.

- Есть хочешь? - неожиданно спрашивает он.

- Не откажусь, если найдется, товарищ старший техник-лейтенант.

- Э! Э! Ты, слышь, того... давай без чинов-званий. Здесь запрещено настрого.

- Почему?

- Начальство скажет. Короче, рапортование-козыряние может боком вылезти. Брякнешь при немцах по привычке; «Товарищ-гоп-тра-та-та!» - и готов. Ты кто по званию? Старший сержант? Будешь, значит, «старшой». А меня лают Хрисогон... Эх-хе-хе... Вижу - не веришь. И никто не верит. Начудили мои предки покойнички... Со старшей сестры началось. Матери хотелось назвать ее Агнией, но папаша ни в какую. Он был человеком передовых взглядов, до революции к масонам примыкал. «Агний, - говорил, - тысячи тысяч, надо придумать что-то этакое иностранное, покрасивше. Не Агния, а, скажем, Дагния, Магния или Лагния. Матери больше пришлась Лагния, так и записали в метрику. Тогда с этим не церемонились: были и Тракторы Ивановичи и Пятилетки Сидоровны. Но прошло время, и знающие люди подняли родителей на смех: зачем над ребенком издеваетесь? На латинском «Лагния» значит «дарующая половое удовлетворение». Боже мой, что тут поднялось! Мать - в истерику, чуть было не рехнулась, папаша по быстрому подправил метрику, заглавную «Л» перекрестил черточкой и стала сестра Аагнией с двумя «а». Когда же пришла очередь родиться мне, мать проявила твердость, сама потащила меня в церковь и велела попу: «Давайте только такое имя, какое нынче в святцах». На мою беду оказалось, что четвертое января день памяти великомученика Хригогона. С тех пор стал и я великомучеником. Ведь что обидно? Сроду никто

меня Хрисогоном не звал, одно слышу: Крысогон да Крысогон... Да! - схватил он меня за рукав и вывел на галерею. Подумал секунду, перегнулся через поручень, закричал дурашливо: - Кап-кап-кап!

Внизу возникает личность женского полу под стать мученику Хрисогону с мокрой тряпкой в руках. Поднимает на нас потное лицо, смахивает со лба прядь волос.

- Чего те?

Корж выталкивает меня на передний план, заискивающе улыбается.

- Капелька, вот к нам прибыл новый товарищ, покорми его.

- Чем? - несется снизу кратко, как выстрел.

- Ну... что осталось.

- Как же! Останется после вас!

- Это, Капелька, приказ командира, - напускает важности Корж.

- Командиров много, а продуктов - кот наплакал. Самой, что ли, лечь в тарелку?

Корж разводит безнадежно руками, затем, вдруг напыжившись, восклицает патетически:

- О, Капочка! Неужели у тебя не осталось ничего гуманного?

- Сегодня я ничего гуманного не варила. Борщ был да капуста со свининой на второе.

Меня душит смех, кашляю и быстро ухожу с галереи, но на пороге останавливаюсь: слышу знакомый рокот самолета. Он приближается, и вот я уже вижу его: это У-2. Летит низко над землей в нашу сторону. Видать, парняга-пилотяга любит «брить», сейчас сделает «горку», пронесется над крышей здания и - привет! Но он ничего такого не делает. В тот миг, когда мне показалось, что песенка его спета, что через секунду самолет врежется в дом, пилот неожиданно резко кладет его на левое крыло и круто разворачивает на сто восемьдесят градусов. Шум мотора обрезается, и в наступившей тишине проносится зычный рык:

- Бор-р-р-ря! Подавай пика-ап!

Мотор тут же забирает, самолет выходит из разворота и приземляется рядом с воротами ангара.

- Кто это? - восклицаю я, ошеломленный виденным.

- Майданов шофера зовет, - поясняет Корж. Его беспечно-элегическое настроение как рукой смахнуло. Суетливо бросается одеваться. Бормочет, как бы оправдываясь: - Надо встречать командира... могут быть замечания насчет работы матчасти...

По его поведению заключаю: видать, грешков за ним водится немало, иначе бы он не трепетал так при появлении командира.

После моего доклада о прибытии Майданов - высокий,

жилистый, с лицом широкоскулым и жестковатым - смерил меня оценивающим взглядом, спросил небрежно:

- Чем болен?

- Ничем.

- Гм... А пристраиваешься на «кукурузник»...

- Извините, но вы тоже не на «яке» прилетели...

Майданов улыбнулся хмуро.

- Ты знаешь, чем здесь занимаются?

- Понаслышке.

- Ну, так узнаешь в натуре, когда сутки напролет поутюжишь воздух.

- Испугали... Я затем и приехал, чтоб утюжить.

- Вот как?! - заламывает Майданов бровь.

Многое уже с первых часов пребывания в этой необычной части показалось мне странным. Странные, не стесненные воинскими артикулами простота и прямота в обращении десантников между собой, их несколько грубоватые, приправленные солью взаимоотношения, подчеркнуто уважительное обращение к молодым женщинам, которые готовились вместе с мужчинами к операциям. Странным показался и первый вечер. Правда, он кое-что прояснил, но кое-чем озадачил, вызвал новое недоумение. И все же, как мне кажется, главное я уловил: непринужденность, ни малейшей показухи, откровенность между собой. Иных отношений здесь и быть не могло. Люди, идущие по собственной воле на смертельно опасные дела, ведущие борьбу зачастую в одиночестве, очень остро ощущают малейшую ложь и не прощают ее. Ведь в часы трудных испытаний даже маленькая неправда может превратиться в большое предательство.

По озабоченным лицам, по деловой суете догадываюсь: что-то назревает. И действительно узнаю: завтра выброс большой группы. Завтра. А сегодня после ужина на асфальтированной площадке перед домом штаба те, которым пришла пора лететь, и те, чья очередь еще впереди, стали в прощальный братский круг, чтобы протанцевать, быть может, последний раз: так было заведено.

Запылал костер, загудела гитара негромко и незвонко, бледная четвертушка месяца обдала холодом зашарканный «пятачок». Десантники крепко обнялись за плечи и пошли. Вначале медленно, словно крадучись, с негромкой, как дыхание, накаленной страстью песней. Песней-шепотом. Напряженно склоненные головы, исподлобья - суровый блеск глаз. Говор струн - громче, движения ног, ситцевое волнение платьев резче, и уже не песня-шепот - боевой клич могуче-повелительно звучит в

синеве ночи. В нем решимость, в нем вызов судьбе и презрение к врагу.

Блики лунного света мелькают на лицах, упругие тени скользят по белым стенам здания. Тела напружинены, все лица - одно вдохновенное лицо: гордое, непреклонное. Это не русский хоровод, не хоро, не коло, это вообще не танец. Это действо, возникшее откуда-то из глубины веков и захватившее своим жарким ритмом людей, сплоченных воинским братством. В ритме его что-то поистине волшебное, возбуждающее, он заставляет верить в собственные силы, нацеленные в завтра, скрытое мраком неизвестности.

По спине моей - мороз, меня волнует то, что происходив перед глазами, и я мучаюсь совестью. Я им искренне завидую и чувствую себя перед ними виноватым. Завтра они прыгнут во тьму, чтобы вершить расправу над врагом, а мне - сидеть здесь, в тылу, и наслаждаться трелями соловьев.

Прощальная песня все тише, гитара замолкает, братский круг распадается, и тут напротив меня неожиданно возникает русоволосая девушка. Щеки темнеют от густого румянца, она часто дышит. Глаза круглые, точно чашечки с молоком, а посередине плавают две крупные ягоды перезревшей ежевики... Молча смотрит, затем поднимает руки и старательно поправляет волосы, спадающие на лоб.

«Чего она? - не понимаю я. - Странные они какие-то здесь все-таки...»

Так ничего не сказав, девушка уходит порывисто, смешивается с толпой. Ухожу и я к себе. Завтра много дел, надо отдохнуть, но спать не хочется, и я брожу по галерее, как лунатик, словно тянет меня к себе ночное светило, что поднялось над обгорелыми, полуразваленными стенами зданий городка. Оно похоже сейчас на кусок тлеющего угля, раздуваемого ветром, но ветра никакого нет, ночь - что надо! Ночь для влюбленных и воздушных налетов...

На следующий день с утра приступаю к изучению всяческих инструкций, приказов, руководств. Корж возится с самолетом, командир с инструкторами готовит парашютистов к выброске в тыл врага. Перед закатом прилетает «дуглас», Майданов с экипажем закрываются в его к комнате, разрабатывают и прокладывают маршрут. В двадцать два часа, когда заря совсем гаснет, группа поднимается в самолет, занимает места вдоль бортов и взлетает. Майданов - вместе со всеми, он отвечает за точность выброса и по ходу дела корректирует все расчеты. «Что чувствует он, когда отправляет людей в неведомое? Жалко ли ему этих ребят? - думаю я. - Ведь он занимается такой работой

постоянно! Я бы не смог. Это такое сердце надо иметь!» Мне вспомнился прощальный ритуал. Это было вчера, а сегодня участники его... Сегодня ночь как день, парашюты в небе видны за полста километров. Почему не приурочить выброс к более темному времени суток?

Я спросил об этом за ужином. Майданов перестал жевать, прищурился на меня иронически:

- Необычайно милые разговорчики пошли в военной среде... Может, поставим на голосование, воевать нам сегодня или подождать более благоприятных метеоусловий? - Майданов стукнул ладонью по столу. - Кому положено в этой жизни лететь, тот полетит! Даже в том случае, если вся нечисть мира соберется в кодло и зажжет тысячу лун! Кстати, да будет тебе известно, парашют с земли плохо виден именно в светлую лунную ночь. Скоро сам в этом убедишься.

На следующее утро Майданова на завтраке не было, говорили, отсыпается после ночного полета. И еще говорили, что выброска была удачной и что радист уже вышел на связь.

После обеда отдохнувший командир взялся за меня. Мы поднялись в воздух, и он продемонстрировал технологию выброски парашютистов, затем сделал показательный прыжок. Заранее предупредил, что не собирается пачкать подошвы сапог о пыльную землю, потому и приземлится на полотно посадочного знака «Т». «Ну, хватил, товарищ парашютист, - ухмыльнулся я про себя, - с восьмисот метров и... Лубочный дед прыгал с печи в валенки, а ты вон куда и откуда!» Однако злорадство мое оказалось преждевременным, Майданов как сказал, так и сделал. Более того, высоко в воздухе расстегнул подвесную систему и опустился, держась за нее одной рукой. В тот миг, когда ноги его коснулись земли, он бросил систему и разлегся на полотнище. Ветер унес купол парашюта, а Майданов перевернулся на спину и болтал ногами, пока не подъехал Боря на пикапе. Потом мы с ним вдвоем летали на бреющем по маршруту. Видимо, командир решил за один день выпотрошить меня до конца, проверить не только мою технику пилотирования, но и умение ориентироваться в сложных условиях Донбасса, где населенных пунктов тьма. И железных дорог - как нигде; земля сверху кажется покрытой густой сетью паутины.

Стараюсь изо всех сил. Полетную карту с проложенным маршрутом пристегнул для удобства резинкой к левой ноге выше колена, пунктуально сличаю с местностью, делаю по-штурмански цветным карандашом временные отсечки, педантично соблюдаю все правила самолетовождения, но Майданову что-то не нравится. Мне в зеркале хорошо видно его задиристое насупленное лицо, а

что ему не по душе, угадать не могу. В какой-то момент улавливаю в глазах его хитринку этакую, похоже как у того авиационного врача, который, бывало, раскрутит нашего брата летуна на вращающемся кресле, затем быстро остановит и требует пройти по ровной половице...

«Стоп! А не расценивает ли Майданов мою исполнительность, мои подчеркнуто уставные действия как насмешку над его требовательностью?»

Вдруг он берет управление и начинает рыскать, меняет то и дело скорость, направление, высоты. «Ага, - соображаю, - месть, щелчок по носу... Старый приемчик: закружить, сбить с толку, а затем скомандовать: «Бери управление и лети домой!» После такой карусели на малой высоте восстановить ориентировку не всякому удается, а Майданову, кажется, того и надо, будет повод для разноса, для разглагольствований о том, как некоторые так называемые истребители (это я, значит) определяют свое местонахождение методом личного опроса жителей или военнослужащих наземных войск. Это намек на одного пилотягу-чудака, который влип в историю и прославился на весь фронт. Летал он на «Чайке», старом истребителе. Однажды так довоевался, что где земля, где небо - с трудом разбирал, и горючки в баках - только что зажигалку заправить... Тут самое время садиться, и хорошо бы на свой аэродром, а где он? Истребитель - ни в зуб ногой. Летел, летел, вдруг видит: дорога, по ней пехота пылит. Место кругом ровное. Недолго думая, приземляется рядом с колонной, выскакивает из самолета и бегом к строю узнать, где находится. Солдаты невооруженные, видать новобранцы, уже совсем близко. И тут до пилотяги доносится приглушенно:

- Летчик, тикай! Мы - пленные!

И сразу забахали выстрелы, из-за колонны выскочили охранники. Летун обратно. Немцы за ним, давай лупить из автоматов, но он оказался резвее, вскочил в кабину. Солдаты повисли на крыле, лезут к нему, он с перепугу - по газам! Фашистов сдуло, посыпались. Тут чудак понял, куда залетел, сразу восстановил ориентировку...

Вот и Майданову, видимо, очень хочется задурить мне голову и поглядеть, как я стану метаться суетливо туда-сюда, запутавшись в трех соснах... Откуда ему знать, что этот каверзный для навигатора район еще прошлой осенью изучен мною назубок, излетан вдоль и поперек.

Как предполагалось, так и случилось: не прошло и четверти часа, вдруг по переговорному шлангу раздается повеление:

- Веди самолет.

- Есть! Куда лететь?

- Домой.

Разворачиваюсь. Вскоре слева показывается железнодорожная магистраль Ростов - Харьков, она для меня как стрела компаса. Лечу на бреющем. Вот и речка Большая Каменка. Маршрут для меня чересчур прост, так лететь несолидно. Сворачиваю на северо-запад, беру курс на Лутугино, потом строго на север, оставляю слева Александровку - и вот уже аэродром.

Решаю круг не делать, прицеливаюсь на белеющий дом штаба. Бросаю быстрый взгляд в зеркало. На каменном лице Майданова мелькает тень беспокойства, но он молчит. Наблюдает, как я буду делать «горку» и расчет на посадку. Только на уме у меня другое, словно черт на ухо шушукнул, подзадоривая. Перед самым домом вместо «горки» я заваливаю самолет в глубокий разворот, сбрасываю газ и ору что есть мочи:

- Бор-р-р-ря! Давай пика-ап!

Тут же вывожу машину на прямую и, несмотря на сильный боковой ветер, удачно приземляюсь рядом с ангаром. Выключаю мотор, встаю на крыло, козыряю:

- Задание выполнил, разрешите получить замечания!

Майданов, надутый, как надменный индюк, выбирается из кабины, прыгает в густой клевер, сдергивает с головы шлем и крутит возле лба пальцем. Затем плюет под ноги, показывает мне кулак и удаляется. Жестикуляция лаконична, красноречива и вполне доходчива.

Сутки спустя перед прыжками назначается общий инструктаж десантников. Как и в прошлые дни, погода ясная. Бледно-лимонное на востоке небо с утра задымлено зноем, по склонам бугра - Острой Могилы молочными струйками стекает туман, накапливается у подножья. Но вскоре солнце выпаривает росу, и цветущий клевер аэродрома гудит от пчел. Прижимаюсь щекой к траве, слушаю: арфа, и только! Вдали видно - вышагивают грациозные цапли, что-то поклевывают, вожак задумчиво обозревает зеленые просторы. На аэродроме пасутся коровы, бегает кудлатый пес. Идиллия. Пастораль. «Надо прогнать скотину, скоро летать начнем», - думаю лениво, разморенный жарой. Вставать неохота, клонит в сон. Вдруг ленивую дремоту словно смахивает, у меня такое ощущение, будто за мной подсматривают исподтишка нехорошим глазом. Тревога не тревога, а так, что-то вроде неприятного беспокойства. Такое уже было. Нужно оглянуться неожиданно - и «облучающий» тебя объект обнаружится.

В это время инструктор-парашютист, внушающий что-то десантникам, обрывает речь и после короткой паузы деланно

просительным тоном взывает:

- Товарищ Колокольцева, вы уже давненько витаете в туманностях Андромеды... Вернитесь, пожалуйста, на аэродром и постарайтесь дослушать инструктаж.

Все обернулись, я - тоже. Колокольцева, оказывается, та самая девушка, русоволосая, о глазами точно крупные ягоды ежевики, плавающие в молоке, которая вчера вечером, когда десантники закончили свой прощальный танец, подошла ко мне, что-то хотела сказать и ничего не сказала. Должно быть, и сейчас, как я догадываюсь по прозвучавшему смутно сигналу тревоги, Колокольпева смотрела в мою сторону. А присутствующие - о легкой насмешкой - на нее. Девушка заморгала растерянно, не понимая, что хочет инструктор, наконец сообразила, густо покраснела и прикусила губу. У меня застучало в висках, как будто я завис вниз головой в верхней точке «петли».

- Тоня, а Тоня? Ты, никак, коровку себе приглядела? Из тех, что во-о-он пасутся?

- То ж бычки! Гы-гы!..

- И кто ее знает, кому она моргает... - пропищала невинным голоском радистка, Соня Петрунина, пышная, розовая, с улыбкой до ушей. Это она в мой огород камушки... Чертова язва!

А Тоня в это время поднимает лицо, смотрит куда-то вдаль задумчиво и грустно, и вдруг губы ее вздрагивают в улыбке. Я понимаю: она улыбается не мне, не этим сидящим вокруг болтунам, у нее что-то свое, не известное никому, радостное и сокровенное. Так мне чудится. В чужих глазах мы читаем то, о чем думаем сами.

И тут появляется Корж.

- Товарищ дежурный по части, командир части требует старшего летчика части...

«Отчастил», стоит, хлопает рыжими ресницами. На нем мятый картуз довоенного образца, напяленный до ушей, рукава куртки замаслены. В воспаленных глазах - меланхолическая прозрачность.

Я встаю. Мы топаем с Коржом по летному полю, он что-то грызет. У него привычка; вечно грызет то спичку, то щепочку. Теперь я понимаю, это хитрость: таким манером он прикрывает рот, чтобы не обдавать собеседника похмельным душком. Наши взаимоотношения не назовешь ни дружескими, ни официальными, они - никакие. Мы, как говорится, разного склада люди... Он офицер и годами старше меня, знает на память авиационное начальство всех рангов, особенно - техническое до третьего колена. О ком ни спроси, получишь тут же исчерпывающую характеристику. Правда, все отзывы Коржа на

один манер: «такой-то - мужик что надо, голова на триста шестьдесят вертится, а такой-то - тоже что надо, только в голове маленько тили бом бом...» Вот и пойми, кто есть кто, подумай, как вести себя с этим великомучеником Хрисогоном.

Однажды я заговорил о нем с Майдановым. Мол, Корж большой мастер своего дела, но обижен вышестоящими инстанциями. Сколько лет безупречно трудится, а все ходит в старших техниках. Я не могу выбрать подходящего тона, как вести себя с ним.

- Не усложняй вопрос и побольше спускай с него шкуру! Ишь ты, обиженный! Да закладывай он поменьше за воротник, давно бы в инженерах воздушной армии ходил, как его однокашники. Руки у него действительно что надо и башка непустая, худо только - глотка никогда не пересыхает...

Да, так оно и есть. Потому и грызет постоянно сухую былинку, потому и потряхивает утром головой. Ба! Что это? Только сейчас я замечаю, что на нем разные сапоги: один - хромовый, другой - кирзовый, оба покрыты толстым слоем спекшейся пыли. Останавливаюсь, показываю на ноги. Корж пожимает сутулыми плечами.

- Знаешь, старшой, я тоже утром удивился, как вышел из ангара. Послал дневального, чтобы принес другие сапоги, а он сходил и говорит: «Там стоит точно такая же пара, как на вас». Что тут поделаешь?

- Увы, Гурич, здесь я не советчик. Видимо, у дневального не выветрился хмель из головы...

Корж понимает, чью голову я подразумеваю, говорит, вздыхая:

- Слабость человеку не вредит, если он ее знает...

...Тренировочные прыжки продолжались до обеда, затем у десантников двадцатикилометровый марш-бросок по пересеченной местности, а у меня свободное время. Попросил у Майданова разрешения слетать в зону на фигуры высшего пилотажа.

- Вертись, - сказал тот. - Час хватит?

Корж пробурчал:

- Не угробь мотор на перегрузках.

- Угроблю - другой куплю, - отмахнулся я. - Давай, лезь в кабину!

- Ага! Меня и так тошнит.

«Знаю, от чего тебя тошнит...»

Держась рукой за крыло, Корж сопровождает самолет на взлетную, сонно путается ногами в траве. Я добавляю газку, скорость увеличивается, шаги Коржа быстрее, ходьба переходит в

бег трусцой, затем в галоп. Корж орет что-то, задыхается, а я злорадствую: «Это тебе на пользу, скорее выветрится чад из башки».

Разворачиваюсь и вижу: в клевере маячат две пилотки, две руки машут в мою сторону. Подруливаю ближе - радистки: Тоня Колокольцева и Соня Петрунина сидят у портативной рации, тренируются по связи. Сегодня они в военной форме. Ишь, как молодцевато сидит на них обмундирование! Вдруг, словно кто подстрекнул меня: «Возьми девушку в небо!» Приподнимаюсь, показываю на заднюю кабину и вверх. Колокольцева и Петрунина - нос к носу, о чем-то совещаются, то ли спорят. Уж не настраивается ли Сонька в полет? Вот еще! Нужна она мне, как... Нет, слава богу, встает Тоня, снимает наушники телефонов, направляется ко мне. Делаю знак Коржу, чтобы помог девушке подогнать лямки парашюта. Корж понимающе гримасничает.

Юбка мешает Тоне застегнуть прихваты, приходится поднимать подол выше. Мне видны стройные округлые ноги, я поспешно отворачиваюсь, а то еще подумает - подглядываю. Тоня уже в кабине. Теперь Корж возится с привязными ремнями, мне видно в зеркале: его лапы подозрительно долго шарят по груди девушки. Это кого хочешь выведет из терпения. Выскакиваю на крыло, прогоняю Коржа и сам застегиваю замок. Возвращаюсь на свое место, взлетаю.

Зона близко, но прежде чем начать пилотаж, тщательно осматриваю небо. «Худой» охотник может подкрасться с любой стороны. Такой, как я, безоружный объект не просто легкая добыча, а настоящий презент. Сейчас в воздухе ничего подозрительного не заметно, и я принимаюсь за дело. Старательно, фигура за фигурой вспоминаю комплекс, стремлюсь, чтобы концовка предыдущей фигуры являлась началом следующей. Постепенно втягиваюсь. То, что за долгий перерыв в летной работе утеряло четкость и быстроту исполнения, мало-помалу восстанавливается, уверенней действуют руки и ноги. Они как подголоски в общем хороводе, основную мелодию в котором ведет память. Кручу самолет все свободней, раскованней. В теле появляется та особенная гибкость, когда чувствуешь, что единство ритма, без которого пилотаж немыслим, достигнуто. Эх, сидел бы я сейчас в кабине истребителя! Но лучше не дразнить себя. Как подумаешь, что «конь» твой - слабая кляча, которая, чем ни корми, резвее не побежит, так тошно становится.

Надо мной в вышине - редкие брюхатые облака, малиновое солнце вот вот коснется горизонта, пора и нам на землю.

Во время полета я не мог разговаривать с Тоней, у нее нет

шлема, а без него переговорный шланг не действует. Ну, а если бы действовал, о чем говорить? Каждый давно знает: остроумие красит мужчину. Из книжек мне запомнилось несколько расхожих фраз и словечек с потугами на остроумие, их рекомендуют пускать в ход при знакомстве с женским полом и вообще когда нужно произвести впечатление. Но у меня язык не повернется никогда повторить такое Тоне. Я ее совершенно не знаю, однако думаю - ума у нее достаточно, а если так, значит, словесная галиматья, которой я мог бы по ходу угостить ее, будет несомненно воспринята как пошлый треп.

Лишь после приземления, поглядев на ее лицо, застывшее в напряженном изумлении, позволял себе спросить:

- Замотал вас?

- Не знаю, что со мной... Все было так необычно, неожиданно...

- Понравилось?

- Знаете, о чем я думала там? Что вы одержимый... То есть я хотела... я, извините, хочу сказать, словно вы из какого-то иного мира.

- Правильно, тот мир иной...

- Вы там совсем забыли обо мне! И о себе, наверное...

Тут я принялся энергично возражать, мол, это не так, я лишь тем и занимался, что беспрестанно думал о ней, зорко следил за ее самочувствием. Тоня недоверчиво улыбается, качает стриженой головой, но в глазах ее я вижу - тут уж меня не обманешь - радость постижения чего-то нового, необычного. Спрашиваю, что она делает вечером.

- Поужинаем и ляжем спать. В полночь подъем, потопаем по азимуту.

- Жаль, в городок привезли новую кинокартину, хотел пригласить вас.

Тоня задумывается, затем тихо роняет;

- Пригласите лучше Соню.

- Почему Соню?

- Ей так хочется. Мы с ней поконались, кому лететь кататься, выпало мне. А теперь еще в кино... Соня обидится.

- Зачем вы ее мне навязываете?

- Я не навязываю, поверьте. Она очень хорошая девушка.

- Охотно верю, но...

- Извините, мне надо идти. Спасибо вам за небо.

Тоня отходит на несколько шагов и оборачивается:

- Эх, вам не понять, что случилось... нет!

Взмахивает резко рукой и убегает. Я хочу спросить вдогонку: «Что же случилось?» - но рядом возникает Корж с одобрительно-

лукавой ухмылкой на морщинистом лице.

- Ну, как девушка, старшой?

- Все в порядке. Характером твердая, и спокойствие завидное.

- Ну, сказа-а-ал! Откуда ты можешь знать ее характер? Да истинный характер бабы проявляется в пляске и в кровати, понял? Но Тонька - девка что надо, она надела военную пилотку не по призыву, а по зову собственного сердца. Я ее уважаю больше всех, она единственная отдает мне бесплатно талоны.

- Какие талоны?

- Те, что ей положены на отоваривание спиртным. И правильно, между прочим, поступает. Не пропадать же добру, раз сама не принимает.

- Не пойму, какая радость глотать столько пойла да еще такого крепкого?

- Хе! Да будет тебе известно; вино и любовь хороши в том лишь случае, если они крепкие. Я, например, м-м-м-м... могу выпить много, а кто видел меня пьяным?

- Ну, это качество присуще и верблюдам.

- Да-да, по рюмочке, по маленькой, чем поят верблюдов, тили-бом-бом!.. Лично я - противник пьянства беспринципного и бестолкового поглощения алкоголя по форме це-гаш-три це-гаш-два о-гаш. Поэтому я не пьянствую, а познаю сущность вина диалектическим методом. Не шурупишь? Это значит, от созерцания перехожу к абстрактному осмысливанию и только потом к практике.

Корж вдруг попытался вытянуться, распрямить сутулую спину и стал похож на небрежно нацарапанный вопросительный знак. Почесал о руль поворота свою застарелую экзему на нервной почве, продекламировал с пафосом:

- Уменье пить не всем дано, уменье пить - искусство. Тот неумен, кто пьет вино без мысли и без чувства.

- Мать честная! Неужели опять во сне сочинил? - воскликнул я - Да ты ж почти Маяковский

- На этот раз не я... Не буду примазываться к правоверным... - Корж вздыхает. Глаза у него по-детски глуповатые и по-стариковски скорбные. - Зачем автомобилю глушитель? Чтоб не слышали громкий шум внутри его. А ты спрашиваешь, зачем мне вино...

Следующие два дня мотаюсь по Донбассу: штаб фронта, Ростов, Миллерово. Разные задания, со мной летают какие-то люди с сумками и без, со знаками различия и без них, чересчур болтливые и немые, как стена. Возвращаюсь к вечеру. Умываюсь, ем по-быстрому в выскакиваю из душной столовой, прозванной с моей легкой руки «Капиным капищем». Луна еще не взошла, небо

мигает россыпями звездной мелкоты. Белые колонны здания смутно отсвечивают в синем сумраке, из города доносится переклик паровозных гудков. Окно в комнате радисток открыто, из него выплескивается тихая, заунывная песня. Она плывет-качается на теплых волнах травяных ароматов. Ночь и песня... Почему меня волнует эта чепуха? Повернешься на запад - война, смерть, страдания, а меня, как перезревшую девку, беспокоит черт знает что! Сказать неудобно: какие-то едва уловимые предчувствия радости, безотчетная тревога, неясный, смущающий сердце страх утраты чего-то...

В детстве, помню, читал: в Африке растет дерево, чьи цветы похожи на красные яблоки, но стоит дотронуться до яблок, как они тут же рассыпаются на тысячи лепестков. Подобны тем цветкам и наши военные радости. Кажется, протяни руку и... Ан нет, только лепестки разносятся по ветру...

Вот и меня тянет к открытому окну радисток, как к тем цветам-яблокам. Стоял, пока песня затихла, затем стукнул негромко по раме. В темном проеме показалась Соня Петрунина, увидела меня, фыркнула. Я вполголоса спросил, где Тоня. Пышные Сонины плечи пренебрежительно шевельнулись. Из комнаты спросили;

- Кто там?

- А кто шастает под окнами? Или шпион, или влюбленный. - Соня отвернулась, добавила что-то еще, чего я не слышал и что вызвало смех, затем прищурилась на меня, пропела насмешливо: - Любовь сме-е-еется над замками, труля-ля-ля! Кармен к вам выпорхнет, о, Хозе, труля-ля-ля! - И захлопнула окно.

Я отхожу в тень, жду. Тоня появляется из-за угла, одетая, как обычно, по-домашнему: туфли, юбка, светлая кофточка. Заглядывает мне в лицо, спрашивает настороженно:

- Случилось что-то?

- Пришел за вами, пригласить в ночной полет...

Она смотрит на меня с удивлением, затем качает укоризненно головой;

- Вы же знаете: нам запрещено.

- Не слышал такого,

- Ну, не категорически, но не рекомендуется перед заданием.

- Глупость чиновная, вот что это! Пойду к Майданову, спрошу.

- Нет-нет! - Тоня закусывает по привычке губу, раздумывает. Вдруг хватает порывисто мою руку: - Эх, что будет, то и будет... Пойдем.

И мы пошли мягкой, заросшей бархатным спорышем дорогой по краю аэродрома. Я осмелел настолько, что взял Тоню за руку.

От ее волос исходил аромат прохладной чистоты, как от родника в жаркий полдень. Она молчала, но мне казалось: в тишине, как греза, звучала едва слышимая лишь мною мягкая, беспричинно печальная мелодия. Мрачные, разбомбленные корпуса безобразно громоздились выше горизонта, закрывая звезды, вдали блуждали тусклые синеватые огоньки: то по шоссе бежали, притушив фары, автомашины. Я чувствовал плечо Тони, его теплоту, крупный локон на лбу ее вздрагивал в такт шагам. Несколько раз порывался заговорить, но слова, как назло, приходили серые, плоские. Вот ведь как получается, когда тебя глубоко взволнует пробудившаяся в сердце нежность. А зачем, собственно, слова? Стоит ли тратить время на разговоры, когда и без слов ясно. Война длинная, ночь короткая...

Вдруг Тоня останавливается, берет меня за подбородок, поднимает вверх.

- Смотрите немножко и туда, в небо свое, - смеется она.

- Туда успею...

- Скажите, зачем я вам нужна?

Наивный вопрос застает меня врасплох, но отвечать надо. Первое, что приходит на ум, - галантные, вычитанные в книгах наставления для начинающих волокит. Вспомнил - и застыдился. Больше всего претит мне пошлятина. Лучше вообще быть немым, чем пороть идиотские банальности. И я не сказал Тоне, как мне с ней хорошо, как, увидев ее, я ощутил нежданную радость и словно проснулся от ласкового света ее глаз. С той поры живу, сдерживая себя потому, что разговоры о нежных чувствах в ту пору, когда на карту поставлена сама жизнь, и в первую очередь ее, Тони, жизнь, могут показаться неуместными и даже оскорбительными. Она воспримет их с презрением и насмешкой. Что же тогда останется?

Но Тоня вздохнула и робко прижалась к моему плечу. Каким образом разгадала она несказанное мною? Сердце мое гулко застучало, я обнял девушку с опаской, боясь спугнуть, тогда она наежится и убежит, но нет, только посмотрела вопросительно и лунный свет замерцал в ее удивленных глазах. Видимо, есть все же неведомый нам закон рождения взаимных симпатий; вначале смотришь на человека безразлично, как бы сквозь него, и вдруг, словно прозрев, поражаешься! ведь это же тот самый, чьим смутным образом ты восхищался в своих сновидениях!

Я увидел слева брошенное крыло от разбитого самолета, вытер на нем место пучком травы, пригласил Тоню сесть. Она не отказалась, постучала ладонью по крылу, и лукавая улыбка мелькнула на ее лице.

- На нем полетим? - опросила.

- Хочу поговорить с вами.

- О чем?

- Расскажите о себе.

- Анкетные данные или автобиографию?

- Душу в анкете не увидишь...

- Ну, хорошо. Появилась я на свет... впрочем, это и так понятно. Недалеко отсюда родилась, в Новочеркасске.

- В Новочеркасске? - воскликнул я невольно.

- Да. А что?

- Прошлой осенью я летал на боевые с вашего аэродрома.

- Вот как? Значит, мы почти земляки... В городе осталась наша семейная музыкальная команда: младшая сестра Лена и дедушка Афанасий, бывший дирижер полкового казачьего оркестра. Оба души не чают в музыке, не то что я... Впрочем, родителям моим медведь тоже на ухо наступил, потому и стали медиками. С первых дней войны в армии. Ну, а я оказалась здесь, Вот, собственно, и все. У королевы Марго или у княжны Таракановой биографии гораздо интереснее.

- Меня мощи не интересуют.

Тоня покачала отрицательно головой, волосы ее вспушились, стали похожи на клок сена, взъерошенного лихим горычом. Месяц поднялся выше, стало еще светлее. Я вижу цвет Тониных глаз: они темные, ожидающие. Мое сердце переполняет нежность, это, должно быть, неизбежно в такие минуты. Тоня вздыхает:

- Какая ночь! Не хочется... не хочу, чтобы солнце всходило! А оно видите что делает? Нарушает порядок, с запада всходить решило - не иначе.

Я оборачиваюсь. Действительно, там по всему окоему полыхает заря, А я думаю: мерцание в глазах Тони от лунного света. Вдруг это мерцание потекло по ее щекам. Она закрывает ладонями лицо.

- Тоня! Тоня! - зову просительно, но она не отнимает рук от лица, некрасиво и беспомощно трясет головой и вдруг восклицает сквозь сдавленные всхлипы:

- Господи, выброс меня скорей! Пусть даже без парашюта...

«Ну, нет, господь Майданов без парашюта не выбросит», - откликаюсь мысленно, а в груди - ток-ток-ток, как после ста приседаний перед медкомиссией. Тоня поворачивается ко мне, под глазами ее - темные круги, днем я их не видел. Что с ней? Как успокоить ее? Говорю в шутку:

- Вы нарушаете светомаскировку.

Она не понимает.

- Включили свои прожектора на полную мощность... - говорю и закрываю ей ладонями глаза. Тоня замирает, и у меня такое

ощущение, будто мы стоим на тонком льду и ждем: выдержит он или провалится?

- А-а-а! Вот вы где! - раздается внезапно на дороге. Оглядываюсь. Бежит посыльный, кричит на ходу, запыхавшись: - Правильно нацелила меня Сонька Петрунина, а то бы искал... Вас срочно вызывает командир!

- Что там стряслось?

- Немец прорвал фронт и прет на нас.

- Чего ты мелешь? - хватаю посыльного за рукав.

- Ей-богу! Тарарам кругом поднялся - ужас! - клянется посыльный и радостно улыбается во всю свою глупую ряшку. Тоня ахает растерянно, вскакивает с крыла, часто дышит, сцепив на груди руки.

«Тут и сказке конец...» - проходит судорожно в моем сознании, и сразу же, как по жесткому приказу, все остро волновавшее меня минуту назад сникает, остается война. Только война.

С рассветом Майданов умчался в штаб фронта, оттуда передал: в течение суток подготовить группу десантников к выбросу, постоянный состав с имуществом - к эвакуации.

Коржа в штабе нет, где он - никто не знает. Нахожу в ангаре. Измятый, небритый, сидит в тени, напевает меланхолически свою неизменную:

- По рюмочке, по рюмочке, тили-бом-бом! Тилибом-бом! По маленькой, по маленькой, чем поят верблюдов, Налей, на-а-алей, - кхи! това-а-арищ, - кхи! Заздравную-ю...

- А ну, марш на стоянку! Летать будем круглые сутки!

- Пожалуйста, у меня тили-бом-бом. Как часы!

Проверяю. Машина полностью готова к полетам, заправлена, вычищена, вымыта, блестит. Полчаса спустя первый парашютист повисает над аэродромом. И пошло... Взлет, набор восемьсот метров, прыжок, облет вокруг парашютиста - все ли у него в порядке, приземление, и все сызнова. Однообразие, скукота до одурения. К вечеру вымотался, дошел, как говорят, до ручки. Наконец передых. Пока Корж заправляет баки, можно поразмяться. Выбираюсь из кабины, приседаю несколько раз, делаю стойку на руках, боксирую с мнимым противником. На меня смотрят с «квадрата» десантники, ожидающие своей очереди на прыжки, среди них - Тоня. Еще день-два - и она, подобно ее коллегам, прыгнет в неизвестность. Эх, проклятье! Подрывники-диверсанты хоть драться могут - есть чем, а у нее что? Амазонка без оружия... Ее не ждет ореол славы победных сражений, наибольшим везением для десантника считается, когда он просто уцелеет, ведь бывает иногда, что и умереть - счастье для него...

Мне жаль Тоню. Впрочем, «жаль» - не то слово. Ради нее я готов на... А на что, собственно? Какими возможностями я располагаю? Что могу? Прекратить войну? Освободить Тоню от опасного дела, на которое она пошла по своей воле? Сохранить ее для себя? Чепуха! Не той закваски девушка, чтоб отступила перед трудностями предстоящего пути. А раз так, не смей смущать ее, не мучай, как вчера вечером. Поимей совесть! Твое маленькое личное - капля в океане всеобщих бедствий.

Корж заправил баки, пора опять в воздух. Беру очередного парашютиста. Подходит Тоня. Улыбается, посылает мне украдкой воздушный поцелуй. Она в кабине. Вижу на стекле зеркала ее сосредоточенное лицо. Набираю высоту. Все нормально, все привычно. Разворот, еще разворот, полоса плывет вдоль фюзеляжа. Третий разворот. Теперь полоса приближается к левому крылу. Внимательно оглядываю воздух, особенно - западную сторону. Перед заходом небо и земля быстро меняют краски, ослепительное палевое пятно солнца становится красным, а пепельная высь, источавшая днем густой зной, вспыхивает пышным румянцем.

Ох уж эта небесная косметика! Под ее ослепительным покрытием удобно прятаться «худым». Потому и обшариваю небо взглядом.

Но вот высота набрана, делаю Тоне знак приготовиться, убираю газ и ободряюще подмигиваю. Самолет задирает капот, теряет скорость. Тоня - на крыле, губы напряженно сжаты, правая рука на кольце парашюта, левая сжимает борт кабины. Я стараюсь удержать машину подольше в горизонтальном полете: чем меньше скорость, тем слабее динамический удар, который испытывает прыгающий. Но пора. Поднимаю над головой руку, чтобы тронуть Тоню за плечо и дать команду «Пошел!», как вдруг совершенно четкое, острое ощущение опасности холодящей дрожью прокатывается по телу. Что случилось? Самолет? Двигатель? В порядке. Появились «мессершмитты»? Не видно. Так в чем дело? Не понимаю. Но коль внутренний сторож предупреждает... Раздумывать нечего, немедленно Тоню обратно в кабину!

- Назад! - кричу и хватаю лямки парашюта, но Тоня исчезает.

И тут же самолет судорожно дергается и без моего участия высоко задирает нос. От тряски стучат зубы, самолет повисает вниз хвостом, вот-вот сорвется в штопор. Проклятье! Что происходит? Изо всех сил толкаю ручку управления вперед, одновременно даю полный газ, но рулей «не хватает». Оглядываюсь и... застываю в ужасе. Вот о какой опасности предупреждал меня внутренний сторож! На хвосте - Тоня. Стропы

запутались, парашют закрутился в колбасу. Двигатель на максимальных оборотах, но самолет в воздухе не держится, скользит, раскачивается угрожающе вправо, влево - центровка машины окончательно нарушена. Земля катастрофически приближается, приближается гибель. Дергает рулями туда-сюда, изо всех сил пытаюсь освободиться от зацепа, но тщетно. Моя память, напичканная уставами, инструкциями, параграфами наставлений, услужливо подсказывает спасительный выход: «Прыгай! Других шансов нет».

Кровь резким толчком ударяет в голову, как могла прийти мне такая гнусная мыслишка?

- Подлец! - ору я с остервенением сам себе и плюю раз за разом, выбрасываю лихорадочно из закоулков памяти балласт, бесполезный в моем критическом положении. Самолет не подчиняется мне, его швыряет во все стороны. Вместе с ним швыряет Тоню, крутит веретеном, она теряет самообладание, пытается отцепить купол от хвоста. Может, удастся? Ой, что там блеснуло? У меня перехватывает дыхание: Тоня режет стропы! Но у нее ж нет запасного парашюта! Она жертвует собой ради моего спасения!! Да что ж это творится? Как я смогу жить после этого?

Вдруг, наподобие того как от удара кресала по кремню зажигается фитиль «катюшки», так от внезапной догадки высекается искра надежды в моей зачумленной страхом голове. Солдат в атаке бежит вперед, а падает как? Конечно же на бок! Лбом ударишься - смерть. Самолет надо бросить на крыло, оно примет на себя удар, самортизирует.

А Тоня? Она словно догадывается о моем намерении, подтянулась вплотную к стабилизатору. Выбирать удобную посадочную площадку не приходится. По обочине аэродрома - заросли кустов, меня неотвратимо тянет туда. Я не сопротивляюсь, кусты - матрац для летчика. «Стреляй в кусты, бог виноватого сыщет...» - приходит на ум присловье, и вот - земля. Выравниваю на высоте двухэтажного дома и выключаю магнето. Накреняю машину влево, ручку управления добираю до пупа.

Эх, милый, мудрый У-2! До чего ж ты добрый ко мне и на этот раз! Ты простил даже такую немыслимую, такую дикую эволюцию! Ты не вогнал меня в твердь земли, не сделал из меня мешок костей, ты, словно лист на ветру, вскользь, юзом коснулся верхушек упругих кустов... Треск, пыль, удары по голове, по спине. Меня молотит со всех сторон. Искры из глаз, мрак и опять пестрота красно-белая. В горле терпкое жжение от крови. Все-таки расквасил нос... Мигом сбрасываю привязные ремни, выхватываю из кармана кусок вытяжного парашютика - мой носовой платок, прижимаю к лицу. Вижу плохо, но голоса слышу.

Видать-таки, крепко долбануло, хочу встать и не могу, в теле непривычная тяжесть. Фыркает машина, ко мне в кабину заглядывает Майданов.

- Колокольцева жива? - спрашиваю сквозь мокрый от крови платок.

- В сорочке родилась твоя Колокольцева.

Мне помогают выбраться из кабины. Стою, ищу глазами Тоню.

Десантники показывают:

- Вон там она, у санитарной машины.

- Бывает, и девкам кусты на пользу, гы-гы-гы...

С меня сваливается тяжесть.

Майданов разглядывает поломанное крыло и начисто срезанное шасси. Винт, к удивлению, цел, остановился горизонтально, как по заказу. Корж подозрительно щурится на него, мол, как это так? Я уже пришел в себя, докладываю Майданову о чепе, он машет рукой.

- Видел в бинокль, как открыла парашют на крыле.

- Я больше ничего не мог...

Лицо Майданова на секунду светлеет, острые скулы сглаживаются. Встряхивает меня за плечо, говорит о незнакомой мне до сих пор проникновенностью;

- Молодец, сделал все правильно. Ну, а что ты не смог - тебе простится... Корж! - кричит Майданов, хотя тот рядом продолжает глубокомысленно созерцать оторванную ногу шасси. Поднимает голову, жует губами. - Доложите состояние!

- Чье, товарищ командир?

- Ваше известно мне и без доклада...

- А-а... Вы насчет этой штуки... - кивает на самолет. - За подержанный гроб вполне сойдет...

- Точнее! - приказывает Майданов.

- Составлю для ПАРМа дефектную ведомость...

- О ПАРМе забудьте, сегодня ночью он эвакуируется. Ремонтируйте сами.

- Вот это тили-бом-бом! - присвистнул Корж, но на него никто внимания не обратил, все глаза поднялись к небу. На высоте, где еще гуляет солнце, протянулся розовый шнурок - инверсионный след, оставленный невидимым «Юнкерсом» то ли «дорнье». Лиловые кучки кудрявых разрывов зенитных снарядов остаются от него в стороне. Немцы наступают. Тоня лежит в санчасти. Я сижу у разбитого корыта, то бишь самолета.

Навестил Тоню вечером, В небольшой палате тихо и душно. Три кровати пустуют, возле четвертой на тумбочке тускло светит лампа. Окна занавешены одеялами

- светомаскировка. Тоня услышала мои шаги, шевельнулась. Лицо и руки забинтованы, видны лишь глаза: испуганные, страдающие. Сажусь на табурет рядом с ее койкой, опрашиваю, как самочувствие. Не отвечает. В уголках ее глаз закипают слезы, дыхание порывистей, чаще, сквозь бинты доносится глухо;

- Ты... ты пришел...

- Вот немного абрикосов принес, ребята передали.

- Я чуть не погубила тебя, прости...

- Ешь и не говори глупостей.

- Боже мой, что теперь скажут обо мне товарищи! Ведь могут подумать, умышленно причинила себе травму, чтоб не идти на задание. Но я ж не хотела, клянусь! Сама не знаю, как получилось.

- Ну, что за чепуха лезет человеку в голову? Как не стыдно! Ты очень плохо думаешь о своих товарищах. Завтра-послезавтра встанешь и навоюешься по горло. А сейчас жми на абрикосы и не переживай понапрасну.

- Я знаю, мы никогда больше не увидимся.

- Это почему же?

Глаза Тони туманятся. Она берет мою руку, прижимает к глазам. Я успокаиваю ее, а у самого в груди тягуче больно и безнадежно.

- Радости не будет, - роняет Тоня тихо. - Судьба вынесла нам резолюцию воевать и умирать. Значит, так и будет...

...Ночью в фашистский тыл улетели три группы парашютистов,

Минувшей ночью доносился отдаленный, хорошо знакомый гул канонады, сегодня стрельба гораздо громче, отчетливей. Слышны глухие взрывы, впечатление такое, словно кто-то упорно долбит деревянную стену кувалдой.

Мы с Коржом работаем наперегонки, спешим закончить ремонт самолета. Приходится делать все своими руками, чуть ли не с колена. Долго возились с вывороченными стойками шасси. Правая уже на месте, слава богу. Внезапно вызов к командиру. Группа срочно эвакуируется, а мы с Коржом остаемся. Веселенькая новость! Нас покидают с жестким приказом: закончить ремонт шасси и улетать. Если же до прихода врага не успеем, самолет сжечь, а самим пробираться попутными средствами до Новочеркасска, где должна дислоцироваться группа.

Часа два спустя машины, груженные парашютами и другим имуществом, покидают Острую Могилу. На одной из них уезжает Тоня. Пошел попрощаться, за мной увязался Корж. Майданов увидел нас, спрашивает: «Почему разгуливаете?» Так и так,

говорим.

- Нечего прощаться, не навек расстаемся. Заканчивайте ремонт и догоняйте.

Корж затоптался на месте, пожевал губами, съежился.

- Чего мнетесь? - уставился на него Майданов.

- Нельзя ли умыкнуть кусок списанного парашюта для хозяйственных нужд?

- Для каких это хозяйственных?

- Ну, женке на пеленки...

- Разве вы женились?

- Я не-е-е... Я не женюсь никогда.

- Вот как?

- А зачем? Чтобы плодить себе подобных?

- Ну, ежели себе подобных, то действительно незачем... - ухмыляется Майданов. - А насчет хозяйственных нужд надо было мышковать раньше, все уже упаковано в машинах.

Корж меланхолически вздыхает.

...Левая стойка шасси доводит нас до умопомрачения. Не держат хомуты в местах слома, хоть караул кричи! Нужна сварка: электро или газовая - любая, иначе все наши труды напрасны. Но где ее найти? Корж обшарил весь аэродром - пусто. Может, порыскать в городе, на заводах? Другого выхода нет, надо топать в Ворошиловград.

Но грохот рвущихся бомб, сброшенных на город, подстегивает нас.

- Не вернусь - поминай сухарями, - хмыкает Корж, вытирает ветошью руки, взваливает на плечо стойку.

- Не задерживайся там, - предупреждаю.

- К полуночи вернусь. Если удастся...

- Да, кстати, вещички собрал?

- Давно привязаны в фюзеляже под капотом.

- Гм... Предусмотрительный, однако...

- Предусмотреть все - это значит победить наполовину.

Корж удаляется, а я принимаюсь заправлять бак горючим. Наливаю из бочки в ведро, влезаю по стремянке к горловине, опорожняю и опять - к бочке. Заправка полная. Чем бы еще заняться? Схожу, пожалуй, за собственными манатками, пусть будут под рукой.

В помещении штаба, в парашютном классе, в жилых комнатах пустота. Под ногами мусор, тряпки, порожние бутылки, оцинкованные коробки для патронов ППД. В комнате радисток дверь заперта, ручка привязана чулком к гвоздю в стояке. Отвязываю, вхожу. Койки без матрацев, но на полу ни соринки, все убрано, чисто.

Над крышей здания проносятся самолеты. Выглядываю в окно - фашистские, как прошлым летом разгуливают. Надо убираться из дома, пока какой-нибудь не фуганул бомбу. Больно уж цель приметная: колонны, балконы... Как нашим-то удается эвакуироваться под бомбами? Кидаю за плечо вещевой мешок, выхожу из помещения, подпираю дверь обломком доски. Где-то в городе назойливо воет сирена, из-за бугра поднимаются серые паруса дыма. Сумерки быстро густеют, скоро совсем стемнеет. Стена ангара еще не остыла от дневного жара, притулился спиной, сижу, смотрю как догорает заря. Слева над городом зарево раздувается, подсвечивает багровыми сполохами тучи дыма.

Вглядываюсь в темноту, мертвые, опустевшие строения военного городка кажутся еще угрюмей. На землю падает роса, ароматы цветущего разнотравья, сильнее пахнет железом и... опасностью. Муторно становится, как наслушаешься от десантников всяких баек о вражеских диверсантах и лазутчиках. Теперь в изменчивой темноте они мерещатся мне с ножами в зубах. Такие, ежели нападут врасплох, запросто сделают тили-бомбои! Но куда же, черт его дери, Корж запропастился? Дело к полуночи, а от него ни слуха, ни спиртного духа, Завтра целый день летать, надо прикорнуть хоть немного. Пойду лягу. Корж придет, разбудит.

Подпираю ворота ангара изнутри железной трубой, расстилаю на земле моторный чехол, пистолет под голову и - спать.

Просыпают от щекотки. Кто-то водит мне соломинкой по носу. Спросонок соображаю туго: «Корж расшалился...» Открываю глаза - никого. Это лучик солнца проник сквозь щель в воротах, балуется. На дворе, значит, утро, а Коржа нет? Вскакиваю, ударом сапога выбиваю трубу-подпорку, распахиваю ворота.

Солнце, чириканье воробьев и тут же над головой громовые раскаты. Узнаю наши «илы». Проносятся низко. Вдруг как бы отталкиваются от земли и уже поблескивают в небе, пикируют на что-то юго-западнее города. Навстречу атакующим штурмовикам бьют автоматы «зрликоны», хорошо слышны недалекие взрывы. Немцы совсем близко. «Неужто забурил, проклятый «тили-бом-бом»?» Мне становится тоскливо.

Артиллерийская пальба нарастает, временами ее заглушают подвывающие сиренами «штукасы», Ю-87. Вдали мелькают еще какие-то самолеты. Неспокойно в воздухе, очень неспокойно. Что творится на земле, кто в городе, не знаю, а неизвестность страшнее неожиданности. Сбегать на дорогу, спросить у проезжих? Оставлять самолет опасно. И все же придется

рискнуть.

Несусь через городок во всю прыть. Воздух - горячая перина, остро пахнущая лебедой. Пот заливает глаза, вытираюсь на ходу пилоткой. Наконец - шоссейка. Курившаяся прошлые дни рыжеватой пылью, сейчас пустынна. Ни машин, ни телег, ни единой живой души. Носится лишь, каркает распуганное стрельбой воронье. Кажется, я остался один... По спине - холодок.

Вдруг дорога оживает, что-то приближается, слышен металлический скрип, лязг, ревет натужно мотор, перегруженный донельзя. Т-34? Нет, по сравнению с громовой поступью «тридцатьчетверки» это цыплячий писк. Тут что-то другое. Это другое - грохочущее жалко, приземистое - выныривает из-за пыльных зарослей акации. Ух, ты! Грузовик, набитый людьми, но, боже мой, на что он похож! Без рессор, без скатов прет напролом, пашет железными ободьями дорогу.

Я выскакиваю на проезжую часть, поднимаю над головой пистолет. Трехтонка со скрежетом останавливается, из кабины выглядывает кто-то с забинтованной головой, громко, со злостью кричит!

- Ты чего, туды твою?

- Где немцы?

- Что-о-о? Ему немцы нужны! Ты кто такой? - резво выпрыгивает на дорогу забинтованный начальник, бросается ко мне.

- Отвались, дурак! Я летчик. Вон мой самолет стоит, не могу взлететь.

- Так какого ж ты, туды твою, разгуливаешь тут? Лезь в кузов! Быстрее! Немец на пятки наступает, едва выскочили.

- Не могу, у меня техник на аэродроме. Подождите немного.

- Ждать? Ну, нет, мы разутые, видишь? Давай ежели, а не хочешь...

Из кузова нетерпеливо орут:

- Да пошел он! Газуй, лейтенант!

Тот машет на меня рукой, вскакивает в кабину. Остатки автомобиля, пыхая белым дымом солярки, удаляются.

Несусь поспешно назад - может, вернулся «тили-бом-бом», ищет меня? Прибегаю - никого. На часах уже десять, я не знаю, что и думать. Может, попал под бомбежку? Может, убит случайно или ранен? Или... У меня духу не хватает произнести слово «дезертир». Но я всяких встречал, когда скитался по вражескому тылу. Если так, ждать больше нечего, надо уходить.

Надеваю вещевой мешок, поворачиваю сливной кран горючего. Вчера я залил бак под самую пробку, струйка бензина от мотора растекается по земле. Заряжаю ракетницу, жду, когда

лужа станет побольше. Теперь, пожалуй, хватит. Взвожу курок ракетницы, прицеливаюсь. «Прощай, «Русфанера»! Гори голубым пламенем. Не знал, как от тебя избавиться, так несчастье помогло...»

Последний раз оглядываюсь на дымчато-зеленое поле аэродрома, ничего нового. Впрочем, стоп! На южной стороне вроде кто-то показался. Похоже - цапля вышагивает. Их здесь много. Присматриваюсь внимательней. Нет, кажется, не цапля, существо более грузное. Человек, навьюченный мешками, не то животное с тюками на спине - издали не разберешь. Направление держит на ангар. Та-а-ак... А не Корж ли это маскируется от воздушного противника? На всякий случай перекрываю сливной кран. Неизвестный все ближе, вижу мешки, под ними длинные худые ноги. Сомнений больше нет: «тили-бом-бом»!

У меня кровь приливает к рукам, меня душит, трясет от злости. «Ну, ты у меня получишь за все, я те так врежу по загривку - свет в копеечку покажется! А там иди, жалуйся!»

Но Корж, видать, держит нос по ветру, или мои намерения уж очень ясно написаны на моей физиономии. Не доходя до меня шагов десять, сбрасывает с плеч мешки, достает из-за спины, как винтовку, заваренную стойку шасси, показывает издали.

- Видишь, старшой? Готова...

- Что все это значит? - стучу по часам на руке.

Корж шмыгает носом, двигает плечами, показывая, что экзема дает о себе знать. Гимнастерка на нем в темных пятнах пота.

- Ну-у! - рычу я угрожающе.

Корж мигом развязывает мешки и встает между ними, точно купец на базаре. В одном мешке - копченая колбаса, в другом - хозяйственное мыло.

- Больше ничего не досталось, - разводит он руками. - Пока заваривал стойку, другие расхватали, даже соли не организовал.

- Послушай, тебе известно, что такое штрафбат? - спрашиваю холодно и ехидно.

Корж глядит под ноги, молчит, потом невнятно мямлит:

- А тебе известно, что с нами случится впереди? А ведь это - продукт! - встряхивает он мешки.

- Бутерброды с мылом жрать будешь? Солью хвост посыпать?

- Право, старшой, ты рассуждаешь, как несмышленыш. Да за это мыло в любой станице бабы знаешь что дают?

- А ты знаешь, что дают за самовольную отлучку в боевой обстановке? То есть дезертирство?

- Ну зачем так, старшой? Я ж хотел лучше... Нога сей минут будет на месте, и - в воздух!

- Где немцы?

- О-о!.. Немцы еще далеко, километров пять, не меньше.

У меня нет больше сил разговаривать с этим типом, даже злость на него иссякла.

...Спустя часа полтора после взлета приземляюсь на знакомом аэродроме возле Новочеркасска на левом берегу реки Тузлов. Места известные, излетанные, исхоженные. Через реку - два моста: на одном поблескивают железнодорожные рельсы, другой - шоссейный. Этот о воздуха хорошо видно - забит людьми и транспортом отступающих частей. Аэродром брошен, лишь на той стороне летного поля стоит сиротливо звено штурмовиков. Очевидно, там командный пункт. Есть смысл сходить к ним, разузнать насчет группы Майданова. Коржу показываю, где склад ГСМ, может, удастся дозаправить бак.

Летчики-штурмовики, измотанные, с потеками грязного пота на лицах, разместились под крылом самолета, дремлют. На мой вопрос пожимают плечами. «Майданов? Понятия не имеем, не слышали, не видели. Самих приземлили сюда недавно по радио, наш аэродром блокирован фашистскими истребителями. Получим разрешение на взлет и - привет!»

Решаю топать в город к военному коменданту, у него-то Майданов должен оставить какой-нибудь след. Возвращаюсь к самолету. Корж уже стряпает что-то в котелке. Возле костра - канистра, банки, бутылки. Улыбается навстречу, довольный.

- Ты знаешь, старшой, совершенно случайно обнаружил почти полбочки. Ценнейшая смесь! Керосин со спиртом. Сейчас небольшая перегоночка и... - сделал он красноречивый жест, а я продолжал язвительно:

- ...тили-бом-бом!

- Угадал... - разводит Корж руками и вдруг спохватывается, объясняет; - Солдат, проворонивший выпивку, - не солдат.

- Боюсь, мудрости эти вылезут тебе однажды боком... Я пошел к коменданту города, когда вернусь, не знаю. Смотри здесь, чтоб самолет не украли...

- А перекусить? Обедать вряд ли придется. Я сей минут!

Минутку спустя в распахнутом фюзеляже самолета можно было созерцать потроха. Из хитро принайтованных мешков появляется седая колбаса, коврига черствого хлеба, четыре помидорины. Я расстилаю на траве газету, сажусь, режу черную, сухую, как палка, салями. Она слезится ароматным жирком. За спиной на дороге гудят машины, стучат кованые колеса повозок, бранятся измотанные люди. Корж ставит рядом с собой котелок, наполненный добытой «ценнейшей смесью», с чувством вздыхает;

- Эх, и достается же матушке-пехтуре!

- Достается потому, что не в ту сторону курс держит. Небось

на запад топали бы куда веселей. На войне всегда один наступает, другой - отступает. Прошлой осенью что было? Помнишь, как перли фашисты на Ростов? Хе! Мундиры нараспашку, рукава до локтей закатаны... А потом? От Ростова до Миуса в одних подштанниках драпали. То же и нынче будет. Уверен, пока мы с тобой здесь болтаемся, в высших сферах не прохлаждаются, готовят немцу кое-что... Чтобы им и без подштанников спасу не было... - говорю, а сам слежу за манипуляциями Коржа. Он берет пластмассовый стаканчик для бритья, наливает в него из котелка, выпивает залпом и... Ой, ой, ой! Что с ним? Никак концы отдает? Лицо стало как граб сморчок, как сморщенный трюфель. Он судорожно хватает помидор, хекает, хакает, сморкается, вытирает обильные слезы, наконец изрекает бодро:

- Ешь солоно, пей горько, умрешь - не сгниешь... Старшой, у тебя есть голубая мечта? Нет? Вот она, универсальная, попробуй, - встряхивает он котелок. На колбасные запахи налетают крупные зеленые мухи. Я отмахиваюсь. Они опускаются на венец котелка с адским зельем, издают громкое жужжанье и исчезают, словно от крепкого щелчка.

- Видишь, - говорю, - от твоей голубой мечты мухи дохнут.

Корж обиженно сопит. Разве могу я по достоинству оценить его приобретение? Пожевав колбасы, отправляюсь в город.

На дороге плотный жаркий поток подхватывает меня и несет через мост в гору, под Триумфальную арку, поставленную казаками Платова в честь победы над Наполеоном. В прошлом году я не раз проходил по этой дороге и всегда опасался самого неприятного: проморгать шагающего навстречу старшего по званию. Ух, и лихие служаки попадались! Попробуй, сержант, не поприветствовать за три шага строевым! Разве мало таких, которые видят смысл службы в том, чтобы показывать свою власть, изводить стоящего рангом ниже?

Но на войне, когда у каждого в руках оружие, самодурские издевочки могут кончиться худо. Сегодня я сам, без принуждения спешу к коменданту за помощью, вся надежда на него.

В комендатуре столпотворение, к коменданту не пробиться даже полковнику, а уж такому, как я... Поскольку знаков различия на моих петлицах нет, буду работать под офицера. Занимаю очередь, галдящую на все голоса. Люди военные, а в помещении форменный базар. Толпятся, лезут один вперед другого, трясут бумагами, пыжатся, как индюки надутые. Стою безнадежно, прислушиваюсь от нечего делать к разговорам. О позициях, оборонительных укреплениях, оружии - ни слова, зато всем нужны продовольствие, фураж, железнодорожные вагоны.

Некоторые ищут собственные штабы, части, а это уж совсем скверно. Коль управление войсками нарушено, связи потеряны, тут недалеко и до повального бегства. Подобными примерами военная история ве-е-есьма богата...

Лишь часа через два прорываюсь к коменданту, и от одного взгляда на него чувствую разочарование и неуверенность. Изможденный, замотанный майор с бегающими на желтых скулах желваками, с красными от бессонницы глазами - что может сделать он для массы войск, вливающейся лавиной в город?

Мой доклад, почему я здесь, краток. Комендант досмотрел мои бумаги, положил на стол, крикнул через плечо в соседнюю комнату:

- Петлицкий, проверь прибытие группы Майданова!

В двери появляется старшина с жидким, прилизанным чубчиком, раскрывает перед начальником толстую книгу, указывает пальцем:

- Вот прибыл, вот убыл...

- Куда? - воскликнул я машинально, но ни комендант, ни подчиненный не шевельнулись. Пришлось повторить вопрос. Майор отдает писарю книгу, спрашивает строго:

- Почему вы позволяете себе шататься где попало в ответственное военное время? Вместо того чтоб быть на фронте, навострил лыжи в тыл?

- Я вам объяснил почему...

- Я слышал такие объяснения от лиц, которые бросают передовую!

У меня в глазах потемнело от обиды и злости. Застарелая неприязнь ко всем комендантам на свете вызвала бестолковый взрыв. Едва слыша себя, я с яростью выдавил:

- А ты почему не командуешь батальоном?..

Глаза коменданта стали белыми. Взвизгнул хрипло, тыча на меня дрожащим пальцем:

- Ар-р-рестовать!

В тот же миг из смежной комнаты появляются дюжие хлопцы и выводят меня за дверь. Я в отчаянье, Я уже сожалею, что вел себя так глупо, несдержанно, и все же на пороге останавливаюсь, машу кулаком коменданту:

- Это тебе так не пройдет! Ты ответишь за отказ сообщить местонахождение особой части! - Поворачиваюсь к моим охранникам, цежу с прозрением: - Ведите, фараоны, в мой любимый подвал на Алексеевскую...

- Хе! А ты, оказывается, уже отведал нашей губы? - восклицают комендантские молодцы с легким удивлением.

- Отведал... Прошлой зимой, после возвращения из

фашистского тыла, находился на отдыхе некоторое время. Воевал здесь, поблизости, вот и завернул к коменданту в гости...

- На чем летал?

- На истребителе.

- Чего ж не сказал коменданту?

- А он меня спрашивал?

- Затуркали его, слышь, да тут еще...

- Ладно, ведите, защитнички...

- Вести-то некуда, вот какое дело. Нет больше гарнизонной гауптвахты, разбомбили ее, - поясняют солдаты. - Ты вот что, погуляй часок-другой, майор остынет малость, может, отдаст документы, отпустит. Он мужик неплохой, только... сам видишь, что творится последние дни...

Давно свернуло за полдень, через город по-прежнему тянется нескончаемая вереница машин, орудий, утомленных людей. Тягостно смотреть на такое шествие. Сворачиваю в боковую улицу, мощенную брусчаткой, поболтаюсь здесь, чтобы время убить. Бреду под низким зеленым шатром акаций, покрытые пылью листья дремотно опустились, и сам воздух вокруг, похоже, спит. 15 июля, середина второго лета войны. Впереди перекресток, справа - дом с пышно-цветным палисадником, из открытого окна заучит музыка. Не патефонная. Слышится скрипка и пианино. Я останавливаюсь, я словно воспрянул от сна. Куда меня занесло? Как неожиданно и необычно все это: музыка, запахи цветов, покой, они мне представляются символами мирной жизни без страданий, крови, разрушений, в них надежда на счастливую долю и что-то еще, удивительно радостное, подкрепляющее...

«Я видел, как ветер березку ломал...» - выводит скрипка, и мне вспоминается детство, отец и мать, поющие по вечерам с друзьями. Давно слышанная и утерянная памятью мелодия. Я встаю на цыпочки, заглядываю украдкой в окно. Мне, как всегда, стыдно, когда делаю что-то недозволенное, и все же не могу удержаться.

В затененной деревьями комнате стоит белый старик со скрипкой в костлявых руках, его длинные сухие пальцы водят смычком, а светловолосая девочка в легком платьице перебирает клавиши. Кто они, эти двое, всецело поглощенные игрой? Почему кажутся так удивительно знакомыми?

Вдали тяжело громыхает. Опять бомбежка. Я неслышно отхожу от окна, объятый какой-то необъяснимой и совершенно неуместной в моем положении тихой радостью. Желтая бабочка порхает над пышными шарами пионов. Неподалеку за домами вспыхивает красная ракета, она возвращает меня в реальную

жизнь. Иду вдоль палисадника. Нечаянно взгляд останавливается на табличке, приколоченной к глухой калитке. На ней выгравировано: «Доктор В. Г. Колокольцев. Доктор И. А. Колокольцева». Мать честная! Это же дом Тони! Музыканты за окном дедушка Афанасий и сестра Лена, о которых рассказывала Топя. Вот почему показались мне так знакомы лица старика и девочки! Стой-стой! Майданов проезжал через город, об этом отмечено у неистового коменданта. Неужели Тоня хотя б накоротке не побывала дома? А если побывала, то не узнаю ли я, куда направилась с группой? Дергаю ручку звонка.

Встречают меня, как сына родного, даже неловко становится. Я с непривычки глубоко растроган щедрыми изъявлениями гостеприимства, благодарю, извиняюсь за внезапное вторжение. В еще более затруднительное положение ставит меня старик своими язвительными вопросами: «Как могла опрокинуться машина и поранить Тоню? Почему возят людей на неисправном транспорте? Или водители слепые, не видят под собой поломанных мостов?» Какие мосты? Какой транспорт? - не соображу никак. Неужели Тоня попала еще и в автомобильную аварию? Наконец догадываюсь: она умышленно соврала, чтобы не рассказать о чепе в воздухе, не пугать родных. И я принимаюсь горячо уверять деда в безупречной работе автотранспорта и водителей, но бывает и на старуху проруха. Как мог знать шофер, что по мосту перед ним прошли танки? От их тяжести и треснули балки, потому и свалилась машина набок.

- Разве с моста? Тоня говорила на аэродроме, - прищурилась на меня Лена, - Вы просто скромничаете, не признаетесь, что вытащили Тоню из-под машины...

Уф, кажется, меня совсем запутали, надо выкарабкиваться.

- Правильно, - говорю, - на аэродроме. То есть мост почти на аэродрома, рядом... - объясняю я не совсем удачно. Надо поскорее уматывать отсюда, пока проныра девчонка не сбила меня окончательно с панталыку, От чаю категорически отказываюсь - жарко, но абрикосы из докторского сада, отборные, один в один, собранные Леной собственноручно, проглатываю, помнится, с косточками. Лена смотрит на меня так, словно я глотаю шпаги или факелы, а я чувствую себя как на вокзале; время вышло, поезд не отправляют, провожающие переминаются о ноги на ногу, говорить им больше не о чем, все поглядывают на часы и не знают, что делать. Хорошо хоть, хозяева ртов не закрывали, дед Афанасий по забывчивости то и дело повторял, прижимая руки к груди;

- Очень рады, очень рады, что Тонечка уехала в безопасное место, мы обязательно напишем об этом родителям. У нас здесь

так бомбят, так бомбят!

Я изо всех сил поддакиваю старику. Счастлив неведающий! А знай он, где на самом деле немцы и чем занимается его внучка, что бы с ним стало? Нет, незачем бередить им сердце, тем более что мать и отец на фронте. Прощаюсь с хозяевами, тороплюсь на аэродром. Теперь я знаю маршрут Майданова, станица Большая Мартыновка на речке Сал, переправа через Дон возле Раздорской. Правда, документов у меня нет, все у коменданта, но плевать! Кто в воздухе проверяет документы? А прилечу к своим - новые выдадут.

В городе я пробыл часа четыре. За это время поток войск стал еще гуще, машины друг другу в кузов упираются, повозка на повозку громоздится, лошади ржут, ездовые обозов бранятся. Из узкого моста, как из огромного раструба, выпирает серая масса, постепенно рыхлеет, рассасывается городом. Все спешат на юг, один я - на север. Пробираюсь против шумного течения по обочине впритирку к заборам, перешагиваю через лежащих, обессиленных людей. Вот и Триумфальная арка Платова.

Внезапно по бурлящей колонне будто сквозняком потянуло. Головы людей, подобно магнитой стрелке, разом поворачиваются на север. Там, на небольшой высоте, среди зенитных разрывов покачиваются похожие на головастиков немецкие пикировщики.

«Восемнадцать... - насчитываю быстро. - Не иначе - летят бомбить мосты. Свора немаленькая...» Представляю, что произойдет там через минуту-другую: развороченные опоры, сброшенные в воду фермы и сам я, плывущий через Тузлов на аэродром со свертком одежды на голове. Но отступающие по спуску думают, видимо, иначе. Тревожная сирена вызывает всеобщее смятение, расшвыривает людей с дороги. Присматриваюсь внимательней к эволюциям «лаптежников» - и в груди тоскливо холодеет. Ох: не на мосты они летят...

Бросаюсь к ближайшей щели. Эге, люди, как поленья, один на другом доверху. А гул Ю-87 приближается. Я мечусь от щели к щели - все битком набиты. Кошу глазом в небо - фю-ю! - «штукасы» уже вытягиваются правым пеленгом, увеличивают дистанцию, я продолжаю торчать среди машин, повозок, лошадей, определив безошибочно наметанным глазом, что бомбы несомненно упадут на меня, именно в эту гибельную пробку. Какая дурацкая смерть, черт побери! Никогда не был я так нерешителен, как в эти секунды беспомощного ожидания конца. Слабый зенитный огонь не мешает ведущему немцев сделать четкий переворот через крыло, вереница пикировщиков устремляется к земле.

На спуске все замирает в предсмертном оцепенении,

обрывается вой сирен, и лишь какой-то отчаянный, дошедший до исступления зенитчик упорно садит по немцам из своей пушчонки.

Вдруг меня подкидывает, точно катапультой, я взвиваюсь и лечу над высоченным забором, над кустами лиловых мальв мимо кирпичной стены и всем телом брякаюсь в крашенную охрой дверь. Она заперта. Вой бомб нарастает, вжимает в дверной проем, и тут же крыльцо уплывает из-под ног. Тяжкий ослепляющий удар сотрясает стену, душит, выдавливает из тела кровь, плющит тело. Земля раскалывается, пучится в вихре грома и молний. Сквозь рев и вой раскаты взрывов удаляются, из кирпичных стен, испещренных пробоинами, струится бурая пыль, и мне кажется, что старый дом кровоточит. Я ничего не слышу, в ушах мышиный писк. Шевелю руками, ногами. Пальцы дрожат - значит, целы. Бомбовый шквал утихает. Пилотка, сорванная взрывной волной, валяется возле крыльца. Поднимаю, отряхиваю. Земля все еще вздрагивает от удаляющихся взрывов. Будут делать еще заход? На спуске что-то бахает глухо и часто, трещит огонь. Бросаюсь к воротам - заперто на замок. Странно, как я очутился в этом дворе? Неужели перемахнул через забор, взял такую высоту? Невероятно, но факт!

Навстречу мне, не разбирая дороги, выскакивает из дыма толпа. Лица искажены болью и ужасом, чернеют перекошенные криком рты. Впереди несется лейтенант, упругими прыжками преодолевает нагромождения обломков, лицо серое, волосы серые, в пустых глазницах глаз не видно. Изгибается хищно, как кошка, орет:

- Спасайся! Горят снаряды!

Внезапно наперерез вылетает невзрачный человек. Голова в крови, гимнастерка разодрана, в руках по пистолету. «Комендант!» -узнаю я.

- Сто-о-ой! Наза-аа-ад! - кричит он неожиданно зычным голосом, размахивая над головой оружием, но кто его слушает! Охваченные паникой люди бегут. Ком нарастает. - Назад, трусы, вашу мать!.. - несется яростная брань из ощеренного рта коменданта.

Ватага смешивается, медлит секунду-другую, ошеломленная, парализованная, и быстро тает. Все устремляются к горящим машинам с боеприпасами, переворачивают их, высыпают снаряды на обочину, разбитый транспорт оттаскивают с дороги, огромную воронку забрасывают обломками, досками, битым кирпичом. И вот колонна опять двинулась, прибавляет скорости, люди, задыхаясь, трусцой поднимаются в гору, а я едва плетусь под гору: голова гудит, к горлу подкатывается тошнота. Тряхнуло,

видать, меня основательно... Так всегда было, так и будет: чем меньше порядка, тем больше крови.

Продираюсь к мосту. Встречные таращатся на меня, как на ненормального, но я не обращаю внимания. Мена одолевает беспокойство о судьбе Коржа. Набрался небось страху, бедняга, шутка ли, такая бомбежка! Могли ж по аэродрому жахнуть запросто, оглоушить моего са-а-амого старшего техника-лейтенанта...

Наконец мост позади, выбираюсь из встречного потока, прибавляю шагу. Вот и аэродром. От сердца отлегает, самолет цел, Коржа, правда, не видно. Наверно, отсиживается в щели. Подхожу ближе, смотрю - Корж разлегся под крылом и храпит на все завертки. Это же надо! Я даже поперхнулся от злости. Такому, видать, и гром бомбежки - колыбельная песня... Пнул его в зад носком сапога.

- Эй, тили-бом-бом! По тебе только что отбомбилось восемнадцать «лаптежников»!

Корж раздирает красные веки, выбирается из-под крыла.

- Бомбили, говоришь?

- Ну и ну! Неужели не слышал?

- Я немножко прикорнул.

- А-а... Стихи во сне сочинял? Готовь самолет, полетим на Раздорскую, а оттуда - на Мартыновку.

- Майданов там?

- Предположительно...

- Наконец-то воссоединимся.

Минут десять спустя ковыляем на Раздорскую. Однако совершить посадку в станице не суждено было; переправа больше не существовала, а на берегу кишели немцы. Их зенитки встретили меня издали, и спасибо, что издали... Разворачиваюсь на сто восемьдесят и - ходу. Прижимаю самолет поближе к донской водичке, под крылом мельтешат зеленые кустарники, пойменные луга, по правой нагорной стороне виднеются бурые расселины оврагов. Вокруг ширь, просторы, самые подходящие места для фаталиста, жаждущего испытать судьбу. Здесь безнаказанно шастают «мессершмитты», особенно старательно охотятся на такие самолеты, как мой, им известно: на У-2 доставляют разные документы, офицеров связи, важных военных чинов.

Мой планшет с полетной картой остался у коменданта, ориентируюсь по памяти. Долечу до станицы Багаевской, а оттуда развернусь на Большую Мартыновку. Оглядываю внимательно небо. Корж из второй кабины следит за задней полусферой, в зеркале видно, как он щурится от режущих солнечных лучей. У

бедняги даже слезы текут от напряженного слежения. Наклонился в кабине, вытирается платком. Я опять скольжу взглядом по небу и возвращаюсь к зеркалу. Коржа не видно, что то больно долго вытирает слезы. Снимаю ноги с педалей, привстаю, оглядываюсь.

- Ах, чтоб тебе! Вот, оказывается, как ты слезы льешь! Вместо того чтобы смотреть за хвостом, присел в кабине и сосет из фляжки!

Ставлю ноги на педали и резко двигаю рулями. Застигнутый врасплох питух роняет фляжку, и она летит за борт. Отрешенным взглядом провожает Корж коварно упорхнувшую, как эфемерную мечту, посудину и лишь после этого обращает взор к небу. Обращает и тут же вскакивает, хватает меня за плечо. Лицо его вытягивается, он тычет пальцем в зенит;

- «Ме-е-сс»!

И ныряет поспешно на дно кабины. Я слежу, как завороженный, за плывущим одиноко белым облачком, на фоне которого промелькнул тонкий силуэт фашистского истребителя, и тщусь успокоить себя надеждой: авось не заметил меня среди луговых зеленей? Не спускаю с него глаз и жмусь к земле еще ближе. Хочется слиться с лей, раствориться среди ее пятен, но напрасны старания, я немцу виден, как на ладони, однако почему-то не атакует. Решил поиграть со мной в кошки-мышки? Он вполне может позволить себе такое с нашим безоружным братом... У него пушки, пулеметы, а у меня на борту одна ракетница, да и та у Коржа, который, видать, дословно последовал небезызвестному мудрому совету: «не трать, кум, силы, садись на дно...» - и сел на дно кабины.

Чудак! Думает, так уцелеет. Да его раньше меня прошьет очередь. Ах, проклятая беспомощность, уж второй раз сегодня наваливается на меня глупая смерть. Серая акулья тень «мессера» уже в пологом пике, догоняет.

- Проклятый «кукурузник», из-за тебя погибаю! - вырывается у меня в отчаянье, и тут же - вопрос: «А если б ты был на истребителе?» Ха-ха! Тогда известно что: как только «месс» начнет водить носом, прицеливаться, нужно тут же скользнуть к земле. Вряд ли фашист заметит уловку и успеет на нее среагировать, следовательно, трасса пройдет мимо. Ага! Так оно и есть. Пока... Вот он шевельнулся, наводит... ловит меня в перекрестие прицела... сейчас нажмет гашетки... Ну, пронесись, нечистая сила! Толчком - ручку вправо, пинком - левую педаль, жму, давлю, как гадюку, и резко сбрасываю газ. Огненная струя немца задевает верхнее крыло, пыль, мусор подсасываются из фюзеляжа, завихряются в кабине. Я не вижу «мессершмитта», слышу только сотрясающие воздух грохот пушек и рев мотора, а

земля уже в двух метрах от меня, скорость потеряна до нуля, но я газ не даю, наоборот: выключаю магнето и добираю ручку до упора. Самолет прыгает, как оглашенный, по колдобинам, по кочкам, ветки кустарника хлещут крылья, рвут перкаль обшивки. Меня нещадно швыряет по кабине, затем с силой вперед - под колесами густое болото. Машина как бы спотыкается, поднимает хвост и застывает, уткнувшись мотором в землю. Я упираюсь в приборную доску, чтоб не раскроить голову, и в тот момент, когда ноги мои оказываются вверху, а голова внизу, вижу, как что-то надо мной мелькает - темное, расплюснутое.

«Отвалился хвост!» - вскрикиваю про себя. В это время «хвост», возопив истошным голосом, вернее - голосом Коржа, брякается на землю и улепетывает в кусты - только брызги болотные летят из-под каблуков. Я вываливаюсь из кабины и - за ним. Смотрю, «месс» разворачивается на повторную атаку. Припускаюсь еще проворней к густому тальнику, скрываюсь в зарослях. Немец с воем пикирует и... удаляется без стрельбы. На редкость самоуверенный осел, воображает, что вогнал меня в болото одной очередью! Смеюсь злорадно ему вслед.

Приближается Корж, мокрый от грязи и пота, шмыгает носом, спрашивает, чуть заикаясь:

- П-почему он не-не стрелял вт-торично?

- Ты, кажется, очень жалеешь?

- Н-не, старшой, если б ты знал, что я пережил только что! Н-нет, ты не знаешь. Совершенно ясно видел дорогу в пекло, оно было прямо перед моими глазами...

- Ну, и какими благими намерениями выстлана дорога? - пытаюсь я острить и только теперь примечаю, что Коржа трясет не на шутку. Даже лицом изменился, страдалец, в обычно сонных, сейчас широко раскрытых глазах полнилось новое выражение.

- Когдя я увидел рядом фашистскую морду, в моем животе что-то произошло. Клянусь честью! Меня буквальным образом стошнило.

- Это от «коросиновки» выдрало тебя, - уточняю я.

- Ой, не напоминай мне, старшой, о ««керосиновке» Бр-р-р... Когда фашистский дракон полз на меня и пускал трассы, я окончательно попрощался с жизнью навсегда. Но ты... ты чудо-молодец! Я же видел своими глазами, как ты его обманул.

- У тебя явно рентгеновские глаза, коль можешь видеть сквозь обшивку кабины...

- Неважно, ты спас мне жизнь. Я этого никогда... никогда...

- Стоп! - говорю. - Не заносись, не люблю. Если не спасать жизнь людей, то и воевать некому будет. Меня беспокоит другое.

- Самолет? Сейчас верну его в нормальное положение.

- Не стоит соблазнять «худых», пусть торчит так до темноты.

- Верно! Я и в темноте отремонтирую, не сомневайся. Как поется в песне? «Грозней всех самолетов - бронированный «ил», но для его ремонта везут сырья вагон, а мне фанерный ящик, и кончен весь ремонт».

- Не о ремонте я думаю, а о том, как бы заморить червячка. Прямо-таки сосет от голодухи. Странная натура у меня: после встрясок всегда почему-то тянет на жратву...

- Это мы сей минут!

- И захвати этой, как ее, керосиновой чуморыловки... Спрыснем наше великое везенье. Такое случается нечасто...

Под высоким кустом краснотала Корж заботливо расстилает моторный чехол - лично для меня, я скрещиваю ноги по-турецки, сламываю ветку, отмахиваюсь от комаров. Передо мной, как на скатерти-самобранке, возникают куски все той же круто копченной колбасы, вареные яйца, привядший зеленый лук. Стаканчики для бритья наполнены мутной жижей.

- Ну, - говорю, - тили-бом-бом? - и выпиваю залпом. Ни зеленый лук, ни яйца, ни колбаса не спасают, я падаю на бок, кашляю до слез, задыхаюсь, а Корж смотрит на мои дерганья, смотрит и тоже начинает дергаться. Конопатое лицо его и шея в грязных потеках бледнеют, пальцы, сжимающие стакан с зельем, мелко дрожат. Он жует губами, мотает головой.

- Что с тобой, Гурич? Пей, не тяни!

Он болезненно кривится, по всему телу его проходит вроде судорога, он выплескивает пойло через плечо и трет руки, словно обжегся.

- Извини, старшой... Не могу, хоть убей! Хочешь верь, хочешь нет: взгляну на стакан и вижу фашистскую морду. И знаешь, у меня опять тут, в верху живота, чтото происходит, клянусь честью! Не буду пить, пропади она пропадом!

- А я наоборот: может, утешимся, Гурич?

- Бутылка - плохой утешитель, - указует Корж поучительно.

Я смеюсь, подзадориваю:

- А я все же выпью для дела. Какого? Решил использовать твой опыт: задать храпака и сочинить во сне гениальные «стихири»...

Корж морщится в натянутой усмешке и смотрит в небо.

- Нешто опять «месса» узрел, Хрисогон Гурич? - продолжаю посмеиваться я, но ему явно не до смеха.

...В сумерках он отлучается к дальнему грейдеру, что курился днем пылью и дымом, приводит с собой солдата артиллериста и пару лошадей. Вытаскиваем самолет на ровное место. Солдат уезжает к себе в батарею, и Корж принимается заклеивать

перкалем дыры в плоскостях. Я сажусь на бугорке подальше от едкой вони эмалита, рисую при лунном свете в блокноте карту района полетов. Рисую по памяти. Но и хорошо, и едва знакомые места настойчиво возвращают меня к себе кадрами минувшего. Пусть они омрачены печальными событиями и переживаниями, все равно я испытываю нечто вроде ностальгии.

Покойная бабка Настя говаривала: «Чарка счастья горька, если пьешь ее в одиночестве». Война ежечасно сиротит тысячи людей, а случай лишь одному из тысячи приносит щедрый дар, просветляющий мрачные будни.

Из вчерашнего дня я унес с собой прозрачную и грустную, как осенняя вода, память о Тоне. А может, неспроста она явилась мне? Кто знает...

...На рассвете взлетаем и часа через два приземляемся в Большой Мартыновке. Да, особая группа здесь. Иду докладывать Майданову, Корж со мной.

- А-а! Явились не запылились... Где вас черти носили?

- Всякое было... По переправам мотались, то-се, искали, а вы аж вот куда!..

- «Месс» прихватил нас вчера, - пояснил Корж.

- Ты, конечно, дыхнул на него - и он отвязался,- заметил Майданов убежденно.

Корж больше не рисковал открывать рта, обиженно выслушал распоряжение заправиться и лететь в Сальск.

- Как наша пострадавшая? - спросил я, стараясь не выказывать острого беспокойства.

- Колокольцева? Хе! Ушла с последней группой на задание как ни в чем не бывало. Она местная, ей и карты все в руки...

- Вот видите, товарищ командир, а вы даже попрощаться нам не разрешили, мол, не навек расстаемся... - сказал я с укором и досадой,

- Правильно. Не навек.

- А я что? Пристегнут к вам навеки? Парашютистов больше нет, зачем я вам нужен? Направьте меня в отдел кадров армии, мне давно пора стрелять!

- Ладно, пока лети, куда приказано, а там посмотрим...

...За восемь дней я переучился на новую матчасть, летаю на штурмовике Ил-2. Наступила победная зима 1943 года, мы в непрерывном движении на Запад, и я не знаю, где особая группа Майданова, не знаю, вернулась ли Тоня из вражеского тыла, не знаю... Я многого не знаю, кроме того, что она жива. Это не самообман, нет - это уверенность: жива Тоня!

Когда человек умирает, близкое ему сердце обязательно уронит невидимые капли крови. И ни черному буйству войны, ни

отупляющим страданиям не заглушить их жертвенный звон.

Этот скорбный сигнал в моем сердце не прозвучал.

ВЕЧНАЯ ВСПЫШКА

Странно... А может быть, и не странно, что случайные события, внезапные стечения обстоятельств, встречи ни путях-перепутьях войны столь глубоко и круто переиначивали мою жизнь: порой корежили так, что кости трещали, но бывало, и одухотворяли. Причем вовсе не обязательно, чтоб события были масштабными, а встречные люди - знаменитыми. В судьбе моей, в моем становлении как человека и солдата существенную роль сыграл Кирилл Иванчин: не выдающийся полководец, не звезда науки, не популярный общественный деятель, да и по чину невелика шишка - всего-навсего сержант. Но именно он, его жизненный путь, стремительный, как вспышка зарницы, обдавшая неожиданным светом черные тучи лихолетья, сняли слепоту с моих глаз, и я, терзаемый раскаянием, понял, что даже искренние заблуждения бывают больнее тяжелых ран.

...В октябре 1942 года фашистские бомберы совершили "звездный" налет на Старые промыслы возле Грозного. Стойкий ветер с Каспия погнал густой едкий дым в долину, где базировалась авиация. Черная копоть жирными хлопьями осела на самолеты, строения, деревья. Мы ходили ощупью по смрадной гари аэродрома, но больше лежали в землянках ночами и днями и при каганце и мучились головной болью. Окажись среди нас, чумазых, самый черный негр, его бы сочли альбиносом. Какие уж полеты на задания, ежели ни зги не видать!

А в это время мой комэска Максим Щиробать пригнал из тыла отремонтированный самолет. Летного опыта ему не занимать, точку базирования как-то нашел, но попробуй уловить землю во тьме-тьмущей! Остается одно: посадить на запасной аэродром, а где его взять? Запасные тоже закрыты, возвращаться же - топлива в баке на донышке.

Щиробать - парубок хоть куда, бедовый, из казаков кубанских. Завзятый был вояка, в бою врагам зад не показывал и за словом в карман не лез: успевал меж атаками отмачивать такое, что радисты, бывало, на переднем крае гоготали до рези в животе. Но здесь, на собственном аэродроме... "Пришлось, как татю, в теми кромешной пробираться". В результате умопомрачительной посадки повреждено шасси, расквашен нос и выбит зуб. Спустился Максим с самолета, отер подшлемником кровь на подбородке, мрачно прошепелявил: "Выплюнув с зубами воск, Икар сказал смежая веки: "Я вижу, в этом роде войск порядку не бывать вовеки..."

"Порядок" наступил, когда ветер подул с Кубани и немцы

поперли на Орджоникидзе. Орджоникидзе - ключ к местности, далее на юг - Терское ущелье, а там, за Крестовым перевалом, Грузия, оперативный простор, нефть Баку, Иран, Индия и прочая и прочая... Щиробать, правда, утверждал, что Индия ни при чем, дескать, старый хрыч генерал Клейст сунул в Эльхотовские ворота 24-ю танковую, 2-ю горнострелковую румынскую дивизию, да еще четыре отдельных батальона, да плюс знаменитый полк "Бранденбург" потому лишь, что пронюхал о прославленных алагирских грушах, вкуснее которых в мире нет... Ужасно захотелось отведать их. Не только груши, прекрасна - глаз не оторвешь - земля вдоль Терека и Сунжи. Прекрасна для туристов, разумеется. А когда склоны гор усеяны частоколом зенитных стволов, когда узкие ущелья, где не то что самолету-воробью развернуться трудно, кишат вражескими ватагами, а сверху тебя давят громады облаков и подкарауливают асы "Мельдерса", тут не до любования красотами природы. Над этими "Эльхотовскими воротами" самый раз приколотить вывеску с Дантова ада: "Оставь надежду всяк сюда входящий".

Над целью поистине кромешный ад, немцы прикрывают свои "панцерны" так, что мрачные тучи над головой, кажется, пятнаются брызгами крови...

Сегодня с утра мы поливаем танки из ВАПов. Что такое ВАП, спрашиваете? Выливной авиационный прибор, как мрачно шутят летчики, "Верный аминь пилотам", то бишь нам. Судите сами. Под крыльями на замках подвешивают нечто громоздкое, похожее на трехметровые отрезки толстых канализационных труб. Спереди- заглушка, сзади- открываемая нажатием кнопки крышка, ни дна бы ей, ни покрышки вместе с тем, кто выдумал такое чудовище. Ежели бы, скажем, подвязали под крыльями по взрослому слону, думаю, аэродинамические качества самолета были бы гораздо выше...

Сии трубы заполняются белым фосфором с водой, после чего системы поднимаются в воздух и берут курс на вражеские танки. О противозенитном маневре забудь, воздушный бой и в мыслях не держи. Кумулятивные противотанковые бомбы появились у нас примерно полгода спустя, как и зажигательные ампулы КС, потому и летали с этими колодами, этими чурбанами, моля бога, чтобы помог как-нибудь удержать самолет в горизонтальном положении. А куда денешься?

Двигатель - на максимале, высота на глазок эдак метров пятнадцать, больше - ни ни! Строжайше запрещено. Превысишь - фосфор не долетит до земли, сгорит в воздухе, "панцернам" не придется даже отряхиваться. Итог-само собой разумеющийся: с тебя - стружку, тебе - выговор и повторный вылет на ту же цель в

наказание за неэффективный удар.

Зато по нас ударят весьма эффективно, при том отнюдь не алагирскими прославленными грушами... И то сказать, лишь отпетый лентяй не бабахнет по цели, которая цепляет его за голову.

Сегодня не повезло первому Косте Агурееву, снаряд попал в правый ВАП. Вода моментально вытекла, повалил густой белый дым - фосфор стал гореть в приборе. Тут уж раздумывать не приходится, избавляйся от ВАПов. Костя сделал все, как нужно для аварийного сброса, но система не сработала, одна труба зависла торчмя, как телеграфный столб, задела за землю и... нет Кости.

В следующем вылете, когда мы опять шастали у самой земли, шальным снарядом, а их бесновалось в воздухе тьма-темь, срезало лопасть винта у Николая Спорина. Лопасть молнией фыркнула над моей головой и угодила в кабину летевшего позади Степана Гаркуши. И Николай и Степан на базу не вернулись.

К концу месяца мы потеряли треть состава части, а незадолго до Октябрьских праздников, словно по каким-то дьявольским проискам то ли злобному колдовству в угоду немцам, взрываются в воздухе, сгорают, врезаются в землю еще пять человек. Неделя - и половины полка как не бывало.

Приковыляли мы вечером в столовку смурые, сели ужинать, а в горло ничего не лезет. Все-то грамотные, быстренько прикинули каждый про себя: еще неделя такой войны - и от нас нуль останется, уйдем вслед за нашими друзьями боевыми. А ведь еще вчера мы спали рядом, вместе обедали. Сегодня столы без людей и нары пустые, лишь кое-где чернеют обрубками свернутые тощие матрацы...

Ковыряемся нехотя в тарелках, молчим. В это время появляется командир полка.

- Вот что, Максим, - говорит комэска Щиробатю,- сейчас звонили из дивизии, завтра перегонщики доставят нам шесть самолетов. Естественно, от нас потребуют интенсивной боевой работы, а летать некому. Надо вводить в строй молодое пополнение.

- Есть. Своих проверю в течение завтрашнего дня, - заверил Максим, вставая и застегивая ворот гимнастерки.

Пополнение, о котором заговорил комполка, прибыло недели три тому назад из Актюбинского авиаучилища - несколько сержантов, которых на фронте прозвали насмешливо "скороспелками". Их распределили по эскадрильям и на том закончили. Не до возни с ними, когда война с рассвета дотемна. Уничтожение танков Клейста не терпело отлагательств, а

сержанты подождут.

Когда их распределяли по эскадрильям, в мое звено попал тот самый Кирилл Иванчин, о котором я упоминал выше. К этому времени мне довелось уже навоеваться по горло, почувствовать разные тонкости, так сказать, "змеиной мудрости войны". И сам убивал врагов, и меня сбивали - в общем, имел смелость относить себя ничтоже сумнящеся к тем образцам летчиков, которых создал в собственном воображении. Для копирования живых примеров хватало: кому не хотелось быть таким, как Чкалов, Громов, Серов или Грицевец? Кроме блестящих летных мастеров, они были и настоящими мужчинами, есть на кого посмотреть - богатыри! А увидали бы вы этого Кирилла из пополнения, которого подсунули мне! Боже ж ты мой, и где такого выкопали! Рост - два вершка от горшка, плечи скошенные, как у некоторых девиц, и вообще, как ни крути его - заморыш, глядеть тошно. Может ли в таком теле быть здоровый дух? Идет - едва ногами переступает, вид - точно выдержал сейчас бой с эскадрильей "мессершмиттов", и почему-то все время озирается через плечо то вправо, то влево, Я подумал было - тренируется, отрабатывает осмотрительность: не зря же им вдалбливали инструкторы, что голова летчика должна вращаться на триста шестьдесят. градусов! Но все равно мало радости иметь такого подчиненного, это лишь воришки оглядываются ежесекундно, опасаясь, что их схватят и крепко накостыляют по шее.

Выходим как-то из столовки, Кирилл вдруг - бряк! - растянулся на ровном месте во весь свой ничтожный рост, запахал носом, и лежит, не вскакивает, не отряхивается, только повернул голову и смотрит на меня снизу виновато и растерянно.

-Тьфу, размазня! - шумнул я на него. - Ты что, спишь на ходу? Разлегся, как кот на печи... - Кирилл встает, счищает пыль с локтей, колен, поеживается.

- Разве таким должен быть настоящий воздушный боец? - продолжаю воспитывать его. Летчик обязан вертеться юлой, мгновенно схватывать все, слышать, видеть, думать и действовать одновременно, а ты? Вялый верблюд - вот ты кто, тебя на первом же вылете срежут, разиню! Как вообще пропустили тебя в авиацию? Небось учился на колы, а таких в вузы не берут, известное дело... Вот и лезут туда, где мундиры с золотыми пуговицами, хе-хе! Да только ошибочка, видишь ли, мундиры у нас - во! - показываю на свои, замызганные шаровары, заправленные в кирзачи с голенищами на ногу гиппопотама...

- Не-е-е... - робко, с запинкой протянул Кирилл. - Я ничего учился, у меня золотая каемка...

- Чего-чего? - щурюсь я недоверчиво, подозревая, что этот

чудик разыгрывает меня. Но нет, раскрывает планшет, достает что-то завернутое в измятую газету, разворачивает, протягивает мне. - Гм... Чудеса в решете... Аттестат круглого отличника, окантованный золотой полоской. Ну и ну!

Казалось бы, радуйся: толковый парень попался, а мне не по себе, меня что-то неприятно задевает. Спускаемся под землю на КП, в двери останавливаюсь, хмыкаю про себя в предвкушении задуманного развлечения.

- Эх вы, живете здесь, в подполье, "как черви слепые живут, ни сказок о вас не расскажут, ни песен о вас не споют...".

- Заткнись, эстет, со своими стишками!

- Да это вовсе не его...

- Духовно пассивные субъекты, - продолжаю я. - Вас совершенно не интересует, кто находится среди нас.

- Если ты о себе, то мы предпочитаем оставаться духовно пассивными...

- Невежды! Речь идет о выдающемся явлении. Каком? Вот, познакомьтесь. - протягиваю аттестат.

Вначале рассматривают внимательно, серьезно, затем Максим, сам не промах насчет розыгрышей, принимается за Кирилла по-своему. С величайшим изумлением на лице восклицает;

- Впервые, станишники, вижу такое! Я ведь тоже некогда ходил в школу, и мы очень даже лихо учились, а вот таких каемок никогда и в глаза не видел...

- Уму непостижимо! - подхватывают другие.

- Как ты умудрился целую десятилетку закончить?

- Слышь, признайся по совести, кто тебе сварганил эту бумагу?

- Я получил ее в Ильинском возле Кущевки, честное слово, - залопотал Кирилл.

- А-а-а, знаменитое место. Это у вас там речка Буза имеется, которая ниоткуда не вытекает и никуда не впадает, - качает головой Максим, знаток тех мест.

-Речка не Буза называется, а Эльбуза, - поправляет Кирилл, вытирая рукавом взмокший лоб. - Эльбуза действительно загадка - сколько ни старались, никто так и не нашел, откуда она берется и куда девается.

- Видать, твой папаша хуторская шишка, а? Признайся, как он выцарапал тебе золотую каемку?

- Не-е-е... Мой папаша давно умер. Вот мама - работает в колхозе. А еще у меня есть брат Коля, меньшой. И сестра Аня, сестра Вера, сестра Дуня, сестра...

- Ух ты!

- ...сестра Галя и сестра Маня.

- Вот это выводок! - смеются кругом, хлопают Кирилла по спине. - Ну и как они, твои Ани-Мани, на тебя похожи?

- Не-е-е... Я один такой, потому что в бесхлебный год родился, все с голоду в кулак трубили, откуда ж мне на рост сил было брать?

- Зачем же ты, такой дюже образованный, полез туда, где убивают? Подался бы в академию, там поспокойней, - продолжал подтрунивать я.

А Кирилл - простодушно:

- Я мог бы, да только не хотел. Помню, еще пацаном как увижу самолет, так меня к нему. и тянет, и тянет...

- Угу, - говорю, - тянет...

- Не верите? Однажды осенью были маневры возле нашей деревни и за огородами приземлился связной У-2. Я впервые увидел самолет так близко, целый день ходил возле него, хоть бы потрогать рукой, а не насмелился. Только под вечер дошло, что надо сделать: сунул в мешок пять кроликов - больше у меня ничего не было, и поднес к самолету. Говорю: "Дяденька летчик, прокатите меня чуток, а я вам за это - вот кроликов, они породистые, шиншилла!" А он как крикнет: "Брысь, чертова пацанва! Покоя от вас нет, шастаете под ногами. Уши надеру!" "Понятно, - подумал я. - Пять шиншилл, конечно, маловато". Побежал, призанял еще столько ангорской породы у дружка Паши. "Вот вам, - говорю, - дяденька, десять... Вы только поднимете меня в воздух, туда... А назад я как нибудь сам..." Тут он меня как треснет по затылку - сразу на земле оказался я... Года на три отбил охоту в небо соваться. А потом опять на меня нашло.

Максим усмехнулся, как, впрочем, и остальные, по-доброму. Было в бесхитростном рассказе Кирилла близкое всем нам и всеми пережитое. Кого с детства не тянуло в небо? Доброжелательный интерес придал Кириллу смелости, и он продолжал погудку:

- После десятилетки мои одноклассники договорились всем скопом податься в аэроклуб, и я с ними увязался. Смеялись они надо мной, а оказалось? Никто по здоровью не прошел, а я - здесь, я - вот он, по всем статьям! - выпятил Кирилл свою воробьиную грудь. Зрелище настолько нелепое, что даже "козлятники" прекратили грохать костями, уставились на него вопросительно. Меня задело не так его бахвальство, как сочувствие присутствующих.

- Еще бы! - сказал я насмешливо, подливая масла в огонь. - Медкомиссию не проведешь, сразу дотумкала, с кем имеет дело: на кубанских галушках-пампушках вырос лыцарь...

- Ну, это не обязательно... - подал реплику кто-то.- Богатыри не от харчей добротных появляются; бывает, и тюря вскармливает настоящего витязя.

С этого случая и началась повседневная потеха. Полк, а вернее, то, что осталось от гвардейского полка, разделилось на два лагеря: один якобы выступал за Кирилла, другой якобы - против, а в итоге влетало самому Кириллу, как всякому козлу отпущения. Ведь еще покойный Дон Жуан сказал: "Не страшен открытый удар врага, страшна коварная защита друга". На КП не скучали, ходячий анекдот всегда был под рукой. Все, кому хотелось, потешались над ним, разыгрывали. Но ведь и летчиков можно понять: скребет когтями у всех на душе, гибнут товарищи, как мухи, а тут отвлечься можно на минуту, пары спустить, как говорится... К тому же объект безгласный: буркнет что-то в ответ нечленораздельное и помалкивает.

Эта его безответность и претила мне, и возмущала больше всего, "Да будь же ты мужиком! - хотелось крикнуть ому. - Отбрей хоть одного, чтоб другие рты не размыкали! Эх, пентюх, курица мокрая!.."

...Приказав вводить в строй молодое пополнение, командир полка ушел. Через минуту заходит комиссар. Посмотрел на наши постные физиономии, подумал чуть и говорит:

- Все летчики марш на танцы!

- 0-ох, только танцев нам и не хватает... Веселье под аккомпанемент мясорубки... Но армия есть армия, а тем более - фронт. Приказы но обсуждаются.

Встаем, отправляемся на танцы.

Неподалеку вместительный склад авиабомб. Часть из них мы высыпали на "панцерны" Клейста, и в сарае появилось свободное место. Зажгли коптилку из снаряднойгильзыи в приятном соседстве с разнокалиберными бомбами приступили к исполнению танцевальной программы. Один из технарей - способный малый- так шибко наяривал на баяне фокстроты и разные румбы, что звон стоял в ушах. Самое время для нашего брата удрать под шумок в общежитие, но комиссар тут как тут. Явились мы в чем летали: меховые штаны, куртки, стоим шуруем по земле подошвами озорства ради. Пыль столбом, свет коптилки померк, и дышать стало нечем. Разумеется, под рукой были и дамы - иначе, что за бал? Несколько полковых оружейниц, что чистили и заряжали пушки-пулеметы, подвешивали бомбы, две-три официантки БАО, симпатичная медсестра Дуся. Ничего девушки, но куда им до чернобровой Клавочки- синоптички. Всем взяла чертовка: и лицом, и статью, и ножками точеными, и всем прикладом... По утрам на КП читала нам метеокарты, прогноз

погоды на день. Врала, как водится, но какая красотка не врет? А мы считали ее - первой в гарнизоне. Любой готов был приударить за ней, но она держалась ужасно гордо и признавала, как ходили слухи, исключительно чистую любовь и гармонию каких-то духовных голосов. Кто рискнет пригласить такую на танец, не оказавшись в дураках? Один лишь Максим, конечно, первый парень в полку. Он не только воевать был сердит, но и отплясывать мастак. Я сам не раз удивлялся выкрутасам, которые выделывали его жилистые ноги.

Сделал он с Клавочкой круг, другой, но тут она раскашлялась, зачихала, наглотавшись пыли вдосталь, что-то сказала Максиму и стала в сторонке отдышаться.Там, подстенкой, лежала бомба, немала и невелика, так с полтонны.

Клавочка присела на нее, вынула платочек и взялась наводить марафет, вытирать пыль с лица. На стабилизаторе этой бомбы оказался Кирилл, пришел, конечно, по приказу комиссара, иначе чего ему здесь сидеть? Сказать, что он танцевал, как корова на льду, значит нанести оскорбление корове. Чего уж говорить о затейливых антраша или мудреных пируэтах - этот телепень вообще не умел шевельнуть рукой-ногой. И это называется летчик, у кого координация движений, как правило, доведена до совершенства, который владеет своим телом не хуже балерины.

Клавочка подвинулась к нему и что-то сказала, должно быть пожаловалась на ужасную пыль. Невиннолицый Кирилл ответил несмело и отвернулся. Известно -овечий характер. Клавочка опять обратилась к нему, заговорила. Мы стояли у выхода, Максим скрутил "козью ногу" длиной с локоть, дымил махрой. Я возьми и брякни:

- Вы только поглядите, как наш Кирилл женихается, охмуривает плутовку Клавочку? А она-то, а? Кокетничает с ним напропалую.

Максим шутя насупился, погрозил им пальцем. Батюшки, что тут поднялось! По бомбе словно электроток пустили, Кирилла подбросило, на Клавочку глазами хлоп, на Максима хлоп, два пальца за ремень по-солдатски, расправил складки на куцей шинельке и "строевым" - на выход!

"Тьфу! Ну что за ничтожный человечишка! Чего вытягивается перед начальством, чего лязгает зубами? Мы же отдыхаем, веселимся по приказу, на кой черт нужно кому твое козыряние? Нет, что-то здесь не так - видать, неспроста выделывает он разные фигли-мигли, простачком, скромником прикидывается, однако себе на уме. Шалишь, меня на мякине не проведешь..."

Не успевает он протиснуться сквозь кучу танцующих, как

вдруг вдогон бросается Клавочка, хватает за руку, говорит ему в лицо что-то резкое, злое и, как бы припечатывая сказанное, топает требовательно ногой. В глазах ее черный огонь, полные губы плотно сжаты. Кирилл смотрит на нее растерянно, топчется на месте. Вдруг она опускает расслабленно плечи, приклоняется к нему и, слегка подталкивая, заставляет шагать под музыку. И Кирилл шагает! Ноги его, точно тряпичные, заплетаются, цепляются бестолково одна за другую, со стороны кажется - он умышленно топчет сапожки партнерши, а она, непонятно почему, терпит. В глазах у него отчаянье, лицо пунцовое, он похож на бычка, которого гонят на бойню. Умора, и только! Мы с интересом наблюдаем за происходящим. Парочка, гусь и гагарочка, добирается кое-как до выхода. Тут Клавочка отстраняется от Кирилла, щелкает вызывающе каблучками. В зрачках ее мстительные искорки. Вытягивается так, что грудь взлетает до подбородка, и с откровенной издевкой козыряет:

- Товарищ командир эскадрильи, разрешите вашему подчиненному отлучиться со мной по естественным надобностям!

У Максима "козья нога" выпаливается изо рта, а Клавочка под руку с обалдевшим Кириллом гордо шествует к двери. На пороге останавливается, кривит пренебрежительно губы и тоже грозит Максиму пальцем, как он ей минуту назад, только, как мне кажется, не шутя...

Мы смотрим вслед паре, какая муха укусила Клавочку? Не иначе - красотка свихнулась.

Наш первый утренний вылет оказался удачным: никого не убили, не ранили, только самолеты пощелкивали осколками, а "ил" Максима подсекли основательно.

Пока латают пробоины, комэска использует свободное время, берет двухместный "уил" и зовет Кирилла на проверку в воздухе - приказ комполка надо выполнять.

После двух полетов по кругу Максим вылезает из кабины, машет рукой: "Давай сам!" Кирилл выруливает на взлетную. Я выхожу из КП, стою, сунув важно руки в карманы, наблюдаю, как будет летать мой новый пилот. Он тем временем закончил "коробочку", но на посадку заходить не торопится. Прохлопал, конечно, рохля, придется идти на второй круг. Однако почему-то газ не дает, продолжает планировать.Ухты! Чокнулся он, что ли? Угол заложил, как на крутом пикировании. А-а... Вот в чем дело! Это деятель решил удивить нас, стариков, "вороньей посадкой". Ну-ну! Такое умеют лишь опытнейшие летчики и то делают, когда заставляет нужда. А здесь какая нужда? Посадочная площадка не ограничена, приземляйся нормально,не мудри. Кирилл несется уже над полем, вдруг вместо "вороньей посадки" ка-ак долбанет

колесами в землю! Мать моя мамочка! Не просто "козла", а козлища двухметроворостого отколол негодник, а за козлищем еще, еще и еще... Штук шесть, отодрал! Я за голову схватился; "козел" -простейшая ошибка, ее любой курсант авиаучилища умеет исправлять, иначе его не пустят в воздух. А этот что? Вот когда мне стало все ясно: этот жучок умышленно прикидывается никудышным летчиком, показывает, что у него слабая техника пилотирования, знает: такого беспомощного в бой но пошлют, будут тренировать до упаду. Хитро-о-о... Значит, нас будут ежедневно убивать по нескольку человек: а этот околачиваться на аэродроме в ожидании более спокойных времен? Ну, черта с два! Я тебе покажу как колбасить, пройда, ты у меня не сажать, ты притирать будешь машину в сантиметре от посадочною знака! А попробуешь, я сам тебя к земле притру!.." Разозлился донельзя. Кричу Максиму:

- Товарищ комэска, дайте лично мне этого грамотея, я с ним слетаю!

Максим кивает согласно, но тут взвивается ракета; срочный вылет по готовности. Мой самолет готов, "инспекторские" проверки побоку, лети!

Возвращаюсь, спрашиваю Максима, что будем делать с "козлодером". Максим пожимает плечом.

- Знаешь, я слетал с ним еще раз и скажу тебе - претензий к нему у меня нет. Видать, просто переволновался, бывает. Сам знаешь, когда долго ждешь чего-то, ум за разум заходит, теряешь моментами над собой контроль.

- Как бы не так! Я раскусил его, тот еще типчик!

- Не говори, бывает, и дикое яблоко может прославиться, ежели попадет в руки Адама или Ньютона... А Иванчин у нас на глазах, чуть что - за ушко да на солнышко. В общем, я включил его в боевой расчет. Летим восьмеркой, ты - "нянькой".

Что ж, быть "нянькой" - моя, командира звена, обязанность. В свое время и меня опекали на первых порах - обычное дело. Новому человеку трудно с ходу ориентироваться в сложной обстановке на земле и в небе в районе боевых действий, знакомом лишь теоретически. Что бывалый вояка уловит с полуслова, этому нужно втолковывать и зорко следить, чтоб не оторвался от строя, разумно маневрировал в зоне зенитного огня, а в случае атаки вражеских истребителей прикрыть его, отсечь противника. В кутерьме воздушного боя, когда не различаешь, где небо, где земля, немудрено отстать от группы, а тем паче - заблудиться в горах. Не доведешь домой - пропадет. Все летчики проходят через это, один быстрее осваивается, схватывает суть дела, другой прокорпит не один месяц, ежели, конечно, чудом

уцелеет...

Объясняя подробно Кириллу, что и как делать на боевом рубеже, умышленно нагромождаю всяческих страстей-мордастей, хочу допечь его, хочу увидеть, как он замандражит. Если он такой, каким я его считаю, шакальи повадки проявятся обязательно. Однако ничего похожего не замечаю. Подопечный в меру напряжен, сосредоточен, смотрит мне в глаза с доверием и надеждой. Как и должно. В заключение изрекаю, как заклинание:

- На подходе к цели увидишь рыжие клубы дыма - это так встречают крупные зенитные калибры. Старайся нырнуть в рыжий шар, другой снаряд в том месте не разорвется. Как человеку ученому, тебе известно это по теории вероятности... И еще запомни: если тебя подсекут "мессы", беда на моей совести, но я ее не допущу. А ежели окажешься поживой зениток, я, извини, ни при чем.

В семнадцать часов взлетаем восьмеркой, я - замыкающий, слева от меня - Кирилл. У нас по шесть стокилограммовых бомб, по восемь реактивных снарядов и полный запас для двух пушек и стольких же пулеметов.

День тусклый, серый, землю покрывает дымка, видимость неважнецкая. На высоте полутора километров сплошные облака, естественно, пристреляны немецкими зенитчиками с точностью до сантиметра. К ним не липни! Летим ниже, я сегодня - третий раз, Кирилл - впервые. С востока нас догоняют вечерние сумерки, навстречу нам выдвигается... Нет, лучше не думать, что несет в себе бледный свет, мерцающий на западе. Зашевелилось клейстовское сборище, как заметило восьмерку "горбатых", не нравится наша утюжка...

Вряд ли найдется человек, не видавший, как кипит в котле гречневая каша, как бурлит, клокочет серая масса, исходя белыми пузырями пара. Вот таким точно мы видим небо перед собой от нуля до полутора километров. Оно шевелится, взбаламученное огненными кляксами взрывов, серая мешанина облаков вспухает и лопается, воздух густеет от смерча тянущихся с земли пурпурпых бус, пучков буйствующих молний. Они уже достигают нас, зловонные вихри тротила врываются в кабину, сжимают сердце. Близкие разрывы встряхивают самолет - это дышит смерть. Нет ни прогала, ни прорешки, мы пробиваемся в содоме, маневрируем - каскадеры позавидуют, и втыкаемся в главную стену заградительного огня. Пробиться сквозь нее - родиться заново.

Посматриваю в форточку на Кирилла - мотается, как пробка на штормовой волне, шурует ногами-руками, но отстает.

"Ну-ну, шуруй!.."

Вот близко от него возникает рыжий дымовой шар, о котором я предупреждал на земле: взрыв крупнокалиберного. Кирилл - вжик! - в него. Рядом взрывается еще один - Кирилл как был на том месте, третий... четвертый... Я усмехнулся: "Ишь, жить охота, зашевелился... Не спит".

На то чтоб следить за действиями "чадочки", "няньке" отпущено десять секунд в минуту, остальное время взгляд рыскает по небу, чтоб не упустить, не дай бог, появления "мессеров". Пока не видно. Но "месс" не невеста, чтоб выставлять себя напоказ, поздно будет, когда хватит за ляжку, как затаившийся в подворотне пес. Я в строю последний, а кто последний, того бьют первым.

По радио голос Максима:

- Внимание, станишники! Атака гвардейская: коли пьем - не проливаем, когда бьем - так попадаем! Ну, пронеси, господи...

"Скажи, какой богомольный стал!" - хмыкаю мимолетно.

Максим с ухватистым вывертом устремляется на цель, за ним - ведомые. Я маневрирую в хвосте, жду своей очереди. Вдруг глядь - под самолетом Кирилла -- яркая вспышка, и тут же белой струей дым.

"Вот и все... Как я предполагал, так и случилось: этот никчемный вояка, не сбросивший ни одной бомбы по врагу, не пустивший эрэса, не выстреливший ни разу, сбит. Горит и, очевидно, ранен".

Подскальзываю мигом к его крылу, смотрю на него, он - на меня. Радиопередатчика у Кирилла нет, он только слышит меня.

- Ты ранен? - спрашиваю. Мотает отрицательно головой. - Так чего чикаешься? Выбрасывайся на парашюте, ты же горишь! Сейчас взорвешься! - А он поднимает левую руку и машет вверх-вниз, - Чего машешь? - ору. - Я ничего не понимаю.

- Он опять машет. Под его фюзеляжем не дым уже, а пламя к хвосту тянется, и тут смотрю - Кирилл сваливает самолет в пикирование и пошел...

Я пикирую рядом, мне теперь не до чадочки, у меня две пушки, два пулемета, восемь ракет. Мои пальцы бегают по гашеткам, кнопкам, я готовлюсь к бомбометанию. Во имя чего я сюда прилетел? Для меня сейчас не существуют ни ошеломляющий огонь зениток, ни затаившиеся где-то истребители: я делаю, что мне положено, что делал много раз, Я занят но горло, но у меня многомесячный опыт, и я краем глаза успеваю следить одновременно за Кириллом. Из-под крыльев его "ила" вырываются огнехвостные эрэсы, на дульных срезах оружия мельтешит пламя, от пулеметов тянутся пунктиры трасс - воюет парень, оказывается... И тут впервые он мне понравился.

Правильно сделал, не оставив самолет на большой высоте: пока будет болтаться на парашюте, его прошьют из пулеметов. Правильней выброситься метрах в шестистах от земли, парашют успеет раскрыться, но немцы вряд ли будут тогда стрелять в него. Мы сами их стегаем огнем, загнали в норы, к тому ж ветер с запада, есть шанс приземлиться у своих.

Об этих секундах я рассказываю длинно, а там, в бешеном небе, миг - и обстановка схвачена, уточнена, оценена. "Молодец,- думаю,-соображает". Голова Кирилла приникла к "намордннку" прицела, шлейф пламени тянется уже за хвост, а из стволов не прекращается пульсирующий поток огня.

Самолеты пожирают высоту, Максим выходит из атаки. Кричу Кириллу:

- Выбрасывайся! - Но он продолжает стрелять. - Прыгай же! - ору еще громче. Нет, пикирование не прекращает. - Ты что, не слышишь, такой-сякой? Прыгай немедленно! - ругаюсь я, холодея. Что он делает? Неужели не видит землю? - Кирилл, прыгай, поздно будет! - И опять молчок. Только пушки по-прежнему грохочут, я вижу желтое мерцанье.

И тут он на миг взглянул в мою сторону. Я не видел его глаз, но лицо не было искажено отчаяньем, нет. То, что он делал, делал сознательно, сердцем, разумом, силой и страстью.

Остается четыреста метров... триста... двести... все! Бомбить нельзя, я взорвусь на собственных бомбах, но я уже в неуправляемом азарте, я с яростью рву рычаг аварийного сброса бомб.

А Кирилл стреляет. Весь самолет объят пламенем. Жизнь проиграна, только дух живет и выигрывает бой. Огромный ослепительный сноп огня, разодранного бесформенными клочьями, вздыбленного и закрывшего весь свет, остается в моих глазах навсегда.

От мощного взрыва бомб меня швырнуло вверх на полсотни метров, осколки хлестко пропороли самолет - и в груди моей словно что-то оборвалось. Я привел изрешеченный самолет на аэродром, бросил на стоянке и не пошел на КП докладывать. Не смог. Впервые в жизни попросил у товарищей горсть махры, сел на бугре, поросшем бурьяном, и закурил. Было холодно, темно вокруг и мерзко на душе. С неба сыпалась осенняя крупка, но я не замечал, сидел и творил над собой трибунал, судил себя без свидетелей, без заседателей прадедовским самосудом. Я обвинял себя голосом беспощадного прокурора: "Ты лихой ас, кичащийся своей храбростью и так далее, а хватило бы у тебя мужества, воли, твердости духа совершить то, что сделал этот мальчишка, которого ты не ставил ни во что, презирал как бойца и

подозревал даже в уклонении от воинского долга?"

И признаюсь теперь откровенно: я не ответил тогда себе на этот извечный вопрос фронтовиков: "Что ты можешь?" Война придирчива, заставила всех нас отвечать на этот вопрос, но там, на холодном бугре в одиночестве, я всю ночь стыл в растерянности сам не свой. Много случилось на моих глазах смертей, много погибло друзей-товарищей, и сам я провел на той стороне трое суток, но только в нынешний день открылось во всем страшном величии, на какую высоту может вознестись человеческий дух. Закрою глаза - и вижу снова клокочущее пламя, озаряющее великую простоту и тайну самопожертвования.

В часы беспощадного суда над собой я придирчиво, промытыми горем глазами вглядывался в собственную короткую жизнь, начиная с истоков, с первых сознательных шагов и кончая нынешним трагическим днем. И должен прямо сказать: ничего лестного для себя не выудил. Беспристрастный вердикт был вынесен по заслугам; в людях не разбираюсь, оцениваю их по внешним признакам, разделяю на выдуманные сорта, и самое худшее - не отличаю, где честность, а где честная ложь, потому и принимаю исполнительность и скромность за безволие и трусость.

На этом и закончился мой архаический, если так можно выразиться, отрезок жизни, он оказался пустой бутылкой, приготовленной для дорогого вина. Тем лучше, что разбилась она ненаполненная...

Как командир звена, я обязан собрать личные вещи погибшего подчиненного, написать рапорт и передать все в штаб полка для пересылки родителям или родственникам. У Кирилла никаких вещей не было. Ровным счетом никаких. Все его имущество состояло из запасного целлулоидного подворотничка для гимнастерки - такими пользовался наш брат вместо хлопчатобумажных, требовавших ежедневной стирки. Подворотничок хранился в летном планшете вместе с золотой каемкой и с ней же погиб. В КП на вешалке осталась невзрачная шинелька цвета хаки и в кармане ее - записная книжка. Вперемежку с навигационными схемами, аэродинамическими формулами, режимами двигателя были вкраплены короткие заметки. Вот несколько из них:

"Наконец мечта моя сбылась, я прибыл на фронт в знаменитый гвардейский полк. Вот где настоящие люди! Живу среди них и опасаюсь одного: кажется, я никогда не достигну боевого мастерства и доблести, какими обладают они. Это терзает мою душу, но я дал себе слово: умру, но в грязь лицом не ударю. Мой командир звена - летчик, каких поискать, но летать с

ним стремятся не очень, говорят, лезет сломя голову в самое пекло, где и комару не выжить. А я бы с ним... Лишь бы взял меня с собой. Но увы! На боевые задания нас, молодых, пока не берут, небось жалеют. А зачем нас жалеть, когда старшие опытные бойцы гибнут каждый день? Бои страшно тяжелые, оттого и на сердце всем тяжело. Между вылетами людям нужно отвести душу, хоть чуть-чуть расслабиться, отвлечься от пережитого в бою. Надо мной часто подшучивают, разыгрывают, но мне это не обидно, я сам подыгрываю шутникам, чтоб настроение стало у всех бодрее, пусть хоть этим помогу, если больше нечем..."

Вот вам недотепа, вялый, туповатый Кирюха...

Утром, как всегда, Клавочка- синоптик прочитала карту погоды и, удаляясь, тронула меня мимоходом за плечо. Что ей нужно от меня? Выхожу из КП. Клавочка стоит, поджидает. Останавливаюсь.

- Извините, у меня к вам дело...

- Пожалуйста.

Она медлит, то ли раздумывает, то ли колеблется, затем роняет тихо:

- Я хочу поговорить с вами о Кирилле.

- Нет! - вырываегся у меня резко и жестко. Излишне жестко. Но свою интонацию я вспоминаю потом. Вспоминаю и сожалею, зачем еще одному человеку сделал больно?

Клавочка задумчиво вздыхает, молчит секунду-другую и внезапно в смятении с мольбой восклицает:

- Отдайте мне записную книжку Кирилла! Зачем она вам? Отдайте! Пожалуйста!

- А вам зачем?

Клавочка опускает голову, смотрит в землю,

...Говорят, высокомерие и предубеждение - два черных крыла человеческой души. Огненная вспышка на окраине Гизели сожгли мои черные крылья навсегда.

Записную книжку Кирилла я отдал Клавочке, а мне осталась, как памятный знак, ослепительное бурлящее пламя с черными комьями, черными клочьями - оно всегда в моих глазах. Я вижу его, засыпая, я вижу его, пробуждаясь. Десятки лет оно не гаснет, не тускнеет, И я твердо знаю: не будет меня, а оно останется - этот памятный, неистребимый след войны, выстраданной нами.

НАДЯ-СТАЛИНГРАДКА И ЕЕ ОТЦЫ

Мы - штопальщики. Возникнет на фронте дыра, нас - туда. Выкладывайся, гвардия, заделывай прорехи! И выкладывались, и штопали, и заделывали так, что к октябрю полк совсем обезлюдел. Отвели на переформирование за Волгу, посадили среди степи ковыльной и повезли на полуторках в Ахтубу отмывать в бане.

Осталось нас, летчиков, всего семь рядовых и один замкомэска Силантий Брезицкий, по прозвищу: «Лошадь»: очень уж часто повторял он излюбленные слова: «Мы встали на дыбы», «Самолеты встали на дыбы», «Мозги встали на дыбы»... Старшего комсостава - ни души, все погибли в изнурительных боях, кто севернее, кто южнее, а кто и над самим городом Сталинградом.

После бани привезли на аэродром. Начальник штаба приказал построиться в две шеренги и объявил, что прибыл новый командир полка Лабутин и с ним три, тоже новых комэска. У них большой летный опыт, но в боях не участвовали, выполняли оборонные задания в тылу.

Высокий статный подполковник Лабутин прошелся вдоль нашего скудного строя - восемь шагов от фланга до фланга, оглядел иронически разношерстную команду, хмыкнул.

- Однако негусто вас... Да и на груди пусто. Что это вы без наград, штурмовички-гвардейцы?

- За что награждать, ежели наших бьют, а наши - нет?

- За «вперед на восток!» награждают по приказу Верховного номер двести двадцать семь... - отозвались из строя вразнобой.

- По-всякому отступали на восток.. - качнулся Лабутин на носках хромовых сапог. Эх, сапоги! Глаз не оторвешь от них, мечта пилота! Легкие, мягкие, такие не сгорят, как кирзачи - пороховички в случае чего... - Дело не в отступлении, - повторил Лабутин твердо. - Коль хорошо воевали, но не отмечены Родиной, значит, плохо пеклись о вас ваши старшие командиры. Скажу вам прямо, без утайки: полк выглядит неважно, дорогие товарищи. Я дал твердое слово командующему армией сделать часть передовой, чего б это ни стоило. И я это сделаю очень скоро. Слава о нас, гвардейцах, прогремит по всем фронтам, о наших штурмовых ударах заговорит вся пресса и радио. Мы воспитаем собственных Героев в самом ближайшем будущем. Головой ручаюсь!

«Уж больно ты скор...» - подумал я, хотя в словах нового комполка ничего плохого ни было. Видать, он мне просто с первого взгляда «не пришелся». И только.

Подмигнув нам, он еще раз качнулся вперед-назад на каблуках. Галифе с напуском обтягивают сильные икры, коверкотовая гимнастерка точно влитая, все подогнано безукоризненно, не то что на нас - хламиды, какую схватил в каптерке, ту и напялил. Не до нарядов было на правом берегу Волги...

- Товарищ майор, - бросил Лабутин через плечо начальнику штаба, стоявшему позади, - сегодня же подготовьте и представьте мне на рассмотрение материал для награждения летного и технического составов.

Затем Лабутин объявил, что комиссара в полк пока не назначили. Нам нужен комиссар летающий, а таковых - увы! - негусто. Но по его, Лабутина, просьбе, политотдел армии подберет для нас настоящего Фурманова. Так и сказал: Фурманова! «Что ж, отлично! Дай бог, чтоб и ты оказался Чапаевым... - подумал я. - Видать, комполка с замахом».

Лабутин представил командиров эскадрилий. Одного из них, жилистого, невысокого, с морщинистым лицом майора, звали Панас Захарович Щерба, ему и предстояло командовать моей, второй эскадрильей.

Отпустив летный состав, Лабутин продолжил осмотр технического. Нам было слышно издали, как несколько раз вспыхивал смех, свидетельствующий о том, что командир полка умел поднимать настроение подчиненных.

А утром наши оружейницы и прибористки, шушукаясь и загадочно усмехаясь, куда-то уехали вместе с Лабутиным на полуторке. Под вечер машина вернулась, из нее высыпали такие крали, что все ахнули. Завитые, расфуфыренные, наманикюренные - фу-ты, ну-ты, не дыши! Их окружили, стали разглядывать вблизи. Подкрашенные, вспрыснуты одеколоном, они оживились, ну просто тебе цветы после дождика. Оказывается, и наши оружейницы-замухрышки тоже могут быть красивыми! Не заметить этого мужчинам - хуже преступления. Я спросил свою дебелую Клавку, не на бал ли к английскому королю собралась она?

- Именно на бал, и именно к королю, - ответствовала она задиристо. - Через три дня праздник Октября, а нам никому ведь и голову не придет, что мы не только рабочая сила для подвески бомб, но еще и женщины! Молодые нежные женщины, - шевельнула Клавка могучими плечами. Я едва удержался, чтоб не расхохотаться, а она продолжала, захлебываясь: - Лишь у одного командира полка оказалось доброе широкое сердце. Привез нас в райцентр прямо в парикмахерскую, перманент каждой, маникюр каждой и все остальное по женской части. И сам же заплатил за

всех. Говорит, приедет в часть высшее командование, пусть полюбуется на вас. Вот, скажут, какие девушки в гвардейском полку! Так-то! А потом в военторг повел и всем к празднику по триста самых лучших конфет, трюфель называется. Хочешь попробовать, командир?

- У меня зубы болят от сладкого, - отказался я, задетый восхвалением кавалерских манер Лабутина. Чего греха таить, мне бы сроду в голову не пришло сооружать своей оружейнице прическу и прочий «марафет», да еще к тому ж угощать наилучшими конфетами. Не дорос я, видать, до таких тонкостей галантерейного обхождения...

Дня через два нам подкинули полтора десятка самолетов вместе с летчиками, начались тренировочные полеты. Я придирчиво следил за комэском Щербой и вынужден был отметить: летает он хорошо и группы умеет водить на средних высотах, где легче ориентироваться. От аэродрома, однако, удаляется неохотно, держится начеку. И правильно, между прочим, делает: здесь, за Волгой, степь будь здоров! Тоже кишит «мессершмиттами».

Лабутин почти не летал, зато по радио наяривал - не соскучишься. Разносил всех почем зря, и было за что; на полигоне стреляли из ряда вон плохо. Лабутин психовал, вел летчиков, как поводырь слепых, до самой мишени, подсказывал, когда переходить в пикирование, когда открывать огонь. Подопечные выполняли его команды и... продолжали мазать. Штук пятнадцать списанных в утиль автомашин, установленных в ряд на полигоне и облитых мазутом, по-прежнему оставались нетронутыми.

Радиозалпы Лабутина еще гремели по предыдущему неудачнику, когда к полигону подлетел я. Лабутин с ходу принялся и меня наставлять, требуя, чтобы я повторял каждое его указание и отвечал, как уразумел его. Это задело меня. «Старика» учить азам? «Не морочь мне голову!» - чуть не выпалил я, но вовремя сдержался. Пусть себе болтает, не стану вообще отзываться. Захожу молчком, сбрасываю бомбы по меловому кругу и делаю разворот на стрельбу. Огонь открываю с минимальной высоты, как по настоящему противнику. Прочесываю огнем ряд машин, разворачиваюсь, смотрю - машины горят нормально. И бомбы положил неплохо, задели меловой круг. Что и требовалось. Только теперь, обратил внимание на голос Лабутина:

- Майор Щерба, у этого вашего эстета все дома? Вы видите, что он откалывает?

- Неплохо поразил мишень, товарищ командир.

- Порази-и-ил!.. А дисциплина? С какой высоты стреляет? И

почему не работает со мной по радио?

И опять мембраны в моих наушниках завибрировали.

- Если слышите меня, помахайте крыльями! Помахайте, говорю вам, крыльями!

- Короткая пауза и уже спокойно-презрительным тоном: - Этот ваш эстет только в землянке мастер болты болтать, а в воздухе - фю-ю-юйть!

После посадки меня вызывают на КП, где собрался летный состав. Приняв рапорт о выполнении задания на полигоне, Лабутин посмотрел на меня многозначительно, сказал, подчеркивая:

- Вы гораздо раньше находитесь в полку, чем я, но это не дает вам права нарушать дисциплину, стрелять, едва не касаясь винтом земли, и полностью игнорировать радиосвязь, не выполнять приказаний своего командира.

На последних словах Лабутин сделал нажим и обвел взглядом присутствующих, как бы приглашая разделить его возмущение.

- Что получается? - продолжал он, наращивая силу голоса. - Я без конца вызываю его по рации, требую помахать крыльями, а он хоть бы хны! А если б такое в боевой обстановке?

- Я слышал все хорошо, - говорю, - слышал также и ваши сомнения в моих умственных данных, и требование махать крыльями, - сделал я тоже нажим на последних словах.

- Так почему не махали?! - взвился Лабутин еще пуще.

- Увы! Нет такого агрегата на самолете, чтоб махал крыльями. Если б вы приказали «покачай с крыла на крыло», я бы тут же выполнил.

В короткой тишине вдруг прыснул смех. Одни посмотрели на меня, другие - в рот командиру в ожидании дальнейшей проработки. Лабутин явно растерялся, густо покраснел, но тут же быстро нашелся, сориентировавшись в ситуации. Кисло улыбнулся, проворчал:

- Ишь, ты... Совсем пораспускались.... Позволяют себе подтрунивать над командиром. Ну-ну! Если б вы еще и стреляли в пуп земли, не до острот было б вам сейчас... Кстати, почему так низко открываете огонь?

- Считаю: лучше своим брюхом - их, чем на своем брюхе - перед ними... После разбора полетов мой сосед по нарам младший лейтенант Слава Муханов сказал укоризненно:

- Слушай, эстет, но дури. Ты рискуешь нажить себе нешутейного... гм... друга. Хоть Лабутин мужик как будто нашенский, но это не объект для розыгрыша. Он тебя быстро прищучит.

Я махнул беспечно рукой, понимая и без Муханова, что делаю глупости, и все же не мог устоять перед искушением уязвить почему-то этого безусловно доброго, беспокойного человека не сделавшего мне ничего плохого. Такой уж характер у меня отвратительный: в совершенно очевидном ощущаю неискренность. «Эстетские тонкости», - говорят знающие меня.

Кстати Эстет - мое прозвище, которое тащится за мной с первых шагов в авиации. А первым шагом была работа моториста при авиаучилище. Крутил, как говорится, хвосты истребителям и полностью соответствовал типу, воспетому авиафольклором: «Пузо в масле, зад в тавоте, но зато в воздушном флоте».

Как мотористу весьма зеленому, мне доверяли один лишь самолет И-5. Этот аппарат был моим ровесником и так же, как я, нелетающим. Он катался по аэродрому на колесах, курсанты учились на нем разбегаться и рулить. Мотор и все остальное у него - как у нормального самолета, только обшивка на крыльях ободрана. Плоскости этого давно отлетавшего свое старика светились ребрами и прочими креплениями и напоминали собой лестницу, то ли секцию штакетника, то ли решетку сточной канавы, но отнюдь не самолетные крылья. Меня обижала и оскорбляла столь непотребная внешность самолета-ветерана, и я, запасшись при случае перкалем и нитроклеем, мигом привел его в божеский вид: обклеил плоскости и покрасил.

И тут, естественно, захотелось проверить, как творение рук моих поведет себя в работе. Влезаю в кабину, запускаю двигатель и рулю себе спокойненько, как делал это ежедневно множество раз. Затем решаю добавить газку, попробовать на разбеге, будет ли по-прежнему слушаться педалей и ручки управления. Делаю так, как учат инструкторы курсантов, как слышал сотню раз. Теорию и все наставления знаю назубок, а уж самолет - дом родной! Да чего там! Слушается меня, как паинька. Реагирует на каждое движение, скорость набирает энергично, колеса все чаще стучат о землю. Ну, хватит, пора убирать газ. Но что это? Колеса перестают стучать? Ой, да им же не обо что стучать! Я в воздухе. Мамочка родная, я лечу! Сердце, вздрогнув, замирает. Невероятное, дикое приключение, и тем не менее - правда. Не поднявшись ни разу самостоятельно в воздух, оказался в небе один. Пилотировать не умею, хватаюсь левой рукой за управление, словно правой недостаточно, словно от этого дольше продержусь в воздухе. Ужас сковал тело, я мигом взмок. По мне волнами тряска - видать, это предсмертные судороги, черт возьми! Я делаю не то, что нужно. Надо делать, как учат инструкторы своих питомцев, если не хочешь сорваться в штопор.

В штопор я не хочу.

Отжимаю ручку, чтоб набрать положенную скорость. Скорость в порядке, зато мотает из стороны в сторону, как буй в штормовом море, не могу удержать самолет. «Координировано развернись, не зарывайся носом! - командую себе голосом инструктора. - Еще, еще разворачивайся... Ух, видно «Т», теперь скорее на посадку. - Убираю обороты и, похоже, планирую. Взгляд влево под углом двадцать градусов и на тридцать метров вперед...- Не шуруй ногами... не передирай ручку, сажай на колеса, поддерживайся мотором, иначе- «козел»... Если «капот» вверх ногами, значит, привет с того света!..»

Как удалось воплотить теорию в практику, почему я, профан в летном деле, не разбился, анализу не поддается. Но, коль остался жив-невредим, выходит, удалось как-то... Именно с тех пор и стал я притчей во языцех. Мелочный случай раздули на весь свет, подняли шум, притащили меня к самому начальнику училища. От него я вышел под конвоем и в комбинезоне без ремня и с вызывающим видом записного хвата проследовал молодецкой поступью прямехонько на гарнизонную гауптвахту. Десять суток провел в глубоких размышлениях о неисповедимых тернистых путях в небо, а после освобождения из-под стражи был из мотористов переведен в курсанты и выпущен из училища летчиком-истребителем.

- Признайся по совести, ведь ты умышленно обклеил крылья своего «деда», чтоб подлетнуть? - приставали ко мне товарищи, и как ни уверял я их, что сделал плоскости красивыми потому, что мне претил их мерзкий вид, захотелось придать самолету более эстетическую внешность, мне никто не поверил. Вот и открывай после этого душу, выказывай истинные мотивы поведения! С тех пор и пошло - эстет да эстет...

7 ноября после полетов - приказ: привести себя в порядок и всем, кроме дежурных, явиться на торжественное собрание в большую землянку техников. У входа, где посвободнее, поставили стол, накрыли красным лоскутом. За столом начальство, секретарь полковой парторганизации и наш комсомольский секретарь Вячеслав Мухин. Мы расположились на двухэтажных нарах, получилось - как в театре: партер и первый ярус то ли галерка. Галерка слушала доклад по-древнеримски, то есть лежа. После торжественной части побрели толпой в столовую. Начальник штаба велел садиться за столы вместе летчикам и техникам, ужин общий, нормы питания сегодня для всех одинаковы.

Возле меня сел Лошадь - Брезицкий, но тут же нам пришлось потеснить соседей, ибо между нами врезалась оружейница Клавка, занявшая много места своими бедрами. Командира полка

не было, и мы, негромко переговариваясь, ждали. Брезицкий сидел хмурый, вовсе не праздничный. Я решил его расшевелить, говорю:

- Чего это ты гриву опустил и удила грызть перестал?

- Эх, если бы кто знал, как осточертело мне пятиться от самого Львова! Все на восток да восток по-рачьи... Из летного состава, что начал войну, остался один я, Пока... Как подумаю, так все в глазах возникает, печальная история повторяется. Прошлый год седьмого ноября немцы под Москвой были, а нынче вона куда забрались!

- Погоди, - говорю, - если у нас здесь повторится то, что было под Москвой, это же прекрасно! И я уверен, что именно так будет. Неужто, думаешь, наши вышестоящие спят? Погляди па карту, какая у нас территория, какая мощь на правом северном фланге. Военные заводы по всей Волге делают самолеты, танки, пушки, не то что прошлый год. А здесь не только один наш полк выдохся. О союзничках фашистских не говорю: румынам да итальянцам не до войны, им лишь бы согреться. Брезицкий усмехнулся:

- Скажу секретарю парторганизации, чтоб сделал тебя пропагандистом, всем мозги на дыбы поставишь...

Наш серьезный разговор перебил своим появлением Муханов. Выскочил разгоряченный из боковушки, пробежал следящим взглядом по накрытым столам, вскрикнул опасливо:

- Эй, народ! На закуску не наваливай! Сначала выступлении полковой самодеятельности, а потом остальной гарнир. Итак, начинаем. Похлопайте знаменитому скрипачу маэстро... Эй, слышь, как тебя зовут? - спросил Муханов кого-то в открытую дверь судомойки.

Оттуда вышел, смущаясь, летчик третьей эскадрильи из молодых. Объявил тихо, что исполнит «Венгерский танец» Брамса, и поднял скрипку. Как он играл, судить не могу, да это и неважно. Главное - играл свой, полковой хлопец. Третья эскадрилья вообще оказалась почему-то богата разнообразными талантами. После скрипача на площадку выскочила прибористка Соня и отколола с каблучной дробью цыганочку, ее сменила Шура, тоже прибористка, покорившая слушателей «Саратовскими страданиями». Я подтолкнул Клавку под бок:

- Встань-ка да оторви чего-нибудь! Не видишь, наша, вторая, совсем припухает?

Но Клавка лишь томно вздохнула и поглядела на меня ласковыми глазами дикой козы, что забегает к нам на аэродром.

- Сатирическая картинка «Зимний фриц»! - объявил ведущий - и тут же под оглушающий грохот палок по противням на сцену выползли наряженные черт знает во что, кто с костылем, кто в

лаптях, замотанные дырявыми платками и всяким тряпьем «фашистские вояки». Под смех зала они дико скулили фальшивыми голосами:

Я исчезну, как мокриса, в прюхе фетер, в хорле хрип.

И за пазуха у фрица даже вши хворают грипп...

Они долго препирались, чудили, балаганили. Но вот появился немецкий генерал, мы с удивлением узнали в нем Лабутина. Это нам понравилось. Командир не только требователен в боевой подготовке, не только занимается повседневным воспитанием личного состава, но сам наравне с рядовыми летчиками и техниками веселит коллектив. Вот это настоящий командир-вожак.

- Живет ведь где-то счастливая женщина, имеющая такого мужа! - вздохнула утробно Клавка, отодвинув своим вздохом меня и Лошадь на полметра от себя.

Но самое смешное было, когда генерал подбадривал своих битых вояк и в это время раздались выстрелы и крик: «Русише цум ангриф!» Русские наступают! У генерала падают штаны, и он под громовой хохот убегает из зала.

Если раньше Лабутин своим вниманием покорил женский персонал, то теперь и мужской состав был от него в восторге.

Спустя несколько минут он явился как ни в чем не бывало, в своей отутюженной одежде, довольный успехом, приказал подать на столы графины. В графинах - мать честная - вино! Уму непостижимо. В такое время добыть вино? «Да это ж... это ж никакому сверхмаршалу не под силу! Ну и ну! Ай да Лабутин...» - раздавалось по столам. Спустя немного узнаем подробности: оказывается, за двести километров гонял машину, чтоб добыть для своих гвардейцев на праздник.

В последующие дни Щерба с Брезицким продолжали натаскивать молодых пилотов в полетах строем. Иногда вместо Брезицкого подключали меня. Щерба летал исправно, трудолюбиво, я бы сказал - красиво, ежели наблюдать со стороны. Все бы спортсмены так летали, тогда от чемпионов спасенья бы не стало... Я убеждался в этом каждый раз, когда мы тренировались восьмеркой. А посадки Щербы у самого «Т» впритирку? Безукоризненная, филигранная работа!

- Классика! - восхищался Лабутин, ставя его всем в пример. Да, это так. Но я помнил и другое, Лабутина и Щербы полк навоевался - ой-ой-ой! Сколько летного состава перемололось за полтора-два месяца! А какие летчики были! Уж они-то пилотировать умели не хуже Щербы. А где теперь боги воздушные? Вот то-то и оно! Отличная техника пилотирования - очень хорошо, умение держаться в строю как на привязи -

замечательно, только на войне это еще не все. Далеко не все. «Строгое выполнение элементов пилотажа в определенных боевых ситуациях ведет к гибели летчика». Парадокс? Нет, правда.

...Ночью, пока мы спали, пришло распоряжение на перебазировку. Новая точка- Светлый Яр, по ту сторону Волги, южнее Сталинграда. Видать, подпирают обстоятельства, если неукомплектованный полностью полк бросают в бой. Собираем нищенские пожитки, готовимся, прокладываем маршрут на картах, но с утра все закрыто густым туманом. Сегодня девятнадцатое ноября, ровно через два месяца будет день моего рождения. Если буду я... И тут нам сообщают: началось долгожданное контрнаступление. На Сталинградском и на примыкающих к нему фронтах гремят бои.

С этой минуты не только разговоры, но и думы наши о долгом отступлении, о тяжелых оборонительных боях, о гибели товарищей передвинулись, как говорится, во второй эшелон. То, что было, могло быть еще и еще не раз, но то, что ждет нас впереди, больше неведомым не казалось.

Я посмотрел на Брезицкого, он, открыв рот, слушал новые данные фронтовой обстановки, передаваемые оперативным отделом дивизии. Мы все испытывали приподнятые чувства и сдерживаемый боевой задор, но Брезицкий... С высоты своего военного опыта он, видимо, уже прикидывал будущие штурмовые операции. До сих пор мы отбивались, теперь пришло время бить.

- Ох, и плохо же им будет! - вырвалось у Брезицкого с горячностью. - Давно ждали, теперь будем крошить сволочей, как капусту!

Весь день девятнадцатого ноября прошел без солнца. Степь затянута однообразной непогодной мутью, глазу не на чем остановиться, все серое, расплывчатое. Сырой студеный туман проникает даже сквозь меховые куртки. Мы бродим по ковыльному кочковатому аэродрому, уныло поглядываем в смурное небо. Вот когда нужен коллективу краснобай, балаболвесельчак! На такой случай он просто клад. А наш единственный умелец «загнуть» Муханов сам сегодня какой-то смурый, неразговорчивый. Мы понимаем: непогодь проклятая и его доконала. Не иначе, фашистские фельдмаршалы сунули чертям крупную взятку - и те напустили туману в самый неподходящий для нас момент. Наземники воюют, лупят врага, а мы места себе не находим, руки чешутся, хоть хватай веники да сметай туман с аэродрома. Синоптик, симпатичная дамочка, ничего приятного нам не обещает, и мы смотрим на нее волками.

На следующее утро все то же, кругом ни зги не видать. Мне кажется, морок еще плотнее. Изнурились околачиваться на КП,

мотаемся по стоянкам, как неприкаянные. Начальник штаба то и дело названивает в дивизию, оттуда - ничего утешительного. Непогода охватила огромный район, авиация бездействует. И так сутки за сутками. Лишь двадцать третьего ноября посветлело. Это у нас, «среди долины ровныя», а за Волгой, в Светлом Яру, пока «финстернахт» (темная ночь - нем.), как говорят наши противники.

После обеда все же прорываемся - и с ходу в бой. Оказывается, утром два наши фронта соединились и замкнули кольцо. Ура, братцы, капкан захлопнут! Есть и нам боевое задание, а если говорить точнее - полет на закате солнца без прикрытия истребителей в незнакомый район возле станицы Верхне-Курмоярской. «Цель простая: скопление машин, танков, - пояснил Лабутин. - Найдете без труда, рядом железная дорога на Котельниково. Проскочите через Сарпинские озера и по дороге до речки Эсауловский Аксай. Справа увидите цель».

Летим двумя четверками, первую ведет Щерба. Быстро темнеет, времени в обрез. Договариваемся наскоро: одна атака с левым разворотом на свои войска. Условия полета отвратительные, землю укрывает густая дымка, пробираемся в сером киселе, вдобавок еще слепит закатовое солнце. Столкнешься с «мессом» нос к носу и не узнаешь. «Ладно, - думаю, - бог не выдаст, а «месс», хоть и свинья, авось не съест...»

Левая форточка в кабине, как обычно, открыта. Поглядываю на карту, а больше - на изувеченное полотно бывшей железной дороги. Даже сквозь дымную паутину видны распаханные снарядами поля, руины зданий, какие-то жуткие нагромождения... Скоро цель. Закрываю шторки радиаторов, снимаю с оружия предохранители. Справа впереди появляются клубки белых дымов - начало увертюры... Вступает весь оркестр фашистских зениток, исполняет заградительное пиццикато. Играют мстительно, хватко. Все это мне знакомо, как первой скрипке на генеральной репетиции. Начинаю противозенитный маневр. Щерба тоже покачивается чуть-чуть, вроде стесняется немцев. Э! А это что такое? Не доходя цели, он вдруг поворачивает круто влево и ведет группу над нашими порядками. Неужели не видит?

- Куда вы? - кричу по радио. - Цель справа! Мы удаляемся от цели!

Некоторое время молчание, затем, чуть заикаясь, Щерба приказывает:

- Делаем п-правый заход...

- Боже мой! Солнце лупит в глаза, мы совершенно ослепнем!

- Переходите в левый пеленг, - приказывает ведущий.

«О, пропасть! Нашел время для перестроений...»

Тысячи немцев наблюдают наши странные эволюции и, видать, диву даются. Пересекаем передовую. Зенитки свирепствуют вовсю! Откуда бьют - не вижу, солнце режет глаза, по щекам текут слезы. Распахиваю и правую форточку кабины: один дьявол - ничего не видно. Маневрирую на авось и продолжаю искать цель. Подо мной горбами дым и пыль. Ага! Вон они где маскируются, «хундшвайн»! - ругаюсь по-немецки - и Щербе:

- Цель перед нами!

Но Щерба не спешит переводить в пикирование. А меня разрывы обложили - вот-вот накроют. И точно; крепко встряхнуло и швыряет в сторону, словно тряпку. Вместе с вонью тротила от взорвавшегося рядом снаряда в кабине возникает что-то плоское, непонятное. Оно порхает перед моим носом. «Кусок обшивки? Зенитного снаряда?» Машинально тянусь к нему рукой, но оно выскальзывает в форточку.

- Проклятье! Это ж мой планшет!

- От вас что-то оторвалось! - раздается в наушниках тревожный голос ведомого. Молодец, парень, хорошо видит, а меня сотрясает злость и досада. Щерба изменил заход на цель, я распахнул вторую форточку, образовался сквозняк и... «что-то оторвалось»...

- Куда вы летите? На Берлин? - кричу Щербе, но тот ни бум-бум! Уму непостижимо, мы вторично проскакиваем мимо цели. «Ну, как знаешь, а я...»

- В атаку! - командую ведомым и перехожу в пикирование. Пускаю эрэсы по скоплению техники, обстреливаю из пушек, кладу туда же серией бомбы и опять стреляю. Вывожу низко со скольжением, изворачиваюсь ужом, выскальзываю из вездесущих щупалец «зрликонов». Оглядываюсь: ведомые держатся рядом, молодцы, сумели!.. Прижимаюсь к земле еще ближе. Кажется, и на этот раз обошлось. Впрочем, не совсем, подсекли все же... Левая нога шасси вывалилась и встала на замок, горит зеленый сигнал, правая - убрана. Ладно, это мелочи. Вот Щербы нигде не видно. Вызываю по радио - молчок. Беру курс на аэродром. Вызываю еще и еще, наконец прорывается отдаленно:

- Жду вас над населенным пунктом, через который протекает речка, а через речку мосток, и недалеко церковь...

«Что за ориентир дурацкий... - думаю мимоходом.- Таких населенных пунктов с мосточками да церквочками навалом!» Отвечаю сдержанно:

- Назовите населенный пункт.

- Зачем вам название? Смотрите по карте!

- У меня нет карты,

- Как? Вы летаете без карты?

Поясняю, что случилось. Глаза привычно скользят по приборной доске и... что за наваждение? Я не верю своим глазам. Помню хорошо, как сдублировал сброс бомб над целью, а лампочка левого отсека краснеет вовсю. Вот не было печали!.. Веселенькая предстоит посадка с зависшей бомбой... Чем это пахнет - известно... А Щерба не отстает:

- Как это вырвало планшет? Знать ничего не знаю, летите немедленно ко мне!

- Куда лететь?

- К населенному пункту, через который...

- Лети ты знаешь куда!.. - ругнулся я, взъяренный. У меня шасси неисправно, бомба зависла, а он ерундой занимается. Стоп! Надо пикирнуть покруче, авось оторвется. Но над своими войсками опасно, еще шарахнешь кого-нибудь. Нужно возвращаться к немцам и воевать в одиночку. Говорю левому ведомому:

- Веди группу вдоль железки до озера Сарпа, справа наш аэродром, найдешь?

- Да, я веду ориентировку. А вы?

- У меня здесь кое-какие дела. Лети!

Разворачиваюсь, набираю высоту. «Ну, выручай, судьба-индейка!» Пересекаю невидимый передний край и начинаю все сызнова. Только теперь мне гораздо хуже: заходящее солнце сделало меня летающим кротом. Зенитки точно взбесились, хорошо еще, «худых» нет. Маневрирую и жму кнопку сброса бомб, жму так, что того гляди раздавлю, а она на каждый нажим только подмигивает ехидно. Меня охватывает любопытство: интересно, что воображают обо мне фашистские наводчики? Небось считают - фанатик-коммунист или самоубийца... Но что творится вокруг меня! Перехожу к следующему акту бесплатного циркового представления, закладываю угол покруче и пикирую. Скорость растет изрядно. Ого! Самолет начинает вибрировать. При таких перегрузках немудрено и рассыпаться... Это уже не акробатика, а «оригинальный жанр»: был - и нет тебя...

Быстро вращаю триммер для набора высоты, тяну ручку и бью изо всех сил ногой по рукояти аварийного сброса. Становится темно, голова влезает в плечи, внутренности опускаются к сиденью... В глазах еще мрак, но сознание проясняется, велит: «Скользи! Уходи из-под трасс!» Вкладываю все силы, разворачиваюсь, подставляю снарядам бронированный живот кабины: лупите! Посмотрим, как вам удастся его пробить!..

В глазах появляется свет, и первое, что я вижу, - красная

лампочка сияет распустившейся розой. «Вот она, погибель моя!» - думаю и плюю остервенело в форточку. Прижимаюсь к земле и тут замечаю, что и вторая нога шасси выпала. Я не против, да толку что? При тряске на посадке зависшая бомба шикарно взорвется. Единственный правильный выход - выпрыгнуть с парашютом, да уж больно неважнецким получается старт наступательной компании, и молодым пример безобразный: что может быть на войне сквернее неверия в собственное оружие? Стоп! А что, если... если отколоть богатырского «козла»? Отколоть и рвануть с форсажем на второй круг? Пусть бомба взорвется, но осколки, возможно, меня и не настигнут... Эх, была не была!

На аэродроме такие фокусы исключены. Выбираю место неподалеку, планирую. Ух, что тут поднялось! Эфир закачался от грома проклятий в мой адрес. Лабутин неистовствовал, я думал, мембраны в телефонах полопаются от грохота. А земля - вот она! Может, гляжу на нее в последний раз...

Исполняю феерического «козла», аж селезенка екает, и - по газам! Следом - форсаж. Самолет чуть зависает, дрожит на закритических углах - и пошел, пошел... А я кошу глазом на панель, на красную лампочку - горит, зараза! Чушка висит подо мной, как и висела. Но теперь она мне не страшна: если не отцепилась при таком «козлище», то на приземлении «по-щербовски» никуда не денется.

И точно. Сажусь, заруливаю на стоянку, осторожно заглядываю в бомбовый отсек. Он пустой, как небо над моей головой. Бомбы нет, лампочка красная горит! Кому же верить?

Подкатывает «виллис» Лабутина, и - небывалое дело! - меня почетно везут на КП. Окидываю взглядом стоянку: мои и Щербы ведомые на месте, самого комэска нет.

Не спрашивая о моем, мягко выражаясь, странном приземлении, Лабутин грозно вопрошает:

- Где вы бросили командира?

- Гм... До этой минуты я считал, что он нас бросил, - киваю на стоящих обособленно ведомых.

- Меня не интересует, что считаете лично вы!

- А за действия ведущего я не отвечаю.

От злости у Лабутина заходили желваки, лицо сделалось землистым. Он набычился, словно собрался ринуться на меня. В это время подбежал начальник штаба, протянул командиру листок бумаги, выдохнул:

- Телеграмма... «Труба (позывной аэродрома - авт.) Лабутину Щерба сел вынужденно аэродром N-ского полка летчик самолет порядке». Энский полк находится в Ольховке, километров сто

шестьдесят севернее. Что ответить на телеграмму?

Лабутин помолчал угрюмо, коротко буркнул:

- Ничего.

Станислав Муханов подтолкнул меня в ребро, ухмыльнулся:

- Кажется, «труба» не Лабутину, а твоему шефу готовится...

Щерба прилетел утром измученный, измятый. Не поговорив ни с кем, направился к командиру. Что между ними было, не знаю. Позже Щерба подошел ко мне и, заглядывая виновато в глаза, открыл портсигар:

- Отойдем, покурим?

- Спасибо, не курю.

- Ну, так...

Мы пошли вдоль стоянки. Он курил махру, затягиваясь с треском, и молчал. Потом с натугой сказал:

- Ты на меня не обижайся, а? Лучше подмогни мне там... - показал в небо. - А здесь я тебя в обиду не дам. Договорились?

- Так меня здесь вроде не обижают...

Щерба мнется, смотрит исподлобья тоскливо-робкими глазами. Какой-то затравленностью, что ли, веет от его суховатой фигуры. Мне вдруг становится жалко этого странного безвредного человека. Томится он, это яснее ясного, но чем ему поможешь? Беда его в нем самом. Он сугубо аэродромный летчик, подготовленный для парадов. На войне его искусство столь же нелепо и бесполезно, как и форсистые сапоги Лабутина для охотничьих походов. С ориентировкой у него скверно, а о тактике боя и говорить не стоит. Ему учиться бы да учиться, а не водить эскадрилью. Он утверждает, что сам напросился в полк. Возможно. Я, будь на его месте, тоже не захотел бы сидеть в тылу, вот только польза какая и кому?

...Вынужденная посадка - это незначительный эпизодик на фоне огромных событий, а мы в гуще их - мелкие капли: промелькнем, блеснем - и следа не остается. Совсем не то у Щербы. Однажды вечером в столовке мы оказались вдвоем за одним столом.

- Не везет мне, слышь, никак... - пожаловался Щерба. - К другим успех шутя приходит, а я всю жизнь стараюсь, из кожи лезу и все напрасно. Поистине, есть у судьбы сынки, а есть пасынки.

Что ему ответить, чтоб не лез из кожи? Что коль богом чего-то не дано, то старанием не достигнешь? Но сказать так - значит смертельно обидеть! Да и какой я авторитет для него, майора?

В тот вечер у нас случилось чепе бытового, так сказать, порядка. Спустившись под землю в свое неказистоежилище, мы увидели девочку. Она сидела на табурете посреди землянки,

голые ноги в обшарпанных башмаках не доставали пола, руки лежали устало на острых коленях, едва прикрытых подолом застиранного коричневого платьица. Собственно, по платью мы и определили, что это девочка. Кос у нее не было.

- Люди! - говорю. - Глядите, какое нам могучее пополнение... Как ты сюда попала, кроха?

- Я не кроха, - посмотрела на меня девочка серьезно.

- Вот как? А кто же ты? - спросил Брезицкий.

- Мамкина Надежда.

- Хе! Все мы мамкины да папкины надежды, да только надеяться на нас...

- А откуда ты, девочка? - спросил Муханов.

- Из города...

- С города? Во дает! Как же тебя немцы пропустили? Или ты на самолете к нам, хе-хе?

- Я из города, - повторила девочка упрямо, отвернулась и стала смотреть задумчиво на тусклый огонь в печурке. Щерба подошел, поднял ее с неуклюжей нежностью и, держа на вытянутых руках перед собой, тихо спросил:

- Ты чья же будешь, дочка?

Девочка подумала чуть, затем потянулась к нему:

- Твоя...

Землянка грохнула от смеха,

- Так вот где папы скрываются!

- Ай, нехорошо! Сбежал на фронт от такой дочурки...

- У старого греховодника небось в каждом авиагарнизоне потомство... - изощрялись остряки, но на лице Щербы не появилось даже подобия улыбки. И девочка смотрела на него серьезно и пытливо.

- Как же мы будем звать тебя, дочурка?

- Надей.

- Имя хорошее, так что расти, Надя, надеждой для хороших людей.

Мы придвинулись ближе и, вытянув шеи, созерцали это странно появившееся здесь грязное, изможденное и прекрасное существо. Приглядевшись, я содрогнулся: у малышки по коротким волосам ползла вошь.

- Ей нужна срочно баня и эта... ну, как ее? От паразитов...

- Ей пища нужна. Надя, хочешь кушать? - высказал свое мнение Муханов. - Хочешь, Надя, каши?

- Хочу...

- Слышите? - поднял палец Муханов, удовлетворенный собственной сообразительностью, и, повернувшись, крикнул через плечо: - Я мигом!

Вернулся минут через десять с двумя котелками в руках, за ним шествовала высоченная, красивая лицом повариха БАО, которую тоже звали Надей. Она несла оцинкованный таз, держа его перед собой, как барабан, в другой - ведерный чайник.

Этот вечер остался в памяти как веселый и потешный. О новом «пополнении» узнали оружейницы, пришли смотреть. В землянке поднялся галдеж, шум, суета. Наевшись каши, Надя заулыбалась, подошла к Щербе, прилипла к его коленям. А он глядел на нее с недоуменьем и гордостью, положив руки на ее худенькие плечи. Морщинистое лицо его растроганно кривилось.

Оружейницы хотели увести девочку к себе и там привести в порядок, но та ни в какую. Вцепилась в Щербу не оторвешь. Эта неожиданная и непонятная привязчивость волновала нас и вызывала улыбки.

- Надя, - сказал я, - если ты нашла папу, то, стало быть, есть и мама?

- Маму убило в городе. Бомбой...

Мы примолкли. Еще одна душа сломанная. Еще одна сирота горемычная. Гляди и души в себе стон. А не можешь, убегай кричать в поле.

Началась процедура раздевания, и веселье вспыхнуло вновь. Когда Надя-старшая налила в таз горячей воды и, закатав рукава, тоном заправской мамаши велела Наде-меньшой «скидывать шмотки», та покосилась на нас и веско произнесла:

- Вы все мужчины.

- Неужели?

- Как это ты догадались? - рассмеялись мы.

- Отвернитесь! - велела Надя-большая.

- Есть, миледи, отвернуться!

Мы повернули головы в сторону.

- Теперь можете смотреть, - последовало милостивое позволение Нади-маленькой, и мы увидели в тазу голое тельце ребенка. Надя-повариха намыливала его.

На другой день Лабутин хотел отправить ее в детдом, но робкий безответный Щерба проявил невиданное упорство.

- Не отсылайте ее, товарищ командир, пусть будет со мной. Я ем мало, моей порции хватит на двоих. Девочка ко мне привязалась с первой минуты.

- Гм... Думаете, вашим ангелом-хранителем будет?- хмыкнул насмешливо Лабутин и повторил: - Здесь не место для детей, не выдумывайте, майор.

Тот стоял понурившись, не уходил. Вдруг на лице Лабутина промелькнуло что-то новое. Прошелся туда-сюда, раздумывая, затем взмахнул рукой, словно обращался к большой аудитории,

- А что? - уставился он на Щербу. - Вы правы, пожалуй. Разве мало полков, у которых есть сыновья? Ого! Так пусть и у нас будет, но не сын, а дочь. Что? Гвардейка-сталинградка. Надеюсь, политорганы нас за это только похвалят. И пресса не обойдет молчанием, как пить дать!

Тут же, вызвав начальника штаба, приказал одеть дочь полка, обуть и поставить на котловое и прочее довольствие.

Щерба в восторге, кого ни встретит - не нахвалится командиром. Добрейший человек! Душа! Ведь никому не пришло в голову удочерить сиротку, а он, видите?

Клавка, мастерица на все руки, перешила Наде гимнастерку и юбчонку, а моторист Никифор Бурляй, он же по совместительству сапожник, стачал сапожки. И стала приблудная девчонка солдатом Надеждой-Сталинградкой, как назвали ее с чьей-то нелегкой руки.

Спала она в землянке оружейниц, остальное время вертелась среди летчиков, отсиживала терпеливо на разборах полетов, с напряженным лицом слушала наши разговоры, перебранки и думала о чем-то своем. Щерба улетал на задание, а Надя садилась на бомбу или ящик с эресами и ждала его, играя звенящими разноголосо гильзами от снарядов самолетных пушек. В эти часы она напоминала верную жалкую собачонку, потерявшую своего хозяина.

...Уже три недели Юго-Западный фронт наступает, Донской - колотит войска Паулюса в Сталинграде, а на нашем, Сталинградском, движение не только застопорилось, но, кажется, вспять пошло. Утром мы нанесли на свои карты новую линию боевого соприкосновения. Огромный бронированный кулак - немецкая танковая колонна Гота - опять замахнулся, чтобы пробить окружение и вызволить своих, запертых в городе.

«Ну нет! Черта с два пролезешь ты в Сталинград! Тех, первых, не пустили, а уж с тобой, хоть по фамилии ты Гот (Бог - нем.), разделаемся, как с рогатыми...»

Погода по-прежнему стоит переменчивая, мокрый снег, плесень тумана покрыли землю - в общем дрянь. И это хваленый юг, красоты сказочные! Где они, у черта? Вместо чистых красок рассвета в плачущее окошко землянки шибает мокрый ветер, а снег и на снег не похож; липкий, серый, унылый.

Но такая погода не союзник фашистским «панцернам», нынче не июль сорок первого: от Котельникова до Сталинграда тесно в воздухе от нашей авиации. Ночи напролет гудят тяжелые бомберы Ил-4. Говорят, у них появился на борту новый чудо-прибор: радиолучом километровую толщу облаков пробивает, кромешная тьма ему нипочем, танки высвечивает, как прожектор.

Вот и зачастили бомбардировщики с «гостинцами» к Готу, с фугасными, многотонными...

Геринг чесал языком, дескать, его отборные шельмы из берлинской ПВО, переброшенные поспешно на восток, быстро сделают советским летчикам шабаш. Видать, Геринг запамятовал, что у нас самих есть отборные - истребительный полк асов. Этим на зуб не попадайся, такого трезвона зададут, что в бункере фюрера будет слышно... Вчера пара таких плюхнулась на нашей точке, до сухих баков довоевались молодцы, попросили заправить горючим. Спрашиваем:

- Как там дела, в заоблачных высотах?

- Порядок, - говорят. - Вир фресен дойче вурст!

- Ишь ты! Откуда это у вас немецкая колбаса?

- Дар божий. Гитлер решил голодному Паулюсу харчишек подбросить по воздуху, занарядил транспортные Ю-52, знаете эти колымаги... Ну мы и того... сделали им на днях карачун, свалили пяток за один раз. Врубишь из пушек, глядь - разваливается карета в воздухе и сыплется из него что то, а что - не разберешь. Вдруг вчера по радио - благодарность нам от наземного командования и подарочек: два мешка копченой колбасы. Прямо с неба свалилась. А Паулюсу - ауфидерзеен, клади зубы на полку да подтягивай штаны. Всем им скоро капут, подохнут, как мухи в стужу.

- Слышь, братва, - говорю, - нужно и нам подключаться, организовать немедленно «охоту» на геринговских прощелыг, а? Пошастаем за облаками - глядишь, тоже подловим колымагу.

- А что? Эстет дело говорит! Только, чур, не отправлять к чертям на свалку, а зажать в клещи и посадить на своем аэродроме. Тогда по два мешка, а две тонны колбас оттяпаем, верно, хлопцы?

- Еще бы! А то, смешно сказать, грызем сушеную картошку американскую, едва распаренную...

- А порошок из черепашьих яиц забыл? Дар президента.

- Тьфу! Ненавижу черепах и президентов с их дарами!

Мы посмеялись. А почему нет? Сами своей, а не чужой силой, своим умом научились бить фашистов на земле на воде и в небе. Не отчаянные подвиги совершать, а работать.

О штурмовиках речи нет, они всегда работали. Вот и теперь прилепились на «пятачках» по берегам Волги, и как саранча траву, так и они грызут без продыха фашистскую броню. Наконец-то стали хозяевами воздуха, его сторожами. А как известно, волки кусают первым сторожа...

Развидняется медленно, на аэродроме пальба: оружейники пробуют пушки и пулеметы.

Станислав Муханов встает всегда с натугой, возится, чешется, но сегодня наоборот: он уже поднялся, а я никак не раскачаюсь, ищу сапог. Оказывается, Станислав надел и подался умываться.

- Верни обувку, черт сонный! - ору ему вслед. Тот пыхтит, недовольно бормочет:

- Вечно ты склоки разводишь из-за сапог... Надел какие попало - и ладно. Так нет, эстетские подавай ему...

Я бросаю в него его же сапогом, от чего Станислав окончательно просыпается и начинает болтать. Человек он веселый, даже в воздухе нет спасенья от его болтовни. Мы с ним часто цапаемся, разыгрываем друг друга, но в столовую сейчас идем мирно. На завтрак подают макароны, осклизлые, с постным маслом. Гадость ужасная, терпеть не могу. Выпиваю стакан тепловатого чаю, заваренного для крепости жженым сахаром. Станислав иронизирует:

- Интересно получается: в любой книжке о летчиках можно прочесть, что этих паразитов одним шоколадом откармливают! И не просто откармливают, так зажрались, что не знают, разгильдяи, куда девать распроклятый шоколад, меняют его на селедку, сухари и даже макароны с постным маслом...

- А ты, часом, не знаешь, где базируются такие высококалорийные полки?

- Зачем тебе? Еще разжиреешь... Боевой петух должен быть худым.

- Э-э!.. - говорю. - Без еданья да без спанья не получится летанья.

На КП тащимся, как на собственные похороны. И остальные летчики едва плетутся - погода явно нелетная. Станислав болтает на все лады, что вот-де и ему подвалило счастье, сейчас он залезет на верхние нары и будет «добирать» до самого вечера, а вечером перебазируется в землянку и будет «добирать» до...

Я соглашаюсь, что это действительно большое счастье. Для всего полка. Хоть один день люди отдохнут от его мухановской трепотни. Кстати, почему бы ему не впасть в летаргический сон? Всем приятно и ему полезно. Впрочем, Лабутин приказал на случай непогоды провести восьмичасовую тренировку в противогазах. Приказ еще весной пришел, да недосуг было.

- Ты что? - схватил меня испуганно за руку Станислав. Заглянул в лицо и отмахнулся: - Шуточки у тебя, однако, густые...

- Не шуточки, а порядок, - говорю назидательно.

Лабутин требует порядка во всем. На КП в любое время суток является, как на праздник: чисто выбрит, гладко наутюжен и густо наодеколонен. Попробуй попадись ему небритый перед полетами, разнесет в пух и прах. «Мистицизм! Комплекс!

Куриный кодекс предрассудков!» - шумит он, а мы никак не можем побороть в себе этот проклятый мистицизм. Что поделаешь? В бою жизнь со смертью всегда в обнимку, только и надежды на «куриный кодекс»...

Лабутину что? Он на боевые задания не летает, говорит: получил строжайший приказ командира дивизии заниматься организацией боевой работы и воспитанием коллектива полка. Летчиков и самолетов не хватает, значит, качество должно расти за счет эффективности ударов. Метнуть бомбы и штурмануть сможет любой дурак, если все ему организовать и подготовить, поднести цель, так сказать, на блюдечке.

Тренировка в противогазах сегодня не состоялась. Начштаба приказал заняться теоретической подготовкой. Только расположились за столами, является Лабутин. Вскакиваем. Он не останавливаясь проходит в закуток начальника штаба. Минуту спустя зовет Щербу и меня. Входим. Лабутин сидит, склонившись над картой, две глубокие складки пересекают щеки от носа до подбородка, волосы песочного цвета спадают на лоб. Не поднимая головы, говорит;

- Погода неважная, но мы, гвардейцы, обязаны летать в любых условиях, в том числе - сложных. Сейчас такая необходимость возникла, и я заверил командование, что гвардия не подкачает. Честь выполнить это задание предоставляется вашим двум четверкам.

«От такой чести голову не снести...» - поморщился я и взглянул на Щербу. Нос его покрылся капельками, как разрезанный огурец, а глаза... Мне помнится, подобными смотрел он, когда вернулся с вынужденной посадки. «Лучше б ему сказаться больным или что-то еще... Такое настроение - для кладбища, а не для боя».

- Так вот, - тычет карандашом в карту Лабутин,- здесь, в Котельникове, по данным разведки - штаб танкового соединения немцев. Размещается в домах на южной окраине, что напротив колодца. Смотрите по своим картам. Цель неподвижная, можете потрошить ее, как вам угодно.

«Потрошить штаб танкового соединения! Хе! Как бы самих не распотрошили... Уж что-что, а штабы свои немцы прикрывать умеют. Сказать об этом Лабутину? Нет, ведь наверняка подумает: гайки у нас ослабли...»

Приказав немедленно прокладывать маршрут и отправляться по самолетам, он закончил:

- Ориентиры такие: речка, южный берег высокий, обрывистый. Деревянный мост, справа кирпичное здание. Ясно все?

- Так точно!

- Никак нет! - ответили мы в один голос.

- Что у вас? - повернулся Лабутин ко мне.

- Во-первых, не ясна система ПВО в районе цели; во-вторых, неизвестны количество и расположение зенитных средств и, в-третьих, воздушная обстановка в целом.

- На месте увидите.

- На месте надо воевать, а не созерцать местность,- вырвалось у меня невольно.

Лабутин покосился куда-то в угол, молвил негромко;

- А вы покачайте с крыла на крыло - и все прояснится...

У меня дух перехватило. Так вон он какой, добросердечный кумир полка! Из-за плевой, невинной шутки на полигоне он столько времени носит камень за пазухой! Да мыслимо ли такое!

...Мы улетели восьмеркой, вернулись семеркой. Плоскости зияли множеством пробоин, взъерошенные летчики жадно свертывали цигарки, нервно сплевывали. Вопросов им не задавали, и так ясно.

- Где Щерба? - прервал Лабутин мой рапорт.

- Сбит прямым попаданием зенитного снаряда.

- Почему именно он? А где были вы? - ударил Лабутин в досаде кулаком по левой ладони. Меня не тронул истерический крик, понимаю; трудно сдержаться, когда сваливается на тебя внезапная беда. Я стал подробно докладывать, что произошло. Лабутин опять перебил меня, позвал в штаб, выгнал писаря и машинистку и велел повторить все по порядку.

- Вот маршрут, - показал я по карте. - Вдоль озер до Тундутова, в этом месте разворот направо, и дальше с курсом двести тридцать до Шарнутовки, а затем - на Котельниково. В районе Жутово-второе облачность прижала нас до полусотни метров, но лететь можно, так и летели, а Щерба вдруг развернулся строго на запад и выскочил на железную дорогу. Там нас обстреляли. То есть мою группу. Я горло надорвал, кричал, чтоб он отцепился от железки, но все впустую. Думаю, из-за престижа не захотел перепоручить командование группой мне, а с ориентировкой, как я не раз убеждался, у него нелады...

- Увольте меня от ваших психологических изысканий, излагайте факты, - окоротил меня Лабутин.

- Хорошо, факты так факты. При выходе на северную окраину Котельникова, куда мы не должны были выходить, я увидел кишащие там танки. Зенитки всех калибров не дремали, ибо видели нас издали, и мне пришлось основательно раскачиваться с крыла на крыло... - сказал я со злым нажимом. Лабутин сверкнул на меня исподлобья глазом, но промолчал. Я продолжил: - Щерба

же маневра не делал, жался к земле, а поскольку стреляли нам в лоб, то, естественно, мазали. Чтоб увидеть цель, нужно было сделать «горку» и атаковать с левым доворотом, я Щербе подсказал. Он ответил: «Так и сделаем» - и тут же, как нарочно, полез зачем-то в высоту, подставил себя под прицельный огонь. Огонь был гибельный. Только тот, кто умышленно ищет смерти, отважится откалывать такие номера. Он буквально развалился в воздухе.

Я проскочил опасную зону у земли на повышенной скорости со скольжением, обстрелял и ударил эрэсами по домам справа и слева от колодца и удачно отбомбился четверкой. Группа потрепана, раненых нет, цель, полагаю, накрыта.

- А сфотографировать не догадались?

- Виноват! Не удосужился спросить начштаба, организована ли в полку доставка пленки с того света...

- Не острите! Вы свободны.

За дверью, опустив голову, стояла Надя. Поглядела на меня мокрыми глазами, тихо спросила:

- Правда, папа больше не прилетит?

- Правда, девочка, - подавил я вздох и пошел на КП. Надя засеменила рядом, заглядывая мне в лицо. Что-то ее мучило. Я остановился, спросил:

- Что ты, детка?

- Папу фашисты убили?

- Да.

- А почему вы не убили фашистов?

- Я их убил.

- Тех самых?

Губы у девочки задрожали, лицо скривилось, и она заплакала беззвучно. Мое сердце сжалось от недетского этого плача, страшно стало. Я подхватил Надю на руки, прижал к себе и отнес в землянку оружейниц.

Несколько дней она не показывалась ни на стоянках, ни в летном общежитии. Клавка сообщила, что бедная девочка заболела, никого видеть не хочет, не ест - слишком тяжелые удары обрушились на ее маленькое сердце. Видать, Лабутин был прав вначале, когда хотел отправить ее в детский дом, неподходящее здесь место для малых ребят.

Явилась она у нас опять неожиданно, после полетов. Сидела на табурете отчужденная, положив задумчиво руки на колени и смотрела на пламя в печке. Летчики входили, заговаривали о ней, пытались развлечь. Кто даст сахара кусочек, кто еще что-нибудь, погладит по голове. Надя отказывалась, но все же принимала гостинцы и складывала на разостланный платочек - лоскуток

шелка от немецкой светящейся авиабомбы. У нас как-то язык не поворачивался шутить с Надей, как бывало прежде, и она отвечала односложно, то и дело поглядывала на дверь, словно хотела уйти и не решалась.

Почти все были в сборе и уже начали укладываться на нарах, где в последние дни появились свободные места, когда вошел Муханов, Увидев Надю, поприветствовал с порога и, повесив на гвоздь планшет с шлемофоном, принялся стаскивать с себя остальную амуницию. Я обратил внимание, как сутулившаяся на табурете Надя разом выпрямилась, сняла руки с колена и стала смотреть только на вошедшего. Закончив раздеваться, Муханов остановился перед Надей, развел виновато руками:

- Не принес ничего, извини,

- Не нужно, у меня вот запас, - показала на свое добро в платочке.

- А почему спать не идешь?

- Я ждала вас.

- Меня?

- Дяденька Станислав, будьте моим папой, - молвила негромко и сунула порывисто ладошку в его руку.

Станислав вздрогнул. Мы затаили дыханье. Это не каприз ребенка, не шутка - это очень серьезно. Девочка тоскует, не понимает, чего ей недостает, и мечется со своей болью. Когда-то у нее была мама, они ехали в кузове машины и было очень холодно, а кругом горели дома и кто-то громко стрелял. А когда бомба убила маму, все закричали и бросились бежать. Надю подхватил старый дедушка, потом он сел на землю и сказал: «Беги сама». Она побежала, потом еще долго шла и плакала, ей жалко было маму и хотелось есть. Возле дороги стояли самолеты, она спустилась в землянку погреться, а когда пришло много летчиков, она увидела среди них папу. Он ее не узнал вначале, и она не узнала его, но скоро догадалась, и ей стало хорошо с папой. А его убили фашисты. Она снова осталась без папы.

Почему в этот раз она выбрала себе в отцы молодого Станислава Муханова, понять было невозможно. Что-то ее к нему привлекло. Может, то, что он парень веселый, чуткий и честный даже в самых будничных мелочах Думается все же, дети гораздо проницательней нас, потому и ощущении их острее, и впечатления безошибочнее.

Не отпуская руки своего нового папы, Надя прижалась к ней щекой. Муханов густо покраснел, растерялся, не найдется, что отвечать, что делать. Взволнованное лицо заблестело. Смахнул рукавом гимнастерки бисеринки пота на лбу, нагнулся, поднял девочку на руки, поцеловал в щеку, сказал дрогнувшим голосом:

- Хорошо, Надюша, хочешь - буду тебе папой.

Опустил счастливо сияющую глазами на пол, буркнул в сторону:

- Надолго ли...

Прошло несколько дней, и штабной писарь сообщил, что готовит наградной материал на присвоение Щербе посмертно звания Героя Советского Союза. Лабутин расписывал так, что-де самолет подожгли над целью, а самого летчика ранили, и тогда он в полном сознании направил горящую машину на скопление врага.

- Как это? - окружили меня летавшие, на чьих глазах случилась трагедия. - Мы же видели, как он взорвался в воздухе еще на подходе к цели.

Не мог и я не согласиться, что это липа, вредная выдумка, позорная к тому же: гибель человека используется для показухи. Это сильнее любой заразы разлагает души молодых воинов.

О наших разговорах тут же донесли Лабутину. Он вызвал меня, спросил укоризненно:

- Вы что же, против того, чтобы в полку были Герои?

- Не против, если Герои истинные.

Глаза Лабутина забегали.

- Странно вы себя ведете. Вместо уважения к памяти павшего товарища, своего командира, вы оплевываете его! И не стыдно? Или вас тревожит его слава?

- Меня тревожит ложь.

- Если и есть какие-то отступления от истины, то они только на пользу. Они поднимают дух всего коллектива полка.

- Это что-то новое... - сказал я. - До сих пор было известно, что ложь подкашивает людей, да и вы это знаете прекрасно и все же...

Сжав сильными пальцами виски, Лабутин помолчал в раздумье. Вдруг выпрямился, мрачно подчеркнул:

- Щерба на моей совести, тут ничего не попишешь. Не нужно было проявлять мягкотелость, пускать его в последний вылет, но очень уж просился он. Я ошибку свою осознаю и ответственности с себя не снимаю. «Щерба очень просился? Что-то я не припоминаю такого...» Зато навсегда осталось в памяти его растерянное лицо с печатью обреченности. Но раз командир сознает собственную оплошность... Ведь он верил в Щербу, как летчиком нахвалиться не мог.

- Разрешите идти? - поднялся я. Лабутин жестом велел подождать, снял трубку телефона управления дивизии, попросил начальника штаба, сказал ему:

- У вас лежит на меня наградной материал, прошу пока

движения ему не давать. Почему? М-м-м... По некоторым моральным соображениям. Нет, личного порядка. Да, настаиваю. Доложу лично при встрече.

«Наградной материал? - удивился я. - А за что, собственно, награждать Лабутина? Ведь ни единого боевого вылета не сделал! Может, за выдающиеся организаторские способности? Не иначе как за участие в полковой самодеятельности...»- осенило меня.

- Вот так, - повернулся Лабутин, кладя трубку. - Я знаю, среди летного состава есть шептуны, недовольные тем, что командир полка не летает на боевые задания. Не надо возражать! - поднял Лабутин руку с растопыренными пальцами, хотя я и не собирался опровергать очевидное. - Наверное, - продолжал Лабутин,- шептуны забыли «Чапаева». В кинофильме есть мудрый эпизод, где, когда должен быть командир: впереди на лихом скакуне или позади на возвышенности, чтобы видеть все и всех. Для всего свое время...

«Зачем он мне это говорит?» - не мог я никак взять в толк. Понял лишь на следующее утро, когда в таблице боевого расчета вместо себя увидел фамилию Лабутина в качестве ведущего второй четверки. Первую группу возглавлял опытный замкомэска Брезицкий.

Группа улетела с задачей нанести штурмовой удар по скоплению самоходной артиллерии и автомашин возле Тормосина. А минут двадцать спустя над аэродромом возник одинокий штурмовик и, выпустив с ходу шасси, приземлился. Что-то неладное с ним. Видать, серьезное, коль сел поперек поля. Издали видно: кабина открыта, номера на фюзеляже не распознать, залит темным моторным маслом. Зарулил на стоянку командира полка. Ясно.

Бросаемся к нему. Лабутин стоит у самолета похожий на черта, каким рисуют его в сказках, размахивает руками и ругается. Он с ног до головы и моторном масле. Показывает на загаженный самолет:

- Лопнул, должно быть, провод, тьфу! Уж не повезет, так не повезет...

- И не говорите! Первый блин всегда комом...-сочувствуют ему скорее насмешливо, чем искренне, если судить по выражению на физиономиях. Уж больно похож сейчас бравый Лабутин на мокрую курицу. Такими зрелищами балуют нас нечасто.

Сопровождаемый эскортом техников, он удаляется в их землянку отмываться, а ординарец убегает за сменой белья и чистым обмундированием.

Налетался...

Следующим утром погода опять нелетная, а мне и

Брезицкому персонально боевое задание: полет парой на разведку. «В интересах высшего командования», - подчеркивает Лабутин, поднимая с почтением кверху глаза. Лететь бреющим далеко на юг вдоль Сарпинских озер до Батыр-Мала, затем по речке Сал до железнодорожной ветви на Цимлянскую, дальше на север по Дону до речки Чир с выходом на восток. Этак километров шестьсот с гаком, почти на полную выработку горючего.

Летим. Держим высоту метров тридцать - пятьдесят. По всему маршруту тьма вражеских войск: самоходки, танки, машины. Едва успеваю отмечать на карте условными значками. Возле Цимлянской встречают нас горячо и дальше обстреливают беспрестанно всю дорогу. А уж возле Нижне-Чирской так и вовсе нечто немыслимое сотворили нам, адово-жаркое, когда мы выскочили на переправу, которой там не существовало. По раскрошенному льду перекинут понтонный мост, по нему движутся немцы. Опять в сторону Сталинграда.

Переправа - кровеносный сосуд войск, ее охраняют, как собственное сердце. Напоролся - запоминай, что успеешь, тут не до рисунков на карте, дай бог самому выбраться из огня! Попадают бомбами по ниточке переправы с полукилометровой высоты только в кино...

Пробоины же в моем самолете настоящие, не киношные. Поставили в ремонт, ну а мне, «безлошадному», куковать. Разве что Лабутин уступит свой «ил», отмытый после вчерашней странной неприятности с маслопроводом...

Из дивизии приказ: понтонный мост уничтожить немедленно. При постановке задачи Брезицкий предложил сделать это комбинированным ударом штурмовиков и пикировщиков Пе-2. «Илы» подавляют зенитные установки, а бомберы, у которых специальные прицелы, «ставят мост на дыбы»...

Лабутин, поморщившись, проворчал:

- Стратегов домашних развелось - самому впору стать на дыбы... «Пешек» им, видите ли, подавай! А дирижаблей не хотите? С каких это пор штурмовики разучились уничтожать переправы?

Все. Лабутин не станет просить пикировщиков, это совершенно ясно. Не станет потому, что дал слово командованию: мост разобьет именно его полк, под его руководством. А командир дивизии ставит Лабутина выше других, считает примером исполнительности и усердия. Так будет ли Лабутин портить себе жизнь сомнительными выдумками? Даже но столько сомнительными, как хлопотливыми, канительными? Представать перед командованием в роли просителя? Задание ясное, и

никаких сомнений быть не может. Любой ценой переправа должна быть уничтожена. Затем он, Лабутин, и возглавляет гвардейский полк, чтобы но отступать перед обыденными трудностями. Родина и высшее командование оказали ему доверие, он оправдает его во что бы то ни стало.

- Что, у нас нет своих мастеров бомбометания? -- воскликнул Лабутин с вызовом. Взгляд его скользнул по нашим лицам и задержался на комсомольском секретаре Муханове. Тот чуть побледнел и резко вскочил. Кое-как сколоченный стол чуть не опрокинулся. Муханов не заметил неловкости, вытянулся.

- Что, младший лейтенант? - спросил Лабутин с задором.

- Разрешите моей группе выполнить задание!

- Слышали? - обвел Лабутин КП победным взглядом и, выгнув левую бровь, повернулся опять к Станиславу. Он откровенно любовался лицом летчика, как бы застывшим в порыве самоотверженности. - Р-р-разрешаю! - выдохнул Лабутин весело.

Неумная, опасная затея. Вместо грамотного решения задачи полет на авось. Война в пользу врага. Это не боевая операция, а самопуск крови по дешевке. Эх!..

Командный пункт пришел в движение, началось выполнение боевого приказа.

- Пойдем, - позвал меня Брезицкий, - и мы отправились на стоянку группы Муханова. Станислав собрал летчиков, и Брезицкий детально объяснил, где, что видели мы в разведке и как, на его взгляд, следует осуществить удар по обьекту, как выходить из атаки, давить огонь зенитных батарей, строить оборону против истребителей противника, чтобы «мозги не встали дыбом»...

Муханов вернулся через полтора часа. На самолетах не было живого места, исхлестаны от хвоста до винта. Доложил угрюмо:

- Переправу разбить не удалось, ее не оказалось на месте.

- Как то есть? - вскинул брови Лабутин.

- Очевидно, ее перетаскивают туда-сюда тягачами. Такие фокусы не впервой.

- Ерунда! - вспылил Лабутин. - Вы просто не нашли мост!

- Я нашел мост. Но пока я его искал да разворачивал группу, времени точно прицелиться не хватило.

- Н-да... Видимо, придется самому командиру полка лететь, - покачал головой Лабутин. - Придется, раз у летчиков кишка тонка. Если гвардейцы не знают, что такое подвиг во имя Родины!

Это уже оскорбление. Оно вызвало глухой ропот.

- Разрешите! - сказал негромко Муханов, нагнув побычьи голову. Его смуглое лицо стало желтым, не лицовыгоревшая на солнце бумага. - Последний раз... - добавил он, глядя в землю.

«Последний раз? Что он говорит?»

Я заглянул ему в лицо. Невиданная маска: бесшабашно-отчаянная, человек, вызвавший самого себя к барьеру... О! Как знаком мне этот порог неизвестности! И как некстати вспомнился Щерба, его лицо перед последним вылетом... Какие разные отцы у одной дочери! Муханов вышел. Брезицкий безнадежно покачал головой. «Все, все дыбом...»

На полуторке, доставившей на старт термосы с обедом, приехала Надя. Выпрыгнула из кабины, застрекотала, увидев меня:

- А мы с тетей Надей все самолеты посчитали, когда они улетели. А потом, когда прилетели, тетя Надя сказала; «Слава богу». А где мой папа?

- Папа готовится к заданию, - показал я на самолет Станислава. Он увидел ее из кабины, заулыбался вопросительно.

- Папа, мы пришли провожать тебя!

- Лучше бы вы шли обедать. Сегодня знаете какой компот? О-о! - подмигнул он мне.

- Да, пошли, - потянул я ее за руку. - Не будем ему мешать.

- Погоди! - окликнул он меня. - Тебе все так же нравится мой картузик?

- А что? - переспросил я, ожидая подвоха. Дело в том, что такой фуражки, как у Станислава, в полку больше не было. Он раздобыл ее где-то в тылу, когда летел на авиазавод за самолетом. В ней фотографировался весь личный состав, в том числе и те, на чью голову никакими силами невозможно было ее напялить. Станислав протянул мне знаменитый картуз:

- Носи и вспоминай меня иногда...

- Ты что! - испугался я. - Ты это брось! Слышишь? Ишь ты! Дудки! Сам ее носи! До победы!

Муханов посмотрел на меня, на фуражку, пожал плечами и швырнул в бурьян. А мне словно камнем в грудь швырнули.

Спустя полчаса группа улетела на кочующую переправу. Назад не вернулся ни один. Лабутин метался у «Т», никто не осмеливался подойти к нему.

Смурое небо на западе... Цигарка за цигаркой, больше нет ни крупицы надежды, и все же летчики толкутся у КП, ждут. Стало темнеть, луна высунула из-за кряжа тусклый косой лик, мешая лучам маяков показывать путь ночным пилотам, рыскающим по небу. А Лабутин все еще бегает вокруг «Т» с флажками в руках. Мы видим: к нему подходит Брезицкий, что-то говорит, машет рукой на запад, Лабутин, резко жестикулируя, бросает флажки на землю, размахивает над головой руками. Брезицкий снова показывает на запад и быстро удаляется.

Полк поникает в скорби. В одном вылете погибла вся группа. Такого не было никогда. Что произошло там, на злосчастной переправе?

Ночью не спалось, мысли, объясняющие события, в голову не приходили. Тощий матрасик, свернутый трубкой, лежал рядом со мной. На него никогда уже но ляжет веселый человек Слава Муха. У него и гроба нет, как у других, по земле ходящих людей. Не будет его и у меня, и ни у кого из нас не будет. Потому что мы, летчики, умираем не от старости, не на домашних постелях.

Потолок, низкий, шершавый, из плохо оструганных досок, давит, как крышка гроба, в окно-амбразуру вползает синяя тьма, растекается по землянке. Место слева от меня «освободил» Лабутин, освободил от Муханова. Убили Славу немцы, а бросил им на съедение он, организатор, исполнитель, руководитель.

Когда вечером к нам, как обычно, заявилась Надя, ей сказали, что папа Слава остался на аэродроме подскока возле передовой.

- А когда он вернется?

Мы промолчали, только Брезицкий, погладив ее по плечу, повернул ее к двери:

- Иди, Наденька, спать, мы сегодня налетались, устали.

Уходя, девочка неплотно закрыла дверь, и светлая полоска щели запрыгала у меня перед глазами.

- Ну, кто следующий на очереди? Кто пойдет Наде в папы? - раздалось мрачно из угла.

Кругом натянуто засопели, лишь Брезицкий негромко вздохнул:

- Видать, мой черед...

- Какой черед! - вскрикнул я с возмущением. - Прекратите, в душу вашу!..

- Какой черед? - прищурился на меня Брезицкий.- Быть Наде отцом. И только. Я не вытерпел, схватил куртку, распахнул дверь ударом ноги и выскочил наружу.

Утром в первом полете мне повезло: попалась настоящая цель для нашего брата штурмовика, фашистская мотомеханизированная колонна. Танки двигались не по дороге, а прямиком степью к речке Мышкова. Вот когда сердце мое взыграло!

«Бьем, братва, самые что ни на есть отборнейшие, «божественные» «панцерны», в бога их, в гота их мать!.. Пожгли нас вдоволь, теперь горите сами! Вы хотели сжечь наши души, нашу веру в свои силы, ан нет! Мы в тяжкое для нас время только и жили верой в нашу правду, в нашу победу».

Разворачиваю группу к фашистской колонне под острым углом - и пошел щелкать по выбору. Цель - перекрестие прицела -

глаз... Такое не забывается никогда. Минуты наивысшего напряжения, когда видишь затылком, спиной, всем телом, когда успеваешь все. Ведомые в хмельном азарте. Атака! Жуткий восторг боя. Пушки! Эрэсы! Бомбы!

- Огонь, старики! Огонь! - командую, подзадоривая. Вокруг разрывы. Шапки дыма, пунктиры огненных трасс. - Маневр! - По нам садят все калибры. Ага! Завертелись... - Панцерн танцен, туды вас! - Нажим на гашетки.-«Горбатые»! Вон там слева серое... видите? Тоже танки, всыпайте им! - Хорошо горит броня... И дым и пламя... - Так, старики, еще заход по колонне! Они опять прут на Сталинград!

Мазутно-черный частокол поднимается в небо, адская свечка эсэсам... Жаль, боезапас кончился. «Ну, ничего, сейчас вам подкинут другие...» Созываю ведомых, по пути на аэродром передаю о подвернувшейся цели, работы хватит на всех.

К моменту моего возвращения подготовилась следующая группа. Я перескочил на чужой самолет и повел восьмерку на знакомую колонну фашистской танковой армии под командованием известного генерала Гота.

- Надо поспешить, ребята, пока армада не разбежалась. Этот Гот получит у нас тод (смерть - нем.)... - покаламбурил я под хорошее настроение.

Тем временем на аэродроме объявили аврал. На помощь оружейникам бросили все службы подвозить боеприпасы, подвешивать эрэсы и бомбы, чистить, заряжать пушки, пулеметы. «Вот это жизнь! Вот это война!» - восклицал Лабутин, хлопоча и распоряжаясь. Он уже дважды сообщал в штаб дивизии о необычной конвейерной работе. Неожиданно его вызвал к телефону сам командующий воздушной армией.

- Что у вас творится, подполковник?

- Товарищ генерал! Работаем конвейерным способом: одна группа уходит от цели, другая - заходит. Держим мехколонну под беспрестанным огнем.

- Как противодействие истребителей противника?

- Наши «маленькие» контролируют воздушное пространство.

- Молодцы! Приказываю не снижать активности ни на минуту! Передайте личному составу благодарность. Всех представьте к наградам!

- Ваш приказ, товарищ генерал, будет выполнен во что бы то ни стало.

И Лабутин, исполненный служебного рвения, гордый оказанным ему высоким доверием, помчался на старт подстегивать замешкавшуюся группу.

Все слетали уже по два раза, я со своим звеном - трижды. Вот

Брезицкий выруливает на взлетную третий раз. Самолеты выстраиваются на старте. Вдруг от КП замахали руками, кричат что-то, показывают в небо. Ого! Над аэродромом «гости». А зениток на нашей точке базирования - раз, два, и обчелся. Ситуация опаснейшая, «мессершмитты» барражируют над головой, в любую секунду могут расстрелять нас на земле или на взлете. Надо немедленно расползаться со старта, разруливать самолеты подальше друг от друга. О взлете и речи не может быть, аэродром блокирован намертво.

Но почему так спокоен Лабутин? Почему ведет себя как ни в чем не бывало? Неужели не видит, что над ним повисло? Почему-то вдруг мне приходят в голову его слова: «Жалость на войне-абсурд! Пожалеешь одного, тысячи за этот миг издадут предсмертный стон». А что за этими словами? Неужто он собирается... Неужто хватит духу послать в воздух ничего не подозревающего Брезицкого? Это же убийство!

Я вскочил на сиденье и закричал так, что, казалось, меня слышали без радио на всем аэродроме. Но кто слышит что-либо на взлете! Я дал красную ракету - тщетно. Шлепнулся обратно на сиденье, нажал поспешно на гашетки пулеметов, чтобы трассой привлечь внимание, одновременно крича по радио, что над аэродромом истребители противника. Но тяжело груженные бомбами «илы» начали разбег. Они оторвались от земли, убрали шасси, и тут на глазах оцепеневшего полка пара пушечных «Мессершмиттов-110» свалилась с высоты на Брезицкого и последнего в строю летчика. Выстрелы, взблеск пламени на земле, судорога от взрывов... Все.

«Мессы» взмывают в высоту, на юго-западной стороне в солнечной дымке мелькают едва приметные черточки. Сейчас они обрушатся на мою группу, я - как на витрине. Разруливать самолеты поздно. Что делать? В трудные минуты глаза невольно обращаются в сторону старшего. Оглядываюсь на Лабутина и... не верю себе. Что это? Зрительная иллюзия? Галлюцинация? Еще дым не рассеялся на месте гибели Брезицкого и его ведомого, а Лабутин уже приплясывает от нетерпенья с флажками, машет, приказывая взлетать мне. Уж не сошел ли он с ума? Он и мою группу толкает под фашистские пушки!

Машу ему остервенело, тычу руками в зенит, но он с маниакальной непреклонностью режет флажком воздух, требует немедленного взлета.

«Жалость на войне -абсурд!»-мотнулось в голове кредо Лабутина. Сквозь рокот собственного двигателя мне уже слышен вой пикирующих истробителей. Выскакиваю из кабины и - под мотор, под броню. Ведомые следуют моему примеру. Грохот

рвущихся снарядов смешивается с треском пушек и ревом истребителей. Крепко мстят они нам за танковую колонну...

Первый немец промазал, второй будет исправлять промах. Меня корежит от собственного бессилия. Лабутин лежит на поле распластавшись - убит, должно быть.

Вдруг «убитый» вскакивает и несется ко мне. Лицо искажено злобой.

- Почему не взлетаете? - не кричит, а шипит он. Слова я разбираю по движению серых губ. - Невыполнение приказа в боевой обстановке?! - восклицает Лабутин зловеще и сует мне в лицо пистолет. - Расстрел на месте!

Оглушительный грохот, рвущиеся снаряды прорезают мой самолет вдоль фюзеляжа. Проносится силуэт «мессера» и другая очередь - испуганный стук собственного сердца бросает меня на взлетную полосу: поперек нее бежит Надя. Я несусь стремглав навстречу, ору: «Беги назад!»-и подхватываю ее на руки, когда уже свистят осколки свирепствующих «мессов». Меня обжигает выше колена. Надя коротко вскрикивает - и тельце бессильно повисает на моих руках. Липкая кровь теплой струйкой стекает по ладоням. Девочка без сознания. Я больше не бегу, не смотрю на вражеские истребители, не смотрю на наши покалеченные самолеты, на Лабутина, спрятавшегося между колесами под броней двигателя. Стиснув зубы от режущей боли, мокрый от мгновенно выступившего пота, хромаю через поле и зову: «Наденька... Наденька... Наденька...» Я поднимаю ее, слушаю, бьется ли сердце, есть ли дыхание...

В небе над нами утихает, «мессеры», израсходовав боеприпас, улетают. Показывается наконец санитарная машина. Но раньше догоняет меня Лабутин. Он не спрашивает, что с ребенком, что со мной, хотя видит кровь, капающую на траву. Он заглядывает с тревогой мне в лицо. Его глаза - одни горячие зрачки. Хмурясь, говорит что-то. Слышу словно сквозь вату;

- Инцидент не должен стать достоянием коллектива. В наших обоюдных интересах. Мы оба погорячились, так что давай забудем... Мне искренне жаль девочку.

«Вон оно что! - думаю. - Жалость на войне - абсурд, а сам чего просишь? Впрочем, жалостлив бывает и мясник...»

Мое молчание он расценил, очевидно, как согласие, похлопал меня доверительно по плечу;

- Ладно, хочешь летать со мной ведомым? Повоюем вместе...

Я хотел было спросить: «Повоюем, сидя на КП?» Но сдержался, сказал только:

- В сапоге у меня кровь хлюпает...

Подъехавшая «санитарка» отвезла нас с Надей в лазарет.

Через сутки, опираясь на палку, возвращаюсь в общежитие. Надя остается в лазарете.

- Ну, - спрашиваю летчиков, - кто следующий пойдет в отцы?

- Иди ты со своей Надей знаешь куда?! -заорали на меня.

- От такой детки наберешься бедки...

- Это ж молотилка!

- Как к кому прилипнет, так тому конец...

Что летчики суеверны, мне давно известно, но чтоб до такой степени...

- Ослы вы Буридановы, - говорю, - мистики-мракобесы! Да будет вам известно, ежели на то пошло, опасно оказаться лишь тринадцатым по счету! Но коль вы такие трусливые, девчонку удочерю я.

- Брось чудить, ее надо отправить в детдом.

Но я не стал прислушиваться к советам доброжелателей, мы с Надей стали роднее родных: наша кровь смешалась навсегда.

Так и не пришлось мне летать с Лабутиным. Тяжелые потери в полку вызвали недовольство командования. Несколько дней подряд его вызывали в управление дивизии, затем - армии. Возвращался он от высокого начальства понурый, растерянный. Мужественные складки на щеках сделались глубже, самоуверенность в глазах сменилась тревогой. Однажды всезнающий писарь шепнул нам, что Лабутин от командования полком отстранен. А мы тем временем с рассвета дотемна молотили немцев.

Нет Щербы, нет его заместителя Брезицкого, теперь я самый «старый» в эскадрилье, «один в трех лицах» - командира, его зама и ведущего звена. Нагрузочка, надо сказать... Нужно натаскивать молодых, водить группы на цель, проводить занятия, - в общем, делать главное в вашей жизни - воевать.

Наш взгляд устремлен в будущее. Между боями используем каждую минуту, занимаемся зрительной зубрежкой: по картам изучаем предполагаемый район будущих боевых операций. Как далеко передвинулся он на запад!

- Полный разгром! - орет молодой пилот, мой ведомый, выскакивая из самолета на стоянке. Мы только что вернулись с боевого задания. Летчик возбужден, он захлебывается от неосознанного восторга. Он срывает с влажной головы шлемофон и, размахивая, чертит в воздухе крест. - Я такого еще не видал! - шумит он и смеется удивленно, совсем по-мальчишески.

- Он не видал!..-отзывается кто-то из подошедшихк самолету, иронически нажимая на «он». - Тут, слышь, все такие: надеялись, старались...

- ...зато и дождались! - подхватывает третий. - Горят коробки

фашистские, аж солнце копотью покрылось!

- Сейчас главное - не давать им спуску, бить по, зубам и гнать, и гнать до самой границы!

Это опять мой восторженный ведомый. Радость, и ненависть, и гнев сплетаются в его сознании воедино.

- Чего распетушились? - окоротил я их, «познавший к тем временам превратностей без счета».

- А что нам, унывать?

- Унывать не надо, только в нос задирать в зенит не след. Вы считаете: враг разгромлен, враг бежит, враг струсил - правильно. Только до конца он еще не разбит. Еще долго придется выбивать из него блох, так что держите ушки на макушке...

- Э! Ничто! Где жизнь алтын, там смерть копейка..

- Теперь - ничего, теперь - управимся, больше нас врасплох не застанут. Никогда!

Вы спросите: а что же с Надей?

Кого интересует, приезжайте в Сталинград, то бишь Волгоград, и посмотрите сами. У меня есть внучка, ну точь-в-точь как ее мама Надя, какой она была в ту далекую зиму 1942 года. Живут они на улице Советской Армии в доме номер... Впрочем, таких людей много и в других домах. Судьба Нади - судьба поколения детей войны, бродивших по дорогам лихолетья в поисках своих отцов.

«ОХОТНИКИ»

Говорят, охота пуще неволи...

Я в «охотники» набивался сам, хотя каждый полет на «охоту» был похож на бросок к собственной гибели. Со стороны это выглядело, очевидно, вызовом. На меня посматривали искоса и ухмылялись - дескать, ишь, шустряк какой, лезет поперед батьки... Особенно выразительно кривились губы у капитана Бабакова, но я на эти беспричинные выпады - ноль внимания. Мне с кем бы ни летать, лишь бы летать.

Потому и скользили так часто под моим крылом обширные степи Кубани, где никнут под ветрами серые травы-ковыли, где дороги, кажущиеся издали безлюдными, внезапно взрываются шквальным огнем. Я - охотник, а это мои охотничьи угодья...

Не раз мельтешили подо мной присыпанные снегом терриконы мертвых шахт Донбасса, кричали пустыми провалами окон, словно черными ртами, разбитые строения Сталинграда, краснели ржавчиной сваленные под откос скелеты сгоревших поездов от Харькова до Краснодара, тянулись бесконечные разливы зеленых полей Украины с голубыми глазками озер, с колокольнями белых церквей, с мерцающими извивами рек и речушек...

Все это мои охотничьи угодья.

Тянуло меня на «охоту» еще и потому, что я, молодой летчик, жаждавший подвигов и приключений, был лишен свободы действий. Меня зажимали со всех сторон жесткими и, как мне казалось, мелочными ограничениями уставов, инструкций, наставлений, В таких условиях само понятие «охота» действовало магически. Еще бы! Столько возможностей для самовыражения, так сказать...

Мой командир и ведущий Алексей Бабаков относился к придуманному нами тактическому приему «охоты», мягко говоря, без энтузиазма. Для него война - тяжелая работа безо всяких там романтических красок и прочих оттенков и, как всякая работа, имеет свои зафиксированные и утвержденные технологические приемы и правила техники безопасности. Реалист до мозга костей, Бабаков, как ни странно, становился временами чувствительным до сентиментальности, остро и болезненно переживал долгое летнее отступление, большие потери, держался замкнуто, очень любил деньги, кошек и пел вечерами под гитару заунывную переделку известной песни на авиационный лад: «Напрасно старушка ждет сына домой в кожанке с двумя кубарями...»

Зальешься горючими слезами от такой «жизнерадостной» самодеятельности. В пику Бабакову я выдумал другую песенку с молодецким присвистом: «Ох, крепки друзья-штурмовики! С «мессершмиттом» справится любой. Согревай нас жарко, фронтовая чарка, завтра утром снова в бой!»

Бабаков послушал, хмыкнул презрительно:

- Грозилася синица море запалить... Кто с кем справится - это еще бабка надвое гадала.

Был мой ведущий человеком весьма практичным, куда нам до него! Идет, бывало, по аэродрому прямой, с вытянутой, вечно забинтованной шеей, пилотка за поясом, ветер ворошит густые светлые кудри, бледный рот сжат, уголки приспущены. Удивительно выразительное лицо! Ему бы натурщиком быть, олицетворяющим собой определенный человеческий тип или что-то в этом роде.

Его голос, когда он меня поучает, звучит устало и раздраженно:

- Чудак-рыбак! Столь любезная сердцу твоему «охота» - всего лишь тонкая ниточка для поддержания штанов, она делу не поможет, все равно упадут... Немцев надо давить мощью, массой, техникой, как они нас давят сейчас, а не всякими чепуховскими затеями.

- Почему бы вам не изложить свое мнение высшим инстанциям, если этот способ не по душе? - спрашиваю я. - А между тем вы летаете на «охоту» без всяких возражений и оговорок.

Бабаков глядит куда-то вдаль, буркает:

- Тут ничего не докажешь. На безрыбье, как говорят в Одессе, и зад соловей... Меня никто не спрашивает, что мне нравится, а что нет, надо - и все. Эффективность ударов - тьфу! А потери? Где твой друг Челенко? Пропал без вести на «охоте» в калмыцких степях. Где Корнин? Задел за бугор на предельно малой высоте, «охотясь» южнее Ставрополя. Где Уханов? Разломался надвое от попадания среднего калибра, когда возвращался на «брее» с «охоты». Где Гуаров, Ременчук, где остальные лихие «охотнички»? Всем конец. И все - на малой... Потому и бегают мурашки по спине от такой арифметики.

Все, что говорит Бабаков, фактически верно. Дорогой ценой расплачиваемся мы за неумение воевать. Правильно и то, что я рвусь в бой, не понимая сложности заданий, не думая, чем любое из них может для меня закончиться. Все это правда, я еще не переболел болезнью, которую командир отряда в авиаучилище называл «глупостью неведения».

Однако я знаю (проверял не раз), что неведение порой бывает

полезным. Пребывая в этом блаженном состоянии, я не представляю препятствий, поджидающих меня на пути к поставленной цели, и потому пру напролом, надеясь на случай, тот самый случай, о котором еще Шекспир говорил, что он может быть «несчастьем для дураков и провидением для умных».

Для подражания я ищу умные примеры. Взять того же «охотника» Ведерникова. Это он, а не какой-то неизвестный из другого полка вогнал «сотку» с замедленным взрывателем в трубу водостока под железнодорожной насыпью. Счастливая случайность или сверхудачное прицеливание? Поди-ка узнай! А бомбу всадил - как там и была! И сам вернулся без царапинки.

А может, все это умышленно приписали ему, чтобы нас, кто помоложе, подзадорить, придать уверенности, взъярить? Но ведь не один Ведерников умеет шуровать так на малых высотах, разве сам Бабаков плохо стреляет и бомбит? В бою он тигр - и, как тигр, осторожный. Не любит лезть боком на гвозди, не кидается сломя голову, как некоторые... С ним летать можно, и поучиться есть чему.

Правда, любители перемывать косточки ближним болтают, дескать, он с пунктиком... А другие чем лучше? Или остальные безупречно кристальные? Так идеалов не бывает.

Бабаков старше меня, семейный, в Новосибирске у него жена и дети. Таких женатиков, как он, несколько в полку, все посылают домой деньги по аттестатам, кроме моего командира. Всезнающие канцеляристы из штаба полка треплются, будто он кладет свое жалованье на сберкнижку здесь же, на фронте. Оттого и слывет самым состоятельным человеком в части. И самым скупым. Черта с два вытянешь из него взаймы хотя бы грош! Но если попрошу я - пожалуйста. Лично мне деньги ни к чему, нанимаю для нуждающихся: он - мне, я - им, вроде ретранслятора орудую. Причем Бабаков прекрасно знал о моих финансовых махинациях, по, помнится, всего лишь раз отказал мне в ссуде, и то, вероятно, потому, что сумма показалась довольно крупной.

Просил я тогда для Захара Мочкина, или, как мы звали его, Замочкина. Был такой летчик нескладный. Не летчик, а тридцать три несчастья. Воевал-то всего ничего, а умудрился совершить 12 вынужденных посадок. И все из-за неисправных, расхлябанных моторов, выработавших ресурс. Захар - страх как переживал, охал, ахал, жаловался на ужасное невезенье, изводил нас своим нытьем. Зануда, в общем-то, был порядочный. Я решил его утешить как-то, говорю:

- Зря ты грешишь на судьбу, вспомни лучше, то ли еще бывало на заре авиации! Вот, к примеру: во время гражданской войны послали одного летуна из Анапы в Тихорецк на «Фармане»

то ли на «Ньюпоре» - точно не помню, знаю лишь, что расстояние - гулькин нос, километров сто пятьдесят. И что ты думаешь? Пилотяга тот за один только рейс совершил девятнадцать вынужденных посадок! Рекорд до сих пор остался непобитым. Вот на каких аэропланах летали наши деды в трудную пору! Разве сравнишь с нашими? Или взглянем с другой стороны. Предположим, ты молодой шофер, только вылупился. Кому дадут лучшую машину - тому, кто отправляется в дальний рейс или кто отирается возле гаража? Вот то-то и оно, Замочкин, а ты все на судьбу-индейку валишь. Зря обижаешься. Ты глубокую разведку ведешь? Нет. А вынужденная посадка у переднего края - пустяк. Свои же технари эвакуируют, отремонтируют да еще в кабину тебя посадят. Другое дело - полетит во вражеский тыл «охотник» на подержанном самолете и произойдет отказ. Тогда уж кранты... На ремонт притащат разве что на фирму Мессершмитта...

В общем, в то время этому Замочкину понадобились хрустящие бумажки для тяжело захворавшей матери. Написала, что совсем стадо худо, ни полушки за душой. Может, сын пришлет малую толику на дрова да на картошку.

Другой бы переживал про себя, стеснялся горюниться на чужих глазах, а Замочкину ничто, носится с письмом по аэродрому, как с писаной торбой, и сует каждому под нос, так что письмо от лапанья стало хуже тряпки. Всем плешь проел нытьем своим.

Поскольку он страдал хронической карманной чахоткой, мы, холостяки, не очень-то считавшие деньги, решили: доживем до получки и подкинем на картошку хворой мамаше товарища, а пока посоветовали ему обратиться к нашему полковому банкиру. Но Бабаков отказал. Тогда, как было уже заведено, посредническую операцию поручили мне, но на этот раз и я получил поворот от ворот.

А еще через два дня Захара Мочкина убили. Мы, конечно, не оставили его мать на произвол, пустили шапку по кругу и отослали ей собранное.

И с тех пор на Бабакова стали недобро коситься, шушукаться по-за углам: мол, у него прямо-таки собачий нюх на потенциальных покойничков, черта с два даст взаймы, кому предстоит сыграть в ящик. Я морщился, когда прокатывались так на его счет, во мне поднималось несогласие, хотя факты - вещь упрямая. Есть давняя житейская примета, я вспомнил ее применительно к своему прижимистому командиру. Денежки копит тот, кто рассчитывает уцелеть даже в этой затяжной и яростной сече, кто намерен жить долго и безбедно. Это намерение укоренилось в голове Бабакова так глубоко и крепко,

что перешло в уверенность, - очевидно, желаемое и действительное в его воображении достигли гармоничного слияния.

Вот почему мне по душе такой ведущий, с ним не пропадешь: сам будет жить и ты рядом с ним. Вот и сегодня обошлось благополучно, вернулись, В голове еще гудит эхо полета, а перед глазами... Перед глазами и ночью долго будет мельтешить свистопляска огня и свинца. На земле все переживаешь заново, но как бы в замедленном темпе. Разбираешь по деталям свои действия, выискиваешь ошибки, упущения. Если кто-либо скажет: «Тебе повезло», - это радости не приносит. Повезло - значит, немец не заметил в этот раз твою оплошность, не использовал и другой промах, по ведь раз на раз не приходится; то, что сошло с рук сегодня, завтра может обернуться по-иному... Правда, грубых просчетов у меня пока нет - мелочишки разные, но если их не изживать, они изживут тебя. И никакие твои волевые бойцовские качества не спасут. Потому и великое благо летать с надежным партнером, который и поддержит в трудную минуту, и выведет из огненного хаоса.

- Брось мне мозги пудрить! - взвился мой приятель, командир третьего звена Павел Щапов. - «Надежный... поддержит... выведет!..» - Лопочешь, как младенец глупый. Завести твой Бабаков - да, заведет, а вывести... Удивляюсь, как ты можешь летать с таким аспидом?

- Ну, это ты чересчур...

- Люди, вы только посмотрите на этого... - всплескивал Павел руками и отворачивался с презрением. - Ты что, с луны? Ба-ба-баковец обьявился! Черт бы подрал твоего скрягу! Это же... это же барометр кладбищенский - других слов не найду.

- Ну и ну!.. Ты еще обвини его в шашнях с ведьмами, не иначе как они информируют его о списках очередности в загробной канцелярии: когда кому из нас отдавать концы...

Не только Павел Щапов, были и другие летчики, смотревшие на Бабакова с неприязнью и опаской. А я жалел его. Жалел и сочувствовал. Надо же так мучиться бедняге! Зачирел человек, хоть караул кричи! Не успеет зажить один, как вздувается другой. И так без конца. Бабаков не снимает бинтов с опухшей шеи и поворачивается всем туловищем, точно волк. Подумать только, какие муки приходится испытывать человеку в полете! Тугие ремешки ларингофонов, между прочим, жмут изрядно, а кто не знает, что такое фурункул? Бывало, от одного на стенку лезешь, а Бабаков меньше чем десятком не обходится...

По логике, казалось бы: незавуалированные расчеты на предполагаемое долгожительство плюс изнуряющий хронический

недуг должны сказаться на поведении человека в бою, однако Бабаков не хитрил, не увиливал, не изворачивался. Верно, летать на «охоту» не любил и говорил об этом прямо, но если летал, то разумно. И еще не любил делать повторные заходы, атаковать сильно охраняемые объекты по нескольку раз: ударил, попал не попал, ушел - такова его формула боя. Будешь лезть нахрапом - убьют. Польза врагу: на самолет и на пилота станет меньше.

Сегодня опять плохая погода. Уже скоро сумерки, а нас - в дело: срочная «охота» вдоль железной дороги Минеральные Воды - Армавир. Линия фронта - ползучая, четко не фиксируется, где немцы, где наши - разбирайся сам. Летим с Бабаковым у самой земли, я - справа, ищем эшелоны. Бегут рельсы, мелькают шпалы, сваленные телеграфные столбы, сгоревшие полустанки - дорога пустынна. Вдруг картина резко меняется: вместо дороги - какое-то невероятное крошево. Рельсы закручены в штопор, раскиданы по обочинам, шпалы превращены в обломки, а там, где лежала насыпь, тянется уродливый ров. Нагляделся я всяких разрушений, но такого... Что за чудовище проползло здесь? Это какая же сила нужна, чтобы так искорежить, изуродовать крепчайшую конструкцию из металла и твердого дерева!

И тут я увидел его. Издали оно походило на огромного паука. К нему прицеплены два паровоза, тащат его по рельсам, а позади уже ни рельсов, ни шпал - полное разорище. Вспоминаю: нас недавно информировали о том, что у отступающих немцев появился особый путеразрушитель, это, видимо, он. Я едва успел рассмотреть адское сооружение, мы пролетели от него метрах в семидесяти. До чего ж изощренный ум у фашистских изобретателей. Выдумать такого дракулу!

- Бей по паровозам! - приказывает Бабаков.

Разворачиваемся с набором под облака и планируем на цель с малым углом. Струи огня текут из пушечных стволов. Нажимаю кнопку - из-под крыльев вырываются огнехвостые стрелы реактивных снарядов. Успеваю еще коротко стрельнуть из пушек по дракуле и выхожу из атаки рядом с ведущим.

- Теперь - бомбы! - командует он и добавляет: - Оглядывайся, однако...

Я и так кручусь-верчусь юлой без напоминаний, знаю, что на «охотников» тоже есть охотники... Вот бы фугануть сейчас бомбу прямо в дракулу! Ведь сумел же Ведерников попасть в трубу водостока! Прицеливаюсь старательней, чем на полигоне. Еще бы! На полигоне - люди свои, в худшем случае не получишь зачет, и только. А вот не получить зачет у врага - это все равно что получить от него благодарность.

Держусь рядом с Бабаковым, отставать - ни-ни! Чуть

замешкался - взорвешься на его бомбах: высота двадцать метров, а замедление немногим больше двадцати секунд.

Бомбы отрываются серией. Оглядываюсь: «Ху-у... Накрыли. От паучьей сцепки валит дым и пар. Слава те, отъездилась.»

- Домой! - приказывает Бабаков, и мы разворачиваемся на восток. Опять под крылом волнистая степь, покрытая тонким слоем снега. Отчетливо просматриваются черные извивы укатанной дороги, на дороге - две машины.

- Твоя задняя! - раздается в наушниках, Бабаков атакует ту, что похожа на пикап, должно быть штабную. Из нее выскакивают темные фигуры, разбегаются. Короткие очереди, вспухающий фонтанчиками снег, огненный взблеск от машины. «Отличное попадание» - отмечаю про себя и ловлю в перекрестье легковую: в таких разъезжает фашистское начальство. Ух, прихлопнуть бы какого ни есть фюреришку! Выцеливаю аккуратно, огонь! Довожу по трассе... ость! Трасса обрывается, попал! Но машина не горит. Жму опять на гашетки, едва с головой не влезаю в прицел, не горит, проклятая! Врешь, загоришься!..

Вдруг снежная белизна исчезает, камуфлированный корпус машины закрыл собой все бронестекло. Земля! Рву в ужасе ручку управления, но земля неотвратимо приближается; у самолета большая просадка. В груди холодеет. Земля уже - вот рукой подать, больше я ничего сделать не в силах, ручка управления добрана до пупа, а самолет продолжает падать. Чтоб жить, мне не хватает пяди... Воздушная струя от винта швыряет в форточку снежную пыль, сорванную с выступа земли. Я зажмуриваюсь в ожидании удара и... лечу. Лечу! Какая-то пядь, ничтожная мера, но она нашлась в запасе, и я живу. «Идиот! Разве тебе не известны особенности полетов над водной и снежной поверхностями? Или не знаешь, как их коварные красоты обманывают нашего брата, скрадывая предательски расстояние? Еще как знаешь! И все же оплошал, вошел в азарт, увлекся атакой и всего лишь в нескольких сантиметрах пролетел мимо той стороны... Как только ручку управления не отломал вгорячах - так яростно тянул. И откуда сила берется в подобные минуты?»

Рассказывают, был в двадцатых годах испытатель аэропланов, отчаянный летун - неотчаянным нечего было и приближаться к тогдашним летательным аппаратам. Устойчивость такая, что чихнул в воздухе - и сорвался в штопор. Мало радости висеть изо дня в день на волоске, нервное напряжение огромное, не снимешь его после работы, совсем умаешься, замучит бессонница, потеряешь трудоспособность, а там и до аварии - тьфу! На такие случаи у летуна находился запас водки во фляжке, он ее привязывал в кабине к дренажной трубке возле сектора газа.

Однажды аэроплан попал в режим вибрации - тогда еще не знали, что такое флаттер, - и развалился в воздухе. Испытателю оставалось только выброситься с парашютом, но, оставляя кабину, он вспомнил про фляжку и мгновенно схватил ее за горло. Однако ремешок оказался прочнее самолета... Летун дернул посудину сильнее - и опять безуспешно. А земля катастрофически приближалась. Тогда он, разозлившись, рванул изо всех сил, и на этот раз преуспел. Так и приземлился с фляжкой, зажатой в руке. Встал на ноги, посмотрел и глаза выпучил: вместо фляжки - сектор газа! Железяка, которую никакому силачу вовеки не оторвать!

Некоторые ухмыляются, не верят, а я верю.

Сегодня мы неплохо разделались с дракулой, жаль только, некому оценить нашу работу, по такова уж судьба «охотников». Противник подтверждения не пришлет, а свое начальство на слово не очень верит, требует фотографии - это документ. Впрочем, и фотография не документ, надо доказать, что сфотографированная цель поражена именно тобой, а не кем-то и что ты не приписал ее себе под шумок. Разумеется, говорить так, в открытую, не смеют, но достаточно посмотреть на физиономию начальника штаба, когда он записывает доклады «охотников» в журнал боевых действий, и все становится понятным... И нынче, чувствую, нас помытарят, десять раз переспросят по поводу дракулы-путеразрушителя. Именно так и будет. Но ситуация вдруг меняется! с аэродрома вылета сообщают, что у них густой снегопад, посадка невозможна. Нам надлежит изменить курс и приземлиться на новую авиаточку «Сосна».

Мы над своей территорией, высота облаков около двухсот метров. Отрываю взгляд от горизонта, ищу на карте новый аэродром. Никакой «Сосны» не нахожу. «Где ж эта чертова «Сосна»? На севере диком, что ли? А-а, вот она!» Ложимся на курс и вскоре выскакиваем на группу каких-то строений: не то бараков, не то сараев. Километрах в двух от них - заснеженный поселок, среди поля выложен черный посадочный знак. Бабаков разворачивается, я тоже выпускаю шасси.

Полоса не просто плохая, она дико безобразная: пахота с поперечными бороздами. На пробеге самолет рубит хвостом мерзлую землю, меня крепко встряхивает, швыряет по кабине. Пронзительный скрип, грохот. Выдержат ли шасси? Выдержали... Подруливаю к ведущему, выключаю двигатель, сбрасываю парашют.

Докладывая о выполнении задания, я в излишние подробности не вдавался. Зачем знать другим о том, как мой самолет порывался расцеловаться горячо с землей?

Откуда-то появилась фигура в шинели и с винтовкой на ремне. Козыряет.

- Разрешите узнать, товарищи летчики, из какого вы полка?

Бабаков отвечает.

- Эка незадача! А мы ждем вас послезавтра. Батальон еще на марше.

- А вы кто?

- Мы - передовая команда. Уборкой занимаемся... - показывает солдат в сторону, где на снегу кучей лежат обезвреженные мины.

- Уродило? - подмигиваю ему.

- Двое суток ползали по полю, выковыривали, будь они неладны! А вас всего двое?

- Не беспокойся, мы за всю эскадрилью план выполним... Показывай, где кухня ваша.

- И-и! Кухня... У нас самих кишка кишке дули тычет. Сухари, кипяток да по банке «второго фронта» в сутки, вот и весь харч.

- М-да... Рацион не ахти... А ночевать есть где?

- Мы - в машинах, а вы... во-он видите барак? Окна, правда, выбиты, ну и дверей не хватает, но мы зашили дырки фанерой и поставили печку. Соломы кругом навалом, топи, не ленись - так упаришься. Идите в барак, а я останусь на посту охранять самолеты.

Какой ненормальный окрестил это лысое, как коленка, место «Сосной»? Я уверен, если здесь что-то и росло, так еще в мезозойскую эру... Мы шагаем в ту сторону, где в сгущающихся сумерках чернеют замеченные с воздуха строения. Начинает лепить крупный снег. В огромном помещении, бывшем амбаре, холодно, на стенах - непотребные рисунки, изображающие утехи Адама и Евы накануне изгнания из рая, сделанные, однако, опытной рукой.

Щепетильный Бабаков плюется:

- Ишь, Дюрер заборный...

Кто такой Дюрер, я не знаю, на всякий случай мычу согласно. У противоположной от двери стены - печка, коли можно так назвать железную бочку, поставленную на попа. Большая дыра вверху - для подкладывания топлива, меньшая внизу - поддувало, труба выведена в окно. Сноровистый солдат в расстегнутой гимнастерке нагибается, хватает проворно из-под ног солому, скручивает в жгуты и сует в печку.

- Ничего себе квартирка... - поеживается Бабаков, касаясь осторожно повязки. На холоде фурункулы дают знать о себе еще чувствительней.

- Чем будем червячка морить? - спрашиваю. - Придется

сбегать на самолет за аварийным бортпайком.

- Вот еще новости! Мы на собственном аэродроме, какая авария? Трогать энзэ запрещаю. И вообще, если на то пошло, полезнее держать брюхо в голоде. Заповедь знаешь?

«Вот и лопал бы свои заповеди! Ему жаль, видите ли, даже то, что установлено правилами. Поистине, у скупердяя зимой снега не выпросишь... Но спорить с ним бесполезно». Подгребаю солому ближе к печке, ложусь. Солдат по-прежнему, как заводной, крутит соломенные жгуты и пихает в прожорливую печку.

- Ты что же, до утра будешь так упражняться? - спрашиваю, раздраженный его мельканием, голодухой и скаредностью Бабакова.

- Мне старшина приказал.

- У-у! Раз старшина - тут не до шуток. Одно непонятно: где твоя смекалка солдатская? Ты же сам соображать должен, проявлять находчивость. Как в параграфе устава сказано? Ищи топливо потверже, чтобы дольше горело!

Солдат, видать, из новобранцев, в уставных параграфах не силен. Долго стоит, думает натужно, затем куда-то уходит. Бабаков морщит лоб, подвигается к свету, вынимает из планшета блокнот, что-то считает, записывает и прячет блокнот обратно. Вдруг взрывается возмущением:

- Подумать только! Пять рапортов подал, чтобы поставили на самолеты «охотников» АФАИ-25, и все как в стенку горохом. Остается одно; обратиться к командующему армией.

Я не в курсе разногласий между Бабаковым и командованием по поводу фотоаппаратуры АФАИ-25, поэтому ничего, кроме недоумения, не выражаю. Бабаков видит, машет безнадежно рукой. Некоторое время молчит, затем опять вспыхивает, стучит со злостью костяшками пальцев по планшету:

- За уничтожение вражеской техники и объектов нас должны поощрять: потопил корабль - получай столько-то, сбил самолет, уничтожил танк, пустил эшелон под откос - гони монету! А что получается? Возьми сегодняшний вылет, представляешь, сколько должны отвалить за два паровоза и путеразрушитель? М-м-м... Ну, неважно сколько, все равно ни фига не получим. А почему? Нет подтверждающих фотоснимков. Я абсолютно убежден: командование на нас экономит, умышленно не ставит на борт нам фотоаппартуру. Но я не лыком шит, ушами не хлопаю, у меня учет точный. Время придет- предъявлю счет сразу на все. А как же иначе? Экономь, да знай, на чем!

- А кому счет-то предъявишь, фашистам?

- Командованию возлюбленному!

И опять лицо Бабакова стало неживым: застывшая

трагическая маска с опущенными уголками рта.

«Вот, оказывается, что ты фиксируешь в блокноте! - соображаю я. - А вдруг твоя бухгалтерия окажется вместе с тобой в лапах фашистов? Н-да... Дурость свою ты проявляешь весьма деловито...»

Возвращается заводной солдат с твердым «уставным» топливом на плече - полосатым дорожным столбом. На стрелке указателя готическим шрифтом выведено: «НАХ БАКУ».

- Вот нашел, а топора нет, - бросает солдат топливо на пол.

- Твой страшный старшина обязан обеспечить тебя инструментом.

Солдат топчется неуверенно, вздыхает.

- Ладно, - говорю, - толкай столб в печку целиком, будет постепенно обгорать и опускаться.

Солдат приносит еще охапку клепок от разбитой кадки, наталкивает в печку до отказа, уходит. От гудящего жаркого пламени сразу становится тепло. Бабаков снимает шлемофон, поправляет бинты на шее и тоже укладывается по ту сторону, чтоб не тянуло от двери. Сухой полосатый столб горит вовсю, под его уютный треск мы быстро вянем, засыпаем и вскоре вместо безрадостных дневных видений мне приходят солнечные картины зеленых лесных разливов, цветущих лугов, светлого моря - то, что так мило человеку и во сне, и наяву...

Вскакиваю от удушья. Дым, смрад, возле меня языки пламени.

- Пожа-а-ар! - ору спросонок и бросаюсь к выходу.

- Стой! - слышу голос Бабакова. Останавливаюсь. - Сбивай огонь! Отбрасывай солому от печки!

Затаптываю, сгребаю сапогами солому к стенам, ворочаю, как бульдозер. Факел над печкой под потолок, горят длинные клепки, пропитанные жиром. Сваливаем отопительное сооружение, катим пинками на двор. В помещении не продохнуть. Появляется заводной солдат, помогает нам забросать снегом не гаснущее на ветру твердое топливо. А снег валит не на шутку. Метель разыгралась - хороший хозяин собаку не выгонит за порог, но Бабаков решительно заявляет:

- Пойдем в поселок, не то болячки с шеи переберутся еще куда-нибудь... Напяливаем шлемофоны, поднимаем воротники меховых курток, направляемся в поселок. Ветер в степи вертит, кружит, как глупый пес за собственным хвостом гоняется, швыряет в глаза снежную пыль. То и дело смахиваем с очков налипающие хлопья, продолжаем шагать по проселку. Неожиданно втыкаемся в препятствие. Будка, что ли? Или штабель бревен, присыпанных снегом? Закрываюсь от ветра,

чиркаю спичкой - из штабеля торчат босые синие ноги. Приглядываюсь. Ого!! Штабель окоченевших фашистских солдат! Трупы покрыты ледяной коркой, скрючены, измяты, точно по ним проехались адским катком.

- Гм... Пехота план выполняет...

- Продукция готова к отправке... - соглашается Бабаков.

- Странно, почему их не закапывают?

Бабаков не считает нужным отвечать на праздный вопрос, продолжает месить ногами снег. У меня появляется чувство неуверенности - кажется, мы сбились с дороги, а спросить Бабакова стесняюсь. Все же говорю осторожно, не напрямую:

- Ветер, кажется, изменил направление.

Бабаков, не останавливаясь, бросает через плечо:

- Топай, топай, не бойсь.

И я тащусь за ним. Хорошо, что у меня острое зрение, иначе бы топать нам до Астрахани... Сквозь густую метель все же замечаю мигнувший слабо огонек, сворачиваем на него. Мутная заметь скрывает дома. Перелезаю через ближайший плетень, стучу в дверь. Не отвечают, не выходят, но в неплотно занавешенном окне виднеются блики багрянца, Бабаков толкает дверь, и она открывается.

- И кто там? - спрашивает протяжный женский голос.

Бабаков распахивает дверь, делает шаг и, зацепившись за что-то лежащее поперек входа, грохается на пол.

- Черт! Понаставили на дороге... - ворчит он, встает, оглядывается. Света в помещении нет, это горящий в печи огонь бросает красноватые пятна на столы, на изможденной лицо старой женщины, замотанной темным платком. Прежде чем шагнуть из сеней, смотрю под ноги, чтобы не загрохотать вслед за ведущим. Поперек дороги лежит рваный мешок, из него просыпалось горелое зерно. От зерна исходит зловещий смрад. Меня воротит, нанюхался за войну... Вздрагиваю брезгливо, бормочу:

- Зачем это?..

- И-и-и, сынок, - кряхтит старуха, - а что есть-то? Обобрали до нитки, голодной-холодной оставили супостаты. Видишь, в чем хожу по морозу? - показывает она тощие ноги в невообразимой обувке. - Набрала вот немножко пашенички на пожарище, истолку, какой-никакой, а хлебушко, - показывает на мешок.

- Верно, бабуся, - отзывается Бабаков, - Зачем добру пропадать, в хозяйстве все сгодится: сама поешь, а нет - так продашь, все копейка к копейке. Бережливость - бог благосостояния, хоть на войне, хоть не на войне. Не ты пришла в Германию, а германцы тебя ограбили, последнее отняли, нищей

сделали, - рассудительно заключает Бабаков и спрашивает с интересом:

- А почем теперь у вас новые сапоги?

- Да кто же их знает!

«Вот сошлась парочка...» Я не могу их слушать, с души воротит, отхожу подальше от двери.

- А вы чьи будете?

- Зашли погреться на огонек, переночевать, если можно.

- Ночуйте, не жалко. Раздевайтесь и- на печь! Правда, блох много, зато тепло, вольготно. Может, поесть хотите? Только у меня окромя картохи печеной... - раздела руками старуха.

- О-о! Картошка - это же сила! Кто картошки не едал, тот и счастья не видал, - забалагурил Бабаков, потирая руки и вытягивая больную шею. «Тебе везде счастье, лишь бы бесплатно», - фыркаю я про себя. От ужина отказываюсь. Снимаю куртку, сапоги и забираюсь на печь к блохам. Оттуда мне видно, как старуха достает из загнетки горшок с картошкой, ставит перед гостем. Бабаков жует с аппетитом, а женщина рассказывает ому что-то монотонно-унылым голосом исстрадавшегося человека, видимо, жалуется на долю-неволю - до меня слова не доходят. Я смотрю в темное окно, затканное серебристыми жилками изморози, смотрю настойчиво, пока они не сливаются в серое расплывчатое пятно...

Утром встречаем полк. Погода отличная, аэродром завален по колено снегом. Пока расчищали да укатывали, погода опять испортилась, наползла акклюзия, видимость ограниченная, группами летать нельзя, опять давай «охотников»!

С первой недели января, когда наши войска принялись за ликвидацию армии Паулюса, окруженной в Сталинграде, немцы, отступавшие с Северного Кавказа, переменили аллюр с крупного шага на карьер. Хватают и увозят все ценное, поэтому «охота» стала не свободной, как бывало, - мол, бей, что попадет, - а целенаправленной. Сегодня - уничтожать эшелоны.

Летим как обычно, я - справа от Бабакова, настроение у него подходящее, наконец-то командование полка вняло его настоятельным требованиям, оснастило несколько самолетов фотоаппаратурой, в том числе и наши. АФАИ-25, похожей на два ведра, поставленных друг на дружку венцами, закреплен в середине фюзеляжа. Пленка широкая, вроде рентгеновской, на которую врачи снимают наши внутренности, система управляется из кабины нажимом кнопки. Техника - ничего не скажешь! Это она, техника, как нельзя более воодушевляет Бабакова, но мне-то известна истинная подоплека его воодушевления, горячей любви и так далее к новшеству. Такая уж натура у человека. Витязь,

гремящий костяшками счетов, ха-ха!

Слева скользит пара синеватых рельсов, смутно виднеются присыпанные снегом поперечины-шпалы, мелькают будки путевых обходчиков, шлагбаумы, нет только эшелонов. Может, до нас кто-то поработал, пустил их под откос? Но по обеим сторонам колеи чисто, а впереди уже маячит Армавир. На город заходить строго запрещено, да мы и сами не очень-то рвемся, знаем, чем там пахнет...

- Пошли на юг, - предлагаю ведущему.

- Зачем?

- Фрицы из щелей выползают, авось подловим что-либо стоящее.

- Давай!

Берем курс сто восемьдесят градусов, «бреем» низко над холмистой землей - противник не должен нас ни видеть, ни слышать, прежде чем мы появимся у него над головой. Летим над крышами длинной станицы, определяю - Советская. На улицах видны люди, похоже, станичники выбрались из погребов, немцы не стали бы махать нам руками... Проходит еще минут пять-шесть - и вдруг... нет, я не поверил своим глазам: в отлогой лощине, поросшей кустарником, белым от инея, стоят танки. Стоят кучей! Фашистские «панцерны» с крестами на бортах! «Мать честная! Да возможно ли такое? Немцы - педанты, аккуратисты, известные своей исполнительностью, создавшие собственную теорию танковой войны, - и так грубо, так недопустимо нарушили уставные порядки: в одном месте собрали до трех десятков бронированных машин. Невероятно! - мелькает в голове, пока мы проносимся над ними. - Гм... А может, это макеты?» - берет меня сомнение. Оглядываюсь: макеты довольно лихо лупят нам вслед из пушек! Среди них - две автоцистерны стоят борт к борту, заправляют танки. «Значит, - резюмирую, - крепко приперло, коль скопились в такую кучу, не иначе - на туманную погоду понадеялись, дескать, русские летать не смогут. Ну, коли так, будет вам «мала куча»! О таком фарте я и не мечтал. Попались, голубчики...»

Разворачиваемся обратно, проклятые облака прижали к самой земле, высота - глядеть страшно.

Бабаков командует:

- Не спеши, будем бросать по одной бомбе, Эрэсами - по цистернам!

Пикирую. В прицеле заправщик. Стреляю. Ух ты! Красотища-то какая! Цистерна вспучивается багровым огнем, брызги пламени обдают танки. Бросаю бомбу в огненный котел, выхожу со скольжением из атаки. По мне стреляют, но... близок локоть,

да не укусишь. Им трудно целиться, я на ничтожно малой высоте, а перемещение у меня - во какое! «Ну, держись, гвардия! Наконец пришел и мой звездный час, отплачу за всех, теперь потешусь над вами - Я!»

Второй заход. Стреляю, кладу в скопище еще бомбу. Земля и воздух сотрясаются, багровый горящий разлив заполняет желоб балки, из гибельной котловины выползают два-три «панцерна», ищут спасения. Еще заход, бью из всех стволов. Внизу шквал огня, мне мешает дым, плохо вижу. Потоки раскаленного воздуха подбрасывают самолет, как пушинку. Шестая атака, шестая бомба, конец.

- Будем фотографировать, - слышится деловитый голос Бабакова.

«Тьфу, чтоб тебя!..» Лететь без маневра по ниточке под прицельным огнем фашистских танков - самоубийство. Пытаюсь убедить его, что аэрофотосъемка со столь мизерной высоты ничего не даст, к тому ж угловая скорость большая, кадры получатся смазанными. Но Бабаков и слушать не хочет. Еще бы! Разве упустит он такую поживу! Поистине скупому душа дешевле гроша. Одно дело личный счет в записной книжке себе на память, другое - документальное фотоподтверждение командованию на предмет начисления прогрессивки. Без него кто поверит, что пара «горбатых» учинила такое во вражеском тылу? Эх, дурак-чиряк, сам в петлю - и меня с собой. По мне, хоть бы ни единого танка не записали на наш счет, ведь главное, чтоб сами немцы списали их в расход! Но я подчиненный, выполняю приказ, ложусь на курс.

- Не болтай самолет! - предупреждает Бабаков строго, будто я не знаю, как пилотировать, или не знаю, что при энергичном маневре в объектив будет попадать все на свете, кроме горящих внизу танков. Бабаков уже над пожарищем, летит - не шелохнется, щелкает старательно драгоценные кадры. Приближается мой рубеж, подправляю курс и жму кнопку включения АФАИ-25. Меня швыряет восходящими потоками раскаленного воздуха, едва удерживаю машину на курсе. Кошу глазом на ведущего: силен все же, черт, уже заканчивает пролет цели.

В это время справа от него вспышка разрыва, стреляют живые «панцерны», понятно: мы им теперь не опасны, бомбовые отсеки и снарядные ящики у нас пустые. Рядом с моей кабиной тянется трасса, бьют вдогон. Пора убираться восвояси. И вдруг я ушам своим не верю:

- Еще заход на фотографирование!

Зачем? И он и я уже отсняли результат удара. Докладываю об этом Бабакову, но он упрямо разворачивается на горящую

лощину. Я поеживаюсь. Теперь нас встретят по-иному... Опять пытаюсь убедить ведущего, что пленка получилась нормальная. В ответ раздраженно:

- Прекрати болтовню! Приказываю делать дубль!

«Тьфу, будь ты неладен! Тебе нужен дубль, чтоб урвать лишний рубль!»

Лечу следом, Заканчиваем разворот, выходим снова на цель. По нас не стреляют. Пока не стреляют... Бабаков - на прямой, летит без маневра, фотографирует. Внезапно ослепительная вспышка, ярче огня, полыхающего под нами, скрывает на долю секунды его самолет, и тут же крыло, точно отрубленное от фюзеляжа, резко взмывает, Бабаков, заваливаясь влево, врезается в землю.

Все. Конец бухгалтерии...

Мгновенно отрываю палец от кнопки АФАИ, создаю резкое скольжение, толкаю сектор форсажа двигателя, по поздно: в кабине ослепительный треск, что-то обжигает голову, ноги, приборная доска плывет куда-то вверх, за ней плывет земля...

С натугой открываю глаза - темно, кругом облака. Самолет судорожно трясется, циферблатов и стрелок на приборах не видно, покрыты бурой пленкой, «Кровь...» - соображаю и торопливо тру рукавом стекла указателей скорости и высоты. Ой-ой-ой, как высоко забрался! Без памяти летел. А скорость? Вот-вот сорвусь в штопор. Быстро отдаю ручку, форсаж помогает разогнать самолет. Приборы опять слепнут, покрываются кровью. Она хлещет из правого унта. Перебита нога? Да. Образовалось еще одно колено, только в обратную сторону. Из-под глаза тоже течет, и оттого в продырявленной кабине багровые вихри. В кармане армейская многотиражка, выдергиваю, осторожно засовываю под шлемофон, зажмуриваю глаз. Порядок! Кровь стекает по газете, красный туман в кабине редеет.

Облака наконец пробиты, высота семьдесят метров, курс прежний, сто восемьдесят градусов. Э-э! Мне на юг нельзя, там горы, там еще немцы, надо на восток, к линии фронта. Нажимаю педаль руля поворота - и опять обессиливающая боль сражает меня. Не знаю, что помогает снова открыть глаза, соображаю туго. «Перебита нога... развернуться невозможно... самолет несет меня в горы... гибель». Вдруг смутно мелькает давнишнее: «Что делать, когда отказал руль поворота? - спрашивает инструктор в авиаучилище нас, курсантов. - Запомните; блинчиком надо, блинчиком...»

Осторожно разворачиваюсь с помощью одной ручки управления этим самым «блинчиком», медленно, долго. Лишь теперь доходит до меня, почему моментами я теряю сознание,

почему темнеет в глазах: это трутся осколки перебитых костей. Нельзя тревожить ногу, иначе - шок.

До линии фронта далеко, минут пятнадцать, целая вечность. Меня мутит, клейкий пот заливает глаз, второй залеплен кровью, зашторен многотиражкой. За кабиной злобный мир, враги. Будь я на земле, в пехоте, сделали бы мне повязку и понесли на носилках в лазарет, а тут лети!

Голова все тяжелее, в ушах нудный, назойливый зуммер - это радиоприемник. Выключить бы, но опасно наклоняться к нему, боюсь опять потерять сознание. Зрение туманится, все чаще плывут за форточкой бесцветные водянистые пятна. Дело плохо. Стискиваю зубы. Кусочек сахара погрызть стал бы лучше видеть... До Кубани, должно быть. Уже недалеко, вот еще тот бугор проскочу, и все. За Кубанью - свои... совсем немножко осталось...

Бугры проносятся, а реки все нет Ничего нет... И - никого. Бабакова... Бухгалтерии... И меня почти... Теперь мне кажется все равно лететь или не лететь. Циферблаты передвигаются по приборной доске, меняются местами... Вдруг толчок то ли крик: «Ты теряешь сознание! Не смей, земля у ног» Вдыхаю всей грудью, трясу головой, изо всех сил заставляю себя смотреть вперед, но силы, видимо, иссякли. Еще вижу, как мелькает ледяная полоска какой-то реки. Кубань? Другая? Ручка управления выскальзывает из ладони. Я понимаю: то, что происходит, - ужасно, но противиться уже не могу и вздыхаю с облегчением.

...Лишь спустя четверть века я увидел воочию место своего «крепкого» приземления. Показали люди, которые нашли меня в горах. От них я узнал и то, что произошло со мной до того, как я очутился в полевом госпитале, в палате безнадежных. Белое пятно в моей жизни заполнили рассказы очевидцев.

«Январской метельной ночью, - рассказывает Александр Иванович Чергин, - наш полк взял город Черкесск. На радостях я упросил командира роты отпустить меня на сутки к семье. Жена жила с детьми на выселках возле хутора Николаевского, километрах в тридцати.

Раздобыл у обозников кобылу (пообещал привезти бутылку чачи), поехал. Оказалось, дома все живы-здоровы, а это радость вдвойне. Только успел перекусить с дороги, слышу-самолет летит. Чей-разглядеть не успел, а он чуть удалился да как врежет из пушек! «Э-э!- думаю. - Скорострельные, знакомые... фриц драпает, а все ж балуется». Старший сынишка кричит мне с улицы:

- Там самолет на поле упал!

- Чей, сынок?

- Не знаю, гудел не по-немецки...

Я - на кобылу, паняю в ту сторону. И правда, по всему полю-

обломки: где хвост, где крыло, где еще что-то, а мотора вовсе не видно. Только кабина маячит на снегу. Подъезжаю, вижу: кто-то внутри есть - не разберешь, все залито кровью. Слезаю с лошади, заглядываю в форточку. Летчик свесил голову на грудь, не подает никаких признаков жизни. Ну, думаю, преставился воин. Эх-зх-эх, вытаскивать надо, земле предавать. Дернул крышку кабины - не идет, перекособочилась. И как на грех-никакой жердины поблизости. Обернулся тудасюда, гляжу- двое санки тащат с кукурузным будыльем. Я - к ним. Наши хуторские, дед Ларион с бабкой Ганной.

- Давайте, - говорю, - вилы да пособите, тут летчик наш убитый.

- Ой, Шура, не наш он, немец он! Из пушек палил, аж над головой свистело. Чуть не поубивал, да мы схоронились в канаве, слава богу!..

- Не выдумывайте, нужны вы ему! Он от немца отбивался, вот и стрелял.

Беру вилы, сдвигаю рукоятью крышку с кабины, а летчик - страшнее всякого описания. Отстегнул я пряжку на ремнях, начал вытаскивать, а он вдруг заворочался. Живой оказался. Спрашивает едва слышно;

- Вы немцы?

- Какие, - говорю, - немцы? Мы казаки.

- Тогда помогите выбраться. - Обхватил меня рукой за шею, я вытащил его, на сани положил, повезли потихоньку. Больше не говорил ничего. До разговоров ли, когда места живого нет на человеке! Весь изломанный, искалеченный, думал, не довезем живым до хутора. Довезли, сворачиваем к Нениле Смородиновой, дом у нее крайний, большой, жили в достатке, а она, Смородиниха-то, выскочила за ворота, руки растопырила да как закричит:

- Не пущу! Немец завтра опять вернется, постреляет меня с детьми за то, что красного приняла. Везите, куда хотите!

Ах ты, стерва-баба! Хотел было смазать ей, да больно дохлая, вскоре сама скопытилась... Потащили раненого к соседям Гурановым, те тоже крутят хвостом. Тут я разошелся:

- Ах, вы, гады подколодные, а не русские люди! Поджечь все ваше кодло и по ветру пустить!

Чую тут, кто-то меня за плечо трогает. Оглядываюсь - Дуня Бочарова. «Заносите ко мне»,-говорит. У нее тоже детвора мал мала меньше, а не побоялась. Плюнул в сердцах на ворота Гурановых, как есть натурально, и еще послал их, потому как я сам солдат, не мог терпеть такую полную и безобразную подлость. И что вы думаете? Бог шельму метит! Точно вам

говорю. Года не прошло - сгорели эти Гурановы дотла, с торбами ходили, потом по станицам попрошайничали, на дом собирали.

Занесли мы летчика к Бочаровой Дуне, положили на канапку, парашют отстегнули, давай кровь отмывать, а то не видно под нею человека».

Рассказывает Евдокия Семеновна Бочарова, как побежала за фершалом, за покойным Тимофеем Мироновичем. Он по конской да коровьей части, по ничего, лубки аккуратно приладил, забинтовал своими бинтами, как следовает, и говорит:

- Везите его скорее в Черкесск.

Тут и летчик заговорил. Ну, не совсем чтобы заговорил, а так едва слышно попросил пить. Я мигом - к куме, принесла глечик молока, так все и выпил, до дна. И замолк. Не то уснул, не то умер, дыхания вроде нет. Я к груди ухом - чуть слышно.

В курень соседей набилось, судили-рядили, как везти его в больницу. Мужик нужен, а где его взять? Казаки все на фронте. Из мужчин одни деды замшелые остались да бабы, как одна детные. Кто поедет? Да и боязно женскому полу ночью в степь пускаться. Порешили, кроме Миколки, ехать некому. Запрягли сани, побольше соломы постелили, чтоб мягче было, под голову парашют засунули. Миколе наказали: гляди, пострел, не опрокинь по дороге, доставь целым и невредимым. А Микола надулся и спрашивает:

- Как же я его доставлю целым, ежели на нем нету целого места?..»

«Да...- вспоминает Миколка, ныне солидный бригадир комплексной бригады механизаторов совхоза, - шел мне тогда тринадцатый год. Сижу на передке, кобыла старая, едва плетется. Ночь, степь, муторно одному. Всяко мерещится, а больше - волки. В войну их развелось у нас, как мышей, стаями ходили, прямо на базах резали скотину. Посвистываю для храбрости, а раненый застонет, еще больше взбадриваюсь. Когда рядом человек, не так боязно.

На рассвете разыскал в городе госпиталь, сдал раненого беспамятного летчика и его парашют под расписку и поехал домой».

***

Так и кочевал со мной парашют из палаты в палату, из госпиталя в госпиталь, пока меня лечили да долечивали. Спустя три месяца я притащил его в полк и шмякнул перед начальником штаба.

- Молодец, охотник! - похвалил он. - Умеешь беречь казенное имущество, поступай так и впредь!

- Рад стараться! - гаркнул я и внутренне содрогнулся:

«Неужели будет повторение?»

МОЙ ВЕРНЫЙ ЩИТ

Хутор Трактовый приткнулся недалеко от Ахтанизовского лимана. Только не вздумайте искать такой сегодня ни на земной тверди, ни на картах: вместо него разметнулись во все стороны виноградники да лесозащитная полоса вымахала, где хоронили мы однополчан. Лихо растут дубки да клены на костях человечьих...

А в 1943 году там, среди непаханой степи, уныло топырилось несколько случайно уцелевших хуторских мазанок, а рядом с узкоколейкой - полевой аэродром. С него первого ноября нас подняли штурмовать прибрежную полосу в Крыму между допотопной крепостью Еникале и поселком Маячным. Давили фашистские батареи, зенитные установки и пулеметные точки, расстреливавшие в упор наших десантников.

Я - на новом «иле», со мной - воздушный стрелок Валентин Умнов. Его дело - «защищать от атак вражеских истребителей заднюю полусферу», а проще - хвост. Крупнокалиберный пулемет Умнова стреляет, что твоя пушка: от мощных очередей самолет ходуном ходит, попадет под трассу настырный фашист, рассечет, как кусок мыла. Однако, как говорится, на стрелка надейся, а сам не плошай...

Появился он у меня точно из поговорки: на тебе, боже, что мне негоже... Когда в полку пронесся слушок, что прибыли новые стрелкачи, тут же комэски, замкомэсков, командиры звеньев и управленцы толпой устремились в штаб шерстить личные дела прибывших, поразнюхать, кто, да что, да откуда? Кому неохота заполучить хорошего стрелка? Настоящий щит коль не вся, то почти вся твоя жизнь. Потому и кинулись начальники ретиво выбирать себе лучших. А как узнаешь, кто есть кто? Дело темное... Сортировали по анкетным признакам, по тому, кем был в гражданке. Токарь? Давай сюда! Механик? Мне записывай! Тракторист? Еще лучше, мужик здоровый, будет ворочать...

Таким манером и распределили стрелков по экипажам. Остался «непросватанным» один студент Умнов. Все отказались от него наотрез. Круглолицый, краснощекий, стоит в сторонке, мнется стеснительно. И я, рядовой пилотяга, стою обочь, тоже мнусь. Недавно из госпиталя притащился - где уж мне базарить, выкобениваться! Слава богу, самолет дали с новым мотором...

Комэска Щиробать, пряча смущенно глаза, убеждает меня:

- Не сомневайся, Умнов - парень с образованием, интеллигент, почти строитель.

- Мы здесь, как мне кажется, не для строительства, а скорое

наоборот...

- Это ты почти угадал, хе-хе... Только знаешь...

- Знаю. Там, в тылу, твой хваленый мог быть во какой шишкой, а здесь... Когда на тебе начинают поджаривать шкуру, она, треклятая, ужасно дорогой кажется... И образование, и прочие институты из головы вон!

Однако мои предположения не сбылись, Умнов оказался стеснительным и флегматичным только на земле. В бою же, как я скоро убедился, никогда не терял самообладания, не суетился, действовал осмысленно. Ведь как бывало? Увидит воздушный стрелок - живая душа, - как наползает этакая чертовщина с двумя килями и пыхает на него из четырех пушек, не считая стольких же пулеметов, так мороз по коже продирает, заикаться начинает бедняга стрелок и тарахтит - не поймешь что. Умнов передавал информацию правдиво, лаконично, четко, по уставу:

- Старшой, справа изготовилась к атаке пара «худых», ракурс... удаление... Доверни пятнадцать градусов вправо, и я покажу им где раки зимуют...

- Молодец, хорошо следишь за воздухом! - отвечаю, а сам думаю скептически: «На тебя я надеюсь, лицом в грязь не ударишь, но ты работаешь в комплексе с техникой, а она порой того... Как тогда летом на Голубой линии... Я один, без напарника, меня атакуют фашистские флигеры из эскадры «Удет», а в крупнокалиберном пулемете стрелка обрыв гильзы».

Эх, и хватил я тогда лиха-злосчастья! Чего только не вытворял, чтоб увернуться из-под расстрела в воздухе! Перегрузки - умопомрачительные, эволюции - сногсшибательные; нужда заставила вспомнить свое истребительское прошлое, хотя нынче я штурмовик... Умнов не спрятался тогда на дне кабины, пыхтел, обливаясь потом, выковыривал упорно отверткой из патронника оборванную гильзу. А когда немцы уж очень наседали, пулял по ним ракетами, отпугивал, восклицая с досадой: «Какое свинство!.. Мешают работать...» Неисправность устранил, и мы закончили полет удачно, а я успел еще свалить одного немца. Другому, видимо, не понравилась такая война, улизнул куда-то.

Приземлившись, я похвалил Умнова за настойчивость и выдержку.

- В награду получишь сегодня двойную фронтовую порцию вместо одной. (Нам выдавали после полетов по сто граммов водки «для снятия нервного напряжения»).

- Спасибо, старшой, но я не пью спиртное

- Как то есть?

- Не люблю. Пусть мою порцию вам отдают. Всегда.

Сказанное Умновым в присутствии техника сразу стало достоянием полка. Во когда позеленели от зависти мои коллеги!.. Это же надо! Такого бесценного стрелка упустили! «Ух, эстет двухсотграммовый» - стали обзывать меня за глаза.

Вот уже сутки летаем на Керчь, вторые, третьи... На пятые - новость: высажен еще один десант, южный, возле деревни Эльтиген. Морская пехота продвигается быстро, вот-вот отрежет Керченский полуостров от Крыма. Поэтому авиацию фронта нацелили туда.

Но не прошло трех дней, как погода резко изменилась, подул известный своим подлым нравом бора. Уж если он разойдется, то не на сутки вспучит воды, и даже не на неделю. Поднялся такой штормяга, что море не просто взревело, а взвыло, словно от боли, и перевернулось вверх тормашками. Бора с ног валит, крыши сносит, вагоны с рельсов сшибает, а что уж говорить о легких катеришках, баркасах, сейнерах и прочей мелкой посудине, на которой высаживали десант! Мы, летчики, с презреньем обзывали сей, с позволенья сказать, флот «тюлькина армада». До войны рыбаки пользовались им, чтоб ловить хамсу да тюльку под Бердянском, теперь посредством этих байдаков пытались снабжать войска всем необходимым для боя. Конечно же бора сделал им оверкиль, и они беспрепятственно опустились на дно пролива.

К этому времени немцы подкинули в Феодосию пушечных сторожевиков, подтянули к Керчи авиацию и пустили на эльтигенцев танки. Со всех сторон стали прижимать их к берегу, а отбиваться чем? Снабжение боеприпасами и продовольствием прекратилось. Тысячи моряков и пехотинцев оказались зажаты между Соленым и Черубашским озерами в отчаянном положении. Сутками напролет на них сыпались снаряды, мины, бомбы, волнами атаковали танки. Если не было в воздухе наших самолетов, тут же появлялись пикировщики Ю-87 и, завывая устрашающе сиренами, терзали и крошили плацдарм, Клочок прибрежной земли стал поистине огненным.

А коварный бора лютовал, не прекращался ни на час, словно заранее снюхался с врагом против нас. Мы летали до изнеможения, что называется, на износ. По пять боевых вылетов в день совершали!

Что такое пять вылетов на штурмовике? Много это или мало? Для человека несведущего количество вылетов ничего не объясняет, так же как не обьясняет ничего и число заходов на цель. А мы иногда делали их по шесть в одном вылете, тридцать атак в день! Спроси пехотинца, танкиста, сколько раз за войну ходил он в атаку? То-то...

Выматывались до предела, отдохнуть - ха-ха! Да и кому в голову пришло бы такое, когда за проливом гибнет наш десант!

...Пятый вылет по переднему краю фашистской обороны приходится делать в сумерках. Навстречу ползут рваные свинцовые тучи, видимость - трудно хуже придумать. Впереди однообразное мутно-серое полотно земли, оттуда нас будут угощать от всего сердца... Ждем начала «угощения», но гроздья взрывов возникают не в воздухе, а внизу. Меня крепко встряхивает. Что за чертовщина? Мы же над своими! Неужто наводчики очумели и молотят по нас? Что же это получается? Бей своих, чтоб чужие боялись?

Пока я возмущаюсь невежливым обхождением со мной зенитчиков, вверху впереди возникает нечто каплевидное, оно падает прямо на меня. Вскидываю голову - мамочка! Вот это врюхался! В самую гущу угодил. Бомбы мелькают рядом с крылом, одна, другая... Уф, проносятся мимо. Неужто повезло и на этот раз? Да, пофартило. «Осколок оторвал всего-навсего консоль крыла, по это ведь консоль «ила»! Долетим и без консоли. К цели долетим, она - вот!»

Пальба зениток все яростней, зажатые со всех сторон огнем, мы отчаянно маневрируем. Жить охота всем. Цель набегает, она уже под крылом... Не проскочить бы... Ну, нет! Круче угол пикирования, так... Так... ниже... теперь получай!

Мечехвостые эрэсы протыкают темно-синий воздух вечера, туманное плато земли раскачивается. Это я нащупываю цель, стреляю. Выход вправо со скольжением. «Молодец! - хвалю себя. - Хорошо, что не влево, как раз угодил бы под встречную трассу». И тут же - шварк! В ушах резкая боль, кажется, там все полопалось и я остался навеки глухой. Форточки вышибло взрывной волной, в кабине завихрения. Пыль подсасывается изо всех углов, лезет в нос, в глаза, впереди ничего не видно, зато вижу крыло: в этот раз не по консоли зацепило... Кричу Умнову по переговорному устройству;

- Чего молчишь?

Пауза несколько секунд.

- Не понял, старшой, повтори!

«Ладно, не понял, значит, живой...»

Впереди вообще рыжая муть, лобовое стекло чем-то залепило с наружной стороны. Тьфу, грязь какая!... Догадываюсь: это чайки одурели от стрельбы, от огня, разметались в сумерках и какая-то шмякнулась мне в лобовое бронестекло Вокруг столпотворение, а я плохо вижу. Хватаюсь за очки, рывком опускаю на глаза, фонарь - назад, лечу в открытую, выглядываю из кабины.

- «Горбатые», я двенадцатый, ко мне! Все, все ко мне!

Обозначаю себя АНО - раздается голос комэска. Я рядом вижу вспышки бортовых огней, доворачиваю к нему. Уже совсем темно, только снизу подсвечивает поблескивающая вода. «Ил» не приспособлен для полетов ночью, меня ослепляют метелки красно-голубых выхлопов из моторных патрубков, но лететь надо. Жду Таманский берег, лиман, а за ним - хутор Трактовый. Слева появляется еще самолет, сигналит аэронавигационными огнями. Он чуть ниже меня, быстро приближается к Максиму Щиробатю. Силуэт самолета размыт на фоне мерцающего серебром моря.

«Собираемся с бору по сосенке... Вот как летать в непривычных условиях! - отмечаю со вздохом. - А что делать? Играть па трубе - не в дуду дудеть, надобно шевелить пальцами... Так и насобачимся: сегодня в сумерках, завтра - в полночь, там, глядишь, и на рассвете. Без специального обучения ночниками заделаемся. Лиха беда начало! Вот пожалуйста, еще один молодец с уверенностью пристраивается к ведущему. Глазастый, небось в темноте лучше кошки видит... Такой и без прожектора приземлится, а другие как? Никто из нас еще ни садился с подсветкой земли, туго придется хлопцам».

Я опять оглядываюсь на уверенного молодца и... немею. У молодца обрубленные консоли крыльев, тонкий фюзеляж... «месс»! Пользуясь мглой, подкрался к хвосту Щиробатя. Жизнь ведущего на паутинке, тут не до точного прицеливания: бросаю самолет на правое крыло, бью из всех стволов наперерез немцу. «Месс» исчезает в отблесках пушечных трасс. И тут запоздало дает очередь здоровенный парняга, хваленый стрелок Максима. Лишь по счастливой случайности обреченный остался жить.

В воздухе- редчайшее явление, патрулируют наши истребители. На аэродроме катавасия. Крытая машина с радиостанцией стоит на нейтральной полосе, посадочную освещают фары нескольких автомашин. Командир полка с микрофоном в руке старается приземлять нас с наименьшей опасностью. Мы понимаем сложность обстановки, подводим машины к земле осторожно, подсвечиваем своими фарами, поддерживаем самолет малым газом и садимся хорошо - как говорится, «впритирочку»...

Заруливаю на стоянку, выключаю двигатель и... проваливаюсь куда-то... Меня трясут техник, стрелок, а я не могу понять, что им надо.

- Ты ранен, старшой?

- Убит. Насмерть... Дай хоть минуту побыть на том свете, подняться не могу...

Оказывается, я примитивно уснул. Долетался мужик до ручки.

Не успел выбраться из кабины, слышу - орут:

- Летный состав на КП срочно! Моряки приехали!

...За выгородкой начальника штаба сидели трое: лейтенант, старшина и матрос. Начальник парашютно-десантной службы дивизии стоял возле карты. Командир полка Хашин взъерошил жидкие волосы на темени, сказал, морща лоб:

- Получен, товарищи, приказ: вместе с основной боевой работой доставлять десантникам в Эльтиген боеприпасы и продовольствие. У них там совсем плохо, полный швах: нечего есть, нечем стрелять и нечем раны перевязывать. Будем сбрасывать десанту специальные мешки с высоты не более десяти метров. Майор, - показал командир на начальника парашютно-десантной службы дивизии, - представители флота проведут с вами занятия. Первыми с мешками полетят те, у кого есть навык, кто летал прошлой осенью с ВАПами на танки под Гизелью.

- Осталось четверо, значит, и тех добить надо... - процедил раздраженно сквозь зубы Щиробать.

- Вопросы есть? - обводит нас взглядом Хашин.

Я встаю.

- Разрешите? Самолеты с этими м-м-м... мешками, в общем, взлетают? Кто-то пробовал?

- Я буду пробовать! - отрезает командир полка.

Ох, и услужлива память, когда не нужно. Как будто умышленно распахивается фотоальбом на заданной неведомо кем странице, и я вижу трубу ВАПа, зависшую под самолетом Гараева, обломки его самолета в огне... Тогда, под Гизелью, ВАПы, теперь - мешки. Поистине была белка, а теперь свисток...

К утру погода не изменилась, все тот же острый, обжигающий бора, все то же светлое, чистое небо, все тот же взбаламученный до дна Керченский пролив. Сквозь прозрачный воздух видно далеко. Над Эльтигеном творится что-то невообразимое: дым, огонь, трассы, взрывы. Вражеская передовая отчетливо просматривается по взблескам выстрелов. Мы сегодня - докеры, летим к десанту с мешками У каждого - по два. Назвать мешком эту громоздкую штуковину можно лишь с большой натяжкой. Метрового диаметра кишка из толстого брезента набита всякой всячиной, обвязана тросами, как копченая колбаса бечевкой, и принайтована хитрым морским узлом под бомболюком. Ужасная вещь! Самолет с таким грузом - неуклюжее животное третичного периода, к тому же строптивое, не желает подчиняться. Длина его метра три, концы веревок от эамков держит в руках стрелок. По моей команде он дернет веревки, и освобожденные мешки отделятся от самолета. Такова мудрая технология мешкометания...

У десантников мощная радиостанция, она забивает наши, самолетные. Радист горластый, глотка басовитая, знает почти всех летчиков по именам. Только поднимемся над аэродромом, начнем радиообмен, он тут как тут, орет, нажимая на «р»: «Я «Гр-р-рраната»! - Это его позывной. - Брр-р-ратва, штур-р-рмовики, нас загр-р-р-ррызают ф-р-р-рицы! Бр-р-р-росай мне снар-р-ряды, патр-р-рроны, сухар-ри! Стр-р-релять нечем! Жр-р-рать нечего!»

Летим. Самолеты сильно болтает, мимо нас одинокими стрелами проносятся буревестники. Группу старых вапщиков ведет командир полка. Прижимаемся к воде, правым бортом к Эльтигену. С берега нас попугивают зенитки, стреляют настильно, а это глупость: снаряды летят в белый свет. Мы почти не маневрируем по высоте, однако не потому, что так предписывает тактика, просто боимся потерять устойчивость и свалиться в море. Оно в десяти метрах под нами, вон какое морщинистое да старое!.. Скашиваю глаза на командира полка, решаю бросать по его расчету, зря он, что ли, с рассвета тренировался над аэродромом? Доворачиваем на берег, а вот и сброс... Удачно, обе колбасины нормально отцепились от самолета Хашина. Кричу стрелку: «Дергай!» Мой самолет «вспухает» и становится настоящим самолетом, теперь можно воевать.

- Мешки упали точно посреди улицы! - докладывает Умнов.

- Что и требовалось... Теперь мы заслуженные мешочники...

Крутым разворотом уходим на море, группа растягивается цепочкой, принимается за вражескую передовую. В эфире шум, галдеж от множества раций, но «Граната» заглушает все.

- Бр-р-ратва, штур-р-рмовики, хор-р-рошо сбр-р-рросили! Мор-р-ряки благодар-рят вас, у-р-ра! - нахваливает нас радист десанта. Но что значат для огромной массы людей наши мизерные подачки? Разве в них спасенье? Ведь немецкие танки зарылись в землю - рукой подать, навели тщательную маскировку и расстреливают морскую пехоту в упор. Командного состава остались считанные единицы, роты возглавляют сержанты, число раненых растет - таковы неутешительные сводки с Керченского полуострова.

9 декабря просыпаюсь, как обычно, на рассвете, высовываю нос из землянки - фю-ю-ю! Наконец-то тишина. Выдохся осточертевший бора. Кричу своим в землянку:

- Эй, народы, аэродром затянуло туманом, радуйтесь!

- Чего дерешь глотку ни свет ни заря? - раздаются недовольные голоса.

- Чудаки, передаю последнее известие: сегодня выходной!

- Как бы не так!

- Густо-эстетические шуточки...

- Шуточки? Глядите сами, какая наползла акклюзия.

- Ух ты! Буду добирать весь день!

- Погоди, будет день, будет стрельба... - откликается кто-то скептически.

- Погода в руках всевышнего, то бишь в пальчиках синоптики Клавочки, - уточняет Щиробать пессимистически, брякая соском умывальника.

В столовку идем не спеша, боевая готовность не объявлена. За столами, на удивление официантки, сидим непривычно долго, «гоняем» чаи, разговариваем на неприятную для меня тему. Вчера я был ведомым у Щиробатя, летали на разведку в сторону Владиславовки. Обследовали старательно дорогу, сфотографировали кое-что, возвращаемся на аэродром и тут встречаем в воздухе странный предмет. Сделали облет вокруг него - не поймем, что за чертовщина? По крестам - немец, а к какому типу летательных аппаратов относится, определить так и не смогли. На всякий случай сбили. Из-за него и попали в передрягу. Уж лучше б не сбивали, будь он проклят, чем терпеть такое поношение.

- Вас куда посылали? - напустился на нас командир полка. - Корриды устраивать или за важнейшими для командования разведданными? Я отучу вас турниры устраивать раз и навсегда! Это ты небось, истребитель, затеял? - уставился он на меня исподлобья.

- Да мы чуть не столкнулись с ним! - поясняет Щиробать. - С закрытыми глазами гашетки нажали. Мимоходом получилось, так сказать...

- Многовато у вас сказок что-то... - говорит Хашин более миролюбиво. - Ладно, сбили - туда ему и дорога. Фотопленку проявите и передайте в штаб, пусть запишут на ваш счет. Да, кстати, кого вы завалили?

Мы переглянулись с Максимом - начинается...

- Вы что, не слышите? - поднимает брови Хашин. Я, подчиненный Максима, помалкиваю, Максим яростно чешет затылок.

- Ваш классический жест опасен для здоровья, - щурится насмешливо Хашин.-Доложите, как положено!

Максим вдруг густо краснеет, вытягивается «смирно».

- Летающий, то есть сбитый нами, предмет остался неопознанным.

- Чего-чего?

- Он не значится в силуэтах, следовательно, считайте, мы его не сбивали. Обойдемся...

- То есть как? Это же анекдот! Хороши... Вот что, ведущие

командиры, берите-ка альбомы силуэтов и принимайтесь за доскональное их изучение. А то от подчиненных требуете, а сами...

Конечно, мы игнорировали оскорбительное для нас распоряжение и альбомы в руки не взяли, еще этого нам не хватало! Да я назубок знаю тактико-технические данные любого фашистского самолета! Я их, как говорится, на ощупь чувствую! Вот они где у меня сидят! А осколки от их снарядов - вот где!..

Максим плюется:

- Сбили идола на свою голову...

Начальник штаба переминается виновато с ноги на ногу, чувствует, здесь и его недоработка: на фронте летают загадочные предметы, а он не знает какие. Спрашивает:

- Стрелки видели предмет?

Конечно, стрелки видели. Вызывают, расспрашивают. Умнов говорит:

- Могу нарисовать предмет.

Начальник штаба подсовывает листок бумаги, и начинающий архитектор несколькими штрихами точно изображает сбитое нами нечто.

- Истинно так! - восклицает Щиробать. - Брюхастый, крыло тоненькое типа парасоль, а под ним - шесть моторчиков...

- ...и колес много, выглядывают из-под фюзеляжа,- добавляю я.

- Извините, товарищ командир, тридцать два ровным счетом, - поправляет меня Умнов.

Начальник шлепает ладонями себя по ляжкам, восклицает с досадой:

- Чего ж вы сразу не сказали? Я почти уверен, вы сбили мотопланер Ме-323Д. Эта махина тащит до десяти тон груза или больше роты солдат! О нем упоминается в недавно полученном информационном бюллетене. Стало быть, объявились и на нашем фронте... А ведь они предназначены для десантирования, грузоподъемность человек семьдесят, не считая «гарнира»... Поднимается на буксире у «Хейнкеля-111», а дальше тарахтит на своих мотоциклетных моторчиках. Дешево и сердито..

- Ты смотри, как интересно! - восклицает Максим.- Вот только куда они собираются десант высаживать?

- Эту загадку я и сообщу командованию, - говорит начштаба. - Ваши данные очень важные, - поднимает он палец к потолку и снимает трубку телефона звонить в разведотдел.

Тема «фашистские десантные планеры в Крыму», которая обсуждалась во время затянувшегося завтрака, на КП дальнейшего развития не получает. Одни лезут на нары досыпать,

другие принимаются на свободе за штурманские дела, любители «козла» сотрясают землянку тяжелыми самодельными костяками. Отдыхаем.

Вдруг часов в десять из тумана, как черт из коробочки, выскакивает «виллис» командира дивизии, и тут же приказ: построить полк. Максим невесело хмыкает, вынимает пистолет и стучит рукояткой по каблукам спящих на верхних нарах.

- Эй, вы! Разлеглись, как коты на печи... Сейчас будет вам сон в руку... Летчики просыпаются, бормочут недовольно: «Разве начальство даст отдохнуть? Полтора месяца вкалывали без продыху и вдруг бездельничаем! Это же нож острый начальству. Эх, жисть-жестянка!»

Я предсказываю вполголоса:

- Пока мы то-се, занимались войной, за это время, наверное, накопилось с полмешка приказов, всяких бумаг секретных, теперь вот будем торчать часа два, слушать.

Стоим поэскадрильно. Под ногами осклизлый затоптанный бурьян, сыро, мерзко, холодно. «Бестолочь! - ругаю себя. - Надо было шинель надеть, в легком комбинезончике цыганский пот прошибает...» За мной в затылок - стрелок Умнов, тоже поеживается в курточке. Раздается задорно натужный голос начальника штаба:

- К выносу гвардейского знамени!..

Мы переглядываемся. Для чтения служебных бумажек такая торжественность не требуется. И тут же шепоток по рядам: «Комдив привез ордена и медали, раздавать будет». А что? Вполне вероятно. После летних боев па Кубани, прорыва Голубой линии нас действительно представляли к наградам. Сегодня выходной, так что награды кстати. Здорово, но не совсем... Раз нет войны - нет ста граммов, чем обмывать ордена? Очевидно, этот вопрос пришел в голову не только мне, и вторая волна шепота прокатилась от фланга до фланга. Но показалось знамя - и мы застыли.

«А почему не выносят, как всегда, столик, покрытый красным, с заранее разложенными грамотами и коробочками с наградами?» - удивляюсь я на миг, и тут же удивление сменяется глухой тревогой, она, как тошнота, поднимается в груди. Нет, не торжества ради приехал генерал... Вот он появляется в сопровождении командира полка. На комдиве шикарная шинель с голубым кантом, командир полка в замызганном регланчике. Сутуловатый, худой, кожа да кости, Хашин старается шагать широко, но такое ему не под силу. Говорят, у него застарелая язва желудка то ли еще что-то, но он скрывает и лечится народными средствами: пьет настой каких-то трав и целыми днями жует

чеснок. Натрет сухую горбушку и грызет. От лекарств его на КП не продохнуть. Или сунет за пояс грелку с горячей водой и летит так на боевое задание.

Генерал окинул нас тяжелым взглядом, прошелся вдоль строя, заговорил негромко усталым голосом:

- Товарищи летчики, все гвардейцы, вот какое дело. Эльтигенский десант, которому мы помогали столько времени, прошлой ночью воспользовался переменой погоды - туманом, прорвал окружение в районе Чурубашского болота, выбрался на магистраль Феодосия - Керчь. Десантники совершили двадцатидвухкилометровый бросок в Керчь, захватили с тыла гору Митридат, уничтожили артиллерийские расчеты. В освобожденный порт подошли вызванные по радио мелкосидящие суда, на них часть десанта переправилась на Таманский берег. К тому ж, моряки принесли на своих плечах из Эльтигена более двухсот раненых товарищей. А утром обстановка изменилась: туман над городом поднялся, немцы окружили танками Митридат и расстреливают в упор застрявшую там группу прикрытия. Полтысячи человек обречены. Все наши аэродромы закрыты, армия не летает, туман. Но командующий все же надеется, что гвардия поможет своим товарищам-морякам, нанесет удар по фашистским танкам, с тем чтоб люди с Митридата прорвались через город к северному десанту. Другого выхода нет. Кто полетит, получит новое оружие, которое еще не применяли: противотанковые кумулятивные бомбы. Достаточно одной попасть на броню танка, чтобы экипаж был выведен из строя. Вам засыплют полные бомбовые отсеки. Командование обращается именно к вам потому, что ваш аэродром ближе других к проливу. Для выполнения боевой задачи требуется четыре экипажа. Полетят добровольцы из тех, кто чувствует, что сумеет справиться с такой работой. Полет в тумане. Сложнее ничего в летной практике не существует, поэтому взвесьте свои силы, и желающие - три шага вперед!

Мы переглянулись. Что он, смеется над нами, этот генерал? Взлететь в тумане? Это каким же образом? По каким приборам? Аппаратам? Кто из нас обучен подобному пилотажу? И вообще, какие сумасшедшие летают в тумане на малых высотах? Это же примитивное самоубийство!

Летчики мнутся, натужно думают, молчат. Генерал холодно щурится на нас, повторяет:

- Гвардейцы-всепогодники, цвет советской авиации, кто решился, три шага вперед.

Я - комсомолец, но среди нас много коммунистов, да чего там! Все мы прекрасно понимаем, что надо лететь, надо до

зарезу, надо спасать человеческие души, кроме нас сделать это некому, но как делать, если не умеешь? Мы же просто не взлетим, поразбиваемся на аэродроме!

Кому польза от нашей гибели?

Стоим, никто не шелохнется, опустили глаза. Над строем повисла тишина, натянутая и этакая подленькая, как мне показалось, тишина. Вот-вот раздастся чей-то злорадный голосок и спросит: «А-а, такие-сякие, поджали хвост, как побитые псы? Слабаки, оказывается?»

И тут слышится скрипуче:

- Разрешите, товарищ генерал?

Это командир полка. Поправляет пилотку на голове, трогает воротник реглана, затем начинает застегивать ремешок планшета, вытаскивает из кармана перчатки, сует обратно, и все это непонятно зачем. Ряд непроизвольных неуместных движений, на него неприятно смотреть, о таких старухи говорят: «Обирается перед смертью». Взгляд Хашина останавливается на правом фланге, где стоим мы, летчики. Тыча в нас тонким пальцем, негромко объявляет:

- Группу поведу я, со мной летит Щиробать, Заварихин... - Несколько секунд длится пауза. Палец Хашина доходит до конца шеренги и останавливается на мне. Ух! Коленки мои вздрагивают, голова делает такое движение, словно сама хочет спрятаться между плеч. То было зябко в легком комбинезончике, а тут внезапно кидает в жар. «Угораздило дурака оказаться в числе неплохих летчиков! Был бы посредственным, кто меня взял бы в такой сложный, безнадежный полет? Теперь все. Теперь я получил боевой приказ, больше меня не спросят, желаете, мол, слетать на Керчь или не желаете?» Оглядываюсь на своего стрелка и не узнаю. Округлое, румяное, всегда спокойное лицо Умнова вдруг вытянулось, покрылось буро-зелеными пятнами.

- По самолетам! - командует Хашин.

Пошли... Как понимаете, на собственные похороны не очень-то торопишься, идем, едва ноги переставляем.

Но Умнову говорю бодро, с подъемом:

- Ты ни о чем неприятном не думай, сработаем нормально, врежем фрицам - первый сорт! Перья от них будут сыпаться. В лоб они мне стрелять не решатся. знают, чем это пахнет... У меня есть чем спроваживать их в тартарары, а вот сзади дело похуже - будут стараться отрубить нам хвост. Высота пятьдесят метров, сам понимаешь... Вся пакость набросится на нас снизу, как стая шавок. Дави их без стеснения, патронов не жалей. Истребителей Рихтгофена не будет, погодка не для них. А ты стреляй гадов, не дозволяй им бить по хвосту. Понял?

О том, как я собираюсь взлететь в тумане и лететь вслепую до пролива, дипломатично умалчиваю. Да и что говорить, когда сам не знаю. Надеваем спасательные морские жилеты, чтоб не утонуть. Они автоматически надуваются, если окажешься в воде, а вот сколько проплаваешь при температуре воды плюс три градуса, это вопрос другой... Залезаем в кабины, выруливаем на старт. Я взлетаю четвертым. Командир отдает по радио последние распоряжения, закрывает фонарь, начинает разбег. Я - наоборот: открываю фонарь, оттягиваю ухо шлемофона - треск радио мешает слушать, высовываюсь из кабины. Там, на краю аэродрома, бугор, в тумане его не видно. Сейчас Хашин вмажет в него, раздастся взрыв и... Слушаю, напрягшись. Гул самолета затихает, взрыва нет. Вторым уходит в туман Щиробать, я продолжаю слушать. Взрыва все нет и нет. Закрываю фонарь. Плюю в форточку, отворачиваюсь, даю газ на взлет и следом - форсаж. Замелькала мокрая земля, быстрой, быстрей, горизонта не вижу, по сопротивлению ручки управления улавливаю положение самолета и скорость. Отрываюсь. Вокруг меня шевелится серое цементное молоко. Истинной высоты не знаю, нет такого прибора; выше ста метров подниматься нельзя - попаду в сплошные облака. не увижу пролив и буду тарахтеть до самого Херсона... Но и низко лететь нельзя- зацеплюсь за землю и щепок от меня не соберут. Прибор «авиагоризонт» безбожно врет, я ему никогда не верю, да и вообще все эти железяки, стрелки, циферблаты, как малярийные, трясутся перед моими глазами, и я вынужден доверять им свою живую душу. Уткнулся взглядом в указатель кренов, боюсь потерять пространственную ориентацию, да еще кошусь на прибор скорости. Стрелка секундомера прыгает уже третью минуту, осталось еще две - и я выскочу на море. Напряжение такое, что мутнеет в глазах и во рту становится сухо. Полторы минуты... За ушами щекочут струйки пота. Я набычился так, что ларингофоны врезаются в горло. По секундомеру еще тридцать секунд... десять... А вот и последняя, расчетное время истекло, а где же море? Продолжаю лететь в тумане. Шестая минута на исходе, а моря все нет! Начинаю паниковать. Куда меня несет? Может, не в ту сторону? Вдруг рядом с самолетом что-то мелькает раз, второй. В ужасе рву на грудь ручку управления - земля! В каком-то метре от винта! У меня дыхание перехватывает. И тут же за кабиной резко светлеет, стена тумана обрывается, внизу тусклая вода пролива. «Ох! - вздыхаю. - Это надо же! А? Взлетел...» Даже сам себе понравился, какой молодец...

Но радоваться, собственно, было нечего, впереди Керчь, в Керчи и в округе - сто двадцать зенитных батарей всех калибров.

Помножь на четыре, получай без малого полтыщи стволов, направленных на тебя. А высота полсотни метров, условия классические, чтобы стреляли в тебя все, кому не лень, и попадали с закрытыми глазами. На что я могу надеяться наверняка, так это на то, что от самолета щепки будут сыпаться, как опилки от циркулярки.

И все-таки странно бывает... Когда уже кажется, что нет больше ни малейшей надежды, где-то там, в глубине под черепом, в тайных лабиринтах мозга, продолжает тлеть ничтожно малая крупица, крупица веры в невозможное. Она как бы успокаивает и в то же время подстегивает: не тушуйся, еще не все потеряно. Приятные нашептывания! Ведь знаешь, что ложь, иллюзия, и все же хочется верить. А вдруг на самом деле уцелеешь? Куда тогда полетишь? Как найдешь аэродром в тумане? Одно за другое цепляется.

Но на такой случай у нас летом появилась новая техника: радиоприводные станции РПК-10. Каждый полк имел свою, а чтоб не было путаницы, им присваивались позывные. Давали обычно имена цветочков самых распространенных: роза, фиалка, незабудка. Привод дает радиолуч, и прибор показывает мне, где аэродром. Дежурный радист через каждую минуту повторяет позывные и крутит пластинки с веселой музыкой, песенки, всякие «Катюшки-Марфушки», «Коломбины-Риориты»... Чтоб летчику над целью было веселее.

Вот какая хитрая махинерия приведет меня в тумане домой! Включаю РПК, зашумело, захрипело, и вот слышу сквозь помехи радист гнусит; «Работает радиопривод «Астра». «Астра» - это моя. Отлично! Настраиваюсь потщательней, приятно, когда техника работает как часы. Да только в этот раз дежурным радистом оказался какой-то осел: вместо веселенькой «Катюшки-Марфушки» в наушниках потянулось удручающе-жалобно: «Напрасно старушка ждет сына домой, ей скажут - она зарыда-а-ет...»

- Тьфу! Чтоб тебя... И так коты скребут на душе, а он еще похоронную завел...

Вырубил РПК к чертям, глядь - вдали над водой что-то вроде кружится. Уж не «мессы» ли встречают меня? Осторожно подбираюсь над волной ближе, оказывается,-мои! Все во главе с командиром взлетели, ждут меня над проливом. В эфире немое молчание, соблюдают полную радиомаскировку. Доворот на Керчь, «бреем» - по воде. Ну, пронеси нечистая сила!.. Еще не добрались до завода Войкова, а впереди уже пурга дыма и огня. Берег, дома, траншеи - все стреляет нам навстречу. Пучки «эрликоновских» трасс, словно огненные розги, хлещут по

животам «илов», в первые же секунды на правом крыле просадило такую дырищу - поднимай руки и промахнешь насквозь без задержки. Ведущий держится кромки берега, мы летим правым пеленгом. Я, последний, дальше всех захожу на сушу, и, как мне тогда казалось, все пули и снаряды, предназначенные немцами для летящих впереди меня, ловлю своим самолетом. Машину ежесекундно жестоко встряхивает от прямых попаданий, оглушительно звякает броня, уши точно иглами протыкают. Пробоина... Опять, опять!

На крыльях пучится дюраль, с земли машут навстречу ослепляющие огненные метлы, сплошные перехлесты трасс, дымы вспышек. Я стискиваю зубы, жду цель. В такие секунды люди, видимо, и стареют на десятилетия. А что творится в задней кабине! Умнов свирепствует, помнит мое задание: не позволять фашистам отбить нам хвост. Он перебрасывает с борта на борт тяжелый крупнокалиберный, стреляет короткими очередями и гнет в адрес врага что-то вовсе не подходящее для радио...

«Даже интеллигента довели...» - мелькает мысль, и меня как прорывает, кашляю, аж выворачивает: пороховые газы пулемета Умнова засасываются в мою кабину, дерут горло.

Плоскости становятся подобны терке, самолет с каждым мигом тяжелеет, я слепну от разноцветья ярких вспышек. Моментами винт дико взвывает, - это я проскакиваю место, где только что взорвался снаряд, где воздух еще разрежен. То и дело жму на гашетки, поливаю землю металлом, уже не целясь, для острастки пускаю куда попало эрэсы, пру напролом к танкам. И вот они начинают вырисовываться грязными коробками на базарной площади у подножия Митридата. Стреляют. Самолет командира уже достиг цели, масса килограммовых бомб, брошенных залпом, взрывается разом, на земле вспухает огненный зонт. Следом бомбит и штурмует Щиробать, скоро моя очередь. Ложусь на боевой курс. Замри! Десять секунд ни малейшего шевеленья! Иначе все расчеты насмарку. «Эх, туды вас! - мелькает в голове. - Как же вы меня измордовали! Так надо же и мне вас!.. Не стану бомбить залпом, перекрою бомбовой серией всю вашу свору, угроблю как можно больше!» Мигом ставлю электросбрасыватель бомб на серию, прицеливаюсь и, как положено, застываю. И тут. же одно, другое, третье прямые попадания. Руль поворота заклинивает.

- 0-ох!..-раздается из кабины стрелка.

- Что с тобой, Валентин?

Молчок.

«Эх, проклятье! Убили, видать, парня...» -И тут подходит цель. Нажимаю кнопку сброса, стараюсь не спешить, заставляю себя

нажимать медленней. Четвертая красная лампочка гаснет. Разворачиваюсь на море, а самолет не хочет, тянет меня к немцам, к бочковому заводу, в самый яростный пушечный ад. Чего-чего, а этого я меньше всего ожидал от своего верного «ила»... Сам не знаю зачем, убираю форсаж двигателя. Самолет начинает разворачиваться на море, но быстро теряет высоту, и вот уже крыши домов... Даю полный форсаж - самолет опять воротит нос к немцам. Убираю форсаж - ухожу на море и падаю к воде, добавляю... Этаким кандибобером, шуруя туда-сюда сектором газа, выбираюсь на пролив над самой волной. По мне еще стреляют, но уже не достают. Рыскаю вокруг ошалело глазами, позади чтото пузырится, словно багровая пена, впереди - никого. Где товарищи? В воздухе пусто. Неужели я один? Только я остался? Мороз проходит по телу. Что это? Счастье? Везенье? Фарт?

- Валентин! - зову по переговорному устройству. - Ты слышишь меня, Валентин? Отзовись!

Он по-прежнему не отвечает, а вместо него врывается знакомый басовитый голос радиста морской радиостанции «Граната»:

- Бр-р-р-ратва, штур-р-рмовики! Бр-р-раво! Вр-р-режьте фр-р-рицам еще р-р-разок!

«Ага! - думаю. - «Вр-р-режьте!» Мне самому врезали, не знаю, на чем лечу. Хотя бы на таманскую сторону перебраться». Внезапно в наушниках: «ду-ду-ду!» Стрелок вызыват, жив, оказывается!

- Валентин, как дела?

Тягучая пауза, затем натужно, со стоном!

- Плохи дела, ранило...

- Ах ты, беда... Ну, потерпи, миленький, сейчас перемахнем через пролив, все будет нормально.

- Нет, старшой, у нас в хвосте «месс»...

- Что-о-о?!

- «Месс» заходит в хвост...

«Фю-ю-ю! Этого только недоставало!.. Стрелок еле шевелится, самолет бревном еле ползет над водой, нас можно палкой добивать, а тут свежий «мессершмитт». Это, пожалуй, конец... Я совершенно отчетливо представляю, что произойдет через несколько секунд: раненый Умнов не сможет помешать немцу подойти к моему хвосту вплотную и аккуратно прицелиться. А дальше короткая очередь- и мы на дне. Знаю по собственному опыту: когда летал истребителем, срезал одного таким образом, знаю, как он расправится и со мной, совершенно беспомощным. Невольно сжимаюсь. Когда тебя убивают, хочется стать

маленьким-маленьким, совсем невидимым за бронеспинкой. Внезапно: «Та-та-та!» - крупнокалиберный Умнова! Стреляет! 0-о! Тогда мы еще повоюем...» Я воспрянул. Надо тянуть к северному десанту, чтобы наши зенитчики отсекли настырного «месса», только так можно спастись.

Вдруг над головой мелькает тень. Глядь - метрах в пятнадцати надо мной разворачивается «худой», заляпанный пятнами камуфляжа. Он летит вниз кабиной, почти в перевернутом положении, мне хорошо видно летчика в меховой коричневой безрукавке, видно, губы его шевелятся - разговаривает по радио. Таращусь на него, он - на меня. «Познакомились... Теперь можно приниматься убивать друг друга. Вернее, ему - меня, летящая мишень - я...»

Камуфлированный исчезает. Время его виража известно, взглядываю на секундомер, сейчас будет атака. И опять Умнов мешает ему очередью из своего пулемета. Молодчага, архитектор! Кричу по переговорному:

- Продержись еще чуток! Наши зенитки близко!

Продолжаю отчаянно тянуть к говорному десанту, а немец снова - вот он! Опять над моей головой, гримасничает угрожающе и упорно тычет куда-то пальцем.

«А-а!.. - доходит до меня наконец. - Вот чего тебе надо!..»

Известно всем: боевая авиация существовала, существует и будет существовать для уничтожения противника в воздухе, на земле, на воде, под водой, но вынудить вражеского летчика приземлиться не на его, а на чужом аэродроме всегда считалось, считается и будет считаться наивысшей доблестью. Это не просто уничтожить его, превратить физически и морально в ничто, это значит унизить его армию, его государство, поставить позорный крест.

«Ну, я тебе такого удовольствия не доставлю...» Он щерится, показывает пальцем в сторону своего аэродрома и кулаком грозит. А я совсем до ручки дошел. Я в отчаянье. Что делать? Выхватить пистолет и пу-пу в него? Глупость! Он свирепо машет кулаком, а я ему - на вот! Фигу тебе! Немец исчезает, и тут же самолет дергается, снаряд пробивает нижний бак. В кабине вихрь бензина, фонтан бьет из-под моих ног, я под взрывоопасным душем. Двигатель раскален: струйка в моторный отсек - и...

Инстинкт самосохранения срабатывает безотказно: «Спасайся, кто может!» А как? Подо мной в тридцати метрах студеное море, парашют не успеет раскрыться. Но и на такой случай у нас было кое-что про запас. Летая на малых высотах, мы выработали некий варварский, что ли, способ покидания кабины: надо быстро отстегнуть привязные ремни, откинуть фонарь,

вскочить на сиденье, рвануть кольцо парашюта, выхватить из-под себя купол и швырнуть за борт. Скорость более четырехсот километров, встречный поток наполнит купол и выдернет тебя из кабины.

Это, конечно, теория... У кабины острые края, зацепишься - выдернет без ног, но кто об этом думает в такие мгновенья! Открываю фонарь, делаю остальное, как положено, хватаю кольцо, остается только дернуть, как вдруг -- вспышка. Знакомая, страшная, запечатленная навеки в моих глазах, она закрывает весь свет, как тогда под Гизелыо... И в мозгу моем вспыхивает догадка: «Поздно. Твой самолет взорвался, ты погиб, тебя нет, и только мозг еще живет по какой-то причине, по инерции и воспринимает окружающее». Но нет, самолет подо мной мелко дрожит и, неуправляемый, падает в море. Я это чувствую и содрогаюсь. Кровь ударяет в виски. «Что ты делаешь? Позор!» Ломающий душу, не испытанный дотоле стыд леденит мне грудь, руки бессильно падают. «Так вот, значит, какой ты жучок! Ты будешь спасать свою подлую шкуру, а раненый стрелок, твой верный щит, что отбивался до последнего от фашистского аса, пойдет на дно пролива кормить собой крабов?» Меня словно кулаком по голове хватили, и я опять оказался в пилотском кресле. Хватаю управление. Буду лететь, сколько посчастливится, а взорвемся, так вместе.

Дышать в кабине невозможно, напяливаю на лицо маску с очками, голову - за борт, там поток чистого воздуха. Оглядываюсь. За самолетом тянется шлейф бензиновой пыли, шлейф белой смерти. Куда садиться? На землю нельзя, черкну радиатором о камень, искра - и поминай, как звали... На воду? Раненый стрелок утонет.

Внезапно, как это зачастую бывает, когда кажется, что уже все, что волосок, на котором держится твоя жизнь, вот-вот оборвется, добрая намять внезапно подсказывает спасительный ход. За мысом возле старинной крепости Еникале волнами намыло косу. Я не раз пролетал над этой узкой полоской из темной гальки. Неужели при моем летном опыте я не сумею приткнуть туда самолет? Должен! Доворачиваю на мыс, вижу прибрежную темногалечную тесьму. Там копошатся люди. Ага, увидели, что приземляюсь на них, прыснули кто куда. Подо мной волны, вот-вот задену винтом. Одежда на мне пропитана бензином, он мигом испаряется, я жду взрыва и зверски зябну, костенею, руки немеют, не подчиняются. И я и самолет на последнем издыхании.

И тут я - комсомолец, атеист, да-да! - поднимаю глаза к небу и шепчу: «Бог, если ты есть на самом деле, сделай так, чтоб мы не

взорвались, не загорелись!» Вот до чего дошел!

Но только успел обратиться к небу, как в кабине глухо гахнуло и заполыхало. Приземлился автоматически, не видя земли. Как - не знаю. Осталась лишь навсегда в памяти жуткая пронизывающая боль да оранжевые сувои пламени за стеклами очков.

Полыхающий самолет еще бьется животом по скользким камням, а меня уже нет в кабине, огненным клубком выметнулся и покатился под ноги десантникам. Они срывают с себя бушлаты, шинели, набрасывают на меня, гасят. Вскакиваю в горячке на ноги, гляжу - на мне лишь спасательная жилетка надувная, одежда сгорела, тело черное - так отделал меня огонь. А боль? С чем можно сравнить ее? Если б сотней рашпилей драли с меня кожу, а сверху посыпали солью, эта пытка казалась бы легкой щекоткой по сравнению с тем, что испытывал я. А тут еще досада, обида какая! Боевое задание выполнил, воздушную схватку выдержал, самолет посадил, а вот придется умирать. С такими ожогами люди не выживают, я-то знаю, видал...

Кирзовые голенища сапог горят похлеще пороха, на мне остались дымящиеся переда, перчатки тоже превратились в лоскутья кожи, висят закрученными стружками. Хочу снять - оказывается, не перчатка, это моя собственная кожа с клочьями мяса свисает, большой палец отгорел... Эх, пропади все пропадом! - Размахиваюсь от злости остатком сапога и пуляю его в море.

- Жаль летчика - кажись, чокнулся... - вздыхает кто-то из десантников.

- Да... Выскочить из такого пекла... Тут любой рехнется... - кивает другой на воду в то место, где шлепнулся передок моего сапога.

У меня губы обгорели, маска стала размером с детский кулачок. Говорю с трудом:

- Не чокнутый я, не беспокойтесь!.... Вы стрелку помогите.

Самолет прополз дальше по мокрым камням еще с полсотни метров и остановился. Моя кабина горит, задняя, отделенная переборкой, - нет. Умнов запутался в привязных ремнях, тросах, барахтается, не может выбраться никак. Десантники - к нему, хватают, успевают оттащить шагов на двадцать, и тут самолет наконец взрывается. Подводят стрелка моего ко мне, смотрю - нет, это не человек, это мумия. Он весь коричневый, покрыт с ног до головы корой застывшей крови. Приглядываюсь внимательней и сам чуть не падаю: кисть правой руки, - скрюченная, черная, висит возле щиколотки. На какой-то жилке то ли тряпочке держится. Ее оторвало, когда я только лег на боевой курс. За это время... боже мой!.. сколько событий прошло! Как же он терпел и

вытерпел? Ведь из него половина крови вытекла! Но он не только не потерял сознание, не только не впал в шок, не опустился в бессилье на дно кабины, он продолжал воевать. Вовремя заметил атаку «худого» и одной левой рукой стрелял, отгонял его от хвоста и тем спас себя и меня.

Откуда же в нем такая мощь? Парень как парень, как все мы, ничего богатырского, и все же было в нем что-то еще, что проявляется лишь в самый трудные минуты и придает нам нечеловеческие силы. Тот энзе, что накапливается в нас исподволь, от колыбели до того последнею страшного мига, когда умереть неизмеримо легче, чем жить. Достанет ли у меня того неприкосновенного запаса, чтобы выжить?

Я оглядываюсь на море. Оно в своей серой пустынности похоже цветом на порох, высыпанный из всех снарядных гильз на свете. Оно шевелится, сливается вдали с месивом тумана. Искру в него - и ахнет! Да, ахнет... но... К чему я это? Мои зубы клацают от озноба, а в голове путается. Уж и впрямь не свихнулся ли я? А, на самом деле?

КИНОСТРЕЛОК

В землянку КП зашел фотолаборант полка, козырнул коричневой от химикатов рукой и положил на стол начальника штаба фотопанораму переправы, разбитой моей группой вчера под вечер.

- Материал готов, - доложил неведомо кому и отступил к двери. Присутствующие окружили стол, щурясь с любопытством на склеенные так и сяк листы, испещренные неясными пятнами, извилинами, линиями. Неясными для непосвященного, но опытный глаз, да еще в сильную лупу, быстро разберется в запутанной, размытой паутине, увидит в ней поля, реки, дороги, лесные массивы. Красным карандашом особо выделен участок реки, удачно сфотографированный в момент разрыва бомб на понтонном мосту.

- Приятная картинка...

- М-да... Три штуки, как по линеечке! - раздались завистливые голоса. Я усмехнулся с этакой небрежностью, пояснил:

- Попадания так себе... Три сотки из двадцати четырех - всего двенадцать процентов прямых...

- Нет, вы посмотрите на этого задаваку!

- Можно подумать, он ежедневно по парочке переправ шутя тюкает!

- Слышь, как ты прицеливаешься, открой секрет, не фасонь!

- Очень просто, - говорю. - Как только увижу где переправу, тут же стаскиваю левый сапог, ногу - в форточку и жду, когда большой палец воткнется в мост. А дальше, как говорят, дело техники.

- А ногу каким мылом моешь?

- Да что с ним лялякать? Он нос дерет, а вы...

Из своего закутка появляется начальник штаба и прекращает трепотню. Фотолаборанту велит:

- Сдайте планшет в архив. Выпадет время посвободней, поручим замкомэска (это мне) проработать с летным составом этот полет. Поразить с одного захода понтонный мост, цель для штурмовиков весьма сложную, это вовсе не шутка, как выражаются некоторые, - обвел начштаба придирчивым взглядом летчиков. - Это работа, я бы сказал, отличная!

- А я бы сказал, у противника работа гораздо более отличная. Мост восстановлен и действует как ни в чем не бывало, раздается голос командира полка, вошедшего на КП.

- Как действует? - вырывается невольно у меня. Поворачиваюсь. Командир косится исподлобья, как будто в

чрезвычайной оперативности немцев виноват я. Говорю, задетый:
- Мавр сделал свое... Фотопанорама подтверждает.

- Фотография, знаете ли, для истории, а нам нужно на карту смотреть. Наши части прижали немцев к реке, переправа - единственная артерия, питающая их. Поэтому ставлю вчерашнюю задачу: пересечь эту артерию, уничтожить окончательно. В группу включите самых метких... ну, вы знаете кого. Вылет четверки по готовности. Прикрытие истребителей - один к одному, расположение зенитных средств противника вам известно. Да, кстати, только что звонили из дивизии, прибыл ваш, как он говорит, старый знакомый, жаждет слетать с вами на боевое задание. Придется взять его на борт вместо воздушного стрелка.

- Это кто же? - удивился я.

- Кинооператор Янковский.

- Как, его еще не убили?

- Гм... А почему вы...

- Да больно шустрый... Летал он со мной как-то на Кубани на Голубую линию, хе! Думал, после той катавасии к «горбатому» и близко не подойдет.

...То, что творилось тогда в небе, не ушло из памяти и по сей день. Нигде никогда на свете не было таких воздушных сражений, чтобы тысячи самолетов сшибались над кусочком выгоревшей земли. Две воздушные армии с приданными авиакорпусами с нашей стороны, две эскадры - 52-я и «Рихтсгофен» - с фашистской. Неслыханная молотилка. На сопке возле станции Крымской, где Приморская армия прорывала линию фронта, до этих пор не растет трава: осколки снарядов, мин, бомб так отравили землю, что она сама стала ядовитой и бесплодной.

Жара была поистине адская, температура в кабинах самолетов - того гляди хватит тепловой удар, а мы летали с рассвета до темна. Именно в это время и появилась в полку крытая полуторка странного вида, автомашина-ублюдок неизвестного происхождения и даты появления на свет. Она привезла кинооператоров, которым предстояло заснять для кинохроники кадры воздушных боев и штурмовок.

Сказать, что киногруппа на машине приехала, было бы не совсем точно, правильнее - машина приехала на киногруппе. Подталкиваемая пыхтящим, мокрым от пота коллективом, она медленно вползла на аэродром как раз в ту минуту, когда над головой послышался характерный свист и пронеслась команда. «По щелям!» Какой-то очумелый одиночка «юнкерс» освободился от бомб точно над летным полем.

Толкачи бросили машину - и кто куда. Как позже рассказывали, проклятый драндулет совсем их заездил, упрямый

ишак, а не машина, не запускается, хоть плачь! Чего только с ним не делали! Толкали с горки, на буксире тащили, шофер на колени становился перед ним - все тщетно. Но когда чумной «юнкерс» фуганул бомбы, то ли от взрывной волны, то ли от чего-то еще мотор машины взвыл, и она понеслась по аэродрому. Шофер с киношниками кинулись вдогонку, но не тут-то было! На помощь им подключился личный состав полка, боевая работа побоку! Все на ловлю оглашенной полуторки! А та, почуяв свободу, неслась, норовисто взбрыкивая, вдоль стоянок, прогарцевала мимо КП и наконец, упершись бампером в насыпь капонира, опять заглохла надолго и капитально.

Известно: чтоб снять боевые кадры, надо летать в бой, а чтоб летать в бой, надо уметь воевать. Точно как в индийской притче: «Чтоб убить тигра, надо выпить порошок храбрости из тигровых когтей, а чтоб добыть порошок храбрости из тигровых когтей, надо убить тигра...»

Скажем прямо: передний край - скверная киностудия. Кадры должны получаться чистыми, насыщенными, а над Голубой линией вечно тьма, день и ночь висит густая смесь пыли и дыма. К тому ж в этом мраке могут запросто убить, и никто не заметит. А раз так, значит, отснятому с трудом материалу хана? У командования не хватило духа подставлять служителей киномуз под пули и осколки, оно нашло более мудрое решение: устроило для киносъемок фронт в тылу. Недостатка в трофейном реквизите не ощущалось, разбитых пушек, автомашин, танков- навалом. Их натаскали на один из запасных аэродромов, расставили так, будто они вот-вот ринутся в бой, выделили специально пару «илов» - и пошла «война»...

В одном самолете на месте воздушного стрелка устраивался кинооператор и снимал то, что вытворял летевший рядом напарник. А тот -эх! Раззудись плечо, размахнись рука! Худо ли воевать этак в тылу! Стреляй, кидай бомбы, крутись-вертись, демонстрируй воздушную акробатику, а на земле подыгрывай перед съемочной камерой, делай под киноактера: волнуйся, хватай поспешно из чужих рук окурки, затягивайся с треском дымом махры, тыкай пальцем в полетную карту, обнимая напарника...

Кадры превосходные, иди-ка проверь, где их нащелкали: в кубанском или ташкентском небе...

Об этих фокусах рассказывал начальник воздушнострелковой службы Ведерников, тот самый, который угодил бомбой в водосток под железнодорожной насыпью. Его-то и назначили артистом к Янковскому. Ведерников поистине был артистом своего дела, он единственный в армии умел выделывать на «иле»

то, что для остальных пилотов было заказано и вообще представлялось недостижимым на малых высотах. Очень опасный трюк исполнял он: разгонял самолет на форсаже, лихо вводил в разворот и заваливал до тех пор, пока не оказывался вниз головой. Несколько секунд летел в таком положении, затем энергично выводил машину в нормальный полет.

Зачем нужна такая сногсшибательная фигура, не знаю. Янковский тоже не знал, однако пленки ухлопал немало, чтоб запечатлеть рискованный эффект.

«Уж больно захватывает, поджилки дрожат, когда смотришь на такую невидаль», - восторгался Янковский и снимал Ведерникова на земле и в воздухе. Однако сам, стреляный воробей, восторгаться-то восторгался, но летать с каскадером в задней кабине не спешил, слышал, как один такой хват самолет вверх колесами поставил, а вернуть обратно - увы!.. Жили кинооператоры с нами в школе, как и мы, спали на сене, а чем занимались на аэродроме, нам было не до них. Слышал краем уха - делают какую-то «подсъемку», что это, я не имел ни малейшего понятия, но и без разъяснений знал: занимаются чепуховиной.

Как-то на дороге, вихлявшей рядом с аэродромом, показалась телега. Кто бы обратил внимание на такое средство передвижения, будь эта телега запряжена лошадью иди быком? Уставились мы на нее потому, что тянул ее старый цыган. Напружинив сухие плечи, ступал, держась за оглобли, налегая грудью на шлею. Сзади повозку подталкивала пожилая цыганка в когда-то пестрых, ныне застиранных, блеклых одеяниях. Поравнявшись с моим самолетом, цыган бросил оглобли, перебрался через кювет, заговорил, раскинув руки:

- Ай, добрый человек, дай цыгану закурить. Цыган без табака - что купец без гаманка.

Я, некурящий, свистнул технику принести махорки. Цыган чинно принял от него пачку моршанской и высыпал в свою вместительную трубку. Техник то ли удивленно, то ли осуждающе покрутил головой, я спросил;

- Чего это вы самопером? А кобыла где?

- Ай, добрый человек, мобилизовали.

- А молодые цыгане?

- Ай, мобилизовали.

- А табор?

- Нема табора, добрый человек, с Мариулой вдвоем остались мы... Эй, женщина! - крикнул он в сторону телеги, высекая яростно искру из «катюши» и раздувая вату. - Иди погадай добрым людям.

- Э-э, нет, - говорю, - в нашем деле лучше вперед не

заглядывать...

Цыган покачал лохматой головой, крикнул опять:

- Женщина! Неси арбуз добрым людям!

Цыганка показалась с арбузом, но старик гаркнул на нее по-своему, и та метнулась обратно. Глядим - идет с другим арбузом, темным, продолговатым, с доброе ведро. Старик поклонился, молвил печально:

- А мы от своих сынов и писем не получаем. Нету у нас адреса.

Вздохнул, попрощался и ушел ссутулившись впрягаться в телегу. Только приподнял оглобли, как откуда ни возьмись - Янковский. Черный, сухощавый, что телом, что ликом - ни дать ни взять - цыган. Прицелился кинокамерой на живописный экипаж, застрекотал, снимая. Тут-то старый цыган и понес на него. Кинулся назад, кричит:

- Ты плохой человек! На позор нас выставлять хочешь, беду нашу в кино показывать? Ты покажи, как немца бьешь, как норму фронтовую выполняешь! Прочь! А то я тебя батогом!..

- Я не для кино, папаша, - стал объяснять Янковский. - Я просто на память. Встретимся с тобой после войны, посмотрим, какими были в эти дни.

- После войны? Ай, долго жить собираешься. Воевать не собираешься. Тьфу!

И цыган потащил повозку дальше, все оглядываясь, не снимают ли беду его в спину.

Мы разрезали арбуз - красный, сочный, прохладный, пригласили кинооператора. Я спросил, подделываясь умышленно под простачка:

- Скажите, как называется кинокомедия, что вы тут снимаете?

Янковский долго слов не выбирал, ответил в тон:

- Комедия будет завтра, когда я полечу с вами на боевое задание вместо воздушного стрелка.

- Что-о?.. - уставился я на него.

- В таблице боевого расчета записано, что я лечу с вами. Об этом вам еще скажет командир полка.

Я присвистнул, окидывая косым взглядом новоявленного кинострелка. «Этот настреляет... Только щепки сыпаться будут от меня вдоль Голубой линии...»

Янковскому нетрудно догадаться о «бодром» строе моих мыслей, пояснил застенчиво:

- Не беспокойтесь, я кое-что умею: закончил курсы по воздушной стрельбе и немного летал в качестве стрелка, правда, на бомбардировщиках

Я пожал плечами. Почему для киносъемок выбрали именно

мою персону? По выяснении оказалось, оператор не соврал. Завтра мы наносим удар по переднему краю всем полком, каждая эскадрилья выделяет специальную пару «охотников» на вражеские зенитки, а я назначен ведущим одной из таких пар. Вот почему Янковский и увязался со мной. Во время боя ему выгодней располагаться где-то в середине колонны сбоку, чтобы лучше видеть и фиксировать на пленку самые захватывающие моменты.

После ужина, до того как завалиться спать (подъем в четыре утра!), мы задержались у входа в школу, сидели на ступеньках, «травили баланду», кто курил, кто просто отдыхал. На Кубани вечерняя заря гаснет быстро и тут же небо затушевывается густой синевой. Млечная трасса сияет все ярче и неистовей стрекочут кузнечики в сухой траве. Все - как и должно быть августовской звездометной ночью.

- Я слышал, на севере звезды помельче и мерцают слабее. Отчего бы это, - не то спросил, не то так, про себя сказал кто-то. Нам, летчикам, в большинстве южанам, незнакомо небо высоких широт, помалкиваем. А Янковский, стоявший в сторонке, вдруг говорит:

- За Полярным кругом рефракция меньше, воздух ионизирован и разрежен, потому и...

Мы поворачиваем головы в его сторону: что, мол, там еще за Амундсен объявился?

- Ух, какая оригинальная информация! И где вы такое вычитали? - раздается смешок из темноты.

- Вычитал? Гм... Полярную звезду видел точно над своей макушкой.

- Вон как? А в учебнике географии для пятиклассников утверждается, будто это возможно лишь на Северном полюсе.

- Правильно. Могу подтвердить, как первый человек нашей планеты, ступивший на Северный полюс.

Вокруг захмыкали, кисло заухмылялись, стали демонстративно покашливать, кто-то согнул палец, показывая, как воспринимает слова киношника. На самом деле, за кого он нас принимает?

- Признавайтесь, вы из охотников или рыбачков?

- Доводилось и рыбачить. У берегов Японии, и возле Китая, и в других неблизких местах, а насчет Северного полюса... Как кинодокументалисту мне просто повезло: летел на самолете Водопьянова вместе с четверкой Папанина. Когда сели на лед и открыли дверь, я первый выскочил из самолета, первый ступил на Северный полюс, чтобы заснять остальных членов экспедиции, которые спускались по трапу на лед.

«Вот какой ты рыбачок!» -подумал я и спросил:

- А что вы делали в Японии?

- Десять лет тому назад мне пришлось участвовать в первом походе «Сибирякова» по Северному морскому пути. Снимал хронику. Возле острова Колючин мы попали в тяжелые льды и сломали лопасти винта. Шесть суток ремонтировались во льдах, ставили запасные лопасти. Работка - врагу не пожелаешь... А через неделю опять полетела лопасть, а потом и вовсе лишились хода, отвалился конец гребного вала. Дрейфовали дней десять, пока не подул спасительный норд-вест. Сшили из брезентов подобие паруса и поплелесь к Берингову проливу со скоростью миля в час. У берегов Камчатки встретили судно, оно взяло нас на буксир и притащило в Хакодате, Замена гребного вала в доке заняла больше двух месяцев, а я в это время знакомился с Японией.

- Гм... Одиссея...

- Расскажите о японцах. Интересно, страна маленькая, а подика! Американцам туго приходится.

Но в тот раз не пришлось услышать повествование о жизни самураев. Высоко в темном небе послышался знакомый заунывный гуд, над головой торопливо зашастали лучи прожекторов, затем ослепительно сверкнуло, раздался глухой взрыв. Фашистский разведчик сбросил ФТАБ. Зенитки открыли такую пальбу, что стало совсем светло. Град теплых осколков зенитных снарядов сыпался с шорохом на землю. Ежели мелкий стукнет по макушке, еще куда ни шло, а покрупнее - тот может не только шишку оставить... Мы убрались в помещение. Лучше слушать грохот металла по железной крыше, чем испытывать его твердость на своей спине.

...С рассветом Голубую линию крошат все наши артиллерийские калибры. Когда в воздухе появляемся мы, фашистские укрепления затянуты дымом и пылью. Я лечу справа от колонны и часто поглядываю па шевелящуюся цепь самолетов. Она, кажется, привязана одним концом к далекому мутному горизонту, другим - к дымной стене, образованной из тысяч вспышек зенитных снарядов. Они не успевают таять, сбиваются в серые копны, клубятся, протыкаемые со всех сторон пучками трасс.

Наша цель - окопы и артпозиции, по ней бить легче, чем по точечной. Самолеты головной четверки уже свалились в пике, хищный рой огнехвостых эрэсов несется к земле, стонущей от лавины бомб. Я слежу за стрельбой зениток, но сквозь полукилометровую толщу поднятого в небо праха вижу плохо. Что-то взблескивает, что-то искрится то тут, то там, а не разберешь: вспышки орудийных залпов или взрывы снарядов на

земле. Колонна штурмовиков свирепо напирает, самолетов - воздух от них кажется густым. Янковский возится в кабине, бормочет - видать, работает кинокамерой. Мне его не видно. На всякий случай напоминаю, что кроме окуляра киноаппарата есть еще коллиматорный прицел пулемета...

То ли пыль поредела, то ли зрение обострилось - вижу лучше и вражеские укрепления, и зенитные установки. Пикирую на них коротко, быстро: очередь из пушек, вывод, пуск эрэса, бомба и опять в высоту. Пока все нормально, и я, как часто со мной случается, вхожу незаметно для себя в азарт охоты, меньше поглядываю за небом. А ведь твердо знаю: никаким утверждениям не верь, гляди сам в оба, и все же утреннее заверение командования: «Над вами будут барражировать истребители расчистки воздуха, асы на «аэрокобрах», которые не подпустят к вам немцев» - придает самонадеянности. И вдруг в голове как тревожное предупреждение мелькает: «Да, очевидно, асы на «аэрокобрах» барражируют где-то там, в высоте поднебесной, но за каким чертом фашистские истребители полезут к ним туда? Им нужны мы, штурмовики, уничтожающие их боевые порядки. Они следят за нашим братом во все глаза, чтобы поймать на оплошности и срубить наверняка. Летящим в составе колонны помогают соседи, но когда я обособлен, нахожусь с напарником далеко на отшибе, мы для немцев не просто цель, а мечта голубая...»

Только успел подумать - вот пожалуйста, они уже тут как тут! Стрелок напарника дает красную ракету, и я немедленно сваливаюсь на правое крыло, рыщу взглядом по задней полусфере. Та-а-ак... Пара «худых» изготовилась к атаке. Расходимся с ведомым на встречных курсах, чтобы опять развернуться друг другу навстречу. Этим маневром, так называемыми «ножницами», будем взаимно «отстригать» противника от наших хвостов. У меня в отсеке осталась бомба, избавляюсь от нее, не прицеливаясь, приказываю Янковскому:

- Закрывайте фотоателье, сзади «мессы»!

- Есть, «мессы»!

И тут же слышится длинная очередь его крупнокалиберного пулемета.

«Спешит, рано открывает огонь. Впрочем, пускай хоть отпугивает...» Разворачиваюсь навстречу ведомому, успевая вовремя: к его хвосту уже прилип «мессершмитт». Торопливо навскидку даю по нему трассу. Немец отваливает, но на его месте тут же возникает другой. Опять жму на гашетки, огрызаюсь. Но почему стрелок напарника не огрызается, не отбивает атаки? Тянусь рукой к передатчику, чтобы спросить, что случилось.

Ведомый, упреждая, сообщает: в пулемете стрелка задержка.

Вот те и на! Все как и должно по закону подлости: косая за пятки хватает, оружие не стреляет. Немцы моментально оценивают затруднение, жмут на ведомого изо всех сил. Едва успеваю отбивать их нахальные наскоки, а в короткие промежутки меж атаками стараюсь прижиматься к передовой, чтобы наши зенитчики отсекли настырных «мессов». Но не тут-то было! Немецкие летчики не новички, раскусили, куда я гну, и не дают дух перевести. А заевший пулемет стрелка по-прежнему не действует. Ору по радио:

- «Кобры»! Где вас черт носит? Спуститесь ниже, меня терзают «худые»!

Куда там! Глас вопиющего в пустыне. Разве пробьешься в эфире, когда тараторит сотня передатчиков!

- Тормози-и-и! - кричит внезапно Янковский.

«Что за дурацкая команда? Стоп! На языке киношника это, должно быть, означает «сбавь скорость». Не иначе стряслось что-то. Мигом сбрасываю газ и выпускаю наполовину щитки. Скорость резко падает, меня швыряет на приборную доску, привязные ремни врезаются в плечи - и в это же время раздается длинная очередь Янковского.

- Эх, промазал... - последний выстрел заключается возгласом досады.

- Снайпер...-фыркаю я, убираю щитки, даю полные обороты - и тут же небо передо мной исчезает. Нет голубизны, нет солнца, нет горизонта, их закрыло что-то. На этом «что-то» ясно вырисовываются кресты, они надвигаются на меня. «Мессершмитт»! Он уже так близко, что дух захватывает. Не среагировал на мой маневр скоростью, выскочил по инерции вперед. Катастрофа неизбежна, сейчас столкнемся... Невольно зажмуриваюсь в ожидании гибельного удара, только пальцы, натренированные до автоматизма, продолжают свою работу, жмут на гашетки. Самолет вибрирует от стрельбы пушек и пулеметов. Прихожу в себя, гляжу: на месте, где только что был фашистский истребитель, вздулось пятно дыма. Рву ручку управления, чтоб не врезаться в обломки, и - на помощь ведомому.

Моментами вижу его черный разинутый рот. Стрелок так и не ликвидировал задержку в пулемете. «Месс», разъяренный гибелью своего напарника, остервенело наседает. У меня тоже дело дрянь, кончается боезапас. Приказать ведомому спуститься ниже - может, противник потеряет нас в каше? Но у земли не слаще, «зрликоны» пропарывают насквозь. Крылья в дырах, мотор от прямого попадания дымит, давление масла нуль. Вот опять удар

сотрясает самолет. В телефонах что-то жалобно пикает. Рыскаю торопливо взглядом, ищу передний край, он должен быть близко. Справа видны развалины станции Молдаванской... Да, это уже нейтральная полоса. Наши зенитки открывают огонь по настырному немцу, приводят его в сознание. Мелькают окопы, артпозиции. Пересекаю передовую. Мотор дымит, как паровоз. Приказываю ведомому:

- Лети, охотник, домой!

- А вы?

- Я наохотился по горло... Мотору амба, иду на вынужденную.

Впереди высокая лесопосадка, деревья, посеченные снарядами, торчат дрекольем. Приземляться на эти острые надолбы - самоубийство. Надо брать левее, там вроде поле. Доворачиваю. Самолетный винт уже рубит верхушки зарослей. Я больше не лечу, а ползу. Я упираюсь каблуками в приборную доску и плюхаюсь на землю. Грохот, скрежет, треск, пыль. Приземлился... Кажется, удачно, а встать нет сил. Вымотался. Сижу взмыленный, раскинув руки, в наушниках еще звучат отголоски воздушного боя, чей-то голос со станции наведения бодрячески, как ни в чем не бывало уверяет:

- В воздухе спокойно, работайте по своим целям,

«Ни черта себе спокойно!» - морщусь я. Вдруг слышу:

- Ой!

Это Янковский. Сдвигаю фонарь кабины, скидываю парашют, встаю. Янковский в промокшем от пота, сером от пыли комбинезоне показывает вздрагивающим пальцем за борт. Лицо испуганно-напряженное, в глазах вопрос. Я еще не оклемался после баталии, спрашиваю:

- Что? Разбил съемочную камеру?

Янковский трясет головой и показывает пальцем па бугорки рядом с самолетом В груди моей холодеет - мины! Сел на минное поле. Сел и не взорвался! Это уже фантастика. Гляжу на глубокий след, пропаханный по земле радиатором самолета, пожимаю плечами. Как тут не поверишь в чудеса?

- М-может, они замедленного д-действия? - предполагает Янковский, чуть заикаясь.

- Во всяком случае, не мгновенного... - утешаю его и смотрю на часы. Оказывается, с начала боя прошло всего-навсего двадцать минут, а мнится - минула целая вечность. И то сказать, с чьей длиннющей монотонной жизнью сравнить этот куцый огрызок времени? Янковский пришел в себя, деловито интересуется:

- Итак, что дальше?

- Лично я собираюсь сидеть камнем, - отвечаю. - Не советую и

вам разгуливать по бугорочкам. Если есть желание, зафиксируйте их на пленку издали. В подтверждение того, что родились в рубашке. Больше, надеюсь, в подобную катавасию не полезете?

- Не знаю, не знаю... Римляне говорили, что настоящую радость приносит только лишь настоящее дело.

«Гм... Вот те и на!»

Янковский принялся налаживать камеру. В зените опять поднялась пальба, появилась «рама», корректировщик «Фокке-Вульф-189», вздрагивает земля от тяжелых взрывов, кто-то мелькнул на бреющем... Фронтовая обыденщина. Мы продолжаем сидеть на своем «горбатом», как на островке, среди минного половодья и будем сидеть до тех пор, пока не поможет нам господь, то есть саперы...

Я выполнил задание, сбил вражеский самолет, не взорвался на минном поле, казалось бы - радуйся! Но радости я не испытываю. Чего мне не хватает? Риторический вопрос, я знаю чего.

Над передовой дрожит мутно-рыжая пелена, мимо проносятся стрижи, и их резвый свист слышен даже сквозь гул канонады, а меня раздирает обида за все и за всех. Обидно за самолет - это сложнейшее средоточие человеческих труда и разума, обидно за изувеченную выхолощенную землю, на которой неизвестно что и когда вырастет, обидно за оператора, который подвергался со мной смертельной опасности, чтобы оставить о нас след в памяти будущих людей. Хотел запечатлеть, но вряд ли смог: полет получился неудачный. Я извинился перед Янковским.

- Что вы! Это я должен извиниться, плохо стрелял, а кадры великолепные. Одно скверно; в объектив не поймаешь. То земля, понимаете, дыбом, то небо, ну и «мессеры»-нахалы мешали снимать, но это в порядке вещей.

Янковский сидел на центроплане наискось от меня, и только сейчас я заметил в нем ту отрешенность, что ли, которая возникает в людях, непосредственно сталкивающихся со смертью. А вот что видел Янковский во мне, того не знаю.

После полудня саперы вывели нас из минных «посевов» и эвакуировали самолет.

Хотя жизненным принципом своим Янковский считал римский афоризм: «Истинную радость приносит лишь истинное дело», на следующий день к боевой работе его не допустили, а еще сутки спустя дырявая полуторка киношников убыла в неизвестном направлении. Убыла, чтобы ровно через год объявиться за тысячи километров в Польше. Видать-таки, «охота» на Кубани не отбила у Янковского охоту к острым ощущениям, то бишь к отысканию выдающихся кадров.

...Плывут на запад облака - нежно-розовые, словно подкрашенные. Обгоняя их, подлетаю к аэродрому «лавочкиных» прикрытия и вызываю по радио Федора Бочкина, по прозвищу «пан Пузач», часто сопровождающего меня на боевые задания. Мы с ним, как говорится, не один пуд соли съели за войну, находимся на короткой ноге и в разговоре не придерживаемся официальной командирской лексики. Федор-здоровила вдвое толще меня и короче на голову, я обещаю величать его в Германии «гер Баухман», что по смыслу равнозначно «пану Пузачу». Федор видит мою группу, взлетает с ведомым и начинает тут же красоваться надо мной вверх ногами. Голос у него - паровозный гудок. Спрашивает:

- Я вижу, ты стрелка поменял?

- Выражайся осторожней, - говорю. - Этот стрелок есть оператор кинематографа, усекаешь? Он снимает боевые сюжеты для истории ВВС. Ты имеешь много шансов влипнуть в историю, если не прекратишь кувыркаться над группой точно оглашённый!

- Ишь ты! А я-то не соображу никак, почему тебе честь такая, эскорт почетный, от нас аж две пары...

- Да, кстати, почему не вижу второй пары?

- И не увидишь, все в разгоне.

- Очень мило! А если «мессы» стеганут?

- Не боись, кто над тобой, гы-гы? - Федору, видать, надоело висеть головой вниз, принимает нормальное положение. - Ты опять на свою гнусную переправу?

- На фашистскую, - поправляю я.

- Что ж, помогай тебе аллах разутюжить ее, как вчера, а я помогу, чем смогу, навалясь да черту помолясь...

Навстречу нам начинают появляться облака посолиднее, копнами, за ними удобно укрываться от зениток противника, но за ними могут прятаться и фашистские истребители.

Заоблачные рассуждения ненадолго отвлекают внимание, и я опять перевожу взгляд на землю. Район знаком хорошо, вот уже виднеется растушеванная в дымке река, пересекающая ее шоссейная дорога, по ту сторону - лес. А вот и тонкая спичка, переброшенная через серую лепту воды, - понтонный мост. Как всадить бомбы в эту спичку с двухкилометровой высоты - дело, как говорят, хозяйское. Мне не нужно напоминать, что сегодня - это не вчера, нынче положение гораздо более сложное, немцы настороже, нахрапом их не возьмешь. О внезапности и речи быть не может, меня видят черт-те откуда, наводчики давно получили данные для первого залпа. Приказываю своим по радио:

- Стрельбой не увлекаться, все внимание бомбометанию. Цельтесь точнее. Выбираю место для перевода в пикирование,

оглядываюсь по сторонам - и вдруг мне делается как-то не по себе. Что-то мне неясно, чего-то словно недостает, или я упустил что-то? Что? Оглядываюсь на группу - и тут меня пронзает нехорошее удивление: не бьют зенитки, вот в чем дело. Не вижу ни единого разрыва, это неспроста. Опять и опять шарю взглядом по небу- ничего подозрительного. Мешкать дальше недопустимо, проскочу цель. Только было открыл рот, чтоб скомандовать «пошел!», глядь- от бортов всех «илов» разом оторвались капли красных ракет. Янковский торопливо докладывает:

- Командир, десять «худых»!

- Сколько? - не поверил я своим ушам.

- Десять «мессеров» атакуют, ракурс три четверти, удаление...

У меня перехватило дыхание. Делаю доворот вправо, чтоб видеть. Да, стая несется на нас. Что предпринять? Спикировать на переправу? Нет, на выходе нас перещелкают, как мух. Хочешь не хочешь, а придется вступать в невыгодный и, пожалуй, безнадежный воздушный бой. Приказываю:

- «Горбатые», освободиться от бомб и замкнуть круг!

Федору:

- Ты видишь, что затевается?

Тот не отвечает. Мельком замечаю его истребитель, несущийся в лобовую на фашистский косяк, но что он сделает с такой оравой? Повторяю по радио раз за разом, что возле переправы меня атакует десятка «мессершмиттов», требую истребителей расчистки воздуха. В момент передачи обстановки сверкают опять красные ракеты.

- Командир! - не говорит, а тревожно кричит Янковский. - Еще семь... извините, восемь «фоккеров» атакуют!

Сердце мое замирает. Восемнадцать на четверку «илов» и два Ла-5 - это конец. И когда! Конец войны на носу. У-у, гадючье племя! Недешево вам обойдется это...

- «Стрела-пять», ты слышишь, черт бы тебя подрал! Восемнадцать «мессеров» гробят четверку «илов», давай своих истребителей! - ору вне себя генералу, что сидит на станции наведения.

В ответ ни гугу. Впрочем, если генерал и говорит, мне теперь не до слушанья, я воюю. «Фоккеры» и «мессы» наваливаются странной бесформенной кучей. Что это с ними? Новая тактика? Подобного я никогда еще не видел, верчусь в кабине, как на иголках, подозревая подвох. Провороню - сшибут за милую душу. Мне ли да не знать, какой у немцев тактический строй, приемы атак! А тут похоже на свору грызущихся собак. Не иначе рассчитывают задавить численным превосходством. Но мои

держатся в круге хорошо, не так-то просто разорвать нашу оборону.

- Стрелки! Беречь боезапас! Бейте только наверняка!

Атаки хлещут беспрерывно, ливень огня. Группа отбивается, кружится, и в глазах моих кружение. Мелькают огненные трассы, камуфлированные фюзеляжи, струи седого воздуха, сорванные с консолей крыльев. Протянулась белая полоска- купол раскрывающегося парашюта, кто-то сбит. Кто? Мои на месте, старательно прикрывают друг другу хвосты. Янковский помалкивает, не стреляет. Пулемет заело? Спрашиваю, кто сбит?

- «Фоккер»...

- Почему молчите?

- Прицеливаюсь получше...

«Ну и ну! Послал бог вояку... Прицеливается! Полигон ему здесь, видите ли!» Но вот и он наконец открывает огонь. Короткая очередь - и злорадный вскрик:

- Е-е-есть!

Что там у него «есть», не спрашиваю, «фоккеры» зажали четвертого ведомого Зубкова, а стрелок молчит, словно его нет. Трассы немцев вот-вот коснутся крыла Зубкова, но Зубков видит и, упреждая противника, скользит влево и сразу же вправо. Правильный маневр, молодец! И тут же меня осеняет догадка: он показывает заднюю кабину. Защитного фонаря нет, стрелка не видно. Убит? Упал на пол раненый? Или струсил, спрятался на дно кабины? Фашистские пилоты заметили это раньше меня и повисли на хвосте Зубкова.

Рву напряженно дрожащий «ил» из виража, даю пушечную очередь, пускаю эрэс - немцы исчезают из поля зрения. Опять ввожу самолет в вираж. На маневр ушло секунд семь. Немцам не удалось разорвать наш строй, а двоим из них уже капут. Но это не утешает, утешает другое: мы по-прежнему держимся что надо. В ушах треск, свист, чье-то хриплое дыханье, кто-то ахает в азарте, у кого-то срываются проклятья. Опять мелькает белый сувой распускающегося парашюта. Кто под ним? Проносится «фоккер», следом - Ла-5, вижу прильнувшего к прицелу Федора, слышу его паровозный гудок:

- Держись, горбачи, наша берет! Пока...

Оглядываюсь и вздрагиваю - нет ведомых. Двоих. Янковский свирепствует, нас беспрерывно атакуют. Трасса сечет воздух рядом с моей головой, резко скольжу внутрь круга, жму гашетки - увы! Оружие не действует. Мигом перезаряжаю - выстрелов нет. Боеприпасам конец. Хорошо, что Янковский еще стреляет, молодец! Экономно расходует патроны. И вдруг - как обухом по голове:

- Патроны все...

У меня вырывается проклятье, словно такого не должно быть. Вот теперь, кажется, действительно все...

Мне не раз приходилось читать о воздушных боях, когда у кого-то кончался боезапас или его подбивали или ранили - и тогда он «выходил из боя». И каждый раз я спрашивал себя, что это значит «выходить из боя»? Имея некоторый опыт воздушных схваток, должен заявить откровенно: выйти из боя можно тогда, когда бой закончен. Еще - когда ты остался в одиночестве без боекомплекта или из-за потери крови не в состоянии управлять самолетом. Но разве такое называется «выходом из боя»? Нет, уж коль ты и твоя машина невредимы и ты бросаешь товарищей в беде, ослабляешь их силы, нарушая организацию тактической единицы ты негодяй и предатель. Ты не имеешь права жить на свете, если из-за твоей подлости погибли верившие в тебя люди.

Я помню, я видел, что делали мои товарищи, оказавшиеся в безвыходном положении: они уничтожали врага ценой собственной жизни. Будь сейчас на борту мой настоящий стрелок, а не кинооператор, я пошел бы один на переправу, протаранил, чтоб и следа от нее но осталось! Такова, значит, моя летчицкая судьба. Но Янковский- то при чем? Надо заставить его выброситься с парашютом, авось укроется в лесах до прихода наших, а я тогда... Последний раз оглядываюсь вокруг - и меня обдает жаром: в небе хоть шаром покати - пусто. Лишь моя четверка по-прежнему виражит как заведенная да пан Пузач надо мной показывает что-то, машет руками. А где же немцы? А-а-а... Вон они! А за ними несется на запад стремительная десятка «яков». Вижу собственными глазами и не верю, все еще кажется: опять прорежут воздух красные ракеты и опять завертится безумная карусель.

- Командир! - кричит Янковский возбужденно. - Отличные кадры! Ха-ха! Во дают флигеры драпа! Из восемнадцати - пятнадцать. Двух «лавочкины» завалили, а одного - Зубков.

- Я насчитал четыре парашюта, - возражаю Янковскому. Тот молчит. Сквозь треск в эфире прорывается болезненный стон Зубкова:

- Командир, у меня выпал стрелок...

- Что-о-о?!

- Стрелок из кабины выпал...

Вот, оказывается, чей четвертый парашют... Невероятно, но факт. Что ж, значит, и такое возможно. Зубков продолжает стонать:

- У меня левую руку задело.

- Зажми рану зубами и терпи. Домой дотянешь?

- Хочу..

- Хочешь - значит, сможешь.

Из-за раны Зубкова к аэродрому едва плелись, стараясь приноровиться к его возможностям. Для меня такой полет - досуг. Я, вспоминая моменты баталии, спрашивал себя: да точно ли думал в те минуты о самопожертвовании, об уничтожении переправы ценой собственной жизни? Ведь в бою раздумывать некогда. Видимо, и я этим не занимался, а то, что привело меня к последнему решению, просто жило во мне всегда.

Выслушав мой доклад о том, почему не выполнено задание, командир полка пожал руку Янковскому и поздравил со сбитым «мессером».

- Извините, - возразил тот, - здесь ошибка, я никого не сбивал.

Командир полка покосился на меня вопросительно.

- Второго «Мессершмитта-109» сбил товарищ Янковский. Подтверждают летчики и стрелки группы а также пан Пузач, кхм!.. То есть командир прикрытия пары «лавочкиных» капитан Бочкин, - пояснил я.

Командир полка повернулся к Янковскому. Тот буркнул, опустив голову:

- Прошу не делать меня центром излишнего внимания, я занят другими делами и задачами.

- Странно... Почему вы отказываетесь? Вы уничтожили противника в бою?

- У меня нет уверенности, что это так, я специалист в иной области. Летчики переглянулись, командир пожал плечами, и только начальник штаба спросил, уставившись на меня досадливо:

- Так кому же записывать «мессера»?

Я махнул рукой:

- В безлюдный фонд...

Поведение Янковского удивляло и раздражало меня, чего он строит из себя? Этого я не мог понять.

Командир отпустил группу и обратился ко мне:

- Так каким образом собираетесь выполнить задание?

- Какое?

- Уничтожение переправы, разумеется...

«0-ох! Да что ж это деется! Что, на мне одном свет клином сошелся? Кроме меня, нет в полку летчиков?»

Больше всего возмущало то, как об этом было сказано. Можно подумать, будто час тому назад я не из боя вырвался неслыханного, а прибыл из санатория. Но разве такое скажешь вслух командиру? А он мне:

- Идите помозгуйте, посоветуйтесь с группой. Даю час на размышления, потом приходите ко мне, примем окончательное решение.

Зову экипаж, садимся на траву по ту сторону КП, открываю «военный совет». Присутствует, кроме раненого Зубкова, весь состав эскадрильи плюс Янковский. Первые минуты использую для «подкручивания» летчиков и стрелков в целях профилактики. Песочу всех. Мыслимо ли такое? Потерять воздушного стрелка, да еще над целью! Это результат плохой дисциплины в экипажах, разгильдяйство. Или небрежно были застегнуты привязные ремни у стрелка, или он неумело действовал в бою и ухитрился открыть замок. Эскадрилья понесла потерю, тяжелое чепе. А через час мы должны нанести повторный удар по переправе, прошу изложить свои соображения касательно задания.

У подчиненных, как и у меня самого, тактическое мышление явно хромает, тужатся, мнутся, а ничего оригинального не предлагают. Догадываюсь, каждого коробит мысль о вероятности повторения дикой свалки. Отпущенное командиром время истекает, а мы досадно буксуем все на том же месте.

Подходит инженер по вооружению, спрашивает разрешения сдать на склад взрыватели замедленного действия. Погода солнечная, на малых высотах никто не летает.

«Стой! - осеняет меня. - А что, если ударить по мосту комбинированно?» Говорю инженеру:

- Погоди со взрывателями, - и разворачиваю карту, показываю летчикам. - Сделаем так: ударная группа полетит на «брее», а отвлекающая где-то на двух тысячах... Подход с запада под вечер, чтобы закатное солнце слепило зенитчиков. Как? Связь между группами зрительная при полном радиомолчании. Поняли соль? Думаю, получится. Пойду доложу командиру, а вы ждите здесь.

Подполковник одобрил план, и дивизия разрешила перенести вылет ближе к вечеру. На ударной четверке, которую поведу я, - бомбы со взрывателями замедленного действия. После прокладки маршрута группы проиграли весь полет от взлета до посадки. Для большей уверенности в расчетах я позвонил зенитчикам, охранявшим наш авиаузел, спросил, сколько нужно артиллеристам времени, чтобы орудие, направленное в зенит, навести на низколетящую цель. Ответили: секунд пятнадцать. Это меня устраивало. Устраивало и прикрытие истребителей: на восьмерку «илов» - шесть Ла-5.

Наступило предвечерье. К вылету все готово. И тут на стоянке опять появляется Янковский, доверительно сообщает:

- Захватил пленки про запас, сто метров.

«Никак, опять упросился лететь со мной? Вот навязался на

мою голову!» Говорю многозначительно:

- Знаете, для участия в предстоящем полете необходимо особое разрешение командования дивизии.

Янковский усмехается:

- Знаю: не предвидишь - не полетишь... Сейчас вам принесут «особое», а я пока полезу в кабину устраиваться. Небрежно застегнутые ремни - грубое нарушение дисциплины, которое приводит к тяжелым чепе...

«Надо же, а? Еще и подковыривает, нахал!»

В расчетное время мы в воздухе. С Федором о прикрытии договорились по телефону, летим молчком, над линией фронта среди зенитных разрывов держимся вызывающе. На глазах противника демонстративно меняю курс и продолжаю углубляться во вражеский тыл. Фашистские посты наблюдения прекрасно видят наши нарочитые выкрутасы и докладывают, разумеется, по назначению, что группа «шварце тод» под усиленным охранением истребителей летит куда-то на северо-запад. Должны докладывать. Не могут не докладывать, ибо смысл моих расчетов строится именно на этом заблуждении противника. Я обязан их убедить всеми силами и средствами, что ломжинская переправа меня вовсе не интересует. Если так не случится, если внезапность будет утеряна, задумке - грош цена, все насмарку.

Приближаемся к небольшой железнодорожной станции, на путях - паровоз, несколько вагонов, по нас стреляет мелочь, одна батареишка. Тоже мне огонь! Эта железнодорожная чепуха нам вовсе не нужна, но я создаю видимость, что рвусь на нее, и только на нее. Даю команду Янковскому: «Ракету!»

Бело-дымная дуга срывается с самолета, и вся группа тут же, не перестраиваясь в пеленг, компактно пикирует для вида: открывают огонь и бросают по бомбе только летчики отвлекающей четверки. У некоторых под крыльями привинчены пустые консервные банки с дырками, при напоре потока воздуха они жутко воют - это для пущего устрашения слабонервного противника.

На пятистах метрах выходим из пикирования, отвлекающие в окружении «лавочкиных» прикрытия устремляются обратно вверх, я со своей группой, приглушив моторы, снижаюсь до тридцати метров и беру курс на переправу. Меня никто не видит издали, я едва не стригу винтом верхушки деревьев вдоль шоссейной дороги. Летим, как намечено: четверка на высоте вытворяет черт знает что, в небе форменный кавардак, фашистские зенитчики, видимо, рты разевают от изумления и цепко держат в прицелах сумасшедших русских, которые так шумно прут нахрапом на их

переправу. От залпов небо становится пегим, самолеты безалаберно вертятся среди разрывов, то один, то другой пустит эрэс, бросит бомбу, стрельнет из пушек. Мечутся, завывая сиренами, а мне кажется, шума маловато, подстегиваю:

- Врежьте по зениткам! Пан Пузач, поддай жару!

- Ладно... За это с тебя особо причитается...

Цель уже близко, дело теперь за мной. Только бы не промазать, только бы попасть... Но попадал же Ведерников на «брее» бомбой в трубу водостока! Одной бомбой, а у меня их в группе двадцать четыре. Неужели так и не попадем?

Под крылом уже замелькали окраины Ломжи. Делаю «горку» и... вот он, знакомый, прогнутый в середине под тяжестью груженых автомашин мост. Оглядываюсь. Ведомые выстроились в цепочку, все знают, что и как делать. Не отвлекаю, молчу, я - на боевом. Глаз - прицел - переправа. Губы сами шепчут:

- Целься, целься, никто не мешает... У тебя почти пятнадцать секунд спокойненькой работы...

Мост скользит по левому обтекателю мотора, приближается к центроплану, доходит до контрольного штыря... так... Скорость... высота... выдержал все. Ну... Жму кнопку сброса бомб, облегченный самолет взмывает. «Попал или нет?» Разворачиваться нельзя. Делаю клевок, даю упредительную очередь по берегу, пускаю эрэсы в то место, откуда предполагаю получить очередь в живот. Доворачиваю чуть влево. Теперь можно оглянуться. Ура! Где виднелся мост, бурлит пузырчато-бурая вода, развороченная взрывами двух с гаком тонн тротила.

- Пойма-ал! - несется восторженно из задней кабины.

- Кого?

- Взрыв моста в кадре!

- Слава богу, что попал, труд напрасно не пропал...- тщусь острить я и приказываю дать зеленую ракету. Своим передаю в эфир:

- Второй этаж ко мне! Обозначаюсь зеленой. Пан Пузач, как с фотосъемкой переправы?

- Если имеется в виду бывшая - то пленку получишь. Только зачем тебе мои услуги? У вас ведь персональный фотограф...

Наш разговор прерывает длинная очередь за моей спиной. Пороховые газы засасываются в кабину. В бою этого не замечаешь, а тут в горле как рашпилем дерет.

- По кому вы лупите?

- По наземным... Неудобно возвращаться домой со смазанным оружием.

- Камерой бы своей строчили...

- О-о! На этот раз камере повезло, кинохроника редкая...

...После приземления выключаю двигатель и... Ух ты! У Янковского не физиономия, а самый что ни на есть вернисаж: под глазом фонарь, красный нос распух, на лбу шишка, подбородок в ссадинах...

- Мать честная, что с вами?

- М-м... бортпаек...

- Бортпаек?!

Оказывается, коробка с аварийным НЗ, привязанная под сиденьем стрелка, при резких маневрах оторвалась, содержимое высыпалось и банки тушенки, сухари и прочее вперебой атаковали киношника.

Стоя у самолета, он вытряхивал из-за пазухи куски сахара, размокшие от пота сухари. В заключение извлек из кармана комбинезона банку «бычков в томате», подкинул на ладони.

- Вот все, что осталось... - И подмигнул с гордостью: - На лету поймал, в состоянии кратковременной невесомости.

«Н-да... Широка дорога в небо, да очень узкая оттоль...» - подумал я и спросил:

- Почему вы не признаётесь, что сбили «мессера»?

Янковский помедлил задумчиво, затем отрезал:

- Я не обязан отвечать на этот вопрос никому, кроме собственной совести, но вам так и быть... «Пришел, увидел, победил» - ложь, я больше верю другому римлянину, который утверждал, что там, где умный теряется, невежда может иметь успех. Меня такая слава вовсе не прельщает, недолговечна она и оскорбительна для окружающих людей, что летают на смерть ежедневно. Мне не пристало выпячиваться перед ними. А что подумают непосвященные? Оказывается, война - это игра в бирюльки, коли даже случайный киношник запросто расправляется с хваленым «мессершмиттом». Помните цыгана па Кубани, что грозил мне кнутом? Гордый старик не хотел, чтобы показывали его беду. А я за показ беды, которую приносит война, за то, чтобы люди вели постоянную войну против войны. Потому и летаю с вами. А «мессер», что ж... И среди них попадаются нерасчетливые. Удалось прихлопнуть случайно такого, не кичись, не стоит. Вот мое кредо.

КОМИССАР

Командир полка прищурился хитровато в сторону Журавлева.

- Незавидная судьба твоя, Александр Матвеевич: в воздухе стреляй, летай, на земле развязывай всяческие узлы, поддерживай боевой дух коллектива. Тройная нагрузка получается, а?

- Тружусь, как умею...

- Не скромничай, комиссар, ты у нас насчет агитации и пропаганды - король!

- Рязанский... Король "березового ситца", как говорил поэт. Что от меня, короче, требуется?

- Агитнуть надо.

- Кого?

- Немцев.

- Фю-ю-ю!..

- Ну да, тех, что в "котле", западнее Сталинграда, - пояснил командир, улыбаясь.

- А средства агитации? Методика?

- Во-он они, видишь полуторку? Только что доставила. Свеженькие... Полтонны прокламаций с настоятельным призывом сдаваться в плен, пока еще не поздно. Устроишь им посевную с небес?

- Дело нужное. Пойду загружаться "одуванчиками"...

Авиаточка, где базировался истребительный авиаполк, замполитом в котором был Александр Матвеевич Журавлев, располагалась на левом берегу Волги наискось от правобережной Дубовки. 1 декабря 1942 года ему впервые пришлось прополаскивать немцам мозги новым способом. До сих пор Журавлев доказывал, что дело его правое, пушками и пулеметами, своим бортовым оружием, Доказывал это с первого дня войны. Правда, начал не совсем ладно, как многие. Вспомнит - и шрамы чешутся. Поистине судьба горбата...

Современные умники утверждают, что, дескать, массовость не значит типичность. А между тем для тысяч и тысяч война началась в таком же роде, как для комиссара эскадрильи Журавлева. Но нетипично, так нетипично, не будем дразнить гусей; просто сам он считает, что ситуация, в которой он оказался в первый день войны, не блещет оригинальностью.

После дальневосточной тайги, где он, выпущенный из летного училища, окрылялся более двух лет, Журавлева назначили вдруг в Белосток. После глухомани, сопок - Европа, культура! 21 июня привез жену с детьми и маму, устроились в

просторном особняке, вокруг сад, не жизнь - курорт. Открыл окна, улегся, а с рассветом посыпались на голову бомбы.

Не совсем еще веря, что происходит что-то серьезное, он поднял в воздух свой высотный МиГ-3 на перехват фашистских бомберов. Через три минуты был уже в трех километрах от земли, а немцы внизу копошатся, бей на выбор, но у него поначалу рука как-то не поднималась на тех, с кем недавно заключили договор о ненападении, на самолеты, которые год тому назад германское командование демонстрировало нашим специалистам открыто.

Однако пугающая мысль о фашистских бомбах, под которыми, возможно, гибнут сейчас мать, жена, дети, отрезвила его. Какие там добрые чувства! Поднимаясь в воздух опять, он, человек по натуре незлобивый, теперь уже кипел ненавистью к вероломному преступнику.

А вражеские летчики, словно издеваясь, обходили аэродром стороной, бомбили железнодорожные станции, мосты, перегоны.

После обеда Журавлева подняли в воздух третий раз. Этот вылет надолго остался в памяти. Ю-88, скорее всего разведчик, летел из нашего тыла, неся в фотокассетах и памяти летнабов немало свежих и важных сведений. Воздушный разведчик врага - важный объект, он всегда был и будет первостепенной целью. Напоминать об этом Журавлеву не требовалось.

И вот они лицом к лицу: матерый тельный немец-бомбер и юркий хваткий рус-"ястребок". Журавлев испытывал гордость бойца, вышедшего на смертное ристалище, и ярый мстительный гнев. Ему хорошо видны были ореол винтов врага, блики солнца на плексигласе фонарей, белые кресты и прежде всего - намалеванные на фюзеляже драконы, извергающие из пасти огонь.

Говорят, плохая та рука, что не защитит голову. Безошибочным натренированным движением рука комиссара вывернула "миг" из-под огненных струй "юнкерса", они прошли мимо головы, зато три пучка трассирующих пуль миговских крупнокалиберных пулеметов БС в ту же секунду вонзились в морду хищника. Блеснули-посыпались осколки стекол его кабины...

И тогда к нему впервые пришла великая, истинно мужская радость победителя.

Но, ликуя, он незаметно для себя забрался в чужие места - линия границы всего-то в сорока километрах западнее аэродрома, а на линии той - стена зенитного огня.

В летном мире считают так: если ты сбит воздушным противником в поединке, ты не боец, а лапоть. Позор тебе! Но если тебя скосила зенитка, это может быть и простой

случайностью. Здесь твое боевое умение не ущемлено. Пуляла дура снарядами в небеса, а тебе не повезло: напоролся.

Стеганул Журавлева по бедру случайный осколок, кабину затянуло кровавым туманом, тело размякло. "Только бы не ослабли руки", - думал с боязнью комиссар. Они становились все тяжелее, они повисали на ручке управления, но, сливаясь с ней, не только не теряли силу, а сами делались как бы рулями самолета и посадили его на аэродром.

Навоевался... Да, пожалуй, и отлетался вчистую. Впрочем, как говорится, лучше нога босая, чем совсем без ноги... Четыре месяца спустя, выписанный из госпиталя, он осел в тыловом авиагарнизоне на должности "наземного комиссара" эскадрильи. Наземный комиссар... Одно название корежило Журавлева. Это ж какую совесть надо иметь! Летчики, штурманы, стрелки-радисты улетают на смерть, а он, с позволения сказать, комиссар, стоит на аэродроме и поднимает им дух. Мол, вперед, ребята! Не пожалеем жизни за Родину! Дадим жару оккупантам!

Возможно, другие могли так воевать, но Журавлев... У него свои счеты с фашистами. Еще острее, чем прежде, стало беспокоить его нетерпенье охотника, жаждущего открытой схватки. Он опять был полон жизни и чувствовал воскресшие в теле силы, но врачи... Эх!

Однажды он сказал комэску:

- Вот вы что ни день утюжите воздух вокруг Казбека, а я только и видел горушку, что на папиросной коробке...

Комэск, то ли по наивности, то ли снисходя к невезению летчика-комиссара, покачал сочувственно головой!

- Ладно, дам подержаться за ручку. Так и быть, отведи душу.

Конечно, не красоты белогривого Казбека прельщали Журавлева. Его руки, прикасавшиеся к рулям управления, охватывал трепет, а мысли были направлены неизменно в небо.

Забравшись в кабину тренировочного истребителя УТИ-4 и пристегнувшись ремнями, он ощутил радость человека, вернувшегося наконец в родной дом. Комэска, сидевший в задней кабине, после взлета отдал управление Журавлеву, а тот, истосковавшись по воздуху, выложил все, чем обладал.

На земле доброжелательность комэска точно ветром смахнуло. Покосился на комиссара с хмурой подозрительностью, протянул ехидно:

- По-моему, с совестью у вас не того... А еще коммунист!

- Вы давайте себе отчет в своих словах, - покраснел от неожиданности Журавлев.

- Я-то даю, а вот как прикажете понимать ваше поведение? Летаете, как бог, а ошиваетесь в тылу, точно тупой недоученный

курсант, придуриваетесь на земле.

- Послушайте, вы меня оскорбляете. Ведь меня зарезала медицина! Как летчика, как истребителя, понимаете? Мне закрыта дверь в небо. Напрочь! Чем стыдить, лучше помогите восстановить утраченные навыки: воздушный бой, стрельбу, бомбометание. Черта с два вы тогда увидите меня в своей конторе!

Комэск не имел права допускать забракованного врачебной комиссией к полетам, но, чувствуя перед ним вину, позволил с условием: о подпольных тренировках не распространяться.

В запасном авиаполку имелись истребители старых марок, в том числе И-16, с которого Журавлев начинал свою летную жизнь, "Мигов" или "яков" и в помине не было, их на фронте в боевых полках не хватало. Но не это мучило комиссара. Даже натренированного до автоматизма летчика с такими документами, как у него, в боевой полк не пошлют, значит, все старания насмарку. Ну, нет! Надо не проситься в действующую армию, как делают все, а просто удрать на фронт или придумать такое, чтоб самого выгнали из ЗАПа. Только - что? Запить? Не годится. Позорно. А если махнуть в самоволку? Гм... Тоже не находка. Махнешь ненадолго - только выговор схлопочешь, надолго - трибуналом пахнет. И все же, как говорится, голь на выдумки шустра.

Вернувшись как-то с пилотажа в зоне, куда летал, разумеется, инкогнито, он на высоте двадцати метров сделал тройную "бочку". Всего-навсего!

Командира ЗАПа чуть удар не хватил.

- Эт-то... эт-то... хулиганство! - вскричал он, заикаясь. - Какой там сумасшедший так летает?

Комэску деваться некуда, пришлось объяснять.

Вообще-то Журавлев не любит вспоминать неприятности, возникшие в связи с его пилотажным трюком. Не любит вспоминать, но и не раскаивается в содеянном. Жалеет только комэска, тот действительно пострадал, получил дисциплинарное взыскание, а Журавлева изгнали из ЗАПа прямехонько под Сталинград. Поистине верно сказано: дальше фронта не пошлют... Там он и стал летающим комиссаром боевого истребительного авиаполка ЛаГГ-3.

За аэродромом на левом берегу Волги выли собаки, повернув морду на запад, откуда ветер доносил дух свежей крови: там смрадно полыхали пожары и тысячи тысяч людей кончали свою жизнь.

Летая над Сталинградом, Журавлев - насколько глаз хватало - видел дымящиеся развалины, пепелища. Но эти пепелища и

развалины жили. Жили особо: они стреляли. Поэтому и приказано сегодня комиссару опустить на врагов рой листовок, чтоб наконец одумались, перестали убивать и умирать сами.

Разноцветные прокламации пришлось связывать стопками и укладывать с боков пилотского сиденья. Журавлев поеживался от близости ненадежно закрепленного груза: зажмут, не дай бог, "мессеры", хлебнешь лиха из-за этих пачек...

Но немецкие истребители будто вымерли, не подавали голосов и зенитки, и от их молчания Журавлеву было не по себе. Неужто на самом деле выдохлись окруженцы? Он спокойно пролетал туда-сюда, меняя курсы: агитпосевная близилась к концу, когда вдруг залп крупного калибра испещрил вокруг него небо дымной рябью. Самолет заболтало взрывными волнами.

"Вот это другое дело! - обрадовался комиссар. - Коли так, пожалуйста, поагитирую вас старым способом..." И, присмотревшись, откуда стреляют, спикировал на батарею. Две осколочные полусотки, подвешенное предусмотрительным оружейником, пришлись в самый раз. Испытанный способ пропаганды подействовал безотказно, батарею словно прихлопнули крышкой. И тут... Нет, комиссар не поверил своим глазам. Не будь его руки заняты, он принялся бы протирать очки. Прямо на него лоб в лоб, пер немец. И какой! Трехмоторный брюхатый транспортник, набитый боеприпасами или другим чем-то для окруженцев. Журавлева обдало жаром. "Попа-а-лся, голубчик..." Он бросил "ЛаГГ" в боевой разворот и в момент оказался выше фашиста. От того потянулась жиденькая струйка - трасса пулеметной очереди. "Пугает, хе-хе!.." Журавлев поймал цель и нажал на гашетки. Если внутри боеприпасы, Ю-52 взорвется. Но ожидаемого фейерверка не получилось. Тогда, приблизившись, он ударил по пилотской кабине и понял, что летчик убит. Когда пилот погибает, руки его конвульсивно прижимаются к груди. А в руках - штурвал. "Юнкерс" резко взмыл, потерял скорость и свалился на землю, мелькавшую в ста метрах. Журавлев - свечой в небо, подальше от греха... У него опыт, его уже щекотали зенитные осколки. И правильно сделал, задав тягу; секунду спустя воздух вокруг опять запузырился от разрывов; обозленные артиллеристы расходились не на шутку.

"Политработа проведена удовлетворительно, - поставил себе оценку комиссар, - теперь и домой можно"

Я, рассказывающий сейчас о Журавлеве, вернулся из госпиталя в свой штурмовой полк весной 1943 года, когда бои уже гремели на Кубани. Мне часто приходилось водить группы на штурмовку фашистских укреплений пресловутой Голубой линии.

Однажды утром начальник штаба сказал:

- Сегодня будет тебя прикрывать "Дух Сталинграда".

- А это еще что такое?

- "Дух Сталинграда"? Впрочем, ты не знаешь. Так зовут за глаза нового замполита истребителей сопровождения. Его фамилия Журавлев. С ним можешь работать спокойно, учти только; ведомые у него всегда молодые, необстрелянные.

Я пожал плечами. Очень мило! Мало того, что всего два истребителя прикрытия, так один из них еще и молокосос какой-то. Не маловато ли в небе, кишащем асами эскадр 52-й и "Мельдерс"?

Весь маршрут до цели меня не оставляли опасения, но на месте, в районе станицы Молдаванской, я понял, что тревожился напрасно. "Дух Сталинграда" со своим "зеленым" напарником стоили иной неуклюжей шестерки. Этот "Дух" не только прикрывал заданную сферу, он, казалось, оберегал меня лично. Я все время видел его рядом, то наверху, то у самой земли, когда он давил своим огнем зенитные точки, густо обстреливающие мою группу. А ведь ЛаГГ-3 не то что мой бронированный Ил - любая шальная пулька прошьет насквозь. Значит, умеет не подставлять себя зря под щупальца трасс. Его самолет появлялся и справа и слева, как охраняющий щит, но лица летчика я не видел даже мельком.

Захотелось познакомиться, однако в тот день не получилось, невозможно было поймать его. Он был везде и нигде. Когда летчики отдыхали, а техники заканчивали подготовку машин на завтра, Журавлев только приступал к очередному акту своей деятельности. О смысле ее я услышал непосредственно из его уст чуть позже, на инструктаже политруков эскадрильи. Поставив задачи на ближайшее время, он подчеркнул:

- Еще друг-приятель Юлия Цезаря Саллюстий говорил: "Прекрасно служение родине хорошими делами, но неплохо и служение ей хорошими речами". Разумеется, - продолжал Журавлев, - это не значит, что я призываю вас к пустопорожней болтовне, в многословии теряется правда. Изреченные идеи не стоят ломаного гроша, если их не воплощать... Так что за дело, товарищи, по эскадрильям!

И сам отправлялся на стоянки проверять, а понадобится - помогать техникам приводить в готовность материальную часть, решать бесчисленные проблемы и дела, от своевременного обеспечения личного состава исправным обмундированием, а женщин-оружейниц и прибористок, в частности, - бюстгальтерами нужных размеров; от чтения лекций о событиях на фронтах, организации самодеятельности и спортивных состязаний,

писания писем в госпитали раненым летчикам, уничтожения мух в столовых до составления политдонесений и подготовки к партсобраниям, летно-тактическим конференциям...

А утром - опять в воздух, притом с новым ведомым.

...Познакомился я с Журавлевым суток двое спустя поздно вечером. Мы тогда базировались на одном аэродроме возле станции Тимашевской, только самолетные стоянки размещались в разных концах. Я перешел летное поле и наткнулся на замполита, он что-то запальчиво высказывал техникам, которые, подсвечивая ручными электрофонарями, корпели возле разобранного самолета. В словах, возгласах чувствовалась нервозность. По не очень связным замечаниям я уловил, что на самолете кончился ресурс мотора, поизносились и другие детали, а запчастей нет.

- Хорошо, я сам добуду вам запчасти, и не на один этот самолет! - погрозил Журавлев.

"Поедет в штаб армии или в политуправление, брать за горло техснабженцев", - подумал я. Поутру он действительно забрался в свой самолет и улетел. Вернулся часа через полтора. Пушки и пулеметы в смазке - значит, не стрелял. Заправился и опять исчез. А вернувшись вторично, собрал технический состав и сказал:

- Прошлый год под Сталинградом нам было потруднее, но и тогда находили выход. Смотрите, - он развернул полетную карту и показал кружки, сделанные красным карандашом, - Здесь и здесь - подбитые самолеты нашего типа, я нашел их и осмотрел с воздуха. Теперь ваша очередь. Собирайтесь в путь-дорогу и раскурочивайте их побыстрее, пока другие не додумались! Отбирайте все, что нужно.

Так и сделали, но все равно два самолета простаивали, не было сменных лопастей воздушных винтов.

- Выправьте старые погнутые лопасти молотком - и с богом!..

- Ну, это вы шутите, товарищ майор...

- Хороши шутки, когда я сам под Сталинградом испытывал в воздухе отрихтованные винты. Нужда заставит, так без винта полетишь!

Утром Журавлев появился в воздухе на чужом самолете. Спрашиваю, шутя:

- Своя телега надоела или поломалась?

- Ни то, ни другое, - отвечает. - Просто эта потеряла доверие в массах.

- Почему?

- Выправлять лопасти - моя затея, а раз заварил, надо расхлебывать. "Н-да...- подумал я. - Кого не покоробит ожидание, что в бою отвалится лопасть винта, восстановленная по рацпредложению комиссара... Но неужели и у ведомого

Журавлева самолет с рихтованным винтом? Бортовой номер тоже незнакомый".

Справляюсь по радио.

- У меня вообще нет постоянных ведомых, - заявляет он.

Вот те на! Ни черта себе парочка!.. Летчики в бою стремятся к взаимопониманию без слов, что достигается лишь после длительной совместной работы в воздухе. Скоротечные схватки не оставляют времени для радиопереговоров, нужна идеальная слетанность, чтобы за долю секунды понять намерения напарника, осмыслить его информацию. Почему ж этот странный замполит не имеет постоянного ведомого?

- Завоевать сердце подчиненного под силу лишь тому, - пояснил Журавлев, - кто делит с ним повседневно в радости, и горечи, и сомнения. Тогда открывается то, что обычно прячут за семью замками. Я потому и летаю с молодыми, что хочу знать их достоинства, отрицательные черты и как они воюют. Иначе зачем я здесь нужен? Достаточно сделать десяток боевых вылетов с человеком, чтобы увидеть, можно ли, скажем, его принять в партию или дать ему поворот от ворот.

- А не кажется ли вам, что вы тут выступаете в роли армейского инспектора по технике пилотирования? Или проверяющего, так сказать?

Журавлев по моему тону уловил, очевидно, как я отношусь к его тактико-психологическим экспериментам, усмехнулся.

- Инспектор - это ревизор, зафиксирует в акте плюсы-минусы - и привет! Для него безразлично, как вы будете устранять недоработки. Летчик как личность его не интересует.

- А вы-то сами ставили себя хотя бы мысленно на место напарника своего? Приятно ли будет сознавать, что вам не доверяют, что за вами следят исподтишка?

- Зачем же мысленно? - ответил Журавлев и на следующий день прямо-таки огорошил всех. Еще бы! Он полетел в бой ведомым, и у кого? У только что прибывшего в полк, неоперившегося сержанта.

"Ну и ну!.. Чудит комиссар..." - говорили мы неодобрительно. И он действительно "отчудачил".

В тот раз пара "мессеров" атаковала мою группу "илов" прямо над передовой. Журавлев со своим недоросшим асом затеяли с ними возню. Повертелись недолго, гляжу - все же раскололи немецкую пару. Комиссар сковал ведущего, а сержантик вцепился клещом в его напарника. Тот, как видно, тактической мудростью не блистал, втянулся в невыгодный для себя бой на виражах и был вынужден опускаться все ниже и ниже. Напористый сержант "дожал" его так лихо, что "месс"

буквально ввинтился в земную твердь. А минуту спустя разделался со своим и Журавлев.

Дело происходило при ясной погоде на глазах тысяч людей. Финал представления привел передний край в такой восторг, что солдаты стали подбрасывать каски и пулять ракеты в честь победителей. Даже я не выдержал, распахнул фонарь кабины и показал журавлевской паре большой палец.

Между тем истребителям прикрытия не обязательно сбивать самолеты противника, задача у них более важная: сохранить своих подопечных, отсекать вражеские истребители от групп штурмовиков. Конечно, ежели подвернется недотепа, вроде попавшегося сержанту, тут ловкий боец маху не даст. В остальных же случаях требование одно: сам умри, но противника к сопровождаемым не подпусти. У прикрывающих истребителей боевой счет ведется не по количеству уничтоженных фашистских самолетов, а по тому, сколько раз они сопровождали своих без потерь

В тот день отличившаяся пара совершила еще три боевых вылета, а вечером под крылом еще не остывшей машины сержанта, на кабине которой появилась белая звездочка - знак первой личной победы, собрались члены партбюро эскадрильи. В протоколе записано:

"Как отличившегося в боях за освобождение Северного Кавказа принять летчика-комсомольца В. П. Антонова (это фамилия сержанта. - И. А.) в члены ВКП (б) с месячным испытательным сроком". Первую рекомендацию дал ему Журавлев. Хочется снова упомянуть о неискоренимой привычке "Духа Сталинграда", за которую бог знает сколько выговоров влепило ему начальство различных рангов. Сам он помалкивает об этом по сей день, а я знаю только, что впервые его наказали в Баксанах - выгнали из ЗАПа на фронт, однако наука впрок не пошла. Короче, возвратившись с задания, он распускал группу на посадку, а сам, оставаясь над аэродромом в "сторожах", на случай появления непрошеных "гостей", разгонял свой самолет до максимала и делал на малой высоте несколько "бочек", "иммельманов" или проносился боком на крыле.

Такой его трюк и засек однажды сам комдив, оказавшийся на аэродроме.

- Это что за архаровец бесчинствует там? - взвился генерал.

Командиру полка ничего не оставалось, как доложить, кто это. Комдив завелся еще больше, вызвал Журавлева.

- Безобразие! Это вы подаете подчиненным такой пример?

- Именно подчиненным, товарищ генерал. Воздушные бои зачастую приходится вести на предельно малых высотах, ведь мы

конвойные! А летчики не приучены, боятся земли, не верят в возможности самолета. Вот я и показываю на практике, что можно делать при нужде и как делать. Лучше раз увидеть, чем...

- Вас никто не уполномочивал на это. Вы зам командира по политчасти, извольте заниматься своим делом.

- Показ и проверка в бою мое наипервейшее партийное дело.

- Так то в бою! А на аэродроме шальные гробы мне не нужны! Замечу еще раз- получите строгое взыскание, а сейчас объявляю вам выговор.

- Есть, выговор! - козырнул Журавлев и уже через два часа пронесся низко над землей вверх колесами при бурном восхищении всего аэродрома.

После этого уж и командир полка стал ворчать, на что Журавлев ответил с завидной непреклонностью:

- Лучше жизнь отдать за собственные убеждения, чем менять их ежечасно в угоду начальнику.

Управленцам дивизии, разумеется, стало известно о вызывающем поведении и неосторожных высказываниях Журавлева. Это было расценено как предумышленный подрыв престижа нелетающего руководства и самовыпячивание, самореклама замполита- карьериста. Летая наравне с рядовыми летчиками, он-де стремится таким образом заработать дешевый авторитет и одновременно унизить старших по должности. Не иначе как прицелился на место командира полка.

В таком духе говорили о Журавлеве почти в открытую и в политотделе, и в управлении дивизии. Страшный для врага в воздушном бою, он плохо ориентировался в интригах, терялся перед происками канцелярских "жучков". Терялся и тяжело переживал несправедливость. Завистливое шипенье, придирки тех, кто сам давно перестал летать в бой, угнетали "Дух Сталинграда", хотя он прекрасно знал, что зависть живуча и проявляет себя при всех социальных формациях, во все века. Это так, но на войне кому завидовать? Неужто тем, кто идет на смерть? Оказывается, можно. То есть их славе, почету. Завидуют те, кто, достигнув чинов и отличий, притормозили... Иным из них уже не хочется рисковать, а чужие успехи по-прежнему не дают покоя. С неприязнью поглядывают они на подчиненных, честно исполняющих свою ратную работу.

Мы говорили об этом с Журавлевым вечером, сидя на берегу незамерзшего Ахтанизовского лимана. Погода стояла ясная, звезды высыпали миллионами, серебрилась водная гладь. Как всегда при антициклоне, потягивал сиверок, любимый ветер Журавлева. Он говорил: "Мой, родной, рязанский..."

Понятно было его настроение, но уж очень угнетенным

показался он мне. Чтоб рассеять невеселые раздумья, я попытался шутить.

- В общем-то, - говорю, - люди вокруг хорошие, желают тебе добра и долгой жизни. Из-за чего сыр-бор? Что ты летаешь не по чину много? Так товарищи хотят спасти тебя от смерти, и только. Логично?

Журавлев хмуро покосился на меня, затем все же улыбнулся, и его округлое лицо стало удивительно простодушным.

Логика, которую я подсовывал, была ему чужда. Такие, как он, обиду не глотают, не таят ее, они ею мучаются. Ведь бьют свои!

- А погода вроде меняется, - вздохнул Журавлев. - Нога заныла - спасу нет. "Барометр" его не ошибся, погода действительно стала хуже некуда. Ветер повернул из "гнилого угла", нагнал какого-то странного тумана не сплошняком, а полосами: то аэродром намертво запечатает, то перегородит Керченский пролив. Но летать все равно нужно, крымскому десанту без авиации - крышка. И летали. Как? Сам не знаю. Летали, не видя ни воды, ни земли, с единственной, пожалуй, надеждой, что земля родная не захочет до срока принять нас в свое жесткое лоно.

О каком прикрытии истребителей могла идти речь в такую погоду! Тут дай бог нам, "горбатым", не порубать друг друга винтами. Зато немцам лафа, их аэродром в Багерово, рядом с Керчью. Сунется наш брат без прикрытия - они тут как тут. Отбивайся кто как может.

Прошло полгода нашего сидения на Тамани. Опять наступила весна. Апрельский ветер, воспетый поэтами и проклятый моряками, наконец унялся. Утро выдалось погожим, видимость, как летчики говорят, - миллион на миллион, лишь над яйлой Таврических гор, поросших буковыми лесами, дым, пыль, мгла. Сегодня восемнадцатое число, наступление на Крым продолжается.

В Балаклаве скопилось всяческой артиллерии - наземным частям Приморской армии не пробиться. Вот и шлют нас, шмурмовиков, усмирять "ди канонне" в порту и окрестностях города. Летим восьмеркой в сопровождении двух пар ЛаГГ-3, я - ведущий второй четверки.

Давая задание на КП, комполка сказал, что прикрывать меня будет парой "Дух Сталинграда". Я оглянулся на своих ведомых, те улыбнулись, довольные.

После взлета, когда группа легла на курс, меня удивило отсутствие у Журавлева ведомого. Спросил по радио:

- "Двойка", что такое? Почему вы в гордом одиночестве?

Ответьте, я - "чертова дюжина"... (Тринадцать- номер моего самолета.)

- Отпустил напарника на грешную землю, мотор дымит, как паровоз Стефенсона... Да ты не бои-и-ись, без него сладим...

Я промолчал. На этот счет у меня была собственная точка зрения. Желание "сладить" в одиночку и возможность "сладить" - вещи разные... Но тут ничего не поделаешь, бог не выдаст - свинья не съест. Предупредил только воздушных стрелков, чтоб не хлопали ушами, следили внимательно за воздухом.

К Балаклаве подлетали со стороны солнца - вражеским зенитчикам сбивать нас крайне неудобно. Командую своим начать маневр и тут замечаю, что мой конвой в единственном числе тоже принимается выделывать фигуры, как бы копируя падение сухого листа, но не совсем. Скользя, проносится надо мной влево, разворачивается, должно быть для осмотра задней полусферы, и - обратно, но уже надо мной, засекает опять, что творится за нашими спинами.

"Хитро..." - оценил я как бывший истребитель. Зенитные батареи ударили залпом. Впередилетящая группа перешла в пикирование, мы - следом. Бухта щетинится огнем. Под нашими крыльями пунцовые взблески - пошли эрэсы, еще ниже - сыплются бомбы. Выход из атаки левым разворотом. Зататакал вдруг крупнокалиберный пулемет моего стрелка.

- Не трать боезапас! - осадил я его, считая, что он строчит по наземной цели. - Впереди еще ого-го...

- Так я ж по "мессу"...-протянул тот обиженно.

- А-а... Ну, тогда валяй... Только не в божий свет!..

Подумал: "Все идет точно по гнусно-классической схеме: "мессершмитты" выше нас сзади, на фоне солнца мы их не видим. Теперь, на выходе из пикирования, - солнце слева, "мессерам" не мешает гвоздить нас, что они и делают". В эти короткие секунды штурмовки замечаю мелькнувший справа силуэт ЛаГГ-3. Даже не сам самолет, а бортовой помер "2". Это Журавлев. И еще замечаю трассы из его пушек. Все это возникает мгновенно и столь же стремительно исчезает.

И тут я опять вижу его, он выныривает откуда-то из-под моих "илов" и как ни в чем не бывало продолжает свой маневр, копируя падающий лист.

- "Двойка", как обстановка? - спрашиваю.

- Возникли разногласия с одним "мессом", в остальном нормально.

- Ну и как, выяснил с "мессом" отношения?

- Угу... Глянь вниз направо, видишь пузыри на воде? Это он пускает...

Да, я видел и пузыри, и действия комиссара в бою: умные, расчетливые, надежные - и сказал ему спасибо.

Это всего лишь эпизод, один боевой вылет из тех двух десятков, которые он выполнил при штурме Севастополя. Летал и на свободную охоту, и на разведку над морем и сушей. Он значительно преуменьшал свои результаты, полагая, что кроме Ме-109 уничтожил всего-то десятка полтора автомашин, подловил на горной дороге и свалил в ущелье пушку вместе с тягачом, разогнал по степи какое-то конское подразделение и еще и еще многое... Но стоило ли мелочиться, вспоминать?

Вспомнил об этом позже, когда по окончании Крымской кампании большинство летного состава было награждено, а комиссару Журавлеву - шиш! Его даже не представляли. Точнее, наградной лист был составлен и подписан всеми, кому положено, кроме одного: непосредственного шефа замполита полка Журавлева - полковника Дрыпова, начальника политотдела дивизии. Видимо, он имел собственное мнение о Журавлеве и его действиях и питал к нему начальственное нерасположение.

Для нас, летчиков, это не было секретом; земля слухом полнится, а мы встречались едва ли не каждый день. Дрыпов не раз отчитывал Журавлева:

- Много времени отдаете летанию и мало - идеологическому воспитанию личного состава на земле. В полку царит разболтанность.

- Из чего вы это взяли? Да, я летаю. А вам хотелось бы, чтоб я не дело делал, а лишь болтал о нем по стоянкам-землянкам? Так есть на то в эскадрильях пропагандисты, агитаторы, парторги. Они проводят разъяснительную работу под моим контролем. Это их повседневные обязанности, иначе зачем они существуют? Или мне опять навязывается незавидная роль политрука авиаэскадрильи недавнего прошлого? Тогда летный состав улетал в бой, а политруку вменялось, стоя на аэродроме, напутствовать летчиков, поднимать их боевой дух лозунгами: "За Родину! За Сталина! Вперед, орлы!" А что было делать чудакам, коль летать не умели? Мои же действия, думается, не идут вразрез с задачами партии, с моей совестью коммуниста.

- По вашей логике, так и мне, начальнику политотдела дивизии, следует бросить политическое обеспечение боевой работы соединения и кувыркаться в воздухе подобно вам?

"А вообще-то не мешало б тебе отведать кислого снарядного дымка..." - подумал Журавлев язвительно и, не вступая в пререкания, дипломатично отмолчался. Об этой и других стычках мы знали давно, еще на Тамани в станице Джигинской, над которой с рассвета до темна небо гудело: штурмовики под

прикрытием истребителей долбали резервы противника на Керченском полуострове. В один из этих многотрудных дней Журавлева вызвали в политотдел. Неожиданно. Вместо сопровождения группы "илов" полетел в станицу Старотитаровскую. На высоте могли прихватить егеря, шаставшие по Тамани, до их точки через пролив - рукой подать. А на посадке тем более держи ушки на макушке. Потому и полетел бреющим.

Разогнав приличную скорость, выскочил точно на середину посадочной и пошел на иммельман. Выполнил чисто и, сразу же убрав газ, спланировал на посадку. Только успел зарулить на стоянку и вылезти из кабины, как Дрыпов - собственной персоной... Доложил ему о прибытии, а тот:

- Весьма рад, что прибыли живым... С иммельмана на посадку - это, знаете ли... Что за фокусы?

- Парить нынче высоко в небесах - значит в небесах и остаться...

- Взыскание получите позже, а сейчас получите в политотделе тезисы доклада ко дню сталинской Конституции и допишите раздел о делах вашего полка. Понятно? Понять было несложно, одно неясно; что могло стрястись, пришли Дрыпов тезисы в часть посыльным? Спрашивать агрессивно настроенного полковника не стал, смотался в станицу, сунул в карман листки доклада и скорее обратно, в полк. До вечера еще успел слетать на многострадальный Эльтиген, а ночью взялся за доклад. Это, как обычно, были тщательно вылизанные вариации на заданную тему... Пришлось вставлять не показатели, а большие куски тяжелой, горячей, неведомой Дрыпову боевой жизни: только на Северном Кавказе погибло более тридцати летчиков, считай - целый полк!

Вечером 6 декабря Журавлев выступил перед личным составом полка и БАО с докладом. После ужина в столовой - праздничный самодеятельный концерт "кто во что горазд". После концерта пошел отдыхать, день назавтра предстоял труднее нынешнего; синоптики дают скверный прогноз. Пошел по улице, за ним группками растянулись летчики, станичники, присутствовавшие на вечере. Вдруг видят: вдоль улицы навстречу несется всадник, размахивает плеткой, выкрикивает что-то оголтело, наскакивает на людей. Сумерки, толком не разберешь.

- Ну-ка! - показал на него Журавлев летчикам. Те схватили лошадь под уздцы, сдернули верхового с седла. Оказалось - пьяный зенитчик с батареи, охраняющей аэродром. Сквернословит, изгаляется, буянит.

- Не смей меня трогать! Вы кто такие?

- Я замначальника местного гарнизона, прекратите

безобразничать! - процедил сдержанно Журавлев.

- Плевать я хотел! Ты майор и я майор, что ты мне сделаешь? Хе! Тюха-матюха... Попробуй тронь! Что, кишка слаба? У-у-у!..

И, схватив внезапно за козырек фуражку, напялил ее на глаза Журавлеву. Окружающие остолбенели. Журавлев тем временем водрузил фуражку на место, примерил ребром левой ладони - правильно ли, развел, как бы извиняясь, руками, затем молниеносным ударом кулака, в который вложил, видать, всю силу бицепсов и трицепсов, отправил пьяного на обочину дороги. Вынул платок, вытер тщательно руки. Дебошир продолжал лежать навзничь.

- Славный апперкот... - определил с уважением кто-то из знатоков бокса.

- Глубокий нокаут, - добавил другой безнадежным тоном.

- Что ж, как говорят немцы, теперь "альгемайне орднунг", полный порядок, - поморщился Журавлев и махнул рукой: - Пошли, товарищи, отдыхать, без нас очухается.

В багрово-мутном небе над Эльтигеном мы, штурмовики, несем потери - страшно подумать. Журавлев в числе других истребителей летает с нами. И в эту горячую пору опять вызывает его Дрыпов. Пока техники готовят его верный ЛаГГ-3 на боевое задание, он берет УТ-2 и летит в Старотитаровскую. На стоянке его ждет эмка.

"Какой почет!"-хмыкает насмешливо Журавлев, подавляя в груди растущее чувство сгущающейся опасности. Приезжает в политотдел, входит в хату. Полковник сидит за столом в красном углу злой, напыженный. Его кубическое тело словно застыло. На приветствие замполита роняет сквозь зубы:

- Садитесь...

Присев на одну из табуреток, Журавлев достает из планшета блокнот, на случай если понадобится что-либо записать. Но полковник молчит, глядя исподлобья. Вдруг ударил ладонью по столешнице:

- Рукоприкладством занимаетесь, а написать о себе в политдонесении духу не хватает?

Журавлев густо покраснел. Какой смысл объяснять, что ему не до писанины, когда на земле и в воздухе гибнут товарищи, падают, как кирпичи со стен домов во время катастрофического землетрясения? Слова бесполезны, коль обвинение сформулировано: он, замполит части, по мнению Дрыпова, норовит скрыть от высших политорганов ЧП. С трудом подавив в себе подступающую вспышку, произнес невозмутимо:

- Слава богу, ЧП у нас пока нет. А что касается мелкого хулиганства, очевидно, имеется в виду случай в гарнизоне? Так

об этом будет подробно сообщено в очередном политдонесении. Срок представления завтра. Может быть, к этому времени и беда от фронта отодвинется...

- Смотрите, чтобы все было в ажуре! Хе! Не хватает мне еще политработника под трибуналом!.. А расследование инцидента я проведу сам. Лично! Сегодня же! - восклицал полковник. Шагнув к двери, распахнул ее: - Машину мне! Ежели что, я в истребительном полку.

- Товарищ полковник, зачем трястись по костоломным дорогам? Я прилетел на двухместке, доставлю вас в часть с комфортом.

- С комфо-о-ортом... Комфорт любят старички, которые еле скрипят, а я еще - гм!.. - приосанился Дрыпов.

Лететь согласился, но так, словно делал Журавлеву величайшее одолжение. "Ладно, - подумал тот не без злорадства.- Я тебя эх! - прокачу!"

На аэродроме, поднатужившись, впихнул Дрыпова в заднюю кабину, взлетел - и сразу же к земле, на бреющем. За станицей - озеро, по озеру - волна-кудрявка.

Журавлев айда сдувать с нее пену винтом. По его спине бум-бум! Оглянулся: Дрыпов молотит, тараща со злобным испугом глаза и тыча пальцем в небо. Журавлев кивнул: ясно, над ними "мессеры". Он буквально прилип к земле, едва не цепляя колесами кустарник. Впереди овраг. Нырнул в овраг и пошел мотать самолет из стороны в сторону, того гляди, черкнет консолью о крутой скат. Не черкнул, выскочил на железную дорогу, сделал горку и опять намертво прижался к стерне.

Так и возник неожиданно над аэродромом станицы Джигинской, сделал иммельман и с ходу пошел на посадку, показывая всем, что зенитная оборона аэродрома ни к черту не годится и что не его надо судить трибуналом, а того самого майора, которого он нокаутировал позавчера.

На стоянке выстроилось все полковое начальство: командир, начальник штаба, секретарь партбюро, комсорг. Дрыпов выбрался из кабины, посмотрел на всех гордо. Закурил. Дым от папироски, зажатой между пальцами, дрожал, лицо казалось эмалированным. Повернувшись в сторону Журавлева, молвил со снисходительной укоризной:

- Товарищ комиссар, ну разве можно так изматывать пассажира? Лететь немыслимым бреющим?

- Как?! - воскликнул Журавлев, строя из себя простачка. - Вы же толкали меня в спину, товарищ полковник, показывали в небо, где шныряли "мессера"!

- Эх, комиссар... Вы же не поняли меня: я давал вам знак

увеличить высоту полета, а вы... Лично я "мессеров" не видел. Ну, хорошо, коль все обошлось благополучно. Теперь примемся за дела.

В этот день Дрыпов "за дела" так и не принялся, лег в санчасти на топчан и кантовался до вечера - высокое давление... Командир полка прибежал перед вечером узнать о состоянии здоровья начальства, но врач, как я все врачи в мире, ответил скучно и односложно: "Пока больной дышит, надежда есть..."

Ночью из дивизии приехала легковушка, она забрала на базу начальника политотдела, так и не приступившего к расследованию инцидента.

Дальнейшие стычки и перипетии отношений Журавлева с Дрыповым выпали из поля моего зрения. На следующий день меня подожгли над целью, "чертова дюжина" сгорела дотла, поджарился и я так, что до весны промытарился в госпитале.

Все эти месяцы, как оказалось, Дрыпов точил на Журавлева зуб, но в небе комиссар был ему не по зубам, Тогда он на земле лишил его заслуженной награды.

Свою обиду Журавлев никому не высказал, лишь покачал понимающе головой. Возмутился командир полка, разъяренный помчался в политотдел дивизии качать права - и получил по носу.

- Кто чего заслуживает, решаю я! - отрезал Дрыпов. Поднялся из-за стола, сунул два пальца за борт кителя, нравоучительно указал: - Ваше беспокойство о подчиненных весьма похвально, но... В данном случае объект не тот... Да-да! Человек, на котором висит взыскание за неблаговидные дела, не достоин государственной награды. Пусть будет доволен тем, что мы пожалели его и сняли позорный выговор. Так и передайте ему.

"Жалость" начальника политотдела не растрогала строптивого комиссара. Он понимал: перед ним - глухая стена. Что делать: биться о стену лбом или биться с вражьей ордой в небе? Для него выбора не было. Единственное, что он сделал,- подал рапорт командующему Вершинину с просьбой перевести его в другую дивизию, желательно рядовым летчиком.

Его не перевели.

...Теперь над белорусскими лесами, забитыми отступающими немцами, мы едва ли не каждый день слышали его голос;

- Я - "Дух Сталинграда"!..

Ратной работы было невпроворот. Летчики едва успевали полетные карты подклеивать, прыгали с аэродрома на аэродром кузнечиками.

Юго-восточнее Минска в окружение попала большая вражеская группировка. Передовая команда истребительного полка - человек десять во главе с начальником штаба, - захватив с

собой рацию и полковое знамя, отбыла на новую точку базирования, где уже находились представители БАО. Им надлежало подготовить посадочную площадку для приема самолетов. Подготовили, ждут прилета своих. Возле посадочного знака установили посадочную рацию, рядом колышется полковое знамя о орденом на полотнище, стоят финишеры, аварийная команда.

Вокруг летного поля - густой лес, в зеленом полумраке торчат замшелые пни, поваленные стволы напоминают фигуры людей, прикорнувших на толстом слое прелых листьев. Птицы щебечут в гуще, пищат какие-то зверюшки - в общем, идиллия... Кому пришло бы в голову, что именно оттуда грянет беда. А она тем временем уже выползла из чащи- в широких касках, с блеском оружия, с урчаньем двигателей бронированных вездеходов.

Отряд немцев с ходу открыл огонь. Пуля раздробила челюсть начальнику штаба. Неспособный говорить, он только стрелял и указывал рукой на рацию. Кто-то заметил и быстро сообщил в полк о нападении гитлеровцев. Оттуда передали; продержитесь хотя бы минут тридцать, взлетаем на выручку. Штабники и технический состав заняли круговую оборону. Секретарь парткома полка сорвал с древка знамя, спрятал у себя на груди. А немцы напирали, как бешеные. Оборонявшиеся, ведя огонь из винтовок, не могли никак понять: зачем им понадобился пустой аэродром?

Неожиданно над площадкой появилась пара Ла-5. Это "Дух Сталинграда" со своим напарником, выполнив боевое задание, прилетел на новую точку. Не увидев посадочного знака "Т", Журавлев запросил по радио, но ему не ответили: рация была разбита.

"Что за чепуха? - возмутился ведущий. - На старте куча людей, разлеглась средь бела дня, как на пляже, неужели дрыхнут на службе? Ну, ладно, черти, я вас сейчас разбужу..."

И, разогнав скорость до предела, пронесся с ревом в каком-то метре над головами команды. Снизу замахали руками, поднялся переполох. Летчик почувствовал: дело неладное. И крутнул восходящую "бочку". Крутнул в самый раз, ибо рядом с кабиной уже тянулась пулевая трасса. Вот когда пригодилось ему искусство высшего пилотажа на малой высоте!

"Неужто я заблудился? Неужто попал к немцам?" - засомневался он. Но когда из середины площадки, указуя в сторону леса, взметнулись красные ракеты, сомнения исчезли. На аэродром вышел он правильно, да только аэродром, кажется, захвачен противником. "Стоп! Быть такого не может!" - загорелся

Журавлев. Зарядные ящики у него почти пустые, но он так разозлился, что готов был рубить врага винтом, давить голыми руками. К счастью, этого не понадобилось; по опушке, где застряли недобитые фашисты, пронесся шквал огня: прилетевшая по вызову восьмерка Ла-5 разнесла в пух и прах отряд гитлеровцев, состоявший, как выяснилось позже, из офицеров. Стадо известно, что им нужна была именно эта глухая посадочная площадка, откуда они сами намеревались улизнуть на вызванном по радио транспортнике.

Не вышло. Над их трупами, над смрадными остовами сгоревших вездеходов опять защебетали птички и едва приметно для глаза зашевелили тонкими ветвями-нитями томные березы. Кстати, из стволов берез делают на заводах фюзеляжи наших "илов".

Спустя несколько часов, летный состав перелетевшего полка разбрелся по опушкам. Рассматривали результаты недавней схватки, хмурились.

- Так вот можно и на собственном аэродроме - того...- говорили летчики с кривой ухмылкой на губах.

Слова и настрой, с какими они были говорены, прозвучали для замполита настораживающе. Они свидетельствовали о том, что у летчиков пошаливают нервы. Много летают, переутомились. Так недалеко и до моральной подавленности. Надо что-то предпринимать, а что? Мудрость ленинских слов, что победа в конечном счете зависит от морального духа тех, кто проливает кровь на поле брани, Журавлев постигал в бою. Конечно, будь это пехота, он поднялся бы из окопа первый и пошел бы под выстрелами на врага, подавая пример остальным. Он всегда ценил силу личного примера в бою. Без мужества, смелости, отваги человек не человек. А уж комиссар - и вовсе... Тут Америку открывать не нужно: будь еще ближе к тем, чьи души надлежит тебе опекать не в силу должностных требований, а по велению собственной совести. Говори всегда людям правду, какой бы суровой она ни была, и требуй от всех только правду. Лишь тогда тебе будут верить всем сердцем.

На этом же аэродроме через несколько дней полк потрясли небывалые чепе, поставившие всех в тупик. Запахло не какими-то недоработками, а явным криминалом. Журавлев настойчиво искал корешки происшествий, перебирал в памяти недавние значительные и незначительные события и наконец догадался, откуда "дует"... Вызвал к себе в землянку-погреб комэска-два, известного в авиации аса и Героя, и строго потребовал объяснения.

- Говорить по правде? - прищурился тот. - Что ж, правду - так правду... Догадка оказалась верной. Неприглядная история, вылившаяся в чепе, началась еще на Крымской земле в боях за Севастополь.

За неделю до начала операции в полк на стажировку прислали тыловика-инструктора из авиаучилища, старшего лейтенанта по фамилии... Впрочем, ни к чему нам его фамилия!.. Поскольку он прибыл на время, кажется месяца на три, замполита он не особенно интересовал. Командир полка, как подсказывали товарищи из отдела кадров армии, прикрепил этого инструктора к лучшему летчику части- комэску-два. Уж если натаскивать тыловика, то не тяп-ляп, а по-настоящему, профессионально.

Через неделю ас является к Журавлеву и сердито докладывает:

- Товарищ майор, очень прошу вас поговорить с этим инструктором, а лучше - уберите его от меня.

- А что случилось?

- Безобразничает. Как только группа вступает в бой, он исчезает куда-то. А по окончании - тут как тут, пристраивается как ни в чем не бывало. В самый горячий момент я остаюсь без ведомого. На кой черт нужна мне такая... гм...

- Вы правы: такая "гм..." не нужна ни вам, ни кому бы то ни было. Я поговорю с инструктором, не беспокойтесь. Думаю - дело поправимое, - пообещал Журавлев и пригласил того для беседы наедине.

- Может, вас страх одолевает и вы теряетесь в бою? - попытался он вызвать инструктора на откровенность. - Если так, остается одно: перебороть его. Страх - не позор, если его одолеешь, - внушал Журавлев.

- Нет, товарищ майор, - клялся тот. - Я вовсе не трушу, просто не могу удержаться в строю. Не привык к таким маневрам, потому и отстаю.

- Хрен редьки не слаще. Поймите, вы не только подставляете своего ведущего под удар, вы сами себя обрекаете на гибель. "Мессов" медом не корми, а дай им отбившегося одиночку - вмиг растерзают.

- Я понимаю, товарищ майор, меня уже ругали: за это летчики. Больше не повторится. Даю слово.

- Ну хорошо, старайтесь. Такого боевого наставника, как комэска-два, вам днем с огнем не сыскать. Перенимайте его опыт и - станете асом.

Но со следующего дня, к удивлению замполита и к удовольствию комэска-два, инструктор стал летать напарником у другого летчика. Оказывается, командиру полка позвонили из

отдела кадров армии, после чего он внес изменения в таблицу полетов.

Журавлев, занятый боевой работой, не придал этому значения, вообще позабыл об эксцессе. А вскоре и бои в Крыму закончились. Наступила пора "Багратиона", и опять - жалобы на инструктора: бросает группу, увиливает от боя. На днях ведущий, не подозревая, что хвост у него остался оголенный и что напарник, вместо того чтоб прикрывать его, мышкует где-то в стороне, чуть не стал жертвой в простейшей обстановке.

Возмущенный летчик доложил своему командиру, а тот, имея личный опыт полетов с этим напарником, не придумал ничего умнее, чем посоветовать летчикам "проучить" негодяя. Те и проучили, устроив ему "темную".

Первое чепе!..

По вызову Журавлева инструктор явился, прихрамывая, в синяках и ссадинах.

Не жалуясь и не оправдываясь, упал на табурет и горько заплакал.

- Не могу больше! Это же мука! Кошмар какой-то... Меня здесь ненавидят, презирают как ничтожество, преследуют.

- Виновные в рукоприкладстве будут строго наказаны. Заявляю вам официально.

- Нет, нет, не надо. Пусть их... Я никого не знаю. Нет, я не об этом прошу вас и командира. Передайте меня в другой какой-нибудь полк. Я подаю рапорт. "В другой полк? - подумал Журавлев. - Понятно. Здесь тебя дубасят и презирают, а там, пока раскусят, то-се, глядишь, и стажировке конец. Ясно. Да только черта с два получится у тебя такой фокус. Это какими же подлецами надо быть, чтоб подсунуть такую свинью товарищам своим по оружию!" И Журавлев сказал:

- Просьбу вашу обсудим, и командир полка примет решение, а пока отправляйтесь в санчасть, пусть вам дадут освобождение от полетов.

- Я уже был. Не дают они... - вздохнул инструктор. И вот спустя сутки второе чепе. В полете на сопровождение "илов" инструктор, ставший уже притчей во языпех, опять улизнул при подходе к цели. Четверкой этих "илов" командовал я. Работу закончили без особого напряжения. Противодействия фашистских истребителей не было, зенитка, правда, палила не стесняясь, но мы отштурмовались удачно, и я, довольный, вел своих на "брее" домой.

Вдруг мой стрелок вскрикнул:

- Старшой, нас догоняет четверка "фоккеров"!

- Давно не встречались... - хмыкнул я, соображая по-

быстрому, какой маневр применить для обороны. Ведь мы, по сути, без прикрытия, у ведущего пары истребителей, что летит рядом со мной, ведомого нет. Ситуация мгновенно изменилась и стала весьма опасной. Теперь не Ла-5 нас, а мы его спасать должны, он один. Только успел я оценить положение, как стрелок опять докладывает поспешно:

- Старшой, я ошибся. Не четверка, а пять "фоккеров" догоняют!

"Обрадовал..."

Приказываю своим сомкнуть строй, огонь вести кучно всей группой по ближайшему "фоккеру".

- Старшой! Старшой! - опять мой стрелок.

- Чего тарахтишь? Прицеливайся точнее!

- Непонятно, старшой... Они, кажется, друг в друга стреляют...

- Тем лучше! Может, с ума посходили.

Я чуть сбавил газ, посмотрел мельком направо, налево, ведомые летели почти в одну линию. Хорошо! В этот момент самолет затрясло от длинной очереди пулемета стрелка - и тут же вопль ужаса:

- Мамочка, это наш!

До меня его эмоции не дошли, бой был в разгаре. Голова вертелась на триста шестьдесят градусов. Стрелки вели по наседающим немцам дружный огонь. Все шло нормально. И тут снова ситуация изменилась, я увидел тень, опускающуюся мне на голову. "Проклятье! Сейчас столкнемся!" Но тень скользнула вперед, и я успел заметить продырявленные звезды на крыльях, мелькнувший белый номер.

- Инструктор! - вырвалось у меня невольно. Это, значит, за ним свирепо гнались "фоккеры", а он, спасаясь, бросился на своей мощной боевой машине под наше крыло, как беспомощный слабосильный цыпленок под наседку.

"Фоккеры" - слабаки на малых высотах - быстро сообразили, что им здесь не отломится, убрались восвояси, а мы продолжали полет в новом порядке; впереди потрепанным "лидером" двигался инструктор, за ним, как бы почетным эскортом, четыре моих "ила", а над всеми выписывал кренделя в поднебесье наш охранник-одиночка Ла-5. Так и довели побитого инструктора до его аэродрома. Я еще проследил сверху, как он будет приземляться, показалось - нормально, но потом по телефону сообщили другое.

Техника пилотирования у инструктора была что надо, да только тормозная система самолета оказалась перебитой, и он прокатился через всю посадочную. С обеих сторон стеной лес, а в конце - болото, гиблое место. Врюхаешься колесами - амба:

полный капот и головы на плечах как и не было. Как поступать летчику в таком случае, инструктор знал прекрасно. Расстегнул привязные ремни и стал ожидать финиша, чтобы в нужный момент выброситься из кабины.

Момент уловил точно и кабину оставил своевременно, а дальше бедняге не повезло: могучая сила инерции пронесла его дальше, чем нужно, и трахнула головой о дубовый пень, но старый пень устоял...

О таких людях быстро забывают, то же было бы и с инструктором, если б на следующий день не прилетел транспортный самолет специально за его останками.

Летчики удивились, что, дескать, за шишка такая? Бугорки могил над нашими убитыми соратниками рассеяны по неведомым дальним далям, а этого в какой пантеон?

- Может, решили похоронить на территории училища, где он служил, что здесь непонятного?.. - пояснил предположительно Журавлев.

..."Дух Сталинграда" провоевал до конца, сопровождая нас, штурмовиков, на самые опасные цели, или шарил по вражеским тылам в не менее опасном амплуа разведчика, однако до победы не получил больше ни единой награды, ни очередного звания, ни даже благодарности. А полк, с которым он связал судьбу, менее чем за год стал "Волковысским" и ордена Суворова III степени. Конечно, его грыз червь обиды, но он по-прежнему оставался настоящим комиссаром, человеком мысли и действия, а не слепого послушания.

Служил под началом Журавлева хороший истребитель, командир звена по имени Виктор. Мы с ним не дружили, просто знали друг друга. Меня он прикрывал редко, однако голос его в эфире слышал почти каждый день. Лишь когда мы перелетели в Польшу, Виктор куда-то исчез, перестал возникать в воздухе. Конечно, это ничего не значило: могли послать за самолетом, за пополнением, мог заболеть. Меня удивило другое: напарник Виктора, опытный, знающий дело, начал летать с замполитом. Что за новости? Обычно Журавлев натаскивает молодых, а этот сам может учить других. Не иначе как проштрафился, раз попал под опеку. Встретились как-то с ним на совместном разборе полетов.

- Виктор? Фю-ю-ю! - присвистнул ведомый. - Он по Сибири в отпуске гуляет.

- Не морочь голову, - отмахнулся я. - В отпуске! С каких это пор на фронте стали отпуска давать?

- А вот дают. Ежели приложит руку комиссар.

Непонятно. У Журавлева, кажется, любимчиков нет, так

почему такое неслыханное исключение для Виктора? Меня заело. Не имея других источников информации, я обратился непосредственно к Журавлеву.

Отзывчивость, доброта - едва ли не главные качества настоящего политработника. Уловить тонкие изменения в настроении подчиненных, по незначительным штрихам в поведении определить духовное состояние каждого воина и, обобщив, создать верное представление о морально-политическом климате в коллективе дано не каждому. В кутерьме войны, в боях, полетах нет времени заниматься психологическими исследованиями, а надо. Но это под силу только тому, кто обладает особо острым зрением, душевным чутьем - важнейшими составными великого искусства человекознания.

Первое, что бросилось в глаза - это странности поведения Виктора в воздухе, над целью. Он не просто лихачествует, он сознательно лезет черту на рога. Куда девалось у человека разумное чувство самосохранения? Кидается на противника очертя голову, будто, кроме него, никто не воюет. Похоже, не его смерть ищет, а он ее. Со стороны - фаталист, и только. Журавлев стал присматривать за ним на земле, оказалось и того хуже; то бродит одиноко сам не свой, отвечает тупо "да", "нет", отчуждается, словно товарищи ему в тягость, то сидит истуканом, уронив руки на колени, отягченный глыбами каких-то дум.

Товарищи спрашивали его, что случилось, какая забота гложет сердце, но он угрюмо отмахивался, молчал. Журавлеву были известны случаи, когда на людей находила "полоса" и человек без видимой причины становился летающим трупом". Не выявишь причину, не придешь на помощь вовремя - и человек очень скоро превращается в труп нелетающий... Вступать в контакт с подобными замкнувшимися людьми ох как трудно. Но Виктор - коммунист, и это, считал Журавлев, должно облегчить беседу с ним.

Какие слова нашел он, чтоб "расколоть" Виктора, не знаю. Сам он тоже не помнит. Помнит лишь, что разговор был коротким. Колеблясь и стесняясь, Виктор отдал ему полученное недавно письмо.

- Читайте мою беду, мой позор...

Письмо пришло из поселка, где жили эвакуированные родные Виктора, но писал чужой человек, соседская девчонка. Под чью-то диктовку она обстоятельно рассказывала, что жена Виктора Серафима месяц тому назад оставила пятилетнюю дочь Люську бабушке, матери Виктора, и убыла со своим новым мужем в неизвестном направлении. Бабушка так переживала, что совсем

было умерла, и вот уже три недели не встает, поэтому соседи передают Люську друг другу, чтоб она не померла от голода: тетя Сима увезла с собой денежный аттестат. Хотя бабушка и запретила писать дяде Вите на фронт о том, что случилось, но соседи просят его забрать поскорее Люську, а если он не хочет, то сообщить, и тогда они сдадут ребенка в детский дом.

А в конце письма приписка:

"Товарищи командиры дяди Вити, если это письмо не застанет его в живых, все равно напишите нам, чтоб мы знали. Авось кто-нибудь удочерит Люську". Веселенькое письмецо... Даже в бреду не выдумать такое. Но, к сожалению, не только в мирные дни - и во время войны попадались "боевые подруги" такого сорта...

Все это свалилось на Виктора, как серия бомб с чистого неба. Плакаться начальству в жилетку, писать рапорты, просить отпуск - не в его характере. Это какую ж совесть надо иметь! Товарищей будут каждый день убивать, а он - устраивать свои семейные дела за горами за морями? Духу не хватило, и стыдно было признаться, что доблестный летчик брошен женой, стал рогачом. История выглядела настолько дикой и маловероятной, что любой в полку мог подумать: письмо организовано специально, чтобы помочь ему смыться в тыл.

Виктор выхода не видел и, мучаясь, довел себя до крайности. Лишь в яростных схватках с врагом находил облегчение, и то минутное.

Познакомившись с письмом, Журавлев в тот же день поговорил с командиром полка. Тот искренне посочувствовал летчику, но выхода не видел.

- Выход один: отпустить его хотя бы на неделю. Устроит семейные дела, вернется в другом настроении, еще активнее воевать станет.

- Перекрестись, комиссар! - воскликнул командир. - Какой отпуск?

- Давай сделаем так, - заговорил Журавлев миролюбиво. - Приложим наши соображения к его рапорту, и я сам повезу в дивизию. Надо же думать и о будущем!

Разве мало погибло наших детишек на фронтовых дорогах? Как же можно допускать, чтобы дети наших солдат умирали в тылу, когда до конца войны остаются считанные дни?

- Александр Матвеевич, подумай сам, у нас и так летного состава раз-два - и обчелся, а мы будем ходатайствовать об отпуске ведущего. Кто воевать будет?

- Я! Я за него буду воевать, пока не вернется от матери. Не дави на меня, командир, пятна могут быть на чем угодно, даже на

солнце, но только не на совести коммуниста. И это не громкие слова.

Утром майор отправился к комдиву, и тот вопреки ожиданиям предоставил Виктору двухнедельный отпуск. И что же, вы думаете, было дальше? Журавлев как сказал, так и сделал: две недели, словно заводной, вкалывал вместо уехавшего Виктора. Мало того, пытался даже записать на его счет сбитый фашистский самолет. Как принято сегодня говорить, "работал за того парня"... Но командир полка довольно ехидно осадил его.

- Теперь у меня не жизнь, а малина! Отправлю летный состав в Мазовецкий костел, пусть наслаждаются органной музыкой, а ты тем временем будешь молотить фашистов и распределять среди летчиков боевые трофеи. Здорово, не правда ли?

- Ну, это ты утрируешь...

- Да? Так вот, услышу еще раз такое, отстраню от полетов напрочь! Это еще, надеюсь, в моей власти.

- В твоей, в твоей...

Виктор вернулся ровно через две недели, и мы узнали, что он похоронил мать, дочурку же приодел, как смог, переписал на нее аттестат и отвез в Москву к двоюродной сестре, чтобы она там жила до окончания войны. Виктор выглядел спокойным, сдержанным, вроде бы прежний и вместе с тем не тот. Заразительная жизнерадостность, ироничность, насмешливость слиняли, будто смыло их жесткой волной напасти.

Летал, как и прежде, умело, решительно. Что ни день, встречаемся в воздухе, аж надоел мне. Однажды выругал его:

- Чего ты мотаешься перед носом в каждом вылете?

- Спрашиваешь... Наверстываю упущенное. Ведь я должник комиссара, а долг, сам знаешь, платежом красен.

Уже просматривался на западной стороне небосклона четкий контур подступающей победы, уже военные женщины, топая кирзачами, шушукались о фасонах выходных платьев, уже фашистские истребители, разуверившись в затяжной брехне Геббельса, стали все чаще демонстрировать нам свои удаляющиеся хвосты, - это означало, что близок конец войны. И вот те, кто до этого находился как бы в тени - у кого не было на счету интересные тактических замыслов и решений, удачных боевых операций и личных подвигов, - они загорелись желанием отличиться хотя бы под занавес.

И на нашем участке было спланировано уничтожение штаба германского танкового корпуса силами одних истребителей. Задачка, что и говорить, ой-ой-ой! А выполнить ее доверили персонально Журавлеву.

На войне так бывает нередко: надо - значит надо, и все. От

боевого задания не откажешься. Но и вести на смерть своих товарищей в последние дни войны ох как тяжело! Ведь вражеский корпус окружен, он в нашем тылу, баки фашистских танков сухие. Повременить неделю - гитлеровцы сами прибегут в плен. Зато у этих окруженцев боеприпасов - тьма и зенитные стволы не обычные армейские, а ПВО Германии, умеют в "яблочко" попадать. Страшно подумать, что ждет над целью легкокрылых "лавочкиных".

Румянился горизонт, весенняя заря накинула на пятнистую землю нежно-розовую кисею. Истребители летят, понукаемые хлесткими лучами взошедшего солнца. Удар авиации на рассвете стал в конце войны трафаретом. Противник в эти часы был начеку, а днем отсыпался. Журавлев предлагал и просил изменять время вылета, но получил отказ. Молодые летчики, не знающие ни подоплеки, ни особенности предприятия, рвались в бой. Журавлев, мучительно думал, как разбить проклятый штабной двор, отмеченный крестом на карте крупного масштаба. На малой высоте к нему не подобраться, промелькнет - не заметишь. С высоты трех-четырех километров его вообще не различишь, а на средних пристрелянных высотах не долетишь до цели, собьют. Решил для начала подавлять зенитные установки, атаковать с трех тысяч, выпустив щитки, чтоб не особенно разгонять самолеты при пикировании. Надо внушить зенитчикам врага, что советские истребители прилетели штурмовать именно их, и только их. Если мистификация удастся, противодействие резко ослабнет, многие орудия прекратят огонь, чтобы не выявлять свое местонахождение.

"Допустим, - рассуждал Журавлев, - номер пройдет. Тогда мы боевым разворотом - на море, а оттуда - по главной цели. Если же что-то помешает ударить по штабу, снова обстреливаем зенитки. Короче, будем утюжить, пока не попадем".

Журавлев всегда старался рассчитывать все так, чтобы, как говорится, и рыбку съесть, и в лужу не сесть. Так и в этот раз.

Капризная природа строго по курсу группы повесила одинокое облачко, словно обозначая лежащую под ним цель. Дальше раскинулась режущая зеркальными блестками балтийская вода, окаймленная с юга бурыми берегами. Еще минута, другая - и... Журавлев зло усмехнулся. Выражение лица его никто не видел, но если до этой минуты он заставлял себя смотреть туда-то и делать то-то, то теперь будто кожей стал видеть и чувствовать все вокруг.

Вспышки разрывов не просто окружили группу, они ее проглотили. Вот это был огонь! Надо же было немцам девать куда-то боеприпасы, их хватало для всех калибров еще на

полгода. Вот и лупили, как оглашенные, словно решили выпустить весь запас по одной группе Журавлева. Но он все равно прорвался сквозь толстую стену огня и атаковал, как рассчитывал. Мать честная, что поднялось! Рев форсированного двигателя, грохот пушек и пулеметов - это само собой, самолет сотрясался, лязгал, дергался от прожигающих осколков - и подошло главное: он стремительно низвергался на врага, неся возмездие.

Вот оно, мгновенье, знакомое воем воинам, последний миг перед атакой, когда победы еще нет, но ее предчувствуешь, она почти в руках.

Журавлев не стрелял на авось, лишь бы пугать врага, он тщательно выцеливал под собой оранжево мерцавшие жерла орудий и, лишь зафиксировав их в перекрестии, жал на гашетку. И те, внизу, то ли убитые, то ли от страха, прекращали стрельбу, но Журавлев знал их повадки досконально. Выводя самолет из крутого пикирования, применил верный, отработанный до автоматизма маневр.

Левый боевой разворот... взгляд назад... Сосчитать своих времени нет, но вроде все на месте, вытягиваются друг за другом, вот-вот замкнется "вертушка".

Зенитный огонь резко спал. Неужто расчеты врага поймались на удочку? Вот здорово! Журавлев скомандовал по радио:

- Бомбы и все стволы - по основной цели!

С трехсот метров жирно перекрещенный на карте двор смотрелся отлично. Среди машин метались люди, огонь истребителей решетил, крошил черепичные крыши строений, красно-кирпичные стены курились багровыми дымками.

Журавлев сбросил бомбы, скользнул влево, тут же вправо, поставил самолет на крыло, посмотрел на землю. Во дворе рвались бомбы ведомых, пыль и дым накрыли цель. Лишь теперь зенитчики поняли, что произошло, дали раздирающий небо залп. Самолет комиссара содрогнулся, как от крепкого удара колуна, острый шип впился в ногу ведущего. "Ах, сволочи! Опять, как в первый день войны... И в то же место", - мелькнуло досадливо в голове. Тело вмиг охватило жаром, а из пробоины в фюзеляже прошлась по лицу острая ледяная струя. Напрягаясь, он приказал себе: "Не вздумай потерять сознание - земля рядом!" Внезапно впереди возник горящий самолет. Вращаясь в бешеном штопоре, пронесся мимо. Журавлев успел заметить: это его молодой ведомый. Крик вырвался из груди майора, в нем и боль, и жалость, и протест. До этого он не потерял ни одного напарника, ни одного доверенного его прикрытию штурмовика.

А до победы оставались считанные дни.

Может быть, к этому рассказу по принятым стандартам надлежит пристегнуть велеречивую информацию-концовку. Я этого делать не стану. Мы, друзья-ветераны, глубоко уважаем вашего комиссара и не позволим обижать его бодряческими-дешевыми комплиментами, дескать, "он и поныне бодр, полон сил... активно участвует в общественной жизни... проводит большую воспитательную работу с трудными подростками передает свой боевой опыт..." и т. д.

Ничем подобным он не занимается, ибо "не до жиру, быть бы живу...". И мы рады, что среди нас живет этот человек нелегкой судьбы, коммунист с более чем полустолетним стажем, отважный комиссар, бесстрашный воздушный боец.

РЫБАЧКА СОНЬКА

Крепко застряли мы на Тамани, почти полгода торчим в хуторе Трактовом, даже кладбище за околицей образовалось мало-помалу. А сколько боеприпасов израсходовали, горючего сожгли! А сколько хлеба да консервов слопали, сколько чаев выдули - страх! Длинная овраговина возле аэродрома засыпана порожними банками, склянками, коробками, они служат мне неподвижными мишенями. Расставлю ярусами и бахаю по ним из пистолетов. Пока валялся зиму в госпитале, «потерял форму», приходится восстанавливать. В левой руке - маузер, в правой ТТ, у ног - цинковая коробка с тысчонкой патронов. Нога еще побаливает, сижу на ящике. Надоест палить сидя, встаю или ложусь на живот и продолжаю упражняться.

Нынче пятое апреля, теплынь. На аэродроме тихо, летает лишь «спарка» - тренировочный «уил», да разведчики поднимаются изредка, шарят чего-то по западу Керченского полуострова. Чувствуется, впрочем, не только чувствуется - определенно известно, что со дня на день начнется в Крыму генеральное наступление. Полетные карты расчерчены маршрутами до южного берега, укрепленный район Севастополя сфотографирован сто раз, и изучен до крупицы, все ждут команду на штурмовку вражеских позиций, и только я продолжаю набивать руку в стрельбе из личного оружия.

Мое возвращение в часть - я это ощущаю - не привело в восторг полкового командира, и его можно поняты зачем нужен боевой части балласт? Здесь не дом инвалидов, не санаторий для долечивания раненых, а я именно из таких: в руке - костыль, ноги в бинтах, палец отгорел - карикатура, а не летчик.

- Чем будешь жать на гашетки? - смотрит на меня командир взыскательно и качает головой.

- Мне все равно - правой или левой нажимать.

- Вначале на земле понажимай... Проверю лично. Не получится - отправлю в отдел кадров армии. Кстати, собаки здесь давно передохли, так что дубина твоя...

Оставлять клюшку в сохранности - плохая примета. Я ее сжег в тот же день, вот со стрельбой швах: правая рука быстро устает, дрожит, в левой - пистолет с непривычки валится набок. Два дня мучился, только вчера добился сдвига, а сегодня уже с обеих рук попадаю неплохо.

Командир Хашин пунктуален, свои приказы не забывает. В десять утра посыльный приносит в овраг фанерный лист с мишенью, устанавливает, меряет шагами дистанцию. Появляются

командир с начальником ВВС - воздушно-стрелковой службы полка, - командуют мне:

- Марш на огневой рубеж! Одна обойма.

- С какого положения? - спрашиваю.

- Хоть вверх ногами...

Стреляю, перебрасывая пистолет попеременно с левой руки в правую (мне это кажется эффектным), выпускаю все патроны.

- Гм... Жонглеер... - хмыкает командир и велит посыльному принести мишень, считает пробоины. Я - тоже хмыкаю, но про себя: очки набраны. - Ставь чистую мишень,-приказывает командир солдату и вынимает из своей кобуры хромированный «вальтер». Стреляет навскидку в быстром темпе, выпускает обойму и кивает: «считайте!» Но как сочтешь попадания, ежели черный кружок «яблочка» превращен в труху?

- Понятно? - бросает командир свысока. Он чрезвычайно гордится собственной меткостью - эта его слабость известна нам. «Мне бы твой пистолет, может быть, и я...» - едва сдерживаюсь, чтоб не брякнуть. У командира настроение приподнято, самый раз попросить, чтоб приказал провезти меня на «спарке», авось успею войти в строй до начала наступления.

Идем в сторону штаба, я, как положено, отстаю на шаг от начальства и стараюсь не хромать. Второй спутник Хашина козыряет и сворачивает на стоянку по своим делам. Пользуясь случаем, излагаю свою просьбу. Хашин молчит. Проняло или не проняло его? Беру тоном выше, как пишут в газетах:

- Товарищ командир, у меня особые счеты с фашистами. Память о погибших друзьях как пепел Клааса стучит...

Хашин морщится, меряет меня ироническим взглядом. Вдруг останавливается, говорит как-то скучновато то ли устало:

- Куда тебя черти тянут? Ты ж только выкарабкался с того света! Оклемайся прежде, прийди в себя, на твою долю фашистов хватит. Вот освободим Крым отправлю тебя на месячишко в дом отдыха поднаберешься сил, а тогда...

«Ишь ты! Значит, кто-то штурмовать севастопольские укрепления, а я - в дом отдыха! Лихо! В таком случае придется подзанять у кого-то совести, чтобы позволила мне... Нет уж!» Говорю:

- Прошу разрешения обратиться с рапортом к командиру дивизии о переводе меня в другой полк, где я буду использован для боевой работы.

- Чего-чего?

Хашин слышал меня отлично, поэтому от повторения воздерживаюсь. Вдруг он вскидывает пилотку на затылок, топает ногой.

- Марш к начальнику штаба! Доложите, что я назначил вас бессменным дежурным по КП. До конца войны! Все!

- Есть доложить! - щелкаю каблуками и вижу краем глаза посыльного. Тот бежит к нам, запыхался, кричит на ходу:

- Товарищ командир, вас вызывает дивизия... срочно... и замполита... и начштаба...

Хашин поправляет пилотку, торопливо семенит в штаб, я ухмыляюсь: «Давайте, давайте сматывайтесь, без начальства легче решать скользкие дела..." Направляюсь на стоянку. «Спарка» все еще летает. Навстречу - комэска Щиробать.

- Некрасиво, - говорю, - Максим, не по-дружески. Одним - миг, а другим - фиг?

- Тебе отдыхать приказано. Иди позагорай за капониром.

- С Хашиным снюхались? Курортником решили меня заделать? Так, между прочим, Хашин и иже с ним умотали в управление дивизии, завтра, как видно, на дело лететь, а я, точно ощипанный петух шляюсь по аэродрому. Неужели тебе безразлична моя летная подготовленность? Там, - показал я в небо, - целыми днями катают кого-то, а ты меня не допускаешь к полетам.

- Я не допускаю? Да я без провозных дам тебе допуск!

- Растроган доверием, но без провозных не хочу. Мне нужно не одолжение, а полигон. Хашин сомневается, мол, чем буду на гашетки нажимать. Я бы сказал чем, будь он моим приятелем...

Щиробать разводит руками.

- Сегодня с полигоном крест, мне полигоншики не подчиняются.

- Ну тогда хоть по кругу и в зону?

- «Спарка» отдана на весь день третьей эскадрилье. У них там что-то вроде ЗАПа, сам комэска за инструктора шурует.

- С чего бы это?

- Повеление свыше. Переучивает на «иле» старого грузина.

- Ишь ты! Никак, шишка важная?

- Скажешь... Шишки - те на «яках» да на «азрокобрах» пристраиваются, им жить надо, а на «горбатом»... Ну, ладно, пошли попробуем выклянчить «спарку» на полчасика.

Рядом с посадочным знаком возле выносной радиостанции маячит комэска-три с микрофоном в руке, передает что-то планирующему на посадку. «Спарка» приземляется, рулит на нейтральную, где поджидает ее бензозаправщик. Двигатель останавливается, летчик в солдатских штанах и такой же гимнастерке вылезает из кабины, быстро направляется к комэску-три. Мы с Щиробатем тоже подходим.

- Товарищ капитан, гвардии рядовой Гвахария задание

выполнил. Разрешите получить замечания, - до кладывает летчик с сильным акцентом.

«Почему рядовой? - удивляюсь я. - Перед войной маршал Тимошенко сделал нас, летчиков, сержантами а этого, оказывается, и вовсе... Стоп! Да я же видел этого рядового вчера в столовой, он ужинал в одиночестве за последним столом». Узнаю круглое лицо с коричневым загаром, широкие насупленные брови, крепкие плечи и совершенно белый ежик - только начал отрастать после стрижки наголо.

- Замечания получите на разборе полетов, - отвечает ему комэска и поворачивается к нам: - Что, братцы кролики?

- Одолжи нам, братец Борис, «спарку» на часок, вернулся известный тебе ведущий, - кивает Щиробать на меня, - подмога нам будет. Надо провезти его по-быстрому.

- Хе! Я тоже с потенциальным ведущим воздух утюжу.

- Брось загибать, он же разжалованный! - ухмыляется Щиробать.

- Ну и что? Главное, чтоб летать умел и все остальное. С техникой пилотирования у него налаживается, а вот стреляет и бомбит, как китайцы в одиннадцатом веке до нашей эры...

- А в чем он проштрафился? - интересуюсь я.

Комэска-три пожимает плечами:

- Сам не говорит, а спрашивать не считаю удобным.

- А чего спрашивать? Будто ты не знаешь, как влипает наш брат. Поди, набузырился цинандали, или как там у них, и сотворил мелкий мордобой, а то и кинжалом помахал. Кавказский темперамент. У них это запросто.. - поясняет Щиробать и заключает: - Так вот, Борис, пусть твой батоно погреется пока на солнышке, а мы, так сказать, одна нога в небе, другая - на земле.

- Что с вами поделаешь? Валяйте, да не волыньте до потери сознания.

Мы направляемся к «спарке». Смотрю на разжалованного внимательней и не верю, что этот тучноватый человек - забияка или забулдыга какой-то, но чужая душа, как известно...

«Ил» на взлете привередлив, реакцией винта уводит его вправо. Старательно слежу за его поведением и взлетаю, как по ниточке. Посадка проще и потому, очевидно, что я это знаю, выравниваю высоковато и ухожу на второй круг. Следующие посадки нормальные. Щиробать приказывает лететь в зону пилотажа. Первый глубокий вираж получается безобразней, чем у начинающего курсанта. Щиробать хохочет, орет в телефоны:

- Наконец ты стал живым каталогом ляпов!

Ему смех, а мне-то каково? Навыки потеряны, не выполню

поверочный комплекс до возвращения Хашина, тогда действительно буду сидеть дежурным на КП до конца войны. Это подстегивает. Я взмок, но добился своего. Завтра полигон и... помогай нам небесные силы!

Хашин вернулся вечером, разумеется, узнал о моих полетах.

- Кто разрешал? - окрысился Хашин на Щиробатя.

- А кто не разрешил? - спросил тот резонно.

- Я! Я, черт подери! Лично указал ему, где его место. Вот здесь оно, за этим вот столом, постоянно!

- Товарищ подполковник, мне такой приказ не был известен, а прав своих я не превысил.

- Куда я вам велел явиться? - уставился на меня Хашин.

- К начальнику штаба, но я не дождался его возвращения...

- Пять суток ареста!

"Есть!" - усмехнулся я про себя. Во-первых, арест на фронте - липа; во-вторых, мне отлично известна отходчивость командира «Сейчас и я тебя поддену...» Спрашиваю с озабоченным видом:

- Товарищ подполковник, прошу уточнить приказание, где искать гауптвахту и когда отправляться под арест, поскольку до послезавтра я еще числюсь за санчастью?

Несколько секунд он смотрит на меня не мигая, затем говорит тихо, сквозь зубы:

- Уйди с глаз, чтобы духу твоего здесь не было!

И я ухожу, чтобы завтра войти в строй, воевать в своем боевом коллективе. Будущее проясняется, а вот из-за того, что пришлось сплутовать, чувствую себя неловко. Но, как говорит Щиробать, «не на то пьет казак, что есть, а на то, что будет...»,

Дневная нагрузка оказалась все же солидной, без привычки к вечеру совсем раскис. Казалось, вывихнул все суставы и подсуставы, мне их кое-как вправили, а самого положили на нары отлеживаться. То на один бок повернусь, то на другой, все равно по телу будто муравьи бегают, жалят, но вида подавать нельзя, терплю. Однако пора ужинать. Прихожу в столовку позже всех, многие успели поесть - свободно. Играет патефон, пластинка с новой песней «Рыбачка Сонька как-то в мае...», у двери в одиночестве сидит Гвахария, ковыряет вилкой в сушеной, кое-как распаренной картошке. Понятно, человек в полку новый, в прошлом попал в беду, чувствует себя скованно, стесняется, оттого и держится на отшибе. Я как-то сразу почувствовал к нему расположение. На самом деле, разве мало нахалюг! Накуролесит, обгадится по уши, а затем с мокрым хвостом выдает себя в новой компании за безвинно пострадавшую непорочность. Многозначительными намеками, недоговорками создает себе ореол борца за справедливость или по меньшей мере - не понятую

где-то, недооцененную кем-то личность.

А чтоб его поняли и оценили здесь, проныра непрестанно отирается перед глазами начальства, старается подпустить приятное уху его словцо, восторгнуться его мудростью и добротой, а посчастливится, так и посмешить-потешить, развеять печаль-заботы, отягощающие руководящую голову.

Никто на войне не ценится так высоко, как печник, парикмахер и анекдотчик. Без первого - замерзнешь в окопах, без второго - вши заедят, без третьего - скопытишься от тоски-кручины.

Но эти шутки известны всем, а моя речь о Гвахария. Останавливаюсь возле него, трогаю ногой табурет!

- Можно?

Гвахария удивленно выпрямляется, кивает головой.

- Как сегодня шашлык? - спрашиваю, присаживаясь.

- Шашлык? Какой, этот?

- Ага, этот самый, привезенный Колумбом в подарок королеве Изабелле, Клыки стачивать - самый раз! Второе место после наждачного камня занимает...

По глазам, лицу Гвахария вижу, как он обрадован, что с ним заговорили. Да, одиночество в толпе похуже, чем среди пустыни...

Официантка приносит мне ужин.

- Вас готовят в ведущие, - продолжаю разговор.

- Вай, какой я ведущий! Бомбить не умею, стрелять не умею, ме пуди солдат ("я плохой солдат" (груз.))

- Увы! Чтоб выжить, надо хорошо стрелять.

- Я в военном деле вири хар, по-грузински значит - осел. Летал на У-2, на презираемом всеми «кукурузнике». Порохом лишь на охоте забавлялся. Летал, правда, много, и по горам и по равнинам без прокладки маршрута, а на «иле» что? Выучил за неделю наддув, поддув, задув, форсаж... Видел, как вы летали сегодня... - развел руками Гвахария.

- Я лежал долго в госпитале, потерял частично навыки.

- Тем более! Я бы взял вас к себе в эскадрилью без колебаний.

Бросаю жевать жестяную картошку, спрашиваю с интересом:

- Какую, простите, вы имеете в виду эскадрилью?

- Отдельную эскадрилью связи, которой я командовал.

Вот это отмочил! У меня, как говорится, дыханье в зобу сперло. Швыряю вилку на стол, чеканю как можно ехиднее:

- Поздравляю! Вам крупно повезло, что эскадрилья ваша оказалась избавлена от моего присутствия. Я бы вам налетал...

Резко встаю, стряхиваю с гимнастерки крошки хлеба, надеваю пилотку. Собеседник мой враз сникает, сгибается над столом испуганно и растерянно. Я уже сожалею о глупой вспышке, готов

сесть обратно, но не сажусь, хотя и думаю с участием, что отдельная эскадрилья- по сути, полк. Каково-то ее командиру пребывать в роли начинающего рядового, неопытного молодого-зеленого!

Ухожу в общежитие расстроенный, ложусь, чтобы с ходу уснуть покрепче, но не тут-то! Верчусь, как на иголках, корчит зверски вдоль и поперек, голова словно в чаду. А завтра полеты на полигон, нагрузка будет похлеще, чем нынче, а я не выспавшись. Какой из меня пилот?

Встаю, выхожу из помещения на воздух, возвращаюсь, опять ложусь, так и не смыкаю глаз до утра. Уж и не упомню более мучительной бессонницы.

Подхожу к цистерне с пресной водой, раздеваюсь до пояса и открываю кран. В течение ночи вода захолодела, растираюсь изо всех сил полотенцем, сгоняю с кожи полчища мурашек и натягиваю гимнастерку: к полетам и боям готов!

Гвахария, зовут его Вахтанг в честь некогда грозного царя Вахтанга по кличке «волчья голова», тоже ждет сегодня полигон. Прохожу на стоянку мимо его самолета номер двадцать семь, вижу - сидит в кабине насупленный, что-то крутит сосредоточенно на панели.

- Как дела? - приветствую громко.

- Проигрываю бомбометание с полуавтоматом.

- Ух ты! Желаю успеха! - А сам думаю: ну-ну! Хлебнешь ты с этим полуавтоматом...

Прошлым летом мы несколько раз пробовали в бою эту затею и плюнули на нее... Я, например, заявил: наша обязанность - точно бомбить, а как мы это делаем, никого не касается.

За недержание языка мне дали вздрючку и протянули в боевом листке за рутинерство, нарисовали: я сижу верхом на самолете, прицеливаюсь по носку собственного сапога. Очень смешно, однако самое смешное в том, что проверить исполнение грозного приказа совершенно невозможно, На самом деле, кто и каким образом может увидеть, что я делаю в кабине над целью? Вот то-то и оно...

Подхожу к самолету комэска, мне на нем выполнять полигонное задание. Прикидываю: линия фронта рядом, истребителей прикрытия на аэродромном узле нет. Вывод: держи ухо востро, «худые» и «фоккеры» действуют умело исподтишка, глазом не моргнешь, как окажешься носом в землю, хвост трубой...

Мне приказано лететь с Гвахария в паре, прикрыть в случае чего. Со мной обстрелянный опытный стрелок Щиробатя, а у Вахтанга кто?

В середине войны промелькнуло в газетах, что-де есть авиачасти, где воздушными стрелками летают женщины. Что ж, в ВВС каких не бывает чудес! Из непроверенных утверждений известно даже, что самолеты по железнодорожным тоннелям летают туда-сюда... А тут, в собственном полку, вижу воочию воплощение подобного «почина» - воздушный стрелок сержант Евдокия Бучина - Дуська-колобок, как ее дразнила мужская часть стрелкачей.

Лицо у нее миловидное, краснощекое, из тех, которые к тридцати годам становятся квадратными. Глаза узкие, неизвестного цвета, губы яркие, припухшие, тело крепкое. Она напоминает вазу, наполненную розовыми шариками мороженого из далеких довоенных дней...

Сейчас, проходя вдоль стоянки, слышу ее низкий голос, зовет меня. Останавливаюсь. Новый синий комбинезон явно тесен ей, из под белоснежного подшлемника кокетливо выглядывает короткая челка.

- Товарищ лейтенант, вы правда краснодарец?

- Нет, лежал там в госпитале.

- Ой, как хорошо!

- В госпитале? Ни черта себе!..

- Не-е-е... Я хотела сказать... Я краснодарская, поэтому...

- А-а... Ну, значит, земляки.

- Меня зовут Дуся, или лучше Жанна, а вас я знаю...

- Да?

- Тут про вас такое рассказывают!

- Изреченное есть ложь! - подчеркиваю поучительно.

- Нет, нет! - восклицает Дуся. - Ничего плохого. Говорят о вашем ударе но танкам прошлой зимой в Керчи, как вы горели...

Меня коробит ее льстивый голосок. К чему она клонит? Говорю;

- Оставьте, Дуся, свои галантерейности...

Она делает глаза побольше, теперь видно: они светлые, вроде серые.

- А вот и не угадали, товарищ лейтенант, я не в галантерейном, а в гастрономическом на сырах сидела.

- Уф! Сидела на сырах... Вот и сидела бы! Зачем лезешь туда, где убить могут до смерти?

- Призвали... Я во какая здоровущая! И недетная...- Дуся вдруг густо покраснела, молвила тихо: - Товарищ лейтенант, возьмите меня к себе, а? Я все-все буду делать! Вот увидите. Здесь говорят, что стрелки неохотно летают с вами, мол, лезет сломя голову в самое пекло, а я не боюсь. Хотите проверить, как я стреляю? Не сомневайтесь, берите, не то меня распределят к старому грузину,

а он-то и летать не умеет.

- Как я могу взять вас, если у меня нет самолета?

- Будет. Попросите командира полка.

- И чем же мотивировать рапорт?

- Ну... ну я хочу к вам. Я для вас все-все...

Дуся вдруг делается хмурой, опускает голову и ковыряет досадливо носком сапога зеленую кочку. Именно в эту минуту скорлупа тупого упорства как бы спадает с нее и в ее облике проступает что-то хитроватое, ласково-женское.

- Вот что, Дуся, - говорю, - война не базар, люди не товар, потому и рыться нечего. Прикажет командир взять вас, возьму, но сам выпрашивать не стану. Все.

- Значит, не хотите, - вздыхает она. - Что ж, только и грузину не видать меня, как своих ушей. Сам откажется... - усмехается Дуся многообещающе.

...Вахтанг взлетает за мной. У нас по шесть бомб, столько же заходов предстоит сделать по меловому кругу полигона. Оттуда передают, что все готово, можно начинать. Подлетаем. Спрашиваю Вахтанга:

- Видите слева впереди мишень?

- Я все вижу.

- Вот и рушьте ее на здоровье.

Вахтанг переводит в пикированье, я несколько медлю, осматривая воздух, затем тоже устремляюсь к земле. Прицеливаюсь тщательно, и все же бомба ложится с перелетом. Удивляться, собственно, нечего, чувство высоты притупилось, мастерство тю-тю! Не заметил и левый крен и на секунду-другую задержал сброс. Вот по труду и плата! Эх, шараж-монтаж!

Занятый собственными хлопотами, не очень-то приглядываюсь, куда бросил бомбу Гвахария, зато четко слышу злой голос руководителя полетов комэска-три:

- Эй, вы там, черт бы вас подрал! Что за фокусы? Мах на небо, ляп на землю? А ну марш на посадку! Оба!

Приземляемся, заруливаем. Комэска напускается на Вахтанга:

- Куда вы шуранули бомбу?

- Я по кругу целился, товарищ командир.

- По какому кругу? Полярному? Вашу бомбу вообще не видел никто. Хорошо, коль шмякнулась в море, своих не перебила!

- Извините, видимо, ошибся... - мнется Вахтанг и бормочет что-то по-грузински.

- Проиграйте мысленно задачу еще раз и больше не ошибайтесь, - приказывает комэска.

Я разваливаюсь в тени капонира, а Гвахария садится под самолетом на тормозную колодку, заглядывает в блокнот, бубнит

что-то. Проходит минут двадцать, мне надоедает его молебен, спрашиваю:

- Может, хватит?

- Вах, дорогой, боюсь не попаду. На полуавтомате столько кнопок - не успеваю нажимать.

- Да начхай ты на него! Цельсь по меткам и штырям на капоте мотора, по кольцам на бронестекле. Делай, как все.

- Что ты! Нельзя. Инженер по вооружению приказал использовать только полуавтомат.

- Ну, ежели инженер... Ме мегона, шер каци хар... умный... ("Я думал, ты человек умный" (груз.))

Вахтанг подается от меня на шаг и столбенеет в изумлении.

- Вы... Вы знаете грузинский язык?

- Если не считать японский, который тоже не знаю...

Он хватает меня за руку, жмет.

- Посоветуй, а? Скажи, дорогой, что делать?

- Я уже сказал...

- Но инженер дал приказ...

- Приказ, приказ! Только суперидиот может прекратить в зенитном огне маневр, сунуть нос в полуавтомат и заняться кнопочными манипуляциями.

Вахтанг вытянулся передо мной, точно перед генералом, слушает - глазом не моргнет. Вдруг оглядывается кругом, говорит тихо:

- Покажи, дорогой, как надо, а? Навеки буду твоим должником...

- Ладно, смотри бесплатно и запоминай порядок действий. Первый заход-имитация, бомбу не сбрасывай. Понял? Как это по грузински, квевит? Вперед?

- Наверх, дорогой!

Взлетаем, поднимаемся на тысячу метров, начинаем маневр.

- Резче, резче скольжение! Не начальство на охоту везешь, - подстегиваю Вахтанга. - Стоп! Замри, присмотрись к цели, нашел белый круг? Теперь ведем круг по левому обтекателю мотора...

- Круг еще далеко, - сообщает Вахтанг.

- Так маневрируй, чего кемаришь? "Мессы" не спят, следи за воздухом... Облегчай винт, полные обороты! Запас мощности не помешает. Не упускай с поля зрения мишень, сейчас накроется передней кромкой крыла Энергичней доворот влево, пошел в пике! Та-а-ак... Понесла-а-а!.. Держи мишень под верхней дужкой на бронестекле. Крен! Крен убери, черт! Взгляни на высотомер, шестьсот метров. Показания запаздывают, на самом деле сейчас четыреста. Тянем ручку. Вторая дуга перекрывает мишень, жмем кнопку. Зеленая лампочка - значит, бомба пошла. Левый крен и

правая педаль! Что, пыли много? Неприятно! Хе-хе! А жизнь потерять приятно? Пошли в набор!

- Смотри, смотри, дорогой, где бомба твоя!

- Где и положено, в центре мелового круга, - рисуюсь я, а самого распирает от гордости: не подкачал инструктор-самозванец. - А теперь, как говорят французы, рэпэтэ, пикируем вместе, бомбите вы!

Вторую бомбу Вахтанг влепил в мишень, еще две упали с недолетом, но я успокоил его: недолет нестрашен, при серийном бомбометании цель будет перекрыта. Результатов стрельбы сверху не видно. На всякий случай решаю подстраховать подшефного, пикирую рядом ним и всаживаю по-быстрому в его мишень десятка полтора снарядов - иди разберись, чьи они!

На аэродром возвращаемся на бреющем, Вахтанг держится в строю, как привязанный, а я люблю летать вот так, крыло в крыло. Вижу близко Дуську-стрельчиху, улыбается, делает мне ручкой. Над посадочным знаком расходимся эффектной "рогаткой", приземляемся. Дозаправка горючим, чистка оружия, пополнение боекомплекта. Я остаюсь на земле, Вахтанг с комэском улетают к передовой знакомиться с районом боевых действий. Возвращаются часа через полтора. Комэска, видать, доволен, спрашивает ведомого:

- Немцев наблюдал?

Тот конфузливо мнется, делает пальцами какие-то движения, вздыхает.

- Нет, не наблюдал...

- Я тоже... - смеется комэска. - По самолетовождению претензий к вам нет, также нормально ориентируетесь и на малых высотах, а это для нас главное. вот стрельбу подтянуть. Знаете, иногда приходится стрелять без подстраховщиков, - хмыкает он в мою стону. Понятно: полигонные толстобрюхи уже донесли о моей "левой" стрельбе...

Комэска отпускает Вахтанга, а мне говорит:

- У тебя завтра тренировка по воздушному бою, так проведи бой с ним, - кивнул, он вслед Вахтангу. - твой самолет будет с полным боекомплектом, на всякий случай... А Гвахария пусть шпарит из фотокинопулемета, а то, чего доброго, еще срубит тебя в азарте.

- Хе! Дай бог нашему теляти... Он зайдет мне в хвост, когда я стану седовласым старцем, разбитым ревматизмом, и то сомнительно, - прихвастнул я.

Вахтанг поджидал меня на полдороге. Догадываюсь - специально. Протягивает руку, но тут же отдергивает, стучит себя взволнованно в грудь.

- Дорогой, ты не знаешь, что ты сделал!

- А что, собственно?

- Ц-ц! Я пережил страшное время, теперь вижу небо, вижу тучи... Они уходят. Сколько тебе лет, дорогой?

- Двадцать три года.

- Мне - наоборот: тридцать два. У меня дочки-близнецы, посмотри, - извлекает он из нагрудного кармана твердые корки с фотокарточкой, протягивает. - Красивые? Слева Нина, Тамара - справа, обеим по двенадцать. Пожалуйста, хочешь - женись.

- Как? Сразу на обеих?

- Вай, не шути. Закончится война, берешь, какая понравится. Я им расскажу про тебя все... Напишу.

- Ох-ох-ох, Вахтанг... У нас говорят; пока солнце взойдет, роса очи выест. Когда-то еще все кончился!

...На следующий день тренировка не состоялась. С рассветом нас подняли по тревоге и бросили вдогон за отступающими немцами. Даем им духу, чиним расплату и за аджимушкайские каменоломни, и за эльтигенский десант. Сгромоздим на узких прибрежных дорогах завалы техники и сами же крошим эти пробки. У меня старый зуб на танки, ношусь над бурливо удирающими ватагами фашистов, но "панцернов" нет, видать, прячутся дотемна в ущельях, черт их там не найдет среди буковых лесов! Наше общее направление на Алушту, бьем те части, что пытаются пробраться к Севастополю.

Склонный с детских лет к интересным затеям, я предложил Щиробатю наведаться четверкой в Балаклавскую бухту, там-то уж наверняка накроем если не эсминец фашистский, то какого-нибудь "Черного принца" отправим кормить крабов. Но комэска почему-то не оценил мою инициативу, буркнул: "Сгинь!" - и сам полетел в другую сторону. И чего взвился? Стреляют по нас везде, разница в том лишь, что в одном место погуще, и другом - пожиже. Если, скажем, возле Бахчисарая тебе просто страшновато, то возле Балаклавы - жуть берет, и только!

Вечером, однако, я все же подбил Гвахария, и мы сразу обо всем договорились. Он признался, что сам три дня уже мечтает потопить, фащистский корабль, и поблагодарил за доверие. А на следующее утро 19 апреля Приморская армия освободила Балаклаву. Удружили соратнички наши... Мы опять не летаем, базируемся на крымском аэродроме Биюк-Онлар. Антракт.

Крымская весна в разгаре, сухо, ветрено. Сады облиты бело-розовым цветом, пахнут медом, по аэродрому в тон небу голубеют незабудки. От безделья шляемся по соседним селениям "на предмет знакомства с противоположным полом"-совсем размагнитились. В мире бушует война, а мы бьем баклуши, или,

как говорит Вахтанг, "делаем шаляй-валяй". О том, что вот-вот начнется штурм Севастополя, думать в такие дни не хочется.

"Нынче у нас передышка..." - поют по радио фронтовую песню, но начхиму, изнывавшему более двух лет от безделья, на песни начхать. Одолеваемый службистским зудом, он узрел в нас объект для применения собственных профессиональных способностей и развернул столь бурную деятельность, что мы взвыли в полном смысле. Правда, сквозь резиновую маску вой не слышен, но разве это не пытка часами томить людей в противогазах на жаре двадцать пять градусов!

С начхимом - в общем-то, он парень неплохой - перестали здороваться, на вторьте сутки возненавидели, на третьи - некто из доброхотов подсунул ему "дипломатическую ноту", дескать, все это ему боком вылезет... Капитан, хлопец неглупый, "ноту" воспринял правильно, однако химэпидемию усмирил не он.

Часов в одиннадцать, когда полк, обливаясь потом, хрипел в масках, на аэродроме приземлился истребитель "як". Дежурный по старту показал, куда рулить, но прилетевший подкатил к нашему КП и выключил двигатель. Мы заинтересовались смелым нарушителем. Из кабины вылез летчик в кожаной куртке, помахал рукой. К нему приблизился дневальный, козырнул.

- Сними намордник и давай ко мне командира полка. Живо! - приказал летчик. Дневальный нырнул в землянку и тут же выскочил. За ним - Хашин, начштаба, замполит. Вытягиваются, Хашин громко докладывает:

- Товарищ генерал-лейтенант, командир полка...

- Знаю, здравствуйте, подполковник, - протягивает тот руку.

Летчики, присевшие возле КП, вскакивают. Сам командующий воздушной армией пожаловал!

- Кто тут у вас газы пускает?

- Тренировка, товарищ генерал!

- Полезное занятие...-замечает командующий иронически. - А главное - своевременное... - Хашин улавливает интонацию - кому хочется числиться в дураках? Делает знак через плечо, начальник штаба - нам: "Отставить занятия!" А генерал продолжает: - Мне нужно посадить к вам еще один полк штурмовиков, покажите свое хозяйство.

Хашин делает шаг в сторону и приглашает командующего следовать вперед. За ними трогаются управленцы полка, комэски, а позадиостальная сошка помельче. Я - с корыстной целью. У меня по-прежнему нет своего самолета, летаю на каком попадется. Нужно мельтешить перед глазами Хашина живым, так сказать, напоминанием. Может, наберется смелости, выпросит у командующего несколько "илов", тогда и мне перепадет.

Генерал с эскортом движутся вдоль стоянок мимо зачехленных самолётов. Вдруг у капонира Вахтанга генерал останавливается и внимательно щурится на что-то. Все головы поворачиваются в ту сторону. Хашин подрагивает и подается назад, словно узрел разинутую пасть крокодила. На этот раз пресмыкающееся отсутствовало, зато радиоантенна самолета от кабины до киля была празднично расцвечена трепетавшими, словно бабочки на ветру, трусами, чулками, бюстгальтерами и так далее...

Эскорт хлопает глазами, завороженный развевающимися победно на фоне неба предметами женского туалета. Бледный Хашин ни жив ни мертв. Генерал снисходительно усмехается:

- Вы меня, как императора, флагами наций встречаете. Очевидно, будет и артиллерийский салют?

Хашин еще не обрел дара речи, хрипло кашляет в кулак. И тут взгляд его втыкается в Вахтанга. Какие у полкового командира глаза, не видно, об их выражении могу судить по быстроте, с которой тяжеловатый Вахтанг оказывается в кабине стрелка, сгребает в охапку развешанные после стирки предметы и, не зная, куда их девать, сует себе за спину. Кортеж движется дальше, задерживается лишь взбешенный начальник штаба. Слышно его шипение:

- Позор! Пятно! Как она посмела!

"На бедного Макара все шишки..." - подумал я, оглядываясь на едва не плачущего Вахтанга.

Когда "як" командующего растаял в небе, Гвахария с Бучиной вызвали к Хашину. Подобные приглашения ничего приятного не предвещают, особенно после эксцессов, вроде сегодняшнего, но на этот раз, к удивлению, обошлось. Позже на мой вопрос, какое взыскание подкинул командир экипажу, Вахтанг заявил:

- Никаких взысканий. Эта черт, Бучина, сама подняла бучу. Говорит: вам, мужикам, каждый банный день новые кальсоны выдают, а мне как жить прикажете? Я собственное гражданское донашиваю, из дому захватила. Вот рапорт, выдайте мне, что положено военной женщине, здесь перечислено все. И организуйте прачечную, тогда не буду стирать на самолете.

Вот что выдала командиру Буча с присущей ей шумливостью. Но при всей ее нетактичности Хашин вынужден согласиться, что действительно прежде как-то не обращал внимания на подобные житейские мелочи, не до того было. Бучину отпустил, а Вахтангу сделал внушение.

- Разболтанность у вас в экипаже, не можете справиться с одной... м-м...

- Не могу, товарищ командир, что хотите делайте. Я

вынужден подчиниться судьбе, выхода у меня нет.

- Судьба тут ни при чем, вы просто беспомощны и в этом признаетесь.

- Да. Признаюсь. Эта Бучина - крест, который уготовано мне нести по жизни. А насчет беспомощности... надеюсь, вы измените мнение обо мне.

Вечером Вахтанг жаловался:

- Знаешь, дорогой, когда эта чокнутая Дуська начинает со мной что-то говорить, по моей спине будто тон от магнето пускают. Язык мой отказывается действовать... Почему?

Я засмеялся, переводя в шутку:

- Это у тебя от жаркой любви к своей стрельчихе.

- Вай, какой любви? Как тебе не стыдно? Мне совсем-совсем, цади, плохо, а ты насмехаешься, да?

Первые боевые вылеты Вахтанг делал у меня на глазах. Вместе долбали укрепленные рубежи по Мекензиевым горам. Я поглядывал, как он держится в бою, выходило странно, порой страшновато и глупо, точь-вточь как делал я вначале, когда, пренебрегая опасностью, пер напролом и неизвестно почему оставался живым. На мое замечание, что стрелять вплоть до земной тверди все равно что бодаться с Кара-Дагом, Вахтанг хитровато усмехнулся:

- Скажи, дорогой, ты не знаешь, чьи это слова: "Стрелять просто в землю безнравственно"? А я знаю: твои, твои слова. И я буду бодаться, только времени у меня никак не хватает; пока прицелюсь, доведу по трассе, стреляю - в кабине уже пыль... Землю не оттолкнешь - большая.

- Это верно, а ты с ней кокетничаешь.

Но вот критическая точка - десяток боевых вылетов позади. Любой новичок уже видит не только у себя под носом, но и летает уверенней, правильно оценивает собственные действия, согласовывает с работой товарищей, начинает воевать осмотрительнее, хитрее, а следовательно - эффективнее.

Вахтанг, к моему удивлению, манеру работы не менял. Из пятерки самолетов, выцыганенных Хашиным у командующего, на мою долю достался очень "летучий", легкий в управлении, идущий, как говорят, за ручкой. Вахтангу же, как того и следовало ожидать, всучили старый "ил" под двадцать седьмым номером. В полку он считался вечным запасным и пользовался сквернейшей репутацией. Не зря прозвали его "божья кара"... Как только продырявит кого-либо, экипаж из подбитого пересаживается на двадцать седьмой и начинается хождение по мукам.

Казалось бы, какие могут быть различия между однотипными

самолетами? Все сделаны из одинакового металла по одним и тем же чертежам на одном и том же заводе, даже руками одних и тех же рабочих, ан нет! Каждый имеет свой характер, как живое существо.

Есть люди тупые, дубоватые, тяжелые на подъем, их не сдвинешь. с места, а сдвинул - не остановишь. Такие бывают и самолеты. Неповоротливым вахлакам не везет в жизни, неуклюжим колымагам - в бою. За скверную маневренность самолету приходится расплачиваться собственной спиной, то бишь конструкцией. Всыпают так, что злосчастная махинерия валяется больше в ремонте, чем летает на фронте. Однако в руках Вахтанга несуразный двадцать седьмой сколько раз поднимался в воздух, столько же раз и приземлялся. Нас даже заинтриговало столь странное постоянство...

В начале мая после штурма немецких позиций на Черной речке - пресловутая Сапун-гора. Сегодня слетали дважды; что творилось там, и вспоминать неохота, однако вернулись без потерь. Сидим за столом из неструганых досок, ждем обед. Повариха с официанткой ковыряются в термосах с пищей. В это время на посадку заходит группа. Самолеты проносятся над нами, а последний...

- Братцы, тикай! На нас садятся!.. - орет кто-то, и мы кидаемся врассыпную. Над столами с ревом мелькает номер двадцать семь.

- Идиот! - кричат ему вслед и грозят кулаками, другие саркастически ухмыляются. Наконец "божья кара" приняла надлежащий облик: руль поворота как отрезало, от киля одна рама осталась, элероны в клочья, а в крыльях не пробоины, а проемы дверные...

- Ну и ну! Угостили грузина...

- Видать, и зенитки, и те, что копошатся на мысе Херсонесе... "худые"...

- Сам-то как?

- Живой небось, раз умудрился приземлиться нормально. - Смотрим - заруливает на стоянку, разворачивается хвостом к нам. Это совсем рядом.

На развороте он добавляет газу и гонит тучу пыли нам в тарелки. Ему опять машут кулаками. Наконец винт останавливается, и тут мы слышим пронзительный крик. Узнаем по голосу: орет стрельчиха Дуся. Санитарная машина стоит на старте, кто-то бросается к телефону, вызывает к раненой, а у самолета какая-то возня. Затем на фоне дымчатых степных далей возникает плотная фигура Вахтанга, медленно бредущего с Дусей на спине. С боков семенит техник с мотористом, поддерживают

пострадавшую. Через посадочную несется "санитарка". Мы выскакиваем на помощь Вахтангу. Тот останавливается, ищет взглядом, куда положить тело Дуси, чтоб не повредить еще сильнее. У той глаза закрыты, но крови не видно. Мы подхватываем тело, но оно неожиданно лягается, соскакивает со спины Вахтанга и фыркает:

- Вам лишь бы лапать, охальники...

У Вахтанга, а вместе с ним и у нас глаза лезут на лоб.

- Вай, ты совсем без ран? Зачем кричала носить тебя, а?

Бучина одергивает деловито тесный комбинезон, щурится высокомерно на Вахтанга. Вдруг вскидывается, как освирепевший окунь, все на ней торчком, крутит со злостью пальцем у виска.

- А у тебя здесь сколько ран? Что я кричала над целью? Доверни вправо, кричала. У нас "месс" на хвосте висел, а ты? Почему не довернул, не дал мне сбить немца?

- Это еще не известно, кто кого сбил бы...

- Мне известно, что ты помог немцу сделать из меня труп! Я - мертвая, а мертвые не ходят, их носят. Вот и носи...

У Вахтанга совершенно потерянный вид. Бормочет оторопело:

- Вот кто божья кара...

Мы гогочем, а Щиробать добавляет масла в огонь, гнусаво тянет:

- Смотрит на них и смеется народ, старый осел молодую везет... Где ж это видано, где это слыхано, старый осел молодую везет...

Воюем еще четыре дня - и 9 мая Севастополь наш, фронт сразу оказался за сотни километров. Окна в общежитии не зашторены, свет горит вовсю, как в доброе мирное время. "Божья кара", разумеется, в ремонте, полевые авиамастерские развернулись возле бывшего фашистского аэродрома на берегу моря. А у нас перемещение кадров: моего стрелка отправляют на курсы, меня выдвигают в начальство- командиром звена, а на следующий день я отбываю в Евпаторию. Хашин - человек слова, выполнил угрозу, раздобыл мне путевку в только что открывшийся дом отдыха летчиков. Аж на две недели! Гулять так гулять...

Накануне отъезда - танцы под луной. Явились коллеги с той стороны аэродрома, подсаженные командующим армией, и пошла пыль столбом. Танцуем активно что попало и с кем попало. Лично я - не удовольствия ради, а для восстановления сил в раненых ногах. Сам врач прописал мне эту лечебную гимнастику, ему виднее.

Во время плясовой физиотерапии подходит Дуська, спрашивает с обидой;

- Интересно, почему вы не танцуете со мной?

Пожимаю плечами.

- О том, что я вам до лампочки, мне известно. Но мы же с вами курим одну цигарку! Пригласите меня хоть раз!

- Логично, - согласился я.

Пухлая Дуся оказалась верткой и легкой на ногу, даже хромому танцевать с ней - удовольствие. Под модную линду спрашивает осторожно:

- Я слышала, ваш стрелок уезжает на курсы?

- Да, растет товарищ.

- Может, возьмете меня все же? Вы теперь командир звена, вас послушают.

"Вот,-думаю,-незадача, опять она за свое".

- Даю слово: буду защищать вас так... так... больше собственной жизни! Я на все способна, ей-богу!

Меня кольнула досада, только дурак не поймет, о чем думает Дуся. Идеальная боевая единица, считает она, это экипаж из двух половин: меня и ее. Иначе и быть не может.

- Сейчас не время, - говорю, - продолжим разговор по возвращении из дома отдыха.

Дуся сильно и порывисто сжимает мою руку, исполненная благодарности, считает - лед тронулся...

Две недели не бог весть какой срок, но и тот окорнали наполовину. Телеграмма отличалась поистине спартанским лаконизмом: "Немедленно в часть". Являюсь. Оказывается, поступило распоряжение срочно перелетать на 2-й Белорусский фронт.

Готовим материальную часть, клеим карты, прокладываем маршруты, изучаем подходы к перелетным аэродромам. Путь-дорожка, мягко говоря, неближняя, а тут еще погода резко испортилась, степи затянуло туманом, с неба сыплется водяная пыль. Интересуюсь, почему не видно Вахтанга, уж не простудился ли? Нет, говорят, отправился в авиамастерские за своим рекордистом - номером двадцать семь. Отремонтировали в самый раз, сегодня пригонит, заказали специально для него радиопривод.

Привод гоняли полдня, но Вахтанг так и не прилетел, и мы решили, что его не выпустили из-за скверной погоды. На следующее утро погода - мечта пилота! Небо как слеза, солнца - даже чересчур... Вдруг часов в десять утра - радиограмма: "Гвахария приземлился авиаточке Мелитополь самолет исправный".

Хашин покрутил в руках телеграмму, спросил раздумчиво:

- Кой черт занес его в Мелитополь? Это ж километров триста

с гаком. Неужто блуданул?

- А что, вполне мог проскочить мимо своего аэродрома, все было закрыто, - высказал предположение начштаба.

- А зачем гоняли привод? - резонно заметил Щиробать.

- Тоже верно. Ладно, вернется - разберемся.

Собрание полка, посвященное дальнему перелету, закончилось под вечер. Еще сутки - и до свидания, юг! Солнца здесь явный излишек, особенно для тех, кто приземляется в сторону солнца на закате. Ослепит, обманет, покажет все не таким, как на самом деле. О-о! Что в бою, что на земле светило умеет строить ловушки нашему брату. Вот и сейчас будто прилипло к горизонту и шпарит прямо в глаза заходящему на посадку летчику. Кроме Гвахария, мы никого не ждем, должно быть, он планирует с выпущенными шасси. Стоим, наблюдаем. Щитки посадочные выпустил, выровнял нормально, убирает газ и... куда он тянет ручку?! Рано, высота большая! Рано! Нельзя!

- Он потерял землю!

- Уходи на второй круг! - кричит Хашин, словно Вахтанг его слышит. Вот он, примитивнейший зрительный обман! У летчика замазаны глаза, ему мнится, что земля под колесами, а в действительности до нее еще метра три. С каждым мигом поступательная скорость гаснет, самолет на секунду зависает - и трах об землю- только пыль из-под колес. Приземлился...

Разворачивается, рулит, и тут мы замечаем, что крылья у "божьей кары" имеют обратное "V", консоли опустились, едва не чиркают по земле. Согнулись от удара. Ну и видик... Мокрая курица, а не грозный штурмовик. Вахтанг рулит, старший инженер изрыгает проклятья, командир что-то ищет в планшете, мы, отвернувшись, держимся за животы - такого кино никогда не видали.

- Дурак и дом сожжет, так огню рад, смех его разбирает, - возмущается старший инженер нашим поведением и добавляет этим еще больше, жару.

Кто-то шутит:

- Надо, братцы, скинуться, а? Отблагодарить грузина. Наконец-то ухайдакал "божью кару", ни дна ей, ни покрышки!

- Сейчас командир отблагодарит его, хе-хе!..

Гвахария подходит к Хашину ни жив ни мертв. Лицо, зубы, волосы одинаково белого цвета, руки дрожат. Разбить столь показательно отремонтированную машину, куда уж дальше? Пытается глухим гортанным голосом доложить об аварии, но Хашин саркастически прерывает его:

- Отставить! Полк и так в несказуемом восторге от вашего бесподобного приземления. Высший класс! О посадке будем

разговаривать отдельно. Доложите о вчерашнем транскрымском перелете, на какой фронт направлялись в индивидуальном, так сказать, порядке? Не на Карельский ли?

- Товарищ командир, слово чести, я точно летел на привод. Стрелка индикатора не сдвинулась с нуля ни на секунду и все время играла "Рыбачка Сонька". Клянусь своими детьми, курс правильный держал. "Рыбачка Сонька" играет - я лечу... "Рыбачка Сонька" играет - я лечу...

- Да "Рыбачку Соньку" вашу, черт ее дери, все радиоприводы крутят! Нет других пластинок. "Катюш" да "Марфуш" давно зашмурыгали до основания, тоже и с "Сонькой" будет...

Вахтанг удручен, качает головой.

- Я понял, что вышел на чужой привод, когда увидел под собой Молочное озеро. Вай-вай! Лучше б смотрел собственными глазами, давно б сидел дома.

- Объявляю вам выговор с записью в летной книжке, Рыбачка Сонька...

На беднягу жалко смотреть. Был Вахтанг Гвахария, "старый грузин", гвардии рядовой, теперь, с этой минуты и до конца дней своих, он - Рыбачка Сонька.

- Не переживай, - говорю, - двадцать седьмой живуч, как кот, отремонтируют. Он еще не раз задаст нам перцу!

- Как не переживать, дорогой? Такое чепе! Первое взыскание в летной книжке, первая поломка самолета...

- В жизни всегда бывает что-то первым, - изрекаю в утешение мнимую мудрость.

Летим в Белоруссию. Наши бомбовые отсеки забиты кладью, в кабинах стрелков по два-три человека из наземного состава. С кем летит Дуся, не интересуюсь, Вахтанг же... Все удивлены и даже уязвлены: за какие заслуги выпала ему такая честь? Хашин, лидер, ведущий за собой полк на "спарке", взял его к себе во вторую кабину. Первая посадка в Запорожье, заправляемся и - на Харьков. Высота - тысяча метров, видимость нормальная. Недавно прошел дождь, земля чистая, зеленая. Сверху не видно, что селения, превращенные прошлым летом в труху, заросли крапивой да чертополохом. Заросли и рельсы, скрученные в спирали, завязанные в узлы взрывами снарядов и бомб, ржавеют по обочинам действующей железки-времянки - там, где были рубежи Курской дуги.

Летим, слава богу, без приключений. Дистанция меж эскадрильями установлена таким образом, чтоб над аэродромом прилета не получилась каша. Спешить нельзя, нельзя и отставать. Курс - ноль градусов, справа в дымке утопает Белгород, обрывком никелированной проволоки поблескивает Ворскла... Внезапно

слышу по радио голос Вахтанга:

- Товарищ командир, в кабине пахнет, а? Нехорошо пахнет, а?

- Почему болтаете на всю вселенную? Выключьте передатчик!

- Извиняюсь, забыл...

Дальнейшее становится известно после приземления.

У Хашина в передней кабине на лобовом стекле появились коричневые крапины. "Разбрасывает масло из патрубков?" Да, однако давление в норме. Правда, температура немного поднялась, но ничего, лететь можно. Можно, когда ты один, а ежели за тобой следует полк? Тут надо думать. Прошло еще минут пять, и Хашин сообщил Вахтангу:

- У меня бронестекло забросало маслом, открываю фонарь.

- Хорошо, товарищ командир.

- Ничего хорошего, очки тоже залеплляет, плохо вижу. Выбирай площадку, пойдем на вынужденную. Передаю полк Щиробатю.

- Зачем Щиробатю, товарищ командир? У меня все чисто, хорошо видно. Я всю дорогу протираю стекло носовым платком. Пожалуйста, не садитесь на вынужденную, доведем полк, честное слово! Нет-нет, не на "Рыбачку Соньку"...

Короткое молчание и приказ;

- Определитесь.

- Пожалуйста! Под нами Ивня, Через четыре минуты справа будет Обоянь, через девять - Медвянка. Мы уклонились на ост три градуса.

Так и нужно, аэродром восточнее Курска, возле железной дороги.

- Не беспокойся, дорогой, я все сделаю.

- Я вам не дорогой!

- Вай, оговорился! Извиняюсь, товарищ командир.

...Нас, конечно, немало озадачило, когда на подходе к Курску вместо голоса Хашина послышались гортанные возгласы Вахтанга, запрашивавшего аэродром посадки. Что бы это означало?

- Командир скоропостижно подхватил ангину и лишился голоса, - высказал я догадку. Щиробать сделал через форточку знак, мол, не трепись по радио, все слышат.

В Курске разговоры, галдеж, судачат, балагурят, Вахтанга затормошили, нахваливают, но больше с подковыркой, мол, посадил полк любо-дорого, не хуже заправского комэска.

- Да ему Хашин суфлировал, - находится тут же неверующий Фома - таких везде - пруд пруди. А я искренне рад за Вахтанга, молодец!

...2-й Белорусский стремительно наступает, освобожден

Могилев, Минск, Новогрудок. Мы вторично перемахнули Неман, делающий в том месте дугу, и приземлились на окраине городка Скидель. Дальше речка Нарев, болота, новые фашистские укрепления. По западной стороне аэродрома - лес, по лесу временами бродят недобитые завоеватели, туда в одиночку без оружия не суйся. Наши самолеты стоят у селения хвостами к домам, так надежнее, меньше шансов, что подорвут или сожгут.

На фронте происходит передислокация, а мы ведем интенсивную разведку в интересах наземных частей. Летаем не каждый день, мне сегодня выпала передышка, можно удрать на озеро - их здесь тьма! - поплавать в теплой, пахнущей торфом воде, поймать десяток плотвичек и - эх! - как бывало в далекие времена, сварганить на берегу под ивой котелок ушицы. До чего ж мало нужно человеку для разрядки! Спрашиваю своего нового стрелка Петра Гурина:

- Хлеб, соль, ложки взял?

- Ага...

- А тебе известно, что сухая ложка рот дерет?

Петр - парень волжский, сообразительный. В моем чемоданишке ориентируется гораздо лучше меня, но сейчас мнется, скребет затылок.

- Завтра баня, старшой, а у нас с тобой на двоих одни подштанники.

- На вот деньги...

- Не берут деньги ни в какую, барахла им подавай. Такса известная: за подштанники - бутылка, за рубашку - полторы...

- Ладно, отдавай последние, пропади они пропадом! Не зима на дворе, в трусах будем перебиваться.

- Есть перебиваться!

Возвращается через полчаса. В одной руке - бутылка, в другой - прут орешника, удилище. Выходим из общежития, ныряем в высокие густые заросли конопли. От ее острого запаха скребет в горле. Выбираемся за селение и вдруг нос к носу встречаемся с Вахтангом и Дусей. Вахтанг окидывает хитрым взглядом наши снасти, подмигивает и запевает: "Возле Еревана есть озеро Севан, извини, что меньше, чем Тихий океан. Там. форели много, она в нем спит. Извини, что меньше, чем в океане кит..."

- Правда, вы за форелью? - загорается Дуся. - И я с вами.

Рыбалка с ее участием меня вовсе не прельщает.

- Форель - у грузинских царей, Дуся, а у нас тут лишь чухоня квакающая...- пытаюсь отвадить ее.

- Не слушай их, Дуся, они не умеют ловить. Пойдем, я им покажу, - заявляет Вахтанг, пыжась. Я смотрю на Петра, тот - на меня. Ну, не двурогие ли? Мало того что увязались, так

присвоили наши снасти и орут, как оглашенные. Да от таких рыбаков живность посуху удерет в Балтийское море без оглядки.

Все же попалось несколько очумелых то ли подыхающих от голода окунишек.

- Хватит! - возглашает Вахтанг. - Ахла внехе - (Сейчас увидите (груз.)) чудо грузинский кухни, называется цоцхали (рыба (груз.)).

Я вынимаю нож, хочу помочь чистить рыбешку, но он свирепо рычит:

- Кто здесь Рыбачка Сонька? Не подходи!

Дуся вдруг теряет интерес к чуду грузинской кухни, говорит мне:

- Пойдемте в ельник, там грибов - в глазах рябит. Насобираем.

- Еще не сезон, - отнекиваюсь.

- Здесь другой климат, пойдемте же!

Солнце крепко калит землю, а в ельнике сыро, неподвижный воздух попахивает прелью, лицо неприятно щекочет паутина. Шагаю по мягкой подстилке из опавших игл, смотрю под ноги, в глазах от изобилия грибов вовсе не рябит: летние - прошли, осенним - рано. Откуда-то потягивает запахом горицвета - должно быть, рядом полянка. Так и есть, сомлевшая трава пышет терпким ароматом увядания. Подковыриваю Дусю:

- Ау-у! Не надорвитесь! Корзинища-то с боровичками тяжеленная...

- Вот, - показывает она букетик, - иван-да-марья повенчанные, а у вас что?

- Разрыв-трава одна...

- Клад найдете скоро. Фу-у... Жарко. Посидим? - показывает под куст черемухи и расстегивает гимнастерку. - Хорошо здесь, ни комаров, ни мошкара не ест тебя, как в наших кубанских плавнях. Чем не пляж зеленый? Может, позагораем? Давайте хапнем ультрафиолетовых лучей, за них платить не надо. Ну! - восклицает Дуся и сбрасывает гимнастерку, остается в кумачовом лифчике. Плечи белые, не тронутые загаром. Я тоже подстилаю себе под спину гимнастерку, ложусь лицом к небу, зажмуриваюсь. Едва ли не за всю войну выпал такой час. В зарослях чирикают птахи, возле уха залихватски рассыпается кузнечик, лучи просвечивают мою кровь - в закрытых глазах красная дымка. Внезапно краснота темнеет - видать, солнце задернулось облачком. Открываю глаза - Дуся. Склонилась низко, в узких щелках глаз неуверенность и ожидание. Вдруг, прошептав что-то, быстро прижимается ко мне, целует и восклицает с обидой;

- Господи, да проснись же наконец! - И откидывается на

спину.

Гм... Я, кажется, действительно "просыпаюсь"... Меня охватывает волнение. Поворачиваюсь к Дусе, обнимаю ее пышное ожидающее тело и... замираю. Я еще никого не вижу, не слышу, но подсознательно ощущаю: на поляне есть кто-то еще. Смутная тревога побуждает меня быстро оглянуться. И что же? Над нами стоит старый старичок ростом с кувшин, борода с аршин. В руке клюка. Щурится одобрительно; кряхтя, шепелявит:

- Бог в помош-ш, шынок...

Меня будто катапультой отстреливает от Дуси, вскакиваю на ноги. Вспыхнувшая Дуся мигом прикрывается гимнастеркой, я, прокашлявшись натужно, отвечаю с поклоном:

- Спасибо, дедко, на добром слове,

- На ждоровье, унучек...

И шаркает дальше, опираясь на свою кочергу.

- Тьфу, старый мухомор! Черт его носит, не сидится ему на печи! - взрывается Дуся от злости. Она готова растерзать доброжелательного дедка. Я давлюсь смехом и, чтоб не показать, долго натягиваю гимнастерку. Одевшись, киваю: пошли! Дуся вздыхает:

- Когда же все это кончится...

Что она имеет в виду, не спрашиваю. Идем обратно к озеру. Дуся ломает ветки, швыряет себе под ноги и с яростью топчет. Очевидно, это месть деду, помешавшему ей "собирать грибы", месть своему постылому добряку командиру и всей войне в целом, лишающим ее простейших бабьих радостей. Но разве порчей леса создашь хорошее настроение? С таким же успехом можно веником разгонять тучи над аэродромом...

А вот на следующий день Дуся отличилась на всю дивизию: сбила "Мессершмитт-109". Случилось это не в затяжном воздушном бою, а, как часто случается, внезапно, в считанные секунды. Вахтанг со своим ведомым возвращались на бреющем. Чтоб заметить с большой высоты зеленый "ил" да еще на зеленой болотистой пойме речки Бебжи, надо обладать черт знает каким острым зрением. У противника хватило, и он хитро спикировал со стороны солнца. Но Дуся не зря похвалялась своими собранностью и зоркостью, вовремя усекла его. Командовать Вахтангу, куда и насколько довернуть для удобства прицеливания, не стала, только крикнула, что их атакуют. Не очень-то надеясь на Дусю, Вахтанг скользнул на всякий случай влево. Немец развил огромную скорость, но маневр заметил. Мгновенно выпустив шасси, а следом - посадочные щитки, создал приличное торможение и стал ловить цель в перекрестие. Но Дуся сама поймала его и пропорола с близкой дистанции

очередью крупнокалиберного.

- Даже не взорвался, булькнул в болотище и лишь пар пустил, - рассказывала она, разочарованная неэффектной кончиной врага.

На КП вывесили "Боевой листок". В полстраницы бронзовым порошком нарисована монета, а вверху к ней приклеена вырезанная из фотокарточки Дусина голова. Под рисунком надпись: "Мал золотник, да дорог... Поздравляем!"

Вахтанга теперь за уши не оттащишь от стенной прессы, хватает каждого за рукав, тычет пальцем в рисунок, запальчиво поясняет, мешая русское с грузинским:

- Ме мегона, Дуська цуди каци хар, а Дуська, видите? Во внахе? (Я думал, Дуська плохая, а Дуська видите? Во, видите? (груз.))

Вечером по случаю первой победы Дусю чествовали коллеги-стрелки, озорства ради заставили выпить двойную фронтовую порцию. Девушка враз захмелела и долго сидела за столом болтала, но, когда, поужинав, мы направились к двери, быстро поднялась и загородила выход.

"Хмельная женщина требует галантного обращения", - вспомнилось чье-то наставление, и я протянул ей руку:

- Поздравляю! Пусть каждый патрон УБТ отправляет в болото фашистов, тогда болото быстро испарится и дорога станет твердой до самого Берлина.

Дуся усмехнулась, встала на цыпочки, шепнула на ухо:

- Был бы вчера УБТ на поляне, я б того хрена старого на месте истребила! - Засмеялась и, щурясь по привычке, спросила с вызовом: - Теперь-то возьмете меня к себе? - и, не дожидаясь ответа, резко повернулась, ушла усталой походкой.

Утром разведка боем. Передний край противника по западному берегу Нарева, мне надлежит выявлять и фотографировать артиллерийские позиции. Вылетаю первым. На КП подковыривают:

- Туда, по агентурным данным, прибыли зенитчицыфрейлейн из фольксштурма, смотри, эстет, не втрескайся с высоты в белокурую бестию...

Я вяло отругиваюсь, улетаю. Задание меня не тревожит, такая война - семечки: сбросил бомбы, вызвал на себя больше стрельбы, сфотографировал расположение артустановок, спикировал разок-другой для профилактики на зенитки, пустил по ним несколько очереденок, они - по тебе, занес их местонахождение на крупномасштабную карту - и привет фрейлейн. Просто и неубыточно. Здесь не Сталинград, не Голубая линия, не Керчь, и вообще немец здесь не тот уже...

В столь оптимистическом ключе ставил я ближайшие задачи

летчикам нового пополнения. А что получилось на деле? Ни наши глаза, ни фотообъективы не засекли ничего ровным счетом. Кажется, на том берегу реки вообще никого и ничего нет. И полевые и зенитные орудия точно провалились - ни гугу! Молчат, хоть ты их кулаком молоти! Видать, фрейлейн не такие дурочки, не очень спешат оголяться до времени. Небось замаскировались и зыркают в прицелы на наши маневры-выкрутасы, насмехаются: мол, "у-у, рус думмкопф, варум зи гир баумельн? Хабен зих ферлауфен? Туалет ауф дер апдере зайте, хаха! Вир верден ауф рихтиг рус армада вартен. Си синд бегегнен махен!.." (У-у, русские дураки, зачем болтаются? Заблудились? Туалет на той стороне, ха-ха! Мы подождем настоящую русскую армаду. Их встретим!.. (нем.))

Вернувшись несолоно хлебавши, докладываю Хашину: надо как-то развороторить кодло, принудить фрейлейн обнажиться.

- Есть предложения? - спрашивает Хашин.

- Пока думаю.

- Думай-думай. Разведка - задача со всеми неизвестными.

Что верно, то верно, "наблюдай, запоминай, осведомляй и продолжай поиск". Именно продолжай! Такова формула разведки.

Возвращается группа Вахтанга. Любитель розыгрышей Щиробать настроился, кажется, задать концерт. Подмигивает нам озорно, берет у руководителя полетов микрофон и начинает дразнить Вахтанга. Другой бы не обратил внимания, пропустил мимо ушей, но Рыбачка Сонька обязательно заведется - и пошла потеха!

- Товарищ Гвахария, - грозно вопрошает Щиробать, - почему на вашей стоянке валяются посторонние невыразимые предметы? После приземления немедленно выявите и накажите нарушителя!

Мы навостряем уши. Из динамика вначале озабоченно, затем с возмущением раздается:

- Э! Кто говорит? Какие невыразимые предметы? Я захожу на посадку, вы что, не видите? Это Максим говорит, да? Послушай, дорогой, сколько раз я просил тебя, пожалуйста, не мешай мне, не отвлекай меня посторонними разговорами, когда я уже приступаю к выравниванию самолета. Разве ты не можешь найти другого времени на невыразимые предметы, да?

Мы держимся за животы, не спуская глаз с самолета, а Вахтанг не унимается:

- Почему не можешь подождать, когда я сяду? За это время что случится с какими-то невыразимыми предметами, а? Утром я лично проверял на стоянке, там ничего... Вай!

"Профессор по классическим посадкам", каким считает его Хашин, откалывает грандиозного "козла" и разражается

проклятьями. По-грузински. И на этом представление сегодня заканчивается. Впрочем, стоп! Продолжение следует. Поворачиваемся к стоянке и наблюдаем уже знакомую по крымскому аэродрому картину: мимо самолетов ковыляет Вахтанг, на нем, свесив ноги, джигитует Дуся. Ну, дает девка жизни! Опять, должно быть, провинился бедняга перед занозистой стрельчихой. Сбила "месс", теперь совсем заездит безропотного чудачину.

На лицах ухмылки, никто не бросается навстречу, как прошлый раз, никто не вызывает санитарную машину. Чем ближе Гвахария, с ношей, тем громче мычанье; "Где ж это видано, где ж это слыхано: старый осел молодую везет..." Все ждут, когда мнимая раненая спрыгнет с его спины, отбреет по первое число проштрафившегося Вахтанга.

Вдруг брови Щиробатя вздрагивают, сходятся к переносице. Мычание про старого осла обрывается. Щиробать судорожно выхватывает из кармана платок, комкает его, опять сует в карман в растерянности. Вахтанг идет на нас грузно, тяжело, и мы, оторопев, расступаемся. Он осторожно опускает Бучину на землю. Ее мертвое тело. Остекленелые глаза широко раскрыты, меловое лицо чуть искажено гримасой, похожей на застывшее удивление. Комбинезон на животе рассечен, залит кровью. Мы ошеломлены, растеряны. Погиб наш товарищ по оружию, молодая женщина. "Когда же все это кончится..." - мелькают в памяти слова, сказанные недавно на поляне, и мое сердце сжимается раскаянием. Я чувствую себя виноватым перед ней. Быть может, летая со мной, она б не лежала сейчас перед нами бездыханной. Словно предчувствуя беду, тянулась ко мне, искала защиты, а я...

Вахтанг стащил с себя шлемофон провел ладонью по белым волосам, забормотал подавленно:

- Товарищи, я... я не знал, что она умерла. Я говорю с ней, она молчит... я говорю, она... у нее характер был...

Приезжает машина, увозит убитую. Вахтанга и его летчиков засыпают вопросами, а те как в воду опущенные, никто ничего толком объяснить не может, лишь твердят в один голос: истребителей противника не было. Сопровождавшие группу Ла-5 подтверждают донесение группы и станция наведения на передовой - тоже. Попрежнему не вели огонь зенитки среднего калибра, "эрликоны" же не достигают прицельно по высоте. Единственное, что видели все, это большой взрыв метрах в двадцати под самолетом Вахтанга. Может, он и оказался роковым для Бучиной? Но что он означает?

- Я хорошо помню, когда сбросил последнюю бомбу и начал вывод, меня здорово тряхнуло. Звук был какой-то сильный,

режущий... подумал - зацепило "зрликоном".

- Нет, - раздается голос подошедшего техника по вооружению. - Пробоины в самолете не от мелких осколков, дыры - голова пролезет. Как только управление не задело!

- Братцы, помните, фашисты все грозили новым оружием, уж не подкинул ли сюда фюрер малую толику?

- А может, прицелы особо точные появились?

- При чем здесь прицелы? Зенитки-то огонь не ведут!

- Не ведут, а бьют наверняка...

...Разговоры, разговоры, предположения и всевозрастающее беспокойство неизвестности. Некое смутное подозрение сосет и мое нутро. Делюсь с Максимом - не в рыжих ли шарах дело?

- Ты думаешь? - отвечает вопросом на вопрос.

Дело в том, что на Голубой линии нас однажды крепко подловили: заранее пристрелянный по высоте воздушный коридор ограничили шарами густого рыжего дыма. Висят себе и висят. Одни растают, другие на том же месте появятся. Все их видели, но не придавали значения, а когда сунулись меж них, тут-то небо и взорвалось от страшного залпа, и посыпались штурмовички... Может, и здесь подобные, просто не обратили внимания?

Опять расспрашиваем Вахтанга, его летчиков, звоним истребителям сопровождения - все твердо заверяют: ни дымовых, ни прочих шаров в районе цели не наблюдалось. Командир полка выслушивает все мнения и критически заключает:

- Провоевали два месяца удачно, без потерь, вот и расслабились. Появились самонадеянность и недопустимое легкомыслие в серьезном, опасном деле. Результаты не замедлили. Ослабление боевой дисциплины гвардейцев, а не новое оружие фашистов является причиной гибели нашей отважной подруги.

Да, так, очевидно, и есть.

На КП заходит полковой врач, показывает осколок, убивший Дусю. Вахтанг берет его из рук доктора дрожащими пальцами, разглядывает с опаской, затем, непонятно для чего, прижимает кусок металла с острыми, зубчатыми краями к своей щеке и, подержав миг, швыряет с яростью об землю. Я поднимаю. Осколок большой и толстый. Такой не то что человека...

Специалистам известно: в момент взрыва снаряда металл течет, утончается. Если было пять миллиметров, остается два-три, а здесь? После немыслимых деформаций не меньше десяти! Это что же за калибр со столь капитальным корпусом? Разумеется, немцы совершенствуют оружие, неужели Гитлер на этот раз не врет: появилось что-то новое и теперь его испытывают на наших

боках?

Возвращаются еще две группы, летавшие на Бебжу и Нарев, у этих вообще по нескольку пробоин от мелкокалиберных автоматов. Они также ничего чрезвычайного не видели.

В следующий вылет Щиробать берет меня своим заместителем с персональной задачей: наблюдать, искать, выявлять. Расшифровать секрет, расколоть тайну нового снаряда, невидимо поражающего воздушные цели.

- Прицеливанием не занимайся, бомбы пуляй по моим расчетам. За землей и воздухом следи в оба, особенно на выходе из атаки. Надо докопаться до истины. Учти, шары могут быть и другого цвета, так что замечай - своим эстетским глазом.

Летим. Как и вчера, на небе ни облачка, солнце за спиной, не мешает, дымки нет, земля чистая. Вражеские окопы как морщины на ладони. Маневрируем по высоте и направлению старательней, чем обычно, но, как и вчера и как позавчера, по нас не стреляют, и это кажется уж чересчур...

- Что видно? - спрашивает Щиробать.

- Ничего интересного. Глаза проглядел.

- "Горбатые", повторяю: кто заметит на земле или в воздухе что-либо непонятное, докладывать немедленно! Количество заходов - по обстановке. Начинаем!..

Доворот влево - и Максим устремляется к земле. Я повторяю эволюцию, пикирую. На приборы - ноль внимания, жму на гашетку, пускай пушки лупят куда хотят, а я обстреливаю взглядом небо и землю по всем направлениям, боюсь упустить малейшую неясность. Навстречу трассы "зрликонов" - это плевать. Это ясность. Продолжаю пикировать рядом с Максимом. Самолет вибрирует, скорость разогнали - дальше некуда. Кто попадет сейчас в меня? А в Максима? Во, какое скольжение замастачил! Черта с два какая зенитка чикнет, голову даю на отсечение! Ага! Начинает выводить из пикирования, вот тот самый опасный момент, где, видимо, и ловит нас немец на чем-то... Мне приказано бомбить в унисон ведущему, у нас по шесть стокилограммовок. Жму кнопку - чушки пошли. Мигают сигнальные лампочки: "раз... два... три..." Считаю и бомбы Максима, мне видно, как они вываливаются из-под его центроплана, летят секунду-другую горизонтально, затем опускают нос, дергаются чуть и плавно переходят в падение по всей траектории. Земля по-прежнему безмолвствует. Продолжаю считать бомбы: "четыре... пять... шесть..." Взрыв!

На месте самолета Максима - клуб огня, клочья чего-то черного, рядом со мной мелькают обломки, дым, и... все остается позади. Я еще пикирую, штурмую. Максима Щиробатя больше

нет. И дымка не осталось. В небе чисто и спокойно, фрейлейн по-прежнему не стреляют. А может, их и вовсе нет?

Что пережил, что передумал я в эти секунды и в последующие часы по возвращении на аэродром! Командиру полка доложил то, что видел своими глазами: "Комэска взорвался на собственной бомбе".

- Да может ли такое быть? - раскинул руки Хашин, и веря и не веря.

- Шестая бомба взорвалась под самолетом,

- Да-да... Понимаю, погиб друг твой... Но и ты пойми...

- Настоятельно прошу занести в журнал боевых действий мое официальное донесение. Повторяю: комэска взорвался на своей бомбе. Необходимо расследовать катастрофу немедленно.

- Мы, конечно, не имеем основания... так сказать, но кто не ошибается? - вздыхает сочуственно начальник штаба.

Я теряю над собой контроль, кричу истерически:

- Максим! взорвался! на бомбе! черт вас возьми! Расстреливайте! Сажайте! Другого ничего не скажу!

Хашин садится за стол, трет пальцами виски. Управленцы маячат поодаль, смотрят на меня встревоженно, другие - сожалея.

- Идите, - вздыхает Хашин. Я поворачиваюсь. - Стойте! - возвращает он меня. Ваше личное мнение о чепе утверждать среди коллектива части запрещаю.

- Оно, товарищ командир, утвердилось с того момента, как погибла Бучина. Разница в том, что бомба Гвахария взорвалась дальше от самолета.

- Не сметь! Приказываю!

Демонстративно щелкаю каблуками и козыряю по-ефрейторски. Меня всего трясет. Надо уйти, а я не могу. Мне не верят. Оттого я еще больше взбеленился и, не смущаясь многолюдством, шаркаю ножкой, декламирую фальшивоголосо под Молчалина: - В мои лета не должно сметь свои суждения иметь...

Хашин опускается на табурет, склоняет голову на руки, присутствующие смотрят на меня с осуждением. Их можно понять: день ужасный, погибло три человека, самолет, а тут еще чья-то группа тройкой возвращается. Руководитель полетов докладывает па КП: "По данным экипажей, самолет Гвахария взорвался над целью. Наблюдали один парашют".

Хашин явно растерян, стоит в раздумье, потом говорит:

- Еду в дивизию. До моего распоряжения на задание никого не посылать. ...Вот и Вахтанга нет. Страшный проклятый день. Бывали и прежде в полку черные полосы, и погибало больше, но когда! Теперь в воздухе хозяева мы, теперь наше слово первое -

и вдруг...

А утром не менее потрясающая новость: еще в двух полках дивизии при тех же обстоятельствах на другом участке взорвались два экипажа.

По аэродрому - шу-шу-шу... Кто погиб? Те, что летали со стокилограммовыми бомбами. Только те.

Точка. Узун-кулак сработал... Начштаба получает распоряжение подвесить на самолеты фугасные сотки, передает в эскадрильи. Оружейники выполняют и вдруг, за пять минут до взлета, обнаруживается, что в отсеках бомбы другого калибра, те, в поведении которых ничего плохого не замечено. Вылет задерживать нельзя, начштаба в поисках мечется, в поисках виновников нарушений, комдив с передовой требует объяснений, почему бомбят не тем калибром, а подспудные спасительные силы незаметно продолжают свое. И то сказать, у какого техника поднимется рука на своего друга-командира? Да он любой гнев начальства примет на себя, но убережет летчика от заведомой смерти.

...Подлетаю к передовой четверкой, называю свои позывные станции наведения, требую подтвердить задание. Станция отзывается, слышу голос комдива:

- Какие у вас бомбы?

- Те, та которых я не взорвусь...

Пауза. Затем сдержанно и въедливо, будто не со мной разговор, а с кем-то на земле:

- У них там что, эпидемия сумасшествия?

"Самоубийства!" - отвечаю, но про себя: распространяться о таких вещах в эфире непозволительно.

Генерал появляется в полку на следующий день после обода, и тут же трубят всеобщий сбор. Строевой форум полка - редкое событие. Догадываюсь, что командира дивизии ввели в заблуждение, что наши несчастья истолкованы как частные случаи и мое донесение расценено кем-то чуть ли не как враждебный выпад. Мыслимо ли такое? Пилот распространяет безответственные измышления, будто наше отечественное оружие нас же и убивает! Что это, как не злостный поклеп?

Я, виновник "смуты", готов ко всему. Я прав, потому не боюсь никаких обвинений и готов с любым сразиться в открытую.

Полк сидит на траве под открытым небом, генерал стоит рассерженный, подергивает ногой с голубым лампасом.

- Гвардейцы! - принимается он за нас. - Мне стыдно и больно, что цвет нашей советской авиации стал совершать поступки, недостойные звания воина. Вы пошли на поводу безответственных лиц, которые, не разобравшись в сложных ситуациях, распускают

слухи о якобы имеющем месте самовзрывании бомб. Это вовмутительное беспочвенное утверждение приносит огромный вред, приводит в военное время к духовной деморализации армии. Так и только так следует расценивать из ряда вон выходящее чепе в полку.

Круто завертывает генерал, да только мне плевать. Для меня нет ничего дороже жизни моих товарищей, и я буду стоять на своем до последнего. Не спрашивая слова для выступления, встаю и четко выкладываю все, что знаю и думаю. Лишь под конец не выдерживаю, срываюсь с тона и бросаю со злостью:

- Никакого секретного оружия немцы против нас не применяют. Конечно, списать на врага собственные грехи куда выгодней, - не надо отвечать за них...

- Как вы смеете так разговаривать? - воскликнул генерал пронзительно и повернулся к Хашину, двигая желваками: - Немедленно отдайте приказ: старшего лейтенанта снять с должности заместителя командира эскадрильи и подвергнуть домашнему аресту на... десять суток! - И ко мне: - Ваше беспрецедентное поведение и панические речи здесь не нужны. Оставьте собрание!

Медленно пробираюсь меж сидящих однополчан, а вслед - "ж-ж-ж-ж-ж...". Нет, меня никто не считает паникером, мне сочувствуют - по глазам вижу, а мою грудь раздирает обида: "Да не молчите же вы! Шутка ли, ведь в ваших руках сейчас жизнь соратников! Делайте что-то, пока еще есть время".

Генерал ждет, когда я удалюсь, а я остановился и словно врос в зеленый дерн. Я ожидал бурных дебатов, деловых споров специалистов, но чтобы вот так... И я решаюсь на последнее, уж вовсе не позволительное в армии. Спрашиваю громко;

- А почему бы вам, товарищ генерал, самому не слетать, не проверить лично? А я готов к вам в заднюю кабину за воздушного стрелка. Для меня будет великой честью отправиться на тот свет вместе с вами!

Полк застыл, ошеломленный неслыханной дерзостью, а я повернулся и пошел тропинкой, рассекающей высокие заросли конопли. Надо успокоиться, взять себя в руки, обдумать, как поступать дальше. Недопустимо останавливаться, коль веришь в то, что есть, а не в то, что кому-то хочется. Глубже дыхание! Три шага-вдох, два-выдох... Острый запах конопли прочищает мозги, сверлит в носу. Замедляю шаг, громко чихаю.

- Будь здоров, дорогой!

Вскидываю голову - напротив стоит Вахтанг! Мать моя, на кого он похож! Загвазданный, заросший серой щетиной, шея забинтована, голова забинтована, руки - тоже. На плече -

скомканный парашют. Жив Рыбачка Сонька! Обнимаю, трясу, одурев от радости,

- Вай, больно, дорогой, все тело...

- А почему ты остался живой?

- Не знаю. Нажал кнопку шестой раз, внизу сверкнуло, ударило по голове... Очнулся - голову режет. Смотрю - падаю вместо с сорванным фонарем кабины. Пробил головой и застрял. Швыряет во все стороны, а земля - вот уже, с немцами земля... Дернул кольцо парашюта. Ветер был сильный, слава богу, снес на нашу сторону. Так и приземлился на берегу Бебжи с фонарем на шее, порезался, видишь? А стрелок - не знаю, наверное, убило, как Дуську.

- Иди и расскажи всем! - показал я рукой в сторону собрания. Вахтанг внезапно сник, потускнел.

- Ты чего?

- Понимаешь, дорогой, тебе, замкомэска, не поверили, а мне - и подавно. Кто я? Разжалованный, рядовой и только.

- Стоп, Вахтанг, мне доподлинно известно, что командование послало на тебя отличную характеристику и другие документы на восстановление прежнего звания. Так не из-за этого ли ты теперь боишься сказать генералу правду? Уж не рассчитываешь ли кровью товарищей, заработать себе индульгенцию, продажная шкура?

Он молчал, опустив белую голову.

У меня невольно сжались кулаки. "Буду бить!"-решаю мгновенно, взъяренный. Вахтанг медленно нагибается, берет за лямку парашют, поднимает на меня растерянный и просящий взгляд. Видать, слова мои поразили его в солнечное сплетение..

- Пойдем... - роняет глухо, с трудом. Я качаю отрицательно головой, Вахтанг вздыхает, обходит меня, переступая медленно кирзачами, волочит за собой парашют.

Я не знаю, что он говорил собранию, но слышал большой шум, громкие крики возмущения - должно быть, страсти разгорелись вовсю. Кто-то кого-то костерил, кто-то восклицал в гневе, кто-то упорно толмачил технические инструкции - не строевое собрание, а запорожская "черная рада", кто кого перекричит. Потому, видимо, собрание быстро закруглили, генерал из полка отбыл, а запланированные группы улетели на задание не со стокилограммовыми, а с осколочными бомбами. На следующее утро из штаба воздушной армии явилась гурьба встревоженных специалистов, к ним причалили наши полковые оружейники, уединились на опушке леса по ту сторону взлетной и несколько дней возились с бомбами и взрывателями. И вот обоснованное заключение: взрыватели АПУВ, партия номер

такой-то, дата выпуска... изготовитель... являются заводским браком и подлежат изъятию и уничтожению.

В эскадрильях негодованье, требуют возмездия, наказания бракоделов, по вине которых столько жертв. Слушаю одного, другого, затем спрашиваю:

- Кому из нас приходилось получать самолеты на авиазаводе? Понятно. А кто работает в цехах, вы видели? Вспомните получше: там же более половины детворы! Ребята да девчонки четырнадцати-пятнадцати лет! Работают и днем и ночью. Им есть хочется, спать, а они работают, фронт требует самолеты, и они клепают. Что ж удивительного, если такой, с позволения сказать, клепальщик проспит несколько заклепок? Под суд его, как злостного бракодела? А его качает от голода, мальчишка продуктовые карточки потерял или умерли все у него, а мы требуем его к стенке. Недосмотрели, пропустили - да! Но это наше общее всенародное горе.

Собираю летчиков эскадрильи, говорю;

- Комэска погиб. Приказ об отстранении меня от должности, его заместителя, не издан, поэтому слушайте мою команду. На закате будут похороны Бучиной. Всем надеть строевую форму и принести побольше цветов. Этих... иван-да-марья повенчанных, она их очень любила.

Закопали мы Дусю на той самой поляне под кустом орешника, дали залп, но этого показалось мало, и мы исполнили забытый ритуал витязей, далеких наших пращуров, сожгли на Дусиной могилке ее девичьи пожитки. И своих не пожалели: кидали в час горестной утраты в костер пилотки, ремни, трофейные "шмайссеры", пулеметные ленты и самолетные часы, остановленные минута в минуту гибели нашей однополчанки, отдавали на вечную память.

Спустя сутки вызывает меня Хашин. У него сидят, начальник штаба и замполит. Козыряю, докладываюсь, Хашин жует горбушку, натертую, как обычно, густо чесноком, - лечит застарелую язву желудка. Показывает на табурет возле стола. Снимаю пилотку, сажусь. Хашин стряхивает с гимнастерки крошки, кладет перед собой листок бумаги, на листок - самописку, прижимает ладонью, спрашивает;

- Ну как, успокоился?

Я молчу, ибо не знаю, о чем собирается вести со мной речь триумвират.

- Надеюсь, ты сам понимаешь, - продолжает Хашин, - что комдив наказал тебя сгоряча. Но и ты, если говорить откровенно, не золото, вел себя далеко не лучшим образом, согласен? С тобой, между прочим, такое случается не впервой - вызывающий,

непреклонный, самоуверенный тон, железная точка зрения и прочее, но ты же не в безвоздушном пространстве! Говорить правду всегда хорошо, да не всегда умно. Других претензий к тебе нет, поэтому мы посоветовались и подготовили приказ о назначении тебя командиром эскадрильи. Надеемся - справишься, организуешь боевую работу подразделения так, как твой покойный командир Щиробать. Что скажешь?

- Чем занимать должность покойного, я предпочитаю сидеть всю жизнь под арестом.

- Не нужно амбиций, взыскание отменено, в твоей летной книжке ничего не записано, надо летать и воевать за себя и за своих друзей - таков закон жизни.

Хашин встает, показывает, что разговор окончен. Я тоже поднимаюсь, но облегчения в сердце нет.

На дворе вечер, в столовой ждет ужин, а есть неохота. Завтра, сказал начальник штаба, я веду эскадрилью на юго-запад, начинаем крошить немецкие укрепления возле Белостока, а там и Варшава. Нет, завалюсь-ка, пожалуй, спать. Открываю дверь в общежитие - что такое? Все летчики в сборе. Командир второго звена вскакивает:

- Товарищи офицеры!

Все застывают, вытянувшись, "едят" меня глазами, а губы вздрагивают от хитроватых ухмылок.

- Товарищ командир эскадрильи, разрешите от имени личного состава вверенной вам...

Откуда они узнали, зачем вызывал меня Хашин? Не эскадрилья, а телеграфное агентство...

- Отставить! - говорю. - Сегодня ничего не выйдет. Ложитесь спать. Назначение для меня - экспромт, а в моих закромах и резервуарах - сухота.

- Слышь, братва? Старшой явно недооценивает своих подчиненных. А надо бы ему знать, что везде и всегда найдутся смекалистые мастаки по этой части...

...Когда пирушка была в разгаре и мы при запертых усадебных воротах и зашторенных наглухо окнах затянули песню про фронтовую чарку, после которой завтра утром снова в бой, в дверь кто-то громко заботал. Командир полка? Замполит? Делаю известный каждому знак, и через секунду на столе - шаром покати. Стаканы шмыгают в карманы, бутылки исчезают под койками, остатки за куски летят в печку, свет убавляется, и лишь "сквозь дым волшебный, дым табачный блистают лица" летунов... В мгновенье ока компания преображается, у всех подтянутый вид, воротнички застегнуты и все старательно показывают, что горячо спорят по профессиональным вопросам. Я, как старший, встаю,

оправляю гимнастерку, направляюсь открывать дверь. Едва успеваю сбросить крючок, как меня оглушает взрыв всеобщего негодования: на пороге возникает Вахтанг.

- Кой черт тебя принес?

- Чего шатаешься по чужим домам?

- Я вас искал, дорогие, - отвечает Вахтанг, покачиваясь. Вид у него странный.

- Что случилось? - спрашивают. - Стрелок вернулся? Жена принесла еще двойню?

- Нет, другая радость: на меня пришло новое решение трибунала.

У всех вытягиваются лица: ни черта себе радость...

- А за что судить-то тебя?

- Не судить, меня восстановили в воинском звании. Командование посчитало: я искупил свою вину.

- Ну и как прикажешь теперь обращаться к тебе? Товарищ...

- Майор...

- Ну да?!

- Фю-ю-ю!..

Несколько секунд на него смотрят с подозрением: не разыгрывает ли общество Рыбачка Сонька? Вроде нет, необычно возбужден, взволнован.

- Да, я понимаю. Я не заработал еще. Вы старые заслуженные воины - лейтенанты, а я без году неделя как на фронте - майор. Совестно.

Кто-то пожимает плечами, хмыкает, другой крутит пальцем у виска. Без моего сигнала на столе опять появляются бутылки, стаканы, звенят ножи. Вахтангу предлагают сесть. Садится молча, настороженно.

- Вахтанг, - говорю, - а не кажется ли тебе, что перед нами, старыми заслуженными воинами, ты произносишь дурацкие речи?

- Да?

- Убежден. Как давно известно, глаз народа - глаз божий, - переиначиваю я поговорку. - А наши глаза, дорогой, нагляделись на тебя - во сколько, аж тошнило иногда... Налейте товарищу гвардии майору штрафную!

- Вот, пусть пьет! А заедает голенищами... Из-за него закуску выбросили...

- Это правда? Вай-вай! Наверно, я совсем вири хар!..

- Майор Гвахария самокритично говорит,-перевожу я, - что он осёл. Возражения есть?

- Не-е-ет! - орет дружно компания.

- Кстати, Вахтанг, ты с нами полгода, тебе восстановили

звание, но я, например, понятия не имею, в чем, собственно, ты провинился. Конечно, это вовсе не значит, что ты обязан отвечать, к тебе в душу никто не лезет.

- Болтают, якобы ты кому-то по пьянке секим-башка сделал?

- Вах, кто болтает? Я еще никогда в жизни не был пьян и никого пальцем не тронул. Я стреляю только по фашистам в бою. А если хотите знать мою беду, слушайте.

Вахтанг покачал поникшей головой, неуверенно улыбнулся, выпил протянутый ему стакан и сконфузился вдруг совсем, как мальчишка.

- Я из черных грузинов, альбиносом стал за несколько суток. Вы знаете, по статье шестой Советско-Иранского Договора тысяча девятьсот двадцать первого года мы в августе сорок первого вступили в Иран. Реза-Шах, приятель Гитлера, по-быстрому отрекся от престола и смылся в Йоганнесбург, а наши отряды остались в Тегеране для охраны объектов и коммуникаций. В их числе - и моя отдельная эскадрилья связи. Разместились в дому богача, удравшего за границу, я занял кабинет на первом этаже с телефонами - у меня была прямая связь со штабом Закавказского фронта, оттуда мы получали задания и распоряжения.

Однажды утром, как обычно, занимаюсь всякой канцелярщиной бумажной. Заходит мой зам - Шалва Капаридзе. Посидели, потолковали о наших делах, о последних сводках с фронтов, потом он ушел, а я продолжал свои занятия. Прошло дня три, и мне понадобился один документ под грифом "секретно", он хранился в сейфе возле моего письменного стола. Открываю - документа нет. Положил ошибочно в другую папку? Посмотрел - и в ней нет. Встревожился, давай проверять остальные папки, все вытряхнул из сейфа - документа нет. Я туда, сюда... Говорю себе: "Спокойно! Проверяй каждую бумажку в отдельности. Прочитай все внимательно до единой". "Секретно" по-прежнему нет. Руки отнимаются. Всю ночь не сплю. Днем снова и снова роюсь, обшариваю кабинет, стол, под столом, под ковром, даже собственный чемодан и карманы. Сознаю с ужасом, что документ пропал, и все же продолжаю искать. Неужели кто-то подобрал ключ к сейфу? Но как? За дверью круглосуточная охрана, сургучная печать целая. Я уже не знаю, что делать и думать, теряю голову, схожу с ума. Мыслимо ли на территории иностранного государства потерять во время войны секретный документ?

Опять в который раз заставляю себя сосредоточиться, вспоминаю по минутам, что делал, где бывал прошедшую неделю, с кем встречался? Тщетны старания. Места себе не нахожу, никого не принимаю, на меня косятся о удивлением. Остается

последнее - доложить старшему начальству. Докладываю - не верят, пожимают плечами, мол, нездоров. Настаиваю, лишь тогда посылают комиссию. Кабинет, квартира - дыбом. Остальные помещения - тоже,

"Что, - говорят, - клади оружие".

Я знал - спасенья нет. Допрос и прочие формальности закончились быстро, обвинительное заключение па одной страничке. Сижу на гауптвахте. Над головой яркая электролампочка: открою глаза и вздрагиваю-кажется, сверкает расстреливающий меня огонь. Вскакиваю, бегаю из угла в угол, а хочется не бегать, а стучать головой об стену, об пол. Одно дело - умереть на войне, наконец погибнуть в катастрофе, а принять позорную смерть из-за какой-то страшной непонятной ошибки?

Утром мои же солдаты с оружием наперевес ведут через двор. Сколько раз исходил я его вдоль и поперек! Конвойные бледные, напряженные, предупредительные. То ли стараются выразить мне жалость напоследок, то ли показать, что они тут ни при чем. Здесь меня знают все и я, знаю всех, смотрят на меня со страхом и любопытством. Среди них близкие знакомые.

Вводят в гарнизонный клуб. Трибунал выездной: прокурор, судья, адвокат, два заседателя. Прокурор, не мудрствуя лукаво, требует высшей меры, адвокат бормочет о моей многолетней беспорочной... ходатайствует о снижении меры. В общем: "Встать, суд удаляется па совещание". И тут вместе с последним словом секретаря точно двухпудовая гиря брякается с потолка на пол. Поднимаю голову - мой зам Шалва Капаридзе упал в обморок. Упарился, бедняга, - так переживал за меня.

С судейского стола подают графин, плескают водой на потерявшего сознание. Он трясет головой, машет судье руками:

"Подождите! Я имею важное заявление".

Полковник-судья недовольно морщится, делает ему внушение:

"Нужно делать заявление в ходе судебного заседания".

"От моего заявления зависит... зависит..."

"Хорошо, делайте ваше заявление, только побыстрее".

"Что он может сказать? Просить за меня?" - подумал я безнадежно. Зал настороженно затих, и все услышали тихий голос Шалвы:

"Заявляю и официально свидетельствую: секретный документ, утеря которого инкриминируется подсудимому Гвахария, изъят из сейфа мною в его присутствии".

Я ухватился за спинку стула, чтоб не упасть. А Капаридзе продолжал:

"Этот самый Гвахария настолько потерял бдительность,

проявил ротозейство и халатность, что я решил проучить его. Когда зазвонил междугородный телефон, Гвахария оставил сейф открытым и стал разговаривать. Мне ничего не стоило вынуть из папки бумагу и тем показать, что таким разгильдяям не место в наших рядах".

Зал ахнул, задвигался, загромыхал стульями. Судья раскрыл рот. Смотрит на прокурора, на заседателей, те - на судью. Наконец тот спрашивает:

"Вы намерены присовокупить названный документ, как вещественное доказательство к делу?"

"Да".

"А не кажется ли вам, что в служебном рвении своем вы, мягко говоря, переборщили?"

"Нет, нас учат быть бдительными старшие товарищи".

"Почему вы до сих пор молчали?" - спрашивал придирчиво майор-заседатель.

"Я и сейчас обязан молчать, но... услышал о суровой каре, ожидающей Гвахария, проявил слабость, сознался. Нет у меня необходимой твердости".

"Проявил слабость? Тут жизнь человеческая решается,а у него вишь, что на уме!"

Зал ревел в полном смысле. И я едва не ревел. Я испытывал величайшее счастье: упала завеса неизвестности, секретный документ не попал в руки врага, хотя не назвать врагом своего бывшего зама язык не поворачивается и поныне... В отношении его суд вынес частое определение, и, куда перевели его, не знаю, а мне статью переквалифицировали - и я был разжалован в рядовые и отправлен на передовую. Так я оказался в станице Ахтанизовской, и там мне повезло.

В ожидании, пока меня отправят на передовую, я от нечего делать побрел на посадочную площадку для связных самолетов за околицей станицы. На мне немыслимые ботинки, солдатское обмундирование не по росту.

День был очень ветреный, да вы знаете, какие бури бывают весной на Кубани - на ногах не устоишь. И вот в такую погодку, гляжу, тарахтит какой-то лихач на У-2, Сносит его-жуть! Я думал, мимо летит, нет, идет на посадку. Не планирует, а прямо-таки пикирует против ветра да еще винтом подгребает.

Приземлился все же, а развернуться - шиш, кладет его на крыло. Разобьется, думаю, чудак. Бросаюсь к нему. Вцепился за консоль, проводил до стоянки. "Держи, - кричу, - на газу, пока привяжу трос к штопору!" Пришвартовал, сделал над головой руками крест - выключай! Пилот ударил по лапке магнето, выскочил на землю, затряс мне руку. Из задней кабины тоже

вылез кто-то грузный в кожаной куртке, сбросил шлем, надевает фуражку. Генеральскую. Я козыряю и быстрей отворачиваюсь, готовый провалиться сквозь землю: генерал-то сто раз летал со мной! Знакомы еще до войны! Я скорее ходу, а он мне вдруг: "Стойте!" Останавливаюсь. Смотрит на меня и так, и этак, тужится вспомнить, наконец пожимает плечами и говорит:

"Или у меня зрительные галлюцинации, или вы майор Гвахария?"

Что делать, признаваться? Молчу, давлюсь комом, застрявшим поперек горла.

"Та-а-ак... Значит, все же Гвахария, - хмурится генерал и подходит ко мне:

- Говорите, майор, что с вами стряслось? Откровенно".

Уже по тому, как он спросил, я почувствовал: не ради праздного любопытства спрашивает. И не ошибся. Пока пришла за ним автомашина, я поведал ему, что успел.

"Изменить приговор,-сказал он,- не в моих силах, но помочь обещаю".

"Чем?" - спросил я, но он не ответил.

Пожал мне крепко руку и покрутил головой: "Этак пробросаемся..."

Минула неделя, другая, и я перестал ожидать чуда, изменений в моей судьбе не произойдет. Перестал и сразу успокоился, примирился, дескать, бог не выдаст, свинья не съест...

Вдруг вызывают к командиру роты. Вид у того, как у кота, который поймал мышь, а ее отнимают. Недовольный, говорит раздраженно:

"Тут пришло непонятное распоряжение отправить тебя в штаб воздушной армии. Неужто на самом деле летчиком был?"

"Пришло - отправляйте", - стараюсь говорить спокойно, а у самого сердце того гляди разорвется.

Командир оглядывает меня с ног до головы, презрительно кривит губы, затем вызывает старшину и приказывает выдать мне вместо обмоток новые сапоги. Вот эти самые, что на мне, - задирает Вахтанг ногу выше стола.- Счастливые кирзачи оказались, ничто их не берет. Если так пойдет и дальше, торжественно обещаю: прикачу в полк бочонок нашего грузинского киндзмараули, это повкуснее скидельского пойла, хе-хе! Но сегодня я согласен и на бибер.

- Слыхали его? Он согласен!

- Товарищ гвардии майор оказывает нам великую честь...

- Ладно, так тому и быть.

Мы поднимаем стаканы и вместо торжественного тоста,

приличествующего случаю, горланим разухабистую "Рыбачку Соньку".